

НОВЫЙ МИР

4

МОСКВА

1941

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1941 г.

№ 4

Год издания XVII

★ ★ ★

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>Торжество советской культуры</i>	3
Из письма строителей Новопоамирской дороги товарищу Сталину	11
М. Горький — Горемыка Павел	13
Василий Казин — Лирические стихи	81
Алексей Толстой — Хмурое утро, роман, продолжение	84
Лев Черноморцев — Гостеприимство, стихи	113
А. Коптелов — На-гора, роман	114
С. Бондарин — Арена спорта, рассказ	145
—————	
Э. Виленский — Поездка в Туву	153
Б. Изаков — Европа под бомбами	177.
—————	
В. Щербина — «Тихий Дон» М. Шолохова	192
Н. Пляско — Творчество Николая Асеева	220
О. Резник — Вдали от жизни	234

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

В. Ходаков — Книга о мужестве («Бои в Финляндии»)	238
А. Крон, Н. Оттен — Повесть об инженере (Ю. Крымов. «Инженер»)	240
Д. Данин — В березовом перелеске (Н. Рыленков. «Березовый перелесок»)	242
Б. Рясец — Штурвал и перо (М. Слепнев. «Трагедия в проливе Лонга»)	245
К. Осипов — Обширный замысел (А. Степанов. «Порт-Артур»)	247
Б. Гроссман — Книга о поэзии Брюсова (Д. Максимов. «Поэзия Валерия Брюсова»)	249
Х. Херсонский — Портрет актрисы (Т. Л. Щепкина-Куперник. «О М. Н. Ермоловой»)	252
Коротко о книгах	254

★

Торжество советской культуры

Более ста лет тому назад Белинский писал: «Что у нашего народа есть... высшая творческая способность — фантазия и глубокое эстетическое чувство, это доказывают русские народные песни, то заунывные, тоскливые, то трогательные и нежные, то разгульные и буйные, но всегда бесконечно могучие, всегда выражающие широкий размах богатырской души». И критик делает яркий и правдивый исторический прогноз: «Мы будем и поэтами, и философами, народом артистическим, народом ученым, и народом воинственным, народом промышленным, торговым, общественным».

Эти замечательные слова великого патриота приходят на память, когда мы читаем постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о присуждении Сталинских премий «за выдающиеся работы в области науки», «за выдающиеся изобретения» и «за выдающиеся работы в области искусства и литературы».

Да, народ наш одаренностью и талантом отличался всегда. Мы помним имена блестящих самородков — гениальных изобретателей, мужественных полководцев, прекрасных художников. Достаточно назвать только Ивана Ползунова, творца первой в мире паровой машины, или Михаила Ломоносова — ученого, мыслителя и поэта, чтобы убедиться в том, какие мощные творческие силы таит в себе народ. Но дарования эти часто погибали в борьбе с косностью и рутинной, в борьбе с самодержавием, которое душило и подавляло таланты из низов. В. И. Ленин указывает, что эти таланты часто гибли «под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью».

Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила народ и дала невиданные возможности развитию его творческих сил. Все последующие годы расцвета науки, техники и искусства в Советской стране полностью подтвердили слова Ленина о том, что в придавленных капитализмом «низших» слоях людей таилось множество талантов, которые по сравнению с так называемыми «верхними» слоями имели неизмеримо больше «силы, свежести, непосредственности, закаленности, искренности».

Эти новые качества принес наш народ в научное и художественное творчество.

Достижения научной мысли, технического прогресса и художественного творчества укрепляют мощь Советской страны, ускоряют ее историческое движение. Эта деятельность заслуживает высокой поддержки и поощрения. Правительство в ознаменование шестидесятилетия со дня рождения товарища Сталина учредило государственные премии за выдающиеся ра-

боты в области науки и искусства, за выдающиеся изобретения и достижения в области военных знаний. Присуждение Сталинских премий за лучшие работы последних шести-семи лет превратилось в грандиозный праздник социалистической культуры.

Чествуя лауреатов Сталинской премии, венчая лаврами лучших своих ученых, изобретателей и художников, Советская страна подводит итоги развития науки, техники и искусства за последние годы, отмеченные бурными успехами культурной революции. «С точки зрения культурного развития народа, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — отчетный период был поистине периодом культурной революции».

В свое время В. И. Ленин писал, что для того, чтобы сделать великие произведения Льва Толстого истинным достоянием народа, нужен социалистический переворот. И действительно, одним из первых актов победившей революции был знаменитый ленинский декрет о монополизации всех изданий классиков. Это были только первые шаги культурной революции. Сегодня нас уже не удивляют миллионные тиражи книг политической, научной и художественной литературы. Мы привыкли к большому количеству изданий и не всегда отдаем себе отчет в значительности некоторых цифр.

Приведем такие факты.

По сведениям Всесоюзной книжной палаты, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» переиздавался 86 раз, общим тиражом 4 млн. 725 тысяч экземпляров. Роман Алексея Толстого «Петр I» выдержал 46 изданий, тиражом в 1 250 тысяч. Не менее показательное количество отпечатанных копий наиболее популярных кинокартин. Фильмы «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» размножены в количестве 3 700 экземпляров. «Чапаев» насчитывает 2 600 копий. В десятках и сотнях тысяч экземпляров изданы репродукции лучших произведений советской живописи (например, картина А. М. Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле» — в количестве 275 тысяч). Аналогичные явления мы наблюдаем и в области театрального искусства.

Владимир Ильич Ленин говорил о том, что искусство принадлежит народу. «Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их». Ленинские слова эти написаны на знаменах советского искусства. Этими мыслями руководятся наши писатели и живописцы, зодчие и ваятели, актеры и музыканты. Уважением, любовью отвечает народ своим художникам.

Наука в Советском Союзе призвана служить переустройству мира. Поэтому она не может не быть той наукой, которая всегда дерзает и неустанно стремится все к новым и новым вершинам мысли. Наши ученые должны быть подлинными творцами, новаторами. На приеме работников высшей школы товарищ Сталин провозгласил здравицу таким ученым и такой науке. «За процветание науки, той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки».

Лауреаты Сталинской премии — носители лучших черт советской научной мысли и деятельности. Мы видим здесь и физиков, и математиков, и

химиков, и биологов, и работников технических наук, медицинских наук. Но всех этих деятелей науки, вне зависимости от характера их тематики и особенностей их дисциплин, объединяет общее стремление служить делу социализма, служить народу, отдать все свои силы любимой родине. Звание лауреата Сталинской премии — это высокое и почетное звание. Оно дается тем, кто является новатором советской науки, тем, чьи открытия двигают вперед промышленность, сельское хозяйство, оборону страны.

Профессор П. А. Гельвих дал ряд блестящих трудов по теории стрельбы и попадания. В 1940 году он закончил работу «Стрельба по быстро движущимся целям». Значение таких трудов общепонятно. Велики достижения еще сравнительно молодого, но уже имеющего мировое имя ученого, академика П. А. Капицы. Его последнее изобретение — особый аппарат, позволяющий получать дешевый кислород в больших количествах. Лауреатами первой степени являются также и академик А. Н. Крылов, старейший русский кораблестроитель, создатель ряда важнейших теорий сооружения боевых судов, и старейший русский химик, академик А. Н. Бах, вырастивший целое поколение ученых, и академик А. Н. Фрумкин, давший ряд важнейших исследований электрохимических процессов, и много других больших ученых, сделавших огромный вклад в сокровищницу советской физики, математики, техники, химии...

Кому не знакомо имя смелого экспериментатора, истинного революционера сельскохозяйственной науки, академика Т. Д. Лысенко?! Он получил премию первой степени за работы по летним посадкам картофеля и посадкам картофеля свежесобранными клубнями.

Кто не знает чудесного доктора, академика В. П. Филатова, возвратившего многим людям утерянное ими зрение! А разве не заслуживают награды работники Всесоюзного института экспериментальной медицины им. Горького, которые открыли возбудителей «весенне-летнего и осеннего энцефалита», разработали и успешно применили методы лечения этого заболевания?

Бурно растет изобретательская мысль Советской страны. На заводы и фабрики несут изобретатели итог своего труда и таланта, и новые станки, новые аппараты, новые материалы украшают продукцию нашей промышленности.

Метод и аппаратуру скоростной автоматической электросварки разработал Е. О. Патон. Производство нужнейшего металла, незаменимого при изготовлении изнашиваемых инструментов, наладила группа научных работников во главе с профессором М. Н. Соболевым. И отныне феррованадий, который до последнего времени импортировался из-за границы, производится в достаточном количестве у нас на родине. Три молодых инженера Наркомата угольной промышленности — В. А. Матвеев, П. В. Скафа и Д. И. Филиппов — разработали метод подземной газификации углей.

Этот перечень лауреатов Сталинской премии, удостоившихся премий первой степени за выдающиеся изобретения, можно было бы продолжить. Однако уже и сейчас очевидно, какой эффект для развития социалистической промышленности дают все эти оригинальные достижения технической мысли.

В числе изобретателей, получивших премию первой степени, мы видим также и широко известных деятелей нашей оборонной промышленности, создателей нового боевого вооружения Красной армии. В то время как за пределами советской земли пылают пожары второй империалистической войны, в нашей стране торжествует мирный социалистический труд. Но заботы об укреплении обороноспособности отечества не оставляют наш на-

род. И советская наука, и техника с упорством и энергией содействуют боевому оснащению нашей великой армии.

Огромный вклад в дело обороны внесли герои социалистического труда, лауреаты Сталинской премии: В. Г. Грабин, неутомимо разрабатывающий новые типы артиллерийского вооружения, В. А. Дегтярев, старейший создатель русского стрелкового оружия, В. Я. Климов и А. А. Микулин — творцы новых конструкций авиационных моторов, Ф. В. Токарев, неустанно работающий над совершенствованием вооружения бойцов Красной армии.

Наша авиация должна обладать стремительностью полета, наши танки должны быть неуязвимы, быстроходны; наша артиллерия должна стрелять метким и точным уничтожающим огнем. Над осуществлением этих задач неутомимо работают ученые и изобретатели, и плоды их труда уже дают нужные результаты. «Особенное удовлетворение, — пишет Герой социалистического труда В. Грабин, — я и работающий под моим руководством коллектив испытали тогда, когда узнали, что пушки нашей конструкции оставили о себе долгую память у тех, кто слышал их внушительный гул, испытал меткость и силу их огня».

Как в Академии Наук и в исследовательских институтах, так и в фабричных лабораториях и заводских цехах неустанно бьется живая творческая мысль. Великий русский физиолог Павлов сказал как-то: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему отечеству». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом не только к трудам самого Павлова, но и к научным исследованиям и техническим изобретениям лучших деятелей советской культуры.

Советская страна любит и ценит литературу и искусство. Уже самые первые государственные акты советской власти были посвящены охране лучших ценностей классического художественного наследия и развитию нового социалистического искусства. В 1918 году Ленин лично подписывает ряд декретов: о национализации Третьяковской галереи (6 июня), о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины (24 сентября), о национализации художественной галереи Щукина (5 ноября). Во всех этих важных документах мы видим неустанные заботы об искусстве, принадлежащем народу. Характерно, что в декрете о Третьяковской галерее сказано, что она является «по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительные функции». Этим же руководствовался В. И. Ленин, когда подписывал постановление Совета Народных Комиссаров об объединении театрального дела; этим же духом проникнуто известное решение ЦИК, согласно которому творения «корифеев литературы» должны перейти в собственность народа и стать доступными самым широким массам.

VIII съезд коммунистической партии в 1919 году закрепил все эти акты советского правительства в программе партии, в знаменитых словах о предоставлении народу сокровищ искусства. Вся эта широчайшая многообразная работа по пропаганде классического наследия непосредственным образом определяла характер и направление мощного роста художественных сил народа.

В беседе с Кларой Цеткин В. И. Ленин говорил: «Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру, это — хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим этого».

Владимир Ильич указывал, что на почве широкого народного образования должно вырасти действительно новое, «великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию».

Ленин звал художников на путь активного включения в строительство социалистического общества.

Добиваясь того, чтобы художественное творчество в Советской стране стало политически актуальным, Ленин выдвигает знаменитую идею монументальной пропаганды. Уместно напомнить, что еще 14 апреля 1918 года за подписью В. И. Ленина и И. В. Сталина публикуется декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». В этом декрете указывается на «необходимость мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов новых памятников, отражающих идеи и чувства революционной трудовой России».

Постановка скульптурных украшений на улицах и площадях городов, прикрепление к отдельным зданиям барельефов с изображением великих деятелей науки и культуры, установка памятных досок с изречениями величайших умов человечества, — все это должно было стать, по мысли Ленина, важным фактором развития нового искусства. И, действительно, этим преследовалась не только задача коммунистической пропаганды средствами искусства, но и стремление приобщить наиболее талантливых художников к работе над значительными темами. Это должно было повысить идейность творчества живописцев и ваятелей, приблизить их к коммунистической партии, к ее идеалам.

Наши рабочие и крестьяне, — говорил В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин, — «...получили право на настоящее великое искусство». Именно такое искусство стремятся создавать наши лучшие художники. Сейчас мы являемся свидетелями бурного расцвета искусства, роста художественной культуры народа, роста эстетических запросов масс. Наша музыка, живопись, скульптура и архитектура, наш театр и наша литература стремятся ответить на эти возросшие требования своего народа созданием подлинно значительных, совершенных эстетических ценностей.

Идеалы коммунизма одухотворяют деятельность наших художников. При всем разнообразии жанров, видов и форм творчества наших писателей, живописцев, актеров все их создания, как и достижения деятелей науки и техники, призваны служить одному делу — делу коммунистического переустройства мира. Высокий патриотизм воодушевляет наших художников. Они полны любви и уважения к народу, когда создают образы его героев.

Все виды художественного творчества представлены в постановлении Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы». Мы видим здесь и крупнейших наших композиторов, талантливейших живописцев и архитекторов, любимых драматических актеров и оперных певцов, прекрасных артистов балета, широко известных деятелей кинематографии и лучших представителей всех жанров нашей литературы: прозы, поэзии, драматургии и критики.

Художники различных поколений получили почетное звание лауреатов Сталинской премии. Тут и старейший наш композитор Н. Я. Мясковский, и молодой Д. Д. Шостакович. Художники различных творческих исканий получили поощрение своей творческой деятельности. Тут и представительница классического балета Г. С. Уланова, и блестящая исполнительница народных танцев Тамара Ханум.

Широкие массы зрителей прекрасно знают и ценят большое дарование наших лучших драматических актеров: А. К. Тарасовой, А. А. Хоравы, Н. П. Хмелева, М. И. Бабановой...

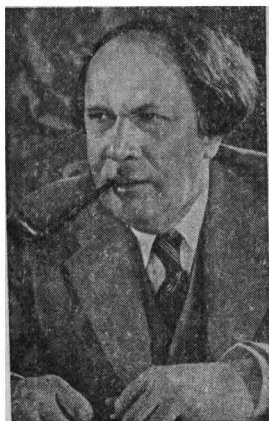
Кто, хотя бы раз увидев на сцене Художественного театра талантливейшего Н. П. Хмелева, забудет созданный им образ? А ведь позволительно напомнить, что Хмелев — актер, целиком сформировавшийся в нашу эпоху. Выросший в семье рабочего паровозостроительного цеха Сормовского завода, Хмелев лишь в августе 1919 года поступил в школу Художественного театра. Сейчас он знаменитый актер. Хмелев — Каренин, Хмелев — царь Федор Иоаннович — величайшие достижения советского драматического театра.

Весьма богата выдающимися дарованиями наша оперная сцена. Развивая традиции русской музыкальной классики, наши вокалисты подняли свое искусство на большую художественную высоту. Такие певцы, как В. В. Барсова, М. О. Рейзен, И. С. Козловский, несомненно, принадлежат к числу лучших оперных актеров нашей страны. Вспомним монументальный образ народного героя, созданный М. О. Рейзеном в «Иване Сусанине» Глинки. Вспомним ряд сценических образов, созданных Козловским. Не только в партиях Ленского или Лоэнгрина, но и в исполнении незначительной роли юродивого из «Бориса Годунова» Козловский безраздельно завладевает зрительным залом. Высоких похвал заслуживает дарование Барсовой. И на оперной сцене, и на концертной эстраде, и в роли Антониды или Виолетты, и во время исполнения какого-либо романса певица неизменно демонстрирует мастерство, большую культуру. Такие художники составляют украшение советского театра.

Весьма значительны успехи нашей живописи. Внимание любого посетителя выставки лучших произведений советских художников, открытой в Третьяковской галлерее, всегда привлекают картины А. М. Герасимова, Б. В. Иогансона, М. В. Нестерова. Надолго останавливаешься перед полотнами Б. В. Иогансона «Допрос коммунистов» и «На старом Уральском заводе». Эти вещи поражают не только превосходным колоритом, но и драматизмом ситуаций, которые мастерски рисует художник. Тема столкновения двух миров раскрыта в обеих картинах психологически углубленно. Это относится в особенности ко второму полотну художника, которое рельефно воссоздает фигуру властного хозяина-заводчика и противопоставленного ему, насыщенного большой внутренней силой рабочего-кузнеца. Исключительно интересны портреты академика Павлова и скульптора Мухиной, созданные М. В. Нестеровым. Велики достижения и нашей архитектуры и скульптуры.

Особенно значительны успехи нашей кинематографии. Всенародно известный фильм «Чапаев» за семь лет своего победного шествия по экранам снискал любовь миллионов не только в нашей стране, но и за ее рубежами. Легендарный образ героического начдива стал благодаря этому шедевру кинематографии родным и близким всякому советскому человеку. Необычайно популярен в среде молодежи и Максим — герой трилогии, поставленной режиссерами Козинцевым и Траубергом. Нужно ли напоминать о художественном значении картин «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Образ Владимира Ильича, созданный Б. В. Щукиным, является собой большое достижение сценического и кинематографического искусства. Много других прекрасных картин дали советскому зрителю наши талантливые режиссеры, кинодраматурги, актеры и операторы. Их имена заслуженно красуются в числе лауреатов, награжденных правительством.

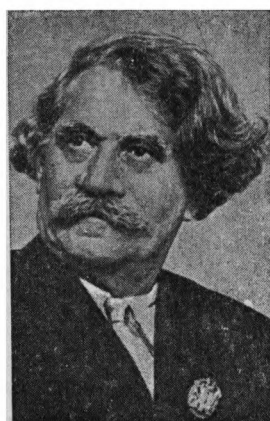
Истекшие годы были ознаменованы и успехами нашей литературы. А. Н. Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский и М. А. Шолохов сделали за это



А. Н. Толстой



М. А. Шолохов



С. Н. Сергеев-Ценский



Н. Н. Асеев



И. Д. Купала



П. Г. Тычина



А. Е. Корнейчук



К. А. Тренев



Н. Ф. Погдин

время, несомненно, значительные вклады в сокровищницу художественной прозы. Такие романы, как «Петр I», «Севастопольская страда» и «Тихий Дон» свидетельствуют не только о дарованиях их авторов и об умении правдиво изображать жизнь, они свидетельствуют и о высокой идейной убежденности художников, об их преданности своей родине, своему народу.

Начав свою творческую деятельность еще до революции, А. Толстой получил действительное народное признание только в пооктябрьскую эпоху. Социалистическая революция вдохновила его на те большие полотна, которые были созданы за последние два десятилетия. И в трилогии «Хожение по мукам», которую заканчивает сейчас писатель, и в романе «Петр I» полностью сказалось то новое, что дали социалистические идеи талантливому мастеру прозы. Неслучайно так высоко ценил А. Толстого М. Горький. Он писал о «Петре I», как о первом в нашей литературе историческом романе. «Книга — надолго» — сказал Горький, и, действительно, роман А. Толстого будет жить долго.

Патриотической эпопеей является трехтомный роман С. Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». И этому большому мастеру художественной прозы дал высокую оценку Алексей Максимович Горький. Он писал еще в 1912 году, что Ценский — это «самое крупное, интересное и надежное лицо во всей современной литературе». «Севастопольская страда» показала основательность суждения Горького. Этот монументальный роман, посвященный героической войне русского народа против иноземных врагов, говорит о большом и зрелом мастерстве художника-реалиста. Грандиозное эпическое полотно Сергеева-Ценского рисует не только Севастополь и его оборону в 1854—55 годах, но и жизнь всей России в эту эпоху, в ее самых существенных явлениях. Образы патриотов-командиров — Нахимова, Корнилова, Тотлебена, образы солдат и моряков — характеризуют умение писателя правдиво лепить характеры. Роман «Севастопольская страда» — произведение, достойно украшенное премией первой степени.

Нужно ли говорить о «Тихом Доне», о романе, который известен миллионам, о его героях, судьбы которых волнуют каждого читателя?! Если Толстой и Сергеев-Ценский — представители старшего поколения советской литературы, то Михаил Шолохов — сын послеоктябрьской эпохи, и все его творчество пронизано ее пафосом. Шолохов — исключительно сильный, правдивый и мужественный художник. Это один из выдающихся творцов советской художественной классики.

Сталинские премии присуждены также за лучшие произведения поэзии и драматургии. Мы видим здесь и автора поэмы «Маяковский начинается» Н. Н. Асеева, и белорусского поэта Купалу, и украинского поэта Тычину, и народного певца Казахстана Джамбула Джабаева, и грузинского поэта Леонидзе... Все они представляют богатство многонациональной поэзии народов СССР.

Среди награжденных драматургов заслуженное место принадлежит К. А. Треневу — автору пьесы, которая уже много лет не сходит со сцены наших театров. «Любовь Яровая» снискала К. А. Треневу заслуженное уважение и любовь зрителей. Широко известны и талантливые драматические произведения А. Е. Корнейчука и Н. Ф. Погодина.

Сталинские премии присуждены. Народ увенчал лаврами своих художников. Однако не в традициях большевиков успокаиваться на достигнутых успехах. Это понимают сами лауреаты Сталинской премии, которые в письме «Служим Советскому Союзу», опубликованном в «Известиях», указывают: «Присуждение Сталинской премии — не только оценка, но и

акт величайшего доверия. Это обязывает. Как бы ни был велик успех, выпавший на нашу долю, голова у нас не закружится. Нет, на достигнутом мы не остановимся. Получая из рук страны высокую награду, мы все-народно обещаем работать еще более плодотворно. Творческое соревнование продолжается. Мы призываем всю советскую интеллигенцию принять в нем самое деятельное участие, чтобы еще пышнее расцветала советская передовая наука, чтобы не по дням, а по часам крепла оборонная мощь нашей родины, чтобы еще более светлым и радующим стало наше искусство, призванное воспеть и прославить величие и победу коммунистических идей».

Новые грандиозные задачи стоят перед деятелями науки, техники и искусства. Тысяча девятьсот сорок первый год должен быть годом еще более высокого подъема культурной революции. Задачи, поставленные перед страной XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б), обязывают всех людей творческого труда к еще более напряженной, более интенсивной деятельности. Для того чтобы удовлетворить все возрастающие требования народа, нужно творить смело, нужно искать новые пути, всегда памятуя, что весь смысл нашей жизни и борьбы — в стремлении быть полезными своей родине, своему народу.

Следует отметить, что по разделам историко-филологических наук и литературной критики (за исключением И. Грабаря) премии не были присуждены. Это серьезное напоминание, которое должно быть учтено литературоведами и критиками. Литературная критика и историко-литературная наука все еще плохо выполняют стоящие перед ними задачи. Будем надеяться, что наши литературоведы и критики сделают соответствующие выводы.

Советская наука, техника и искусство завоюют новые высоты. Поручкой этому могут служить те грандиозные творческие силы, которыми богат наш народ. Прекрасно сказал об этом еще в 1918 году В. И. Ленин: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средство насилия, в средство эксплуатации. Мы это знаем, — и разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил? И трудящиеся совершат эту титаническую историческую работу, ибо в них заложены дремлющие великие силы революции, возрождения и обновления».

Из письма строителей Новопамирской дороги товарищу Сталину

★

Слух о Фергане дошел до нас, —
О канале слушали рассказ,
Люди в Гарме слушали рассказ,
В Бадахшане слушали рассказ...
— Близок час величия людей! —
Зашумели Гарм, Рушан, Дарваз.

Время богатырствовать пришло,
Силу на земле теряет зло,
Тяжесть потерял тяжелый труд,
Темное становится светло!

Человек — земное существо —
Для себя готовит торжество.
Только бы теперь не пропустить
Время богатырства своего!

Слух о Фергане дошел до нас:
В дальнем Ванче слушали рассказ...
В маленьком памирском кишлаке
Маленькая песня родилась;

Птица бирюзового пера —
Песенка, рожденная вчера,
Песенка строителя дорог
Вьет себе гнездо в Тавиль-дара:
«Побеждая времени закон,
Слабости людской наперекор —
Каменные горы покорять
Выйдем на работу, рафикон! ¹»

Сталин, самый лучший из людей,
Честь и слава мудрости твоей.
Голос твой у каждого в груди,
Словно совесть, говорит: «Иди,
Будь бойцом и мужем, — человек,

Ты народу нужен, — человек!
Много есть сокровищ на земле, —
Краше всех жемчужин — человек»

Даже старец, мужеством богат,
Шьет в дорогу праздничный халат.
Временно бросая кишлаки,
Трогался народ за рядом ряд...

Бог благоустроить мир не мог:
Что ни шаг, — ошибка и порок.
О, Дарваза каменный отвес,
Где от века не было дорог!

Ванч непроходим и знаменит:
Страшные предания хранит...
Слава человеческим рукам!
Славьтесь, лом, кирка и аммонит!

На веревках — пропасть глубока —
Мы спускались — час или века?
Не хотели поднятыми быть,
Путь наверх не вырубим пока!

Будто врос в отвесную скалу,
Будто бы, впечатанный в смолу,
Высоко работал человек,
Пот катился по его челу.

Сыпалась порода из-под ног
По наклону в бешеный поток,
Камни сверху сыпались дождем, —
Так мы пробивались на Хорог.

Скалам, ставшим поперек путей,
Скалам, ненавидевшим людей,
Хитростью подсунуть аммонит —
И спастись надо поскорей...

¹ Рафик — товарищ (множ. — рафикон).

Это невозможно рассказать!
 Кончишь песню — и начнешь опять.
 Силой богатырского труда
 Брали мы в борьбе за пядью пядь.

По тропе, крутящейся в пыли,
 С осторожностью вертя рули,
 Первые джигиты-шофера
 Первые машины провели.

Следом появились и легли
 Странные исчадия земли:
 Знали мы название «верблюды»,
 Встретиться дотоле не могли!

Есть и поновее чудеса:
 С пламенем цветущим примуса,
 Гвозди, керосин и топоры —
 Дивное удобство и краса!

Спичек драгоценных коробки
 К Ванчу повезли грузовики:
 Раньше пламя в глиняных горшках
 По годам хранили кишлаки...

Раньше песня грустная была:
 «Милый. На пути стоит скала.
 Нет к тебе дороги, нет пути...
 О, любовь сожгла меня дотла!..»

А теперь запела молодежь:
 «Горный путь свободен и хорош.
 Сбросил я разлучницу-скалу, —
 Скоро, скоро ты ко мне придешь!»

Взломана, открыта с этих пор
 Старая темница наших гор.
 Едут к нам любовь и красота,
 Выйдут наши дети на простор!

Сталин! Славятся твои дела,
 Справедливости твоей — хвала!
 Наше слово мы сказать хотим, —
 Справедливости твоей — хвала.

Путь широкий проложили мы,
 Крепкие мосты сложили мы;
 Собственным трудом, а не чужим
 Уваженье заслужили мы.

Не валялись на паласе мы, —
 Просим в Гарме и в Дарвазе мы:
 Пусть работают на свете все,
 Как работали на трассе мы!

Мы детей своих учить хотим,
 Книжки жизни получить хотим, —
 Час величия людей пришел! —
 Детям землю поручить хотим.

Пусть учиться помогают им,
 Пусть наука привыкает к ним.
 Все, что ты о жизни говоришь,
 Пусть подробно излагают им!

В самых дальних местностях давно
 Людям хочется иметь кино, —
 Счастье видеть Ленина живым
 Много раз пусть будет им дано!

Мудрые труды понять хотим!
 Свежие сады поднять хотим!
 Звезды электричества создать, —
 Силу у воды отнять хотим!
 Время богатырствовать пришло!
 Темное становится светло!

Сталин, величайший из людей,
 Помыслами нашими владей!
 Слава от строителей дорог
 Другу — Пролагателю Путей!

Письмо принято и утверждено на митинге строителей Ново-
 памирской дороги; присутствовали 22 000 рабочих, служащих
 и инженерно-технических работников.

Записал Турсун-Зода
 Русский перевод А. Адалис

Горемыка Павел

Повесть

М. ГОРЬКИЙ

★

«Горемыка Павел» был написан А. М. Горьким около полу столетия тому назад — в 1894 году.

Тогда же автор опубликовал эту повесть в нижегородской газете «Волгарь». Она, в количестве двадцати пяти «подвалов», печаталась здесь на протяжении четырех месяцев. Библиографические сведения о «Горемыке Павле» появились еще свыше десяти лет назад (см. перечень А. Свободова в сборнике: «М. Горький в Нижнем-Новгороде». Н.-Н. 1928).

«Горемыка Павел» был тогда только двенадцатым печатным произведением Горького вообще; притом, из этих вещей Горький — взыскательный к себе художник — впоследствии включил в собрание своих сочинений лишь четыре: «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины» и «Дед Архип и Ленька». Таким образом, «Горемыка Павел» является первым крупным по объему произведением Горького и первую же его повестью.

С тех пор, однако, текст «Горемыки Павла» никогда более не воспроизводился.

Правда, сам Горький затем вновь обратился к повести, намереваясь, повидимому, включить ее в очередной свой сборник или собрание сочинений либо, может быть, выпустить даже отдельным изданием. Первопечатная газетная редакция «Горемыки Павла» была перекопирована на пишущей машинке — всего 112 страниц; автор принялся за переработку текста. Прежде всего, перечеркнуто было заглавие: возможно, что в газете оно было не автентичным, и Горький хотел переименовать повесть, но нового названия им дано не было. Далее, четыре первых листа подверглись довольно значительным коррективам; наконец, на протяжении последующих страниц — до 22-й — также имеются следы авторской руки, но они ограничились лишь исправлениями чисто стилистического характера. На этом правка текста была приостановлена. Об этих авторских исправлениях дает представление публикация первых страниц оригинала в «Описании рукописей Горького», вып. 1, М.—Л., изд. Академии Наук СССР, 1936, стр. 41—45.

Ниже и воспроизводится эта повесть Горького.

С. Брейбург

★

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоراضно скрылись во тьме ночной, очевидно не ощущая в своих сердцах ни гор-

дости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение, — если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать свое дитя на

попечение общества. — а что они решили именно так, на это указывало припиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещен, зовут Павлом», — последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и все сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завернутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул ее изо рта языком и издал некоторый звук, почти-что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская, — темная и довольно свежая, — чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья березы; из них уже было много желтых листьев, и не мало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой — очень часто — они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажным и полным густых испарений, — днем шел дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахrome лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил ее в рот и стал сосать все еще молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю а ргиог, сам я сему свидетелем не был; это видел только небо, темное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звездами и, как всегда, холодно-равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; все это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моем месте, сделал бы, я твердо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго; через полчаса к нему подошел человек, плотно закутанный во что-то делавшее его похожим на большойдвигающийся пень, — подошел, наклонился и, густо прогудев над ним «ах, подлые», ожесточенно плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным рокошущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.

— Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича тре-

тий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и... опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горячайшим пьяницей и горячим приверженцем трехэтажной эрудиции.

— Тащи его в часть!

Это приказание было дано околочным надзирателем Карпенко, первым Дон-Жуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, — и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понес было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щечку ребенка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щелкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобрать, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определенного.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая черная борода трянулась и отодвинулась к ушам — и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!..», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

— Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!.. — как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарем, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо

рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

— Не хочешь, значит? Ах ты... комар!

Но тут «комар», очевидно, убежденный, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза — от недоумения или от того, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дернул соску вон и затем озабоченно и пристально всмотрелся в лицо ребенка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

— Чши-и... чши-и... — зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребенком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребенок кашлял все громче.

— Эх ты, братец ты мой! — сокрушено вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам ее мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то черную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростертых над ней и улыбавшихся ей живыми трепещущими лучами своих ярких звезд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса темных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь, — прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдаленные небеса.

— Пакость!..

Резюмировав столь красноречиво все происшедшее, он встал с тумбочки и

пошел по улице к городу, потряхивая ребенка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шел он, поворачивая из улицы в улицу, долго и очевидно весь путь был отягчаем какими-то особыми, необыденными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую, извивались, — и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди площади, и Арефий уже прошел часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

— Спит! — прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребенка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость ее. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит. А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребенок погибнет, ибо он спит.

— Эх ты, братец! — укоризненно произнес Арефий, входя под своды части.

— Ты откуда? — спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.

— С поста.

— Это чево? — ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.

— Тише ты, чорт! ищо ребенок.

— Ишь их, дьяволиц, порет!

— Дежурный кто?

— Гоголев.

— Спит?

— Дрыхнет!

— А тетка Марья тоже дрыхнет?

— И она спит. Чего же ей не спать?

— У-гу! Это верно!.. — протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.

— Скоро сменюсь я, и тоже спать! — заметил собрат и хотел уйти.

— Погоди-ка, Михайло! — дернул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал:

— Ежели его теперь к тетке Марье, ты как?

— Больно ей нужно! — скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла. — Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.

— Да ведь только на одну ночь! — убедительно заявил Арефий.

— Да мне что ж? Только она, уж верно, пошлет к чорту. Давай их понесу.

Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михайлу и на цыпочках пошел за ним по коридору, внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжелыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.

— Ну, я подожду! — шопотом заявил Арефий.

Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.

Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание бороды, ни тем паче ковыряние стеной штукатурки пальцем.

За дверью слышалось глухое ворчанье.

— Обругалась, а взяла! — отворяя дверь, произнес Михайло и почему-то изобразил на своем бритом лице торжество победителя.

— Ну, вот!—свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

— Прощай, брат! иду на пост.

— Валяй! — равнодушно ответил Михайло и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготовляя себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипали к каменным плитам. Так простоял он несколько минут, и, наконец, в коридоре, скудно освещенном керосиновой лампой, произошел следующий диалог:

— Михайло?!

— Ну, еще что?

— Ты его завтра сдашь?

— Ребенка, что ли? Ну, конечно, сдам.

— В родильный?

— Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ерзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и темные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими, равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин...

— Умрет он там!—буркнул Арефий.

— Ребенок-то? Наверно, умрет. Они там редко не умирают: потому — чистота, порядок...

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил свое мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял еще немного и отправился на свой пост.

Он пришел туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помещалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдаленной от всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это не рождало в нем никаких особенных дум,

ощущений, а сегодня — родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая сутулая фигура слилась с их темным фоном.

Он думал. Это были тяжелые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они, наконец, оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда, наконец, разрешил этот вопрос суровым и тяжелым «нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнес: «Анафемы подлые!»

Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стеклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными, смеющимися глазами странного чудовища с острой зеленой головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причем кусты бузины, взползавшие на крышу, можно было принять за растрепанные кудри; а щели над дверью будки — за морщины на веселом, улыбавшемся челе чудовища.

В 12 часов дня он сидел у тетки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелеными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукавами. Каждое ее движение было целой поэмой боевой, жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тетки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество прорывалось все-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублен в гимнастические упражнения, улавливая свою ногу

руками и потом стараясь втащить ее в рот. Красная пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на нее, испускал одобрительные звуки.

— Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним?—заговорила Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фартуком. — Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребенок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

— А ежели уморит?

— Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то?—дразнилась Марья.

— Чего?.. баба, ну и...

— И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней — и все. Вот, мол, тайный сын N-ра 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны, как ты? баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертогонов, на ноги-то ставит? У... горница тупоголовая!.. говорит еще про чего-то!

— Ну, а ты все-таки не того... не лай!—резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тетки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

— Еще чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей. Али с вами иначе как можно? Еще дуть вас нужно бы ежечасно!

— Да, ладно... Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать, елико возможно крепче, задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя все более тяжело.

— Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

— Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И, наконец, после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелицеприятных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно строя

пая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку, за печку, за полог постели, покрикивая в окна на кур и снова возвращаясь к ребятам, то-и-дело высовывавшим головы и подававшим голоса из разных углов, — Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

— Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол: ребеночка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперед отдам Китаевой старухе, да с рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники... ну, и другое. А потом — пошел в болото! надоел, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тетке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом, и формой на дряблую редьку, ее подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим, тонким голосом и через два слова в третье беспокоила того или другого из угодников божьих, к стати и не к стати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тетка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила все это внушительной фразой:

— Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! — и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комочек, низко кланяясь тетке Марье, и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шопотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

— Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для кого как, а уж для вас...—и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить все то, на что она способна.

— То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел все молчал, лежа на лавке. Он только тогда неодобрительно промышчал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно: «Господи, благослови!», а потом снова умолк, полный непонятного равнодушия к своей судьбе, и молчал уже все время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожу щек. Он заревел.

— Ишь, постреленок! Там молчал, смиренным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и еще одного взяла; теперь стало пятеро. Маяты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься и с голода не умрешь.

Последние дни и ночи ее жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минуты покоя и отдыха... О, господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стекла окон — в аппартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что они сморщились и побледили от густого запаха аммиака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопченными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской, — по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рванью, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через открытую дверь, обитую чем-то имеющим отдаленное сходство с темнозеленой клеенкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью;

прямо против двери стоял стол и на нем самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зеленый, пораненный во многих местах, инвалидно искривленный набок и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах ничего нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да воркотни самовара, не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в темный угол к двери: там на лавке, в куче грязных тряпок, копошится нечто живое. Видна нога, искривленная в дугу и поднятая на воздух, и, внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и еще одной, такой же кривой, сухой и зеленой, — полуторагодовалый ребенок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблему, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно болел душой.

Он целые дни лежал тут, в углу, и, поднимая вверх то ту, то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьезным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей, — рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые десны и покрытый желтым налетом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались подмышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколо-

ток. Иногда изучение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он все с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отраженного ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что все, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близком будущем предстоит переселиться с земли в землю,—он отводил свои серьезные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем все остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уже девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой анемичной и сутулой девушки-швейки, и нашла ее еле живой, лежащей на койке.

— Что же, матушка,—сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь,—родить-то родила, а кормить сила не взяла? Не порядок! Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своем горбу неситы. Денежки пожалуй, а то ребенка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них выразилось много скорби и ужаса.

— Бабушка! — сдавленным шопотом заговорила она, — заплачу! Все до копейки, до гроша заплачу. С живой сдеру с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!.. Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня и его, бедного мальчика... а... а... а... пожалей!..

Старуха Китаева слушала ее стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слезы и как нервно, часто подымается впадая грудь матери горького Хрена.

— Ах вы, девки, девки! Блудни дев-

ки! Драть бы вас надо крепко, да! — внушительно проговорила она.

— Бабушка, эх!.. Любил ведь, жениться хотел!..

— Ну, это, матушка моя, песня старая. Слышала я ее раз тыщу.

Но старуха Китаева, видно, не только слышала, но и сама певала эту песню, ибо невероятно сморщилась, согнулась, закашлялась, подумала и, поцеловав больную, ушла, строго наказав ей выздороветь. Но та не послушалась ее и вскоре умерла, а Хрен остался на попечении старухи Китаевой и вскоре надоед ей. Тогда она отвела ему в пожизненное пользование угол и, утешаясь тем, что долго он все равно не протянет, успокоилась, поскольку могла.

Кроме Хрена, было еще четверо ребят. За троих платили аккуратно, четвертый собирал милостыню и сам с избытком оплачивал расходы на свое содержание. Это был шестилетний круглый, пухлый и розовый мальчуган Гурька-Мяч, отчаянный озорник и большой фаворит Китаевой.

— Вор ты будешь первостепенный, Гурька! — похваливала она его вечерами, когда он, возвращаясь «с мира», выкладывал из котомки, вместе с кусками хлеба, конфорки от самоваров, дверные ручки, гири, детские игрушки, подсвечники, маленькие сковородки и прочую мелочь.

Гурька весело взглядывал на нее бойкими серыми глазенками и подтверждал с полной уверенностью:

— Ух какой!.. Все буду воровать — и лошадей!

— А как тебя усобируют будочники? а? — ласково спрашивала Китаева.

— А я убегу! — не затруднялся Гурька.

Тогда старуха Китаева давала ему на лакомства семишник и отпускала гулять.

Остальные трое, в числе которых был и Панька, ничем особенно не отличались друг от друга и пока еще не успели нажить себе каких-либо определенных индивидуальных черт. Все они трое очень громко кричали, если их не кормили долго: то же они делали, если их окармливали; они кричали и тогда, когда их забывали напоить, и тогда, ко-

гда им в глотки насильно вливали воду. Кричали они и еще по многим причинам, но никогда эти причины, и все вместе, и тем более каждая порознь, не казались старухе Китаевой достаточно уважительными, и она кричала на ребят гораздо усерднее, чем все они. В общем, это были очень беспокойные ребята, требовавшие каждый день пищи, питья, сухих пеленок, воздуха и прочих вещей, на которые они едва ли еще могли иметь право, ибо ведь еще не жили, а только собирались жить. Придерживаясь такой утилитарной точки зрения, старуха Китаева не очень ублажала их, очевидно, желая, чтоб они были более самостоятельны и умели сами себе добывать все нужное для покоя тела и души.

День у старухи Китаевой / начинался так:

Первым из пятерых просыпался Гурька-Мяч, спавший в комнате старухи Китаевой, отдельно от четырех его совоспитанников. Просыпаясь, он тотчас же соскакивал с своей кровати, сделанной из ящичков, и, порывшись у себя под подушкой, вытаскивал оттуда длинное петушиное перо.

С ним он на цыпочках пробирался в детскую, осторожно, без скрипа отворял дверь и, так же осторожно ступая по полу, — который летом, высыхая, издавал ноющие звуки, а зимой глухо стучал половицей о половицу, — прокрадывался к одному из ребят, обыкновенно еще спавших. Склонясь над ним, он начинал щекотать ему пером в носу. Ребенок вертел головой из стороны в сторону, — потом смешно морщился и тер нос кулачками, а Гурька, еле удерживаясь от смеха, надутый, как пузырь, и красный, продолжал свое веселое дело. Наконец ребенок просыпался и начинал орать благим матом, вскоре другой и третий ему дружно вторили и подтягивали, а Гурька кричал во всю мочь «бабушка!» и, бегая от одного к другому, шипел над ними по-змеинному, строил им рожи, дул им в ноздри холодным воздухом и, вообще, забавлялся, как бог на душу положит.

Подымался диковинный по силе и отсутствию гармонии концерт. Ребята

кашляли, чихали, выли, захлебывались и кричали, кричали так, точно их жарили на сковороде.

К серьезному Хрену, уже принявшемуся за исследование своих уродливых ног, Гурька никогда не подходил, он боялся его сосредоточенно-вдумчивых глаз. Раз как-то, когда Гурька подошел к нему с намерением включить и его в круг своих операций, эти глаза остановились на лице Гурьки с таким выражением, точно это смотрел не ребенок, а один из полицейских, которых Гурька по многим причинам не мог любить и всегда, при встрече с ними, почтительно сторонился. Гурька убежал и больше не подступался к рахитику.

— Ох-хо-хо!.. Завыли!.. закавючили!.. заскрипели!.. Дуй вас горой!.. — и проснувшаяся старуха Китаева припоминала некий нецензурный эпитет, произнося его во множественном числе и множестве раз.

Гурька с серьезной миной на роже входил и, надувшись пузырем, тащил со стола самовар в сени, где и начинал тотчас оглушительно греметь. Вообще, этот веселый малый любил производить шум, и, чем грандиознее были размеры шума, тем счастливее он себя чувствовал.

Старуха Китаева нежно выбирала изпод ребят мокрые пеленки.

— Ну, кикимора! Ори!.. Зевай!.. Гнуси!.. У, лягва болотная!..

Дома она не произносила имен святых отцов и мучеников, считая самое себя мученицей и потому не призывая никого себе в помощь.

Ребята верещали, Гурька гремел и стучал, старуха Китаева ругалась, а другие жильцы дома и соседи просыпались, ибо из всего этого шума безошибочно выводили, что уже шесть часов утра.

Шум и рев продолжался часа два, пока старуха не успевала переменить пеленки, обмыть и накормить ребят. Затем она пила чай. Гурька уже давно попил, схватил котомку, сочинил из нее себе колпак, надел на голову и убежал «по-миру».

Попив чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор, где сажала в ящички,

доверху насыпанные сухим и мелким песком. Там ребята пеклись на солнце часа три, четыре до обеда, а старуха Китаева в это время стирала пеленки, шила, чинила, ругалась, кормила ребят и всячески «разрывалась на тыщу кусков», как она говаривала.

Иногда к ней заходила приятельница, две и три. Это были женщины разных возрастов и двух профессий: за одну сажали в тюрьму, а другая, рано или поздно, непременно приводила в больницу.

С приятельницами появлялась бутылочка, две и три; через некоторое время воздух и уши обитателей улицы резала жестокая песня об «изменщике-мерзавце» или о другой ерунде в этом роде. Еще через некоторое время раздавалась отборнейшая ругань, затем «караул!», а потом всякий, кто хотел, мог видеть, как старуху Китаеву приятельницы возят по земле за косы или как старуха Китаева и одна из ее приятельниц бьют вторую и третью, или вторая и третья усердно лупят их, — все равно, результатом драк всегда был сначала крепкий сон, а потом дружное примирение.

Ребята оставались бы во время всего этого одни и могли бы вполне свободно умереть с голода, предварительно разорвав себе криками легкие, но в момент, когда, утомленные боем, воинствующие приятельницы и их подруга засыпали, в темном углу двора открывалась низенькая дверь вросшей в землю хибарки, и на свет божий являлась дородная рябая женщина.

Она зевала, крестила рот, смотрела в небеса оловянными, ничего не выразившими глазами и, подходя к одному из ящичков с песком, вытаскивала из него ребенка. Затем грузно садилась в тот же песок и, медленно расстегивая ворот платья, совала голову ребенка себе за пазуху. Раздавалось жадное чмокание.

На лице дородной женщины не отражалось ничего, что позволяло бы наблюдателю вывести заключение о том, из каких побуждений она старается. Ее лицо было рябо, очень рябо и очень тупо, вот все, что было в ее лице в этот момент.

Покормив одного, она переходила к другому, к третьему и, наконец, шла в комнату к рахитику Хрену. Тут происходило нечто весьма интересное. Она брала его на руки и несла сначала к окну. Ребенок щурил глаза от падавшего в них солнечного света и поворачивал голову. Дородная женщина шла вон из комнаты, на двор, и, сев там на ящик с песком, предлагала ребенку молока. Он брал грудь и немного сосал, лениво чмокая губами, а она гладила его по зеленоватой головке и щекам. Потом, когда он кончал пить, она сажала его в песок и глубоко закапывала в него изломанное тельце рахитика, так что наверху оставалась одна его голова.

Это, очевидно, доставляло удовольствие Хрену; его глаза блестели чем-то новым, свежим, и сосредоточенное их выражение точно исчезало на время. Тогда дородная женщина улыбалась, но улыбка ничуть не красила ее рябого лица, а только делала его шире. Она долго возилась с ребенком и, когда замечала, что, согретый песком и солнцем, он дремлет, брала его на руки и молча качала. Это ему нравилось, он улыбался сквозь дрему, а она целовала его и несла туда, в комнату. Потом выходила вон, все с тем же деревянным лицом смотрела на ребят в песке, иногда, если они не спали, играла с ними, снова кормила их и исчезала в маленькую дверь хибарки, в углу двора. Оттуда она часто выглядывала, чуть-чуть приотворяя дверь, и если видела, что упоенная Китаева еще спит, а на дворе уже вечер, то снова выходила, брала ребят и укладывала их спать.

Не подумайте, что я рисую добрую фею, о нет! Она ведь была ряба, у нее были громадные отвислые груди и еще она была нема. Это просто жена одного пьяницы-слесаря. Однажды он стукнул ее по голове кулаком и так неудачно, что она откусила себе пол-языка. Сначала он был очень опечален этим, а потом стал звать ее немым уродом. Вот и все.

Так вот как жили воспитанники старухи Китаевой — летом, а зимой они жили только потому немного иначе, что сидели в песке не на дворе, а на печи. Песок старуха Китаева считала главным

фактором в деле физического воспитания и строила все его исключительно на песке.

Воспитание младенца Павла не отличалось ничем от воспитания его собратьев. Впрочем, иногда над ящиком с песком, в котором он сидел, склонялась большая черная голова, и черные глубокие глаза смотрели на него внимательно и долго.

Сначала Панька пугался этого явления, но постепенно привык к нему и даже настолько освоился с ним, что стал запускать свои ручонки в лохматую бороду, щекотавшую его, нисколько не пугаясь, когда из этой бороды прямо перед его носом сверкали крупные белые зубы и раздавалось глухое урчание. Иногда его вытаскивали из песка две могучие руки и качали в воздухе, высоко подбрасывая его маленькое тельце. Младенец Павел жмурился и молчал от страха, а когда его переставали качать, он ревел во все горло, а громадный черный человек, стоя перед ним, кричал:

— Эй, старуха! Али не слышишь?!

— Слышу, батюшка, слышу! — недовольно отзывалась Китаева и ползла откуда-нибудь к ним.

— Нишкни, о... о... о!.. Нишкни, миленький! У... у... у!.. а... а... а!..

— Ревут они у тебя... — гудел на дворе бас.

— Ревут, батюшка, ревут. Все ревут, все, как есть! — звенел иронический дребезжащий фальцет.

— Это оттого, что грязно.

— Грязно, батюшка, грязно. Очень грязно.

Бас недоумевающе урчал, а фальцет с торжеством покашливал.

— Лучше-то как нельзя? — возрождался бас.

— Можно, можно. Лучше, много лучше можно! — убедительно и насмешливо вновь звенел фальцет.

— Так ты что же?! — как бы угрожая, гудел бас.

— А ничего, родной, как есть, ничего. Старуха я старая, немощная, бедная, вот что. И все тут. И ничего больше! — покорялся фальцет.

Наступала пауза.

— Пш-чш-пши... и... и... и!.. Спи... и... и!.. Спи... и... и...! — шипело в воздухе.

— Ну, прощай. Смотри же! — спускался бас до октавы.

— Смотрю, батюшка, поглядываю, — тихо отзывался фальцет, и на этом разговор заменялся шумом удалявшихся тяжелых шагов.

Спустя после описанного четыре года в будке Арефия Гиблого появился ребенок Панька. Это было коротконогое и большоголобое существо, с исковерканным оспой лицом и темными, глубоко ушедшими в орбиты глазами.

Молчаливый и вечно разглядывавший что-то никому не видимое, ребенок Панька не нарушал своим присутствием в будке одинокой, установившейся жизни будочника, успевшего за эти четыре года нажить себе серебряные жилки седин в бороде и на голове, да еще более угрюмости и любви к книжкам о жизни святых угодников.

Дни Паньки текли равномерно и покойно. Рано поутру его будили птицы, начинавшие свой громкий разговор с первым лучом солнца. Панька открывал глаза и подолгу смотрел из своей постельки за печкой, как они прыгали в клетках с жердочки на жердочку, плескались в воде, клевали семя и пели, кто как умел, пели опьяняюще, задорно, но далеко не красиво. Веселое треньканье чижей, спутываясь с однообразным свистом щеглят и дополненное смешным скрипом важных снегирей, сливалось в странную, журчащую струю звуков, капризно бившуюся в маленькую, закопченную и тесную комнатку. Был еще скворец, хромой и молчаливый. Он один висел в большой проволочной клетке над окном и, уцепившись одной ногой за жердь, медленно покачивался из стороны в сторону, поворачивая голову то туда, то сюда, и вдруг испускал из горла тонкий, длинный свист, чем всегда приводил остальных птиц в молчаливое недоумение, продолжавшееся с минуту. Птицы вдруг прерывали свой нескладный концерт и оглядывались кругом, как бы желая вникнуть в смысл этого странного свиста, а сосед скворца

по клетке, генеральски солидный снегирь, вдруг приходил в какой-то раж и, надувшись, как мяч, с заершчавшимися красными перьями на груди, вытягивал голову по направлению к скворцу и как-то не по-птичьи начинал хрипеть, шипеть и биться в клетке, раскрывая тупой клюв и высовывая толстый язык. Но скворец уже снова не обращал ни на что внимания, покачивался на жерди и философски поводил головой из стороны в сторону. Его неподвижная черная монашеская фигура оживлялась только тогда, когда в клетку залезал таракан; но и тогда это оживление продолжалось не более двух, трех секунд. Во всем поведении скворца и, главное, в его свисте было что-то скептическое, глубокое, отрезывавшее других; этот свист раздавался среди голосов остальных птиц, точно веское слово умудренного опытом старика в хору пылких речей еще не жившей и оптимистически настроенной молодежи. Иногда он вдруг начинал прыгать в клетке, встряхивал крыльями, раскрывал клюв, ошпыливался, принимал важную, устойчивую позу, но... не свистел, а снова погружался в философское молчание, как бы находя, что он пришел еще время сделать то, что он хотел сделать, или как бы убедившись в том, что задуманное им деяние не может изменить существующего порядка вещей.

Паньке скворец нравился больше всех других птиц, потому что он находился в нем много сходства с тятьей Арефой. Тятя Арефа тоже любил скворца; он всегда у него первого чистил клетку и ему первому наливал свежее семя и воду.

Панька лежал утром в постели до той поры, пока с улицы не являлся тятя Арефа. Почему-то тятя Арефа не любил свою будку и большее время дня и ночи проводил вне ее. Тятя Арефа осторожно приотворял дверь, просовывал в нее свою черную голову и спрашивал:

— Проснулся?

— Проснулся! — отвечал Панька.

Тогда тятя входил в будку и начинал ставить самовар. Самовар был очень стар, весь обляпан грубыми, тусклыми

заплатами из олова и, вместо одной ручки, имел кусок лошадиной подковы, прикрепленный к его боку проволокой. Поставив самовар, Арефий принимался чистить клетки, мести пол, а когда самовар начинал тонко пищать, то командовал Паньке густым басом, более густым, чем он говорил обыкновенно, что происходило, очевидно, от желания сделать его мягче:

— Вставай, умывайся, молись богу!

Панька вставал, умывался, молился богу и делал все это ровно, спокойно, как взрослый и как глубоко убежденный в важности и необходимости всего этого, молча, с строго нахмуренной рождей, и эта мина, вместе с встречаемыми волосами и серьезно блиставшими глазами, делала его похожим на маленького крота, крепко озабоченного предстоящим трудовым днем. Потом, когда он, умытый, причесанный и под диктовку тяти Арефия прочитавший искусственно-глухим голосом утреннюю молитву, садился за стол перед уморительно курьезным самоваром, — он терял уже много дикой прелести и становился немногим смешным в своей молчаливой важности.

Чай пили молча, и молча же проводилась большая часть дня. После чая Арефа стряпал, то-есть зимой топил печь, наливал в горшок воды, сыпал туда овощи, клал кусок мяса и совал горшок в огонь прямо рукой, несмотря на то, что имел ухват, а летом разводил на дворике за будкой маленький костерик, пек в нем картофель или тоже варил что-нибудь, причем все делал так, чтоб не заподозрить себя в заимствованиях от баб, с опасностью для своего здоровья отрицая необходимость употребления ухватов, скалок, мучовок и других благородных атрибутов женского труда.

Панька солидно похаживал около него, одетый в ситцевые клетчатые штанишки и красную кумачовую рубашонку, пристально наблюдал за всем, что делает тятя Арефа, и изредка о чем-нибудь спрашивал его. Односложные, хмурые ответы не вызывали Паньку на продолжение разговора; он смотрел еще некоторое время на возившегося в будке

Арефия и потом уходил на улицу, сопровождаемый советом не ходить далеко.

Будка стояла на выезде из города и смотрела окнами в поле, недалеко от нее разрезанное стальной полосой реки, за которой тянулось снова поле, зеленое и приветливое летом и холодно-сучное зимой. Затем горизонт запирала стена леса, днем неподвижная, темная, молчаливая, а по вечерам, когда за нее опускалось солнце, разукрашенная его лучами в пурпур и золото.

Панька сходил к реке и, примостясь на камнях между кустов ивняка, бросал в воду щепки, смотрел, как они уплывают куда-то далеко, как на воде играет солнечный луч и ветер покрывает ее веселой рябью, и, часто убаюканный немолчным шорохом волн о берег, засыпал.

Арефий, если был дома, приходил за ним и звал домой обедать. Обедали, а потом Панька снова уходил к реке и до вечера играл там один или с нищенкой Тулькой, косоглазой и вороватой девочкой лет 8, грязной, крикливой и очень нелюбимой Арефой, который всегда гонял ее из будки, если она заходила туда.

Наступал вечер, и Панька, посмотрев, как садится солнце и лес, живой и красивый, мертвеет, окутываясь вечерними тенями, — шел в будку и ложился спать, при Арефе, предварительно помолясь богу, а без него — не молясь и даже не раздеваясь.

Так текли дни один за другим, однообразные, молчаливые, и, как всегда это бывает с днями, они, цепляясь один за другой, создавали недели, месяцы, годы... Панька рос, его дни становились полнее, он задумывался над тем, куда течет река, и над тем, что скрыто там за лесом, почему облака, такие большие, свободно плавают в небе, а маленький камень, брошенный вверх, падает обратно на землю, что делается там, в городе, где крыши столпились так плотно друг к другу, и за городом, и вообще на земле, такой шумной днем и так грустно спокойной ночью. Но с такими вопросами он не обращался к Арефе, может быть, полагая, что чело-

век, который так много молчит, ничего не знает, и немного стесняемый как этим молчанием, так и постоянно хмурой миной на лице Арефия.

Зато, когда приходил Михайло, — это случалось редко, — Панька забивался в угол и из него всласть наслаждался человеческой речью. Михайло говорил много и всегда начинал с вопроса Арефию:

— Ну, что, монах, — жив? Жениться не думаешь? — и хохотал, тогда как Арефий оставался глубоко равнодушен.

Но Михайла ничуть не обижало это равнодушие; он вытирал платком свое чисто выбранное лицо и, поудобнее усевшись на лавке, «заводил волюнку», как в минуты раздражения выражался его угрюмый товарищ.

— Сегодня, братец ты мой, пообедал я здорово. Кашу мне Марья состряпала из полбы, ох, какая каша!.. на молоке и с изюмом. Эх! Хорошо! Золотые у ней, у Марьи, руки насчет стряпни. И насчет всего иного. Пошить ли что, или что другое, все может! Ах, хорошая баба моя жена! Вот бы тебе такую, Арефа, а? Такую бы?

— Лает, как собака! — коротко отзывался Арефий, возясь около самовара или уже сидя за столом и макая усы в блюдечко с чаем.

Михайло удивленно приподнимал брови.

— Лает, говоришь? Так что же? Ну, лает, это, положим, верно. Но ведь без этого у мужичины с бабой невозможно, ни-ни! Потому каждый хочет себя господином чувствовать, а уступить никто не мастер. Я, — к примеру, али я уступаю? Ни в жизнь! Сейчас что, — Ма-арья! А коли не берет в резон, — раз в зубы...

— А она тебя два раз... — хладнокровно вставлял Арефий Гиблый.

— Два раз? Ну положим!.. А хошь бы и два раз? Али она мне не жена? Имеет право и два раз. Но только я не уступаю и тут. Я ей могу за это прописать такую таску...

— А она тебя отвалает скалкой, как запрошлый раз... — не уступал Арефий.

— Ска-алкой!.. Фу ты! Что, она меня скалкой-то каждый день, что ли, ду-

ет? Один раз всего и было это. Скалкой! Скажет уж тоже, как чорт в бочку!..

Наступало молчание. Товарищи пили чай и поглядывали друг на друга.

— Ну, а как у тебя птицы? Живут?

— Смотри!..

— Вижу. Хорошо. Птицы — это великолепно. Вот и я себе заведу птиц...

— Жена-то зажарит их, — иронизировал Арефий.

— Никогда! Она сама любит птицу. Прощлый раз еще гуся купила одного. И как купила!..—вдруг оживает Михайло.—Умная, шельма! Мужик—пьяный, сейчас она на него кричать: ты, говорит, пьяный, а я жена унтер-офицера, хочешь, говорит, мужа позову, полицейского-мужа. Он тебя в часть! Ага! Хочешь?

Мужик спяну испугался, да за три гривенника такого ей гуся продал, ух ты! Жулик такой, хитрый, важный, тяжелый, ровно как наш частный! Нет, братец ты мой, жена у меня — клад. И кабы тебе такую найти, — святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не пикнул бы ты!

— Ну, а хорошего-то тут что?—осведомился Арефий.

— Хорошего тут-то что? Баба! Дух в доме иной, когда баба есть. Дети сейчас пойдут, это раз, чистота, — это два, есть с кем поругаться и помириться, — это три...

И начиналось бесконечное исчисление прекрасных бабьих качеств. У Михайла был какой-то особенный угол зрения, освещавший и недостатки баб, как достоинства. Бабы — это был его излюбленный конек, впрочем, сильно конкурировавший с другим, — едой. Бабы — это было для него альфа и омега бытия, цемент, связующий все явления жизни в одно стройное целое, сила, дающая всему тон, цвет и суть. Он готов был говорить о бабах часа по три кряду в неподнятом элическом тоне, то-и-дело впадая в лиризм, наводивший на Арефия тоску. Арефий молчал и все сгибался, точно пробуя залезть под стол от речей товарища, и когда, наконец, его терпение иссякало, он вставал и угрюмо рычал на Михайла:

— Отстань! Будет. Всю душу вытянул.

Этот окрик сокращал оратора, но не смущал его настолько, чтоб уж он совершенно замолчал. Нет, он некоторое время осматривался вокруг и «заводил волюнку» снова:

— Печь надо выбелить. Какая же это печь? Фу-фу! мерзость одна. Вот кабы баба-то была...

Но Арефий угрюмо кашлял и внушительно двигал ногой или рукой.

— Не сердись, братец мой! погоди, сам захочешь. Нестаточное дело, чтоб человек такой, как ты, жил без употребления...

— Мишка! брось! — стучал кулаком по столу Арефий.

— Ну-ну, не буду, чорт с тобой!

Несколько минут молчания.

— А пойду я домой! Скоро на дежурство мне. Чай, поди, ждет Марья-то. Ужин у нас сегодня их ты какой! Сычуг с гречной кашей и свиным салом... Сок один. Куснешь, так и брызнет! Ух!.. Вот и ешь ты погано. Какая это еда? А кабы была у тебя... ну, не буду, не буду, молчу... Иду уж я, иду. Прощай, пошел уж я. Приходи как-ни-то ко мне. А где ж Панька? Панька, черенок, ты тут где? Нет, видно, как он, Панька-то, здоров? Чай, все на улице живет? Вот тоже и Панькина жизнь, — какая жизнь? А ежели бы баба-то была...

И наконец он уходил, сопровождаемый недовольным урчанием Арефия, который долго после его посещения чувствовал себя угнетенным и как бы обвешанным неприятной ему струей воздуха.

Разговоры Михайла очень редко варьировались, и скоро Панька почти научился предугадывать конец каждой его фразы, слыша ее первое слово. Ему не нравилось бритое, лоснившееся от жира лицо Михайла, с мутными глазами, похожими на две оловянные пуговицы, не нравился и голос, самодовольно басовитый, и вся топорная фигура Михайла с короткими ногами и руками и с четырехугольной, гладко остриженной головой. Наблюдая за ним и за отношением к нему Арефия, Панька до-

шел до прямой неприязни к эпикурейцу и стал избегать его, за что и получил прозвище «волчонка». Тятя Арефа, в сравнении с товарищем, был красавец, несмотря на то, что черная борода, мощная фигура и сосредоточенное молчание делали его страшным в глазах Паньки.

Из разговора двух друзей Панька не мог много вывести для себя, но всегда становился на сторону молчавшего Арефия и не доверял многоречивому Михайлу. Отношения Арефы к бабам он постепенно перенимал и даже пытался их демонстрировать над Тулькой, которую это сначала удивило, потом рассердило, и в результате однажды Панька явился домой с расцарапанной рожницей и с тайным уважением к женщине.

Арефий спросил его коротко и очень густым басом:

— Это что?

— Упал... об щепки...—ответил Панька и покраснел.

— Ишь... — неопределенно заявил Арефий и посоветовал ему умыться.

А дни текли, и Панька рос.

Вот ему уже девятый год. Он не велик ростом, очень ряб, неуклюж, молчалив, и глаза его не по-детски холодны и разумны. Они с Арефием прекрасно понимают друг друга, и поэтому молчание каждого более или менее красноречиво говорит другому. Панька учится грамоте у Арефия. Была сделана попытка ходить в приходское училище, но она окончилась печально. Панька не вытерпел более десяти дней отношения к себе товарищей по школе и на одиннадцатый, разбуженный Арефием словами «вставай, пора в школу», поднял голову с подушки и, пристально посмотрев в лицо Арефию воспаленными от бессонной ночи глазами, проговорил первую со дня своего рождения длинную речь:

— Не пойду я больше туда, хоть утопи, хуже собаки паршивой я там. Только и зову, что крапивник, подкидыш, рябой чорт. Не пойду, как хошь. Дома я лучше буду. Не люблю их я, никого не люблю. Всегда буду биться с ними. Третьего дня нос расквасил учи-

телеву сыну, а учитель-то меня на колени — на час целый. Еще расквашу, всем расквашу, ставь — на! А когда меня побьют, так ничего, я молчу, и на колени никого не ставят. Не пойду я больше, как хошь!

Арефий смотрел на рябое детское лицо, теперь еще больше исковерканное злобой и негодованием, и молчал, а когда Панька кончил говорить и снова с упрямой и вызывающей миной ткнулся головой в подушку, он коротко, но так, что в окнах дрогнули стекла, бухнул: «Не ходи!..» И при этом так внушительно посмотрел в ту сторону, где было училище, что Панька дрогнул и закутал голову в одеяло.

Больше о школе не подымалось речи, и учение пошло с грехом пополам дома. Панька учиться не любил и садился за книжки, как за трудную и неприятную работу, а Арефий, преподавая ему грамоту, не мог, несмотря на свое желание, оживить мертвые буквы и слова.

Каждый день после чая Панька с хмурым лицом снимал с полки книжки, садился за стол, опершись локтями о колени, ущемляя свою голову в ладони и начинал качаться взад и вперед, вправо и влево, при этом бормоча что-то очень неясное и далеко не музыкальное.

Единственным результатом этих приемов было то, что птицы в клетках сначала умолкали и беспокойно переглядывались друг с другом, а потом вдруг, по сигналу одного задорного чижа, снова принимались свистеть и щебетать на разные лады, как бы обуреваемые злостным намерением выбить мальчика из тесной колеи научных занятий. Они в этом быстро успевали.

Панька отрывал голову от книг и начинал тихонько подсвистывать сначала одному чижу, хорошему певуну, потом некоторое время густым свистом дразнил снегирей, затем подзадоривал щеглят, скребя одним ножом по обуви другого, и, наконец, когда в будке подымался невероятный гам, он вставал на лавку и занимался со скворцом.

Это делалось так: в клетку просовывалась лучинка, и оной лучинкой скворец получал несколько щелчков по носу, что его всегда приводило в большое

беспокойство. Он очень нелепо прыгал на одной ноге по клетке, хлопая крыльями и стараясь поймать проклятую лучинку клювом. Редко он достигал этого и, если достигал, то, потеревив ее, снова погружался в скептическое молчание, из которого его уже не могла вывести лучинка, а не достигая, — оглашал будку своим свистом, который от времени приобретал все больше и больше демонстративный характер.

На этом успокаивался Панька и снова садился за книги, но уже не смотрел в них, а смотрел прямо перед собой сквозь стену, и чем больше он упражнялся в этом, тем шире, глубже и осмысленнее становился его взгляд. О чем он думал, едва ли было понятно и ему самому. Есть думы без физиономий и форм; это не мешает им быть тяжелыми и отравляющими сердце преждевременным знанием тех сторон жизни, не зная которые было бы большим счастьем, если бы не было трусостью и не делало людей глупыми.

И так, под неугомонное щебетанье птиц, Панька сидел часа по два. Потом приходил Арефий и спрашивал урок. Панька покойно усаживался на скамье и, туго нажимая пальцем на строки в книжке, выдавливал из них такие сентенции.

— Пы-лой пы-лят...

— Погоди! — останавливал его Арефа. — Должно быть, не так это. — И, придвигая к себе книжку, шевелил губами. — Не так! Ну-ка, еще читай.

— Пи-лой пы-лят, а иглой шьют...

— Ну... Пилой ведь написано... Что делают пилой?

— Пилой? — подымая глаза к потолку, соображал Панька. — Дрова пилят.

— Ну, вот видишь! А ты читаешь: пылят, чай, это иже, а не еры.

— Да тут не написано про дрова-то.

Арефий на некоторое время задумывался о том, куда девать дрова, мешающие уяснению научных сведений. Панька ежился и заявлял:

— Я ведь знаю все это. Иглою — шьют, топором — рубят, а пером пишут, а вот читать это не умею. Маленькие больно слова-то. И все разные.

Арефий молча соображал; глядя в книжку, прочитывал наивнейшие фразы, и то сомневался в их развивающем и поучающем значении, то удивлялся премудрости составителя книжки, который, по его мнению, подозревал Паньку в предположении, что пилой шьют, а иглой пилят.

В таком порядке и характере проходил час урока. Арефий задавал Паньке повторить зады и еще «от этого места до этого», и затем оба, вспотевшие от научных трудов, садились обедать. После обеда Арефий ложился поспать, а Паньке наказывал поглядывать и, «коли что», так сейчас же разбудить его.

Панька одевался и выходил на улицу. С улицей он жил далеко не дружно. Его молчаливый, угрюмый характер не привлекал к нему симпатии сверстников, а сам он, втайне завидуя их веселью и играм, не решался пойти им навстречу. Впрочем, было сделано несколько попыток завязать дружественные сношения, но все они кончались почему-то гомерическими драками и обоюдным озлоблением. Панька не умел увлекаться живой прелестью игр и ко всему относился слишком рассудочно и взросло, это производило на всех охлаждающее и неприятное впечатление. Его избегали, наконец, он это чувствовал.

А однажды вышел такой случай: отправившись в лес за грибами, и Панька, любивший лес, умягчавший его и навевавший своим меланхолическим шумом на его душу много теплых и мягких дум, незаметно отбился от товарищей в сторону. Бродя между деревьев и пристально оглядывая землю, он мурлыкал песню, наслаждался теплым и сочным запахом перегнивших листьев, шорохом травы под ногами и бойкой жизнью букашек, муравьев... Издали до него доносились голоса товарищей.

— А где ж подкидыш? — крикнул кто-то.

— Вот больно нужно! не потеряется, не бойсь!

— Всегда надутый, как сыч или как будочник Арефий...

— А может, будочник и есть его отец?

И ребята звонко засмеялись.

Паньке стало холодно и темно от этих фраз. Он осторожно пошел вон из леса, чувствуя себя обиженным; но скоро эта обида перешла в злость. Ему захотелось отомстить, и он чувствовал себя в праве сделать это.

Тогда, выйдя на опушку, он крикнул во весь голос тоном радости и интереса:

— Эй, братцы, айда скорей! Что я нашел!—А когда к нему на голос выбежали двое, он бросился на них и, отколотив обоих, ушел, сопровождаемый руганью и оскорблениями. Все время до самого города они шли в отдалении от него и ругались, смеялись над ним, боясь подойти ближе, ибо он был силен, и вступать в открытый бой с ним было опасно, в чем им не раз приходилось убеждаться.

А Панька пришел домой и тоскливо задумался о чем-то. Арефия не было дома, наступал вечер, в будке было темно и тихо. Тишину нарушали только зяблик и чиж, недавно приобретенные и еще не успевшие обсесться. Они привлекли внимание Паньки. Он долго смотрел, как они прыгают в клетке, просовывают головы сквозь прутья, и вдруг, быстро вскочив на стул, снял клетку и, отворив дверцу, высунул ее в открытое окно. Птицы быстро улетели. Панька даже не заметил, как это было; отвлеченный в сторону чем-то другим, он снова сел за стол и, положив голову на руки, снова задумался...

Пришел Арефий.

— Выпустил я птиц-то, — встретил его Панька. Он сказал это вызывающим тоном, и взгляд его сверкал вызывающе.

Арефий посмотрел на стены, потом в лицо Паньки и коротко спросил:

— Зачем?

— Так! — все с тем же выражением в тоне и глазах ответил Панька.

— Ну... твое дело.

— А ты что ж не поругаешь меня? — задорно заявил Панька.

Арефий поднял брови и усы кверху и пристально посмотрел в лицо прищипавшего.

— Разве я когда тебя ругал? —

грустно изрек он и стал гладить себя по колену ладонью.

— То-то, что нет. А все ругают. Уж и ты бы, что ли, вальнул. Все уж равно.

Арефий смущенно заерзал по лавке. Панька смотрел на него совсем взрослым и очень злым человеком.

Воцарилось тяжелое молчание. Даже птицы, казалось, присмирели и слушают, что будет дальше. Но дальше ничего не следовало, кроме того разве, что Панька подобрал под себя ноги и оперся спиной к стене.

Грязные старые часы, с желтым, засиженным мухами циферблатом, отсчитывали секунды, однообразно капавшие в бездну вечности, и были, очевидно, страшно утомлены этой обязательной работой; лениво качавшийся маятник тихо и уныло взвизгивал, вызывая этим звуком у таракана, сидевшего на стене, насмешливые движения усами. Красный луч заходившего солнца пробился сквозь кусты бузины в окно будки и бросил на ее пол светлые, колебавшиеся пятна.

— Выпустил птиц, — это ничего. Ту птицу, которая бьется в клетке, нужно выпустить, а если она привыкла, так и пусть ее сидит, — это уж не птица. Хорошую птицу всегда тянет на волю...

Панька поднял голову и посмотрел на Арефия.

— Это ты к чему? — спросил он.

— Так... ни к чему... Подумал, да и сказал... — смущенно ответил Арефий, тербя бороду и чувствуя себя в чем-то виноватым перед Панькой.

— Не сразу тоже скажешь так, как думаешь. Иной раз около своей-то мысли вертись, вертись, да и потеряешь ее, вся в куски разорвется... а что рассыпалось, того уж и нет.

— Ну? — внимательно вытягивая голову, вновь спросил Панька.

— Ну, и ничего. Уметь, мол, надо говорить-то. Давай-ка вот, Панок, почитаем житие Алексея божия человека.

— Давай!

Панька лег на лавке, немного разочарованный Арефием в словах которого он чувствовал что-то новое; да и самых слов было сказано в этот раз много, что тоже было новостью. Арефий

снял с полки кучку истрепанных книжек и, выбрав одну из них, положил ее на стол перед собой, и несколько минут спустя в будке плавал его густой бас, становившийся еще гуще по мере того, как возрастал интерес книги, и переходивший к концу ее в дрожащую густую октаву. Панька любил в это время лежать с закрытыми глазами и иллюстрировать книжку разными картинками. Так он представлял себе всех святых такими, маленькими и худыми, с громадными, сурово сверкающими глазами; их мучителей — здоровенными мужиками в красных рубахах, с засученными рукавами и в сапогах со скрипом; царей, гонителей христиан, — коротконогими толстыми господами, которым всегда страшно жарко, отчего они так и злятся. В основе его представлений лежали реальные лица: священник из монастыря, мясники-приказчики, жившие неподалеку, и частный пристав Гоголев. Панька брал самые выпуклые черты их характеров и физиономий и развивал их до того, что они совершенно теряли человеческое подобие и становились какими-то чудовищами, пугавшими своим безобразием самого создателя. Иногда скомпанованные им картины наводили на него ужас. Он открывал глаза и испуганно оглядывал будку. Прямо перед ним торчала громадная лохматая голова Арефия, от нее на стену падала громадная фантастическая тень, и вся будка была заполнена басистым гулом, из которого густыми, могучими вздохами иногда вырывались отдельные слова и фразы. Панька довил их и не понимал, как могли из этих простых слов создаваться такие страшные картины мучений подвижничества и почему он, слушая эти слова, может видеть то, о чем они говорят. Он задумывался и снова терял нить истории.. И, поглощенный своими думами, он так и засыпал тут на лавке, против Арефия, увлеченного книжкой до полного забвения всего происходящего вокруг. Арефий, когда дочитывал книгу, долго еще не подымал от нее головы, как бы читая что-то и на пустой странице обложки, а потом вздыхал полной грудью, оглядывался, вставал и, подходя к Паньке, с массой

предосторожностей брал его на руки, отнесил в постельку за печкой и, перекрестив, выходил на лавочку к будке.

Там он долго и внимательно смотрел на реку, на темную стену леса и в небо, усеянное звездами; прислушивался к утихавшему шуму города и, подозрительно поглядывая на проходивших мимо женщин, окликал извозчиков строгим «тише, чорт!», если извозчик ехал быстро, и еще более строгим «ну, ты, ползи!», коли извозчик ехал тихо. Ни в том, ни в другом оклике не было решительно никакой надобности, но без этого Арефий не пропускал мимо себя ни одного из извозчиков. Все они ему казались отчаянными дармоедами и лентяями, живущими на счет сил своих лошадей, которые уже по одному тому были много лучше и разумнее своих хозяев, что не сквернословили.

Иногда мимо Арефия, громыхая бубенцами, мчалась тройка. гикал ямщик, визжали женщины, слышался сиплый и пьяный смех мужчин... Арефий вскакивал на ноги и, ощущая в себе горячее желание отправить всю эту компанию в часть, долго провожал их строгим взглядом.

С того времени, как Паньке минуло шесть лет и он стал бегать по улице, Арефий начал также очень строго и недоброжелательно относиться к уличным мальчишкам и быстро успел выработать в них враждебно-задорное отношение к себе. Он никак не мог помириться с тем фактом, что все они смеют относиться к его Паньке так дурно и зло, и сначала не хотел верить в это, но случайно подсмотрел две, три сценки, подслушал два, три глупых ругательства по адресу своего приемного сына, убедился, что это так, что его Паньку никто не любит, кроме него, глубоко задумался и, незаметно для самого себя, объявил мальчишкам жестокую войну, не позволяя им шуметь и играть на улице, часто в своих придириках к ним доходя до смешного, и, наконец, убедил себя, что он имеет дело не с детьми, как это может показаться сначала, а с маленькими людьми, которым вполне доступны и понятны все дурные чувства и наклонности больших.

Это убеждение часто приводило Арефия к очень острым столкновениям с обывателями, а во время столкновений ему не раз приходилось выслушивать много нелестных эпитетов по адресу Паньки. Всегда после таких столкновений он становился еще мрачней, и все его лицо, стянутое глубокими морщинами, утопало в бороде, усах и бровях, из-под которых сурово сверкали глаза, делавшиеся от времени все более беспоконными и нервно-подвижными.

Когда он читал свои излюбленные Жития святых, голос его становился все глуше день ото дня, а порой начинал дрожать и странно, металлически звенеть.

Но в отношениях к Паньке не происходило никаких перемен. Все то же молчание. Редко отрывистые и краткие разговоры, по тону нимало не отличавшиеся от всего, что говорил он с кем-либо, кроме извозчиков и женщин. Это был совершенно спокойный, почти равнодушный тон; им он рапортовал начальству, им отдавал приказы дворникам, им уговаривал пьяных итти домой и им же отвечал на вопросы прохожих. Последнее, впрочем, случалось редко, ибо его суровая большая фигура с лицом, глухо спрятанным в черную бороду, не располагала к разговорам.

С течением времени он все менее сидел в своей будке; даже ночью, когда дежурить на улице он не видел ни малейшей надобности, он все-таки выходил и садился на лавку под кусты бузины.

Неподвижно, как пень, он сидел всю ночь до рассвета и иногда, так сидя, тут и засыпал. Вообще же, смотрел в поле за реку очень пристально и долго, не отрывая глаз от избранной точки. А иногда вставал и шел к реке, садился там на камни и сидел, точно к чему-то прислушиваясь... Река катилась вдаль и тихо, тихо шептала о чем-то берегу...

А Панька, вырастая, все более уходил в глубь себя, становился все более скучен и молчалив для детей-сверстников и почти уже не делал попыток установить какие-либо сношения с ними, помня прежние попытки, которые при-

несли ему гораздо более огорчений, чем радостей.

После одной из таких попыток он пошел в будку взволнованный, со стиснутыми зубами, с синяком под глазом и рассеянной в кровь губой.

— Что, опять подрался? — спросил Арефий, довольно одобрительно поглядывая на него. — Экий ты, братец мой, воин, все дерешься!

Панька молча сел на лавку и, посасав губу, плюнул.

Арефию очень нравилось в Паньке то, что он ни разу не прибежал к нему с жалобами и со слезами, а расправлялся с врагами, поскольку мог, своими средствами и никогда, какой бы урон ни потерпел, не плакал.

— С кем ты это похлестался теперь? с Огузковым, что ли, опять?

В другое время Арефий не говорил бы с Панькой больше, но теперь, чувствуя, что Панька чем-то крепко задет за живое, пытался доискаться истины. Ему не пришлось особенно хлопотать об этом, потому что Панька вдруг наклонил голову и глухо, весь дрогнув, спросил:

— Где у меня отец с матерью?

Арефий, возившийся перед печью, уронил из рук ухват и вытянулся перед Панькой, как будто Панька был частным приставом, вытянулся и, широко раскрыв глаза, с некоторым страхом стал смотреть на его согнутую фигуру. Панька не видал его позы и мины и долго ждал ответа, но не получил его.

— А что они были за люди такие? — поднял голову Панька и скверно, не детски улыбнулся в изумленное и испуганное лицо Арефия.

На этот раз Арефий нашелся.

— Мать твоя шкура барабанная, а отец — мерзавец! — рыкнул он на всю будку и подкрепил свое определение отчаянным ругательством по адресу родителей Паньки, ругательством, какого Панька не слышал от него ни прежде, ни после.

Панька снова согнулся и замолчал.

Арефий сел на лавку, не обращая внимания на то, что в печке кипел какой-то горшок с водой и заливал ярост-

но шипевшие дрова. Молчали долго и внушительно.

— Знал ты их?—робко спросил наконец Панька.

— Знал... — загудел Арефий. — Как не знать! Уж коли своего ребенка под забор бросили, значит, — подлецы.

— А живы они?

— Ну, уж не знаю... Нет, наверное, сдохли оба. Она, чай, от тоски по тебе, а он спился с кругу или что-ни-то в таком роде, тоже под забором, верно, и сдох... как собака.

— А ты... их видел?

— Никогда я во весь век свой такой дряни не видывал! Видел бы я их...

Панька понял из заключительного возгласа, что если б Арефий видел его родителей, то им, наверное, от этого было бы очень нехорошо, — понял и никогда более не заводил с ним разговоров об этом темном вопросе. И только однажды как-то Арефий сам заговорил об этом, исходя от какой-то тайной мысли, кажется, несколько романтического характера:

— А видно, что ты не простых, черных людей сын. Ум у тебя не простой и все прочее. Не чернь.

Из каких наблюдений вывел Арефий заключение о происхождении Паньки от таких сложных и светлых людей, коим был неизвестен инстинкт любви к дитю, это было его тайной, Панька же не давал ему большого матерьяла для такого вывода. И, кроме этого, вопрос о происхождении Паньки не подымался ни разу.

Думал ли Панька о нем? Может быть. Он всегда так много думал и так подозрительно упорно молчал, что, наверное, не оставляя и этот вопрос без исследования.

Нет границ фантазии человека, фантазии же ребенка еще меньше границ, ибо душа ребенка еще более тайна, чем душа взрослого, — в ней нет тех маленьких дрянных черточек, которые так ясно видны в искушенной жизнью душе большого человека.

Как-то раз, возвратившись из части, Арефий обратил внимание на скворца,

который за последнее время вел себя очень странно: сидит, сидит неподвижно на жердочке клетки и вдруг полетит с нее кувырком вниз. Часто он попадал в чашечку с водой и потом долго отряхивался, щелкая клювом и хлопая крыльями. Всегда после таких падений, ему дорого стоило взобраться на жердь, куда прежде он взлетал сразу, а когда он взбирался, то садился не по середине ее, как прежде, а к краю, прижимаясь боком к стенке клетки. В этот день хромая птица то-и-дело встряхивала крыльями, стараясь удержаться своей ногой за жердь и, видимо, теряя силы.

— Умереть хочет хромой-то! — сообщил Арефий Паньке, критически осмотрев птицу.

— Ну?—немного тревожно произнес Панька, любивший этого скворца больше других птиц.

— Верно. Умрет. Он ведь старый уж...

— Не тронь его, пусть...

Панька поднял голову и печально уставился на птицу, все сильнее качавшуюся на жерди.

— Может, вынести его на волю? — спросил он Арефия.

— Можно и вынести!

И вот они сняли клетку и вынесли его под куст бузины перед будкой. Был веселый мартовский день, всюду на солнце сияли лужи, рыхлый снег сочился водой, и даль давно уж не была так широко открыта и заманчиво свободна от серых масс зимних облаков. За рекой вилась дорога черно-коричневой широкой полосой, и по обеим сторонам ее сверкали на солнце яркие пятна проталин. Небо было ярко и весело—сияло в нем молодое солнце весны. Но скворца уже не могло оживить все это. Он спокойно оглянулся вокруг, качнул головой, протяжно и тихо свистнул, упал с жердочки и умер.

Это случилось как-раз в ту секунду, когда Панька хотел отворить дверцу клетки и, вынув из нее скворца, положить его на проталинку.

Панька отшатнулся и жалобно смотрел, как в предсмертной судороге вытягивалась лапка птицы, и когда она

наконец, дрогнув, замерла, по его лицу одна за другой покатались слезы... Вынув птицу из клетки, он повертывал ее в руках, и слезы из его глаз капали на ее перья.

— Значит, коли я умру, так ты тоже заплачешь? — тихо спросил его Арефий, наклонясь к его лицу.

Панька бросил птицу на землю и, схватив руками шею Арефия, ткнул ее в грудь головой, что-то бормоча сквозь сотрясавшие его рыдания.

— Ну, ладно, ладно. Не плачь. Ничего... Не без добрых людей свет. Проживешь. Трудно тебе только, не умеешь ты кориться. Это горе. Ну, а без этого — вдвое, потому тогда все на тебе поедут. Но ничего. Пробьешься. Главное — учись! — Кое-как рубя слеза, как топором, Арефий успокоил Паньку, и они вместе устроили похороны скворца: вырыли у корней бузины ямку, выложили ее мелкими черепками и засыпали землей.

Панька, сильно удрученный этим событием, выпросил у Арефия позволение поставить над могилой крест и принялся строгать его из лучинок, а Арефий, погруженный в тяжелые думы, избороздившие ему весь лоб морщинами, сел в угол на лавку и исподлобья наблюдал за ним.

— Есть у меня такая дума, что я умру скоро. Тошно мне очень бывает порой... Ну, так вот...

Панька положил нож на стол и стал внимательно слушать.

— Перво-наперво, за Михайлом у меня в долгу 35 рублей с двугривенным да вот в сундуке лежит семнадцать с половиной. Дать их тебе в руки нельзя, а вот я отнесу на почту в кассу, есть там такая касса, и возьму желтенькую книжку оттуда. Ты эту книжку храни. Ну, положим, я тебя хочу пристроить в мастерство. Ах, Панька, и скверно же тебе там будет! ух, как скверно! народ — огателые собаки. Пьяницы, воры, матерщинники, развратники, — просто прелесть! бить тебя будут. Поносить тебя будут... Э-хе-хе!..

Арефий встал, снял с палки шапку, резким жестом надел ее на голову и

ушел из будки, оставив Паньку, подавленного предсказаниями, доделывать крест на могилу покойного скворца.

Воротился в будку Арефий поздно ночью, когда Панька уже спал, но к затронутой теме уже не возвращался.

Прошло еще месяца два. Не так давно Панька вдруг возымел охоту к ученью и теперь все дни проводил за книжками, но мудрые науки давались ему с трудом. Весьма часто эти книжки выводили его из терпения; в поте лица разбирая одно какое-нибудь слово, он вдруг открывал, что оно ему давным-давно знакомо. Это его бесило, и он ставил вопрос: зачем тут написаны такие слова?

Как-то раз, в раздражении на науку, он заявил Арефию, что все эти книжки написаны «нарочно» и ничего в них нужного ему, Паньке, нет.

— А тебе чего нужно? — спросил Арефий.

— Мне-то? — задумался Панька. — Вот тут написано: «Наши дети сели и съели ягоды» и еще: «Ель, мель, шмель, ел, мел, смел»... Это зачем мне нужно?

— Да, это, действительно, не тово... Ну, а ты читай дальше...

Панька читал дальше и все-таки был недоволен, не находя ничего такого, что отвечало бы на смутные вопросы его души. В этот день он прочитал две сказки и, по обыкновению, возмущенно размышлял на тему — зачем они ему нужны?

С улицы издали доносились крики и смех мальчишек и в окно будки весело взглядывало солнце. Это еще более злило Паньку, не позволяя ему сосредоточиться на книжках. Птицы задорно щелбегали, прыгая в клетках, и Панька, искоса поглядывая на них, вспоминал свое давнишнее желание выпустить всех птиц на волю. Где-то вдали глухо гремела пролетка. Панька посмотрел в окно. По улице шел булочник, и Панька почувствовал, что ему хочется есть... Арефий что-то долго не идет сегодня.

Дребезжание пролетки приближалось к будке, и вон она появилась из-за

угла; на ней сидит полицейский, но не Арефий. Это Михайла... «А чего ему нужно?» — подумал Панька и, выйдя на улицу, встал у двери будки.

Михайла еще издали махал что-то руками, как бы подзывая Паньку к себе. Панька смотрел на него и, видя, что весь он как-то странно растрепан, фуражка сдвинута в бок и на затылок, шинель расстегнута, догадался, что произошло нечто важное.

— Садись скорей! — крикнул Михайла.

— Ну! — спросил Панька, прыгая в пролетку.

— Вези назад в больницу! — толкая извозчика в спину, командовал Михайла.

— Что... вышло?! — крикнул Панька, бледнея и дергая Михайлу за обшлаг.

— Вышло плохо. Арефий-то с ума спер. Спятил с ума. Помешался. Понимаешь? Пришел к частному приставу и говорит: «Мучьте меня, я христианин. Мучьте, не хочу я с вами, говорит, больше никакого отношения иметь». Гоголев было его в зубы. Ну, он ничего, — «бей, говорит, Диоскор, но я пребуду христианином до века». Ишь ведь какая чепуха!.. Пока что, он, Арефий-то, давай с полки хватать дела, да об земь их, да ногами по ним: «сокрушу, говорит, ваших идолов в прах», и прочее такое. Ну, конечно, его сейчас веревкой и в больницу, а он-то говорит, а он-то говорит!.. Н-да! вот они, книжки-то, и сказались. Эх, ты горе — эта грамота! Думается, от нее и всякое недоброе в голову идет. Сейчас это как, да почему, да зачем, да — тьфу!.. и с ума спятишь. Жалко мало-го-то страсть как! товарищ ведь, старый друг!

Панька сидел подавленный, угрюмый и бледный и молча слушал, припоминающая Арефия, каким он видел его вчера, третьего дня и дальше, в глубь прошлого... Ничего не было заметно за старым полицейским солдатом, кроме того разве, что он сильно худел день ото дня, что у него все глубже вваливались глаза и взгляд их, обыкновенно мало подвижный, мрачный, за последнее время был как-то особенно жив и

странно поблескивал то будто радостью, то страхом перед чем-то.

Раз, впрочем, не так давно, он заговорил о жизни в Ташкенте, о жаре, песке, диких тамошних людях и о каких-то поступках, за которые этих людей нужно убивать, как крыс. Но, поговорив об этом, он снова замолчал и все время до сегодняшнего утра был человеком как следует.

— А он что — выздоровеет от этого? — прервал Панька разглагольствования Михайла.

— Он-то? Ну... известно... конечно... выздоровеет. А что доктор, — разве он может что знать вперед? Никогда! Доктор может лечить, и все тут, и больше этого ему не дано. А ты будку запер? Извозчик, стой! А будку ты запер, а?!

— Наплевать на будку! — махнув рукой, с раздражением крикнул Панька. — Разве что говорил доктор? Ты скажи, говорил? Эх, зачем ты остановил извозчика! Едем, дядя Михайла, скорей!

— Как едем, коли ты не запер будку! Ах ты, братец мой!.. Едем, говорит! Ну ж, дите!.. Растаскают ведь всю будку! Извозчик, назад! Поезжай, дурак, назад!

— Милый дядя Михайла! Не надо... Едем туда, к тятю Арефе!.. пес с ней, с будкой! — кричал Панька, волнуясь.

— Невозможно, чудак! Я один ворочусь ин. Один! Извозчик, вези его, вези в больницу! Ну, пошел! где сумасшедших сажают, вези! А ты спроси там, Панька...

Но пролетка загремела, и Панька не расслышал, что надо спросить. Он ерзал по сиденью пролетки и все по-нукал извозчика: «скорее поезжай!»

— Сейчас приедем! — убедительно отвечал извозчик, чмокал губами, махал кнутом в воздухе и корил лошадь, возглашая:

— Ну, куда ты прешь, дура? Али ты тоже с ума сошла? — и, дергая вожжами, сворачивал ей голову то вправо, то влево, на что она отвечала ему негодующими взмахами жидкого хвоста и недовольным фырканьем.

Михайла своим печальным сообщением точно сорвал с мозга Паньки ка-

кую-то пелену, мешавшую ему до сего дня правильно понимать и воспринимать окружающее. Панька почувствовал себя одиноким, беззащитным и инстинктивно как-то насторожился, подозрительно и недоверчиво поглядывая во круг и усиленно пытаясь заглушить неотвязно нывшую в его груди холодную тоску, позывавшую его расплакаться. Все — извозчик, улица, люди, шедшие по ней во все стороны, — теперь показались ему более чуждыми, чем вчера, например, и возбуждали в нем боязливое опасение чего-то обидного и нежелательного. И даже небо, ясное, горячее летнее небо, вчера теплое, ласковое, сегодня стало каким-то бездушным, сухим и не имеющим к нему, Паньке, никакого отношения.

— Ты как думаешь, выздоровеет он? — спросил Панька у извозчика, подъезжая к решетчатому забору, за которым стояло желтое, холодное и скучное здание больницы.

— Он-то? Вы-выздоровеет! Налево, чортова кукла, налево! Экая непутевая планида!

Но раньше, чем «чортовая кукла» и «непутевая планида» успела поворотить налево, Панька спрыгнул с пролетки и стрелой помчался к желтой стене, на которой темное пятно отворенной двери смотрело глубокоим зевом.

Этот зев поглотил Паньку, обдал скверным, прохладным веянием и остановил его, недоумевающего, куда теперь итти?

— Тебе что? — спросили его откуда-то.

Опустив низко голову и не пытаясь посмотреть, кто с ним говорит, Панька торопливо забормотал:

— Будочник один... сумасшедший... сегодня привезли... укажите, где это.

— А!.. иди прямо, прямо. Отец — что ли, будет тебе?

Панька поднял голову. Перед ним двгглась чья-то широкая спина в красной рубашке.

— Отец, мол, что ли? — говорила эта фигура тенором, не оборачиваясь лицом к Паньке, и вдруг стала так неожиданно и быстро, что Панька ткнулся в нее лицом.

— Вот, Николай Николаевич, сын к сегодняшнему полицейскому пришел.

К Паньке подошел господин в очках и взял его за подбородок.

— Ну, что же тебе, мальчик, нужно? — спросил он ласково и тихо.

Панька удивленно вскинул на него глазами. Лицо у господина было худое, бледное и такое маленькое.

— Что же ты хочешь? а?

— К нему бы...

— Да нельзя этого. Нельзя.

Панька сморщился и молча заплакал. У него кружилась голова.

— Как же теперь... я-то? — сквозь слезы спросил он.

Но господина около него уже не было, стоял один только человек в красной рубашке и белом фартуке. Он стоял перед Панькой, заложив руки назад, и, закусив губу, задумчиво поглядывал на него. Панька плотно прижался к стене и всхлипывал.

— Нишкни! Айда-ка со мной скорей, чтоб не видел доктор-то, ну! — и, схватив Паньку за руку, он помчал его в глубь коридора.

— Гляди!

Паньку сзади схватили руками, подняли на воздух и ткнули в круглое стекло, вставленное в дверном отверстии, а за дверью гудел могучий бас Арефия.

Он стоял среди комнаты в длинном белом халате, с руками, туго закрученными назад, в длинном колпаке, падавшем ему на спину, и говорил. Все его лицо и голова были обриты, от этого большие уши казались оттопырившимися, щеки пожелтели и ввалились, скулы стали острыми, глаза, широко раскрытые, совсем ушли в глубокие, черные ямы, под одним из них образовался багровый подтек, а на левой скуле резко бросалась в глаза красная звездочка, из которой вытекали капельки крови, тонкой лентой перерезывая щеку, спустились на шею и пропадали за воротом халата. Арефий стал страшно худ и высок.

— Вот вы ввергли меня в темницу! — гудел он, страшно сверкая глазами. — Терплю во имя Бога моего и претерплю до века. Но разрушил я кумиры ваши

и поверг во прах жертвенники! И поверг во прах жертвенники, и доколе не вырвали вы языка моего, обличаю вас, окаянные! Вы забыли бога истинного и во мраке, блуде, скверне коснеете, анафемы! Анафемы! Анафемы! Анафемы!.. Вы скверните души младенцев!.. Нет вам спасения!.. Вы, язычники скверные, нет вам спасения! Нет вам спасения!! Обломки вы! Обломки! Вы мучили меня... За что вы мучили и били меня? За истину, за бога в сердце моем!..

Его бас то гремел, то понижался до шопота, тоскливого и тихого шопота, заставлявшего Паньку дрожать, как в лихорадке, и боязливо отшатываться от оконца.

— Жду смерти моей, язычники! Жду славы моей! Где палачи и мучители? Анафемы! анафемы! анафемы!!

Дикие, страшные крики потрясали дверь, и стекло, в которое смотрел Панька, тихо дребезжало.

— Ну, будет, довольно. Иди скорей домой! Иди, а то доктор увидит.

Сопровождаемый криками Арефия, Панька, ничего не понимая и не видя, вышел из коридора и пошел куда-то. Шел он долго, и в ушах его гремели проклятия Арефия, и раздавался его страшный шопот. Угловатое, желтое и бритое лицо то увеличивалось до необычных размеров, глаза делались величиной с солнце и блестели так же ярко, но только черным, мрачным блеском, то вдруг оно раскалывалось на множество маленьких лиц, градом сыпавшихся откуда-то перед глазами Паньки, пронзая его сердце тысячами острых взглядов и наполняя его отчаянной, становившейся все тяжелее, тоской.

В памяти Паньки на миг вставали разные картины прошлого с Арефием, здоровым, бородатым, молчаливым... вставали, исчезали, заменялись другими, снова исчезали... Какой-то вихрь крутил мозги мальчика, заставляя его то сразу видеть чуть не все свое прошлое, то вдруг погружая его в странную тьму без дум, без образов и снова открывая перед ним то один былой эпизод, то целую цепь их, связанных без всякого порядка во времени тоскливой и тупой болью воспоминания о них,

жалости к Арефию, страха за себя, целым хаосом чувств, сменявших одно другое, перепутавшихся между собой и камнем давивших на голову, плечи и грудь Паньки...

Перед ним была река. От нее веяло холодом. Темная, о чем-то тихо шептавшая, она лилась в даль, плотно закрытую ночью, и терялась в ней. Над нею небо, густо покрытое дохматыми, равными облаками; в разрывы их блестели его голубые клочья с двумя, тремя звездочками в том и другом из них. Все небо было такое рваное, ветхое, казалось, готовое вот-вот упасть на землю и в покойную, сонную реку, отражавшую в своих темных волнах незакрытые облаками его голубые, бедные куски и жалкие одинокие звезды на них. За рекой темнела даль и страшно молчала.

Панька быстро направился к своей будке. Но она была заперта на замок. Тогда, постояв немного, он лег под куст бузины и лежал кверху лицом, следя за медленно ползавшими по небу облаками до той поры, пока не уснул тяжелым сном, полным кошмаров.

Паньку разбудили чувствительные толчки в бок, он открыл глаза, мельком увидел, что над ним склонилось чье-то знакомое лицо, и снова зажмурился от солнечных лучей, ударивших прямо ему в голову.

Этого времени ему было достаточно, чтобы ярко вспомнить все происшедшее вчера.

— Ну-ка, вставай! — раздался над ним женский голос.

Он быстро встал. Перед ним была тетка Марья, смотревшая на него с ласковым любопытством.

— Идем-ка ко мне. Ишь ведь, беденький, где уснул! Ты что же не приходил ко мне ночевать-то?

Панька молчал. Он не любил тетку Марью. Ему не нравилось в ней и то, что она такая большая и сильная, и то, что она всегда так много ругается, и ее серые глаза, и голос, грудной и грубый, и вся она, энергичная, вечно настороже или вечно воевавшая с кем-нибудь.

Они пошли рядом друг с другом.

— Ну, уж ты не больно убивайся. Ничего, бог да добрые люди помогут, проживешь. Только и сам рта не разевай. Смотри, вникай, понимай, что к чему. Учись жить-то, дело это трудное. Воевать нин-ни, невозможно! А то в дураках и останешься. Может, это и к добру еще для тебя то случилось. Потому, что ты от Арефья-то видел? Ни внимания настоящего, ни науки. Баловство одно. Точно с большим, он с тобой обращался! разве это идет! Ребенок ты есть, ну и нужно с тобой быть, как с ребенком. И сам-то он был, к слову сказать, дурак-дураком.

Нужно жить, а он в книжке читает. Эка мудрость, книжку-то читать! А ты вот век проживи, в люди пролезь, силу себе приколи, уваженье заслужи, это поумрее всякой книжки будет! Одиннадцать годов будочником пробыл и нини, ни синь-пороха нет!..

Панька слушал, сердился и неодобрительно мычал в ответ на боевую философию Марьи. А когда она обругала Арефия дураком, он даже смело дернул ее за платье, как бы желая остановить ее от дальнейшего поношения своего воспитателя, но она, в пылу своего ораторства, не заметила его попытки и с жаром продолжала далее:

— Людям не верь. Ласкают — врут, хвалят — врут, ругают — правда, да и то не совсем, пересаливают. Ко всякому человеку первоначально с опаской, подумай — нельзя ли ему из тебя каких-ни-то соков выжать, а потом, коли видишь — нельзя, подходи вплоть, да и то остерегись — и себе-то не верь. И к самому себе нужно зачастую относиться, как к чужому. Потому человек и для себя добро то плохо понимает; думает, вот оно где, ан нет, шалишь! в лужу сел!

Увлеченная собственной мудростью, тетка Марья забыла о том, с кем имеет дело и, входя все в большие и большие тонкости, дошла до того, что вдруг завила:

— А с нашей сестрой держи ухо востро!..

Но тут случайно взгляд ее упал на слушателя. Он семенил рядом с ней,

еле успевая за ее крупными мужскими шагами, и в своей красной рубашонке, босиком, с хмурой, рябой рожицей, еще смятой сном, и с растрепанными волосами, был так по-детски мизерен и жалок по сравнению с ее могучей фигурой.

— Тьфу!..

Этим энергичным плевком она поставила точку своим поучениям и уже вплоть до части не сказала Паньке ни слова более.

Когда они вошли в коридор части, навстречу им вышел Михайла с каким-то горшком в руках.

— А-а, пришли! Важно! Обедать бы пора, Семеновна, а? Где ж ты был? Ночевал где?

— Там... у будки...

— Ишь ты!.. — вдумчиво протянул Михайла, входя в комнату сзади них.

Марья уже разделась и шарила ухватом в печке.

— Творог вот у меня... куда бы его? а?..

— Откуда творог? — оживленно осведомилась Марья, принимая из рук мужа горшок и засовывая в него нос. — Хороший, свежий творог!..

— А это мне мужичок один подарил... за услугу, — объяснил Михайла и, хитро подмигнув жене, щелкнул языком.

— Ах ты, чучело мое огородное! — ласково щелкнула его Марья по затылку.

— Ирония! жена благоверная! Еще кое-что имею!.. Давай обедать только, покормишь хорошо — скажу.

— Ну-ну-ну!.. — наступала на него Марья с выражением крайнего любопытства на лице.

Михайла сунул руку в карман и позвенел мелочью, с торжеством на лоснящемся бритом лице.

— Сколько? — радостным шопотом спросила Марья.

— Полтора с пятаком да огурцов ведерко!

— То-олько!.. — уже с некоторым разочарованием протянула жена. — В среду-то богаче было.

— Ну, так то в среду, а нынче — пятница. Базар базару рознь. И то се-

годня новый-то частный Корненко что-то уж косо поглядывал. Черти проклятые! Женился на двух-то каменных лавках да на таких деньгах, — и стал чист, как яичко. Жени-ка меня!

— Я те вот, старого пса, ухватом женю!

Панька все время разговора между супругами стоял у двери и, глядя на них, чувствовал себя тут лишним, забытым и для людей этих ни на что не нужным. Он несколько раз пытался представить себе, что будет с ним дальше, — и не мог.

— Дяденька!.. — прервал он обмен любезностей между супругами. — Скоро ли пойдем туда?

— Это куда — туда? — обернулся к нему Михайла.

— В больницу-то...

— А зачем ты туда пойдешь? Али и ты с ума сходишь? Садись-ка вот на лавку да сиди, обедать будем. Сейчас вот наши ребятишки из школы придут, гулять пойдете вместе, и все такое...

Панька сел на лавку и погрузился в тоску, не слыша и не видя ничего, происходящего вокруг него. Спустя некоторое время его позвали обедать. Он сел за стол и, почувствовав, что есть ему не хочется, положил взятую ложку.

— Ну, чего ж ты? — спросила Марья довольно сурово.

— Не хочу... — тихо ответил Панька.

Тут оба супруга наперерыв стали ему читать длинную нотацию, которая, впрочем, ничуть не мешала им быстро и успешно опоражживать большую глиняную миску какого-то варева, издававшего густой запах топленого жира и прелой капусты.

«Анафемы!..» — гудело в ушах Паньки глухими металлическими ударами.

— Анафемы!.. — шопотом повторял он про себя и, представляя себе испитое безумное лицо Арефия, вздрагивал и шевелил губами. У него то отливала кровь от лица, то вновь горячей волной била в него и, сообразно с этим, рябины то, бледнея, ярко вырисовывались на щеках и на лбу, то сливались в сплошные красные пятна.

— Ты чего шепчешь там? Эй ты, пе-

стрый, вострый! волчонок! — крикнул ему Михайла, вылезая из-за стола.

— Я пойду... — решительно произнес Панька и встал с лавки.

— Куда? — строго спросила Марья.

— На будку пойду.

— Зачем на будку? Новый полицейский там. Не знает он тебя, прогонит вон... сиди-ка знай!

Панька сел и задумался. Михайла забрался за ситцевый полог на постель и заставил ее скорбно заскрипеть.

— А как же птицы? — подумав, произнес Панька и вопросительно взглянул на Марью.

— Выпустил я их, всех выпустил. И какое там было имущество, забрал сюда. Нечего, значит, тебе там делать! — ответил Михайла из-за полога и аппетитно зевнул.

— А укладку где? — немного спустя спросил Панька.

Михайла уже всхрипывал. Марья села к окну и что-то шила. Паньке никто не отвечал. Тогда он с ногами забрался в угол на лавку и замер там, сжавшись комком.

— Куда его теперь понесет? — подумал он. Ему представилась река и те щепки, которые плывут по ней. Иная из них прибывает к берегу и останавливается. Панька помнит, что он всегда толкал такие щепки в воду. Ему не нравилось в них то, что они не хотят плыть дальше, туда, где пропадает река... А куда пропадает река?

— В другую, и с ней — в море, — говорил Арефа. Море — это очень много воды, так много, что, если отъехать от берега настолько далеко, что он пропадет из глаз, другого берега все-таки не увидишь, и не увидишь через день, и два, и три. А, может, Арефий говорил одну чушь? ведь он сумасшедший... Всегда он был сумасшедший?..

Панька долго неподвижно сидел в своем углу и думал об Арефии, о море и все возвращался к вопросу — куда же, наконец, его понесет? Что будет с ним завтра?..

Его разбудил от дум внятный шопот. Очевидно предполагая, что он спит, супруги разговаривали за пологом кровати о нем.

— Об укладке спрашивал... — говорила Марья.

— Ну?! — тревожно спросил Михайла.

— Где, говорит, укладка?

— Ах, дьяволенок!.. — удивленным шопотом произнес Михайла.

— Как нам быть-то с ним? Скорее бы к Савельичу-то его надо. Видно, он знает, что в укладке деньжата были. Ты бы, Марья, свела его завтра.

— Ну, заерзал!.. завтра!.. заторопился! испугался, индюк!.. Чего больно боязно?

— Все-таки, знаешь, вдруг он спросит «а деньги тут были?» а? Как тогда говорить?

— Ду-убина!.. — сардонически протянула тетка Марья, и затем их шопот понизился, так что Панька не мог уже ничего разобрать в нем.

Этот разговор не создал в нем никаких новых чувств к супругам, хотя он понял, конечно, что они его собирались обворовать. Но к этому он отнесся вполне равнодушно, отчасти потому, что неясно представлял себе могущество денег, больше же потому, что не способен был думать о чем-либо ином, кроме печальной доли Арефия и того таинственного «завтра», которое скрывало от него дальнейшую жизнь.

К супругам он относился всегда очень неприязненно, а сегодняшний день усилил в нем эту неприязнь еще чем-то новым, тоже далеко не лестным для супругов. Он знал, что с ними ему долго иметь дело не придется, ибо не чувствовал себя способным вытерпеть их общество еще один день, да и понимал, что сам он им неприятен и ненужен.

Теперь, когда они храпели вперегонку друг с другом, они казались ему еще более неприятными, чем во время бодрствования. Он, сидя в своем углу, слушал их храп и, покачиваясь из стороны в сторону, думал свою неотвязную думу об завтра, не умея даже представить себе, каким оно может быть...

Но вот за пологом завозились, раздалась зевка и кряхтенье, и Михайла, с всклоченной головой и измятым лицом, грузно выкатился в комнату.

— Спишь? — обратился он к Паньке.

— Нет! — ответил тот.

— А ребята мои приходили?

— Нет, — односложно повторил Панька.

— Нет, да нет, — вот и весь ответ! Н-ну, должно, к тетке в слободу ушли. Поставить ин самовар, а то на дежурство скоро.

И он ушел в коридор ставить самовар.

За ним вылезла Марья. Молча посмотрев на Паньку, она стала чесать себе голову.

Панька смотрел на ее густые каштановые косы и думал — какая она молодая, ни одного седого волоса нет... А вот Арефий так был очень сед...

— Ну, что ж ты, Панька, думаешь? как теперь тебе жить на свете? — вдруг спросила Марья, повертываясь к Паньке в фас и строя гримасы оттого, что гребень, не расчесывая волос, рвал их.

— Не знаю! — мотнул головой Панька.

— Та-ак!.. — протянула Марья. — А кому об этом знать надо? Тебе, огарок, тебе!..

Она вздохнула и замолкла. Панька тоже молчал. Молчали до той поры, пока Михайла не внес кипящего самовара и не сел за стол. Пиля некоторое время тоже молчал.

— Ну, парень! — начала Марья, наливая себе третью чашку чая, уже успевшая вспотеть и расстегнуть себе две верхние пуговицы кофты.

— Теперь ты слушай, да помни! — И, проговорив это торжественным тоном, она внушительно помолчала еще немного. — Сведу я тебя завтра к знакомому сапожнику и отдам ему тебя в мальчики. Живи, не дури, работай, учись, слушайся хозяина и мастеров, — будешь человеком. Сначала покажется трудно, терпи; привыкнешь — будет легко. Дело твое такое, что один весь тут. В праздники к нам ходи. Как к родным, близким приходи, пей, ешь. Всегда примем и рады будем. Понял?

Панька понял и кивнул головой в подтверждение этого.

нения, сел на свое место, зло сверкая глазами.

— Ах ты, госпсди боже!.. Ах!.. Михайла, дурак, беги за доктором! беги скорее!.. ведь мальчишка-то тоже с ума сошел! Видишь, видишь, как зенки-то сверкают!.. Ах ты, царь небесный! Ну, пришла беда — отворяй ворота! Уж именно наказание!.. Бедняга сердечная, не перенес Арефьеву-то долю!.. Спитил... помешался!..

Панька, несмотря на свое волнение, понял, что его посадили в лужу. Понял и вдруг залился слезами, горькими, злыми слезами, от сознания своего бессилия в деле борьбы с жизнью и людьми, первыми слезами в первый день своего одиночества.

Настрашав его, они, конечно, не звали никакого доктора и все время до той поры, пока он не уснул, внимательно и заботливо ухаживали за ним. Они уложили его спать в том углу лавки, где он провел большую часть этого дня, и он, засыпая, слушал густой шопот Марьи:

— А мальчишка не промах. Зубастый. Это хорошо, что зубастый, значит, сумеет, прогрызется к своему месту сквозь людей-то...

Во сне Панька видел много веселых чудовищ. Безобразные громадные и мерзкие маленькие, они кружились около него и смеялись, щелкая зубами. От их смеха все кругом тряслось, тряся и сам Панька и вместо неба над ним была большая черная дыра, откуда они падали массами и поодиночке. Это было очень страшно, но и весело...

Путру его разбудили, напоили чаем и повели в мастерскую сапожника. Панька шел равнодушно, но не чувствовал впереди себя ничего хорошего, в чем, конечно, и не ошибся.

Вот его привели в низенькую, мрачную комнату, где в клубах табачного дыма четыре человеческие фигуры пели песни и стучали молотками. Марья говорила, держа Паньку за плечо, с каким-то толстым и низеньким человеком, который качался и бормотал.

— У меня... ррай! Не житье, а ррай! И коррм... тоже ррайский! и все к-как в рраю... Пр-рщай!

Марья ушла. Панька сел на пол и стал снимать с ноги сапог, в который что-то попало и колело ногу. Пока он снимал, в спину ему что-то больно ударило. Он оглянулся и увидел сзади себя на полу старый сапожный каблук, а в дверях чумазого мальчишку одних с ним лет, который показывал ему язык и внятно шептал:

— Ряба форма, шитый нос, чтобы чорт тебя унес!

Панька отвернулся и, вздохнув, снова надел сапог.

— Поди-ка ты, друг, сюда! — крикнул ему один из людей, сидевший на низенькой кадке.

Панька смело пошел к нему.

— Держи! — и ему сунули в руки смоленую дратву. — Крути вот так! Ловко, молодец! Крепче крути!

Панька крутил с угрюмым ожесточением и исподлобья посматривал вокруг себя.

Итак, Панька вступил на благородное поприще труда. Мастерская, в которой он работал, принадлежала Мирону Савельевичу Топоркову, человеку толстому, круглому, с маленькими свиными глазками и с солидной лысиной.

Это был недурной, мягкий человек, относившийся к жизни с некоторым юмором, а к людям — снисходительно посмеиваясь над ними. Когда-то он, очевидно, много читал книг священного писания, и это отражалось на его речи, но теперь, кроме бутылочных этикеток, не читал уже ничего. К своим мастерам он относился в пьяном виде по-товарищески, в трезвом — немного строже и всегда — очень редко давал им возможность быть чем-либо недовольными. Впрочем, сам он мало занимался мастерской, по причине своего пристрастия к спиртным напиткам, и все дело лежало на плечах дедушки Уткина, старого солдата, с деревянной ногой, человека прямого и в речах и поступках и страшного приверженца субординации и порядка.

За дедушкой Уткиным следовали еще двое подмастерьев: Никандр Милов и Колька Шишкин. Первый был огненно рыж, удал, любил петь, еще больше — пить и твердо знал, что, когда он ска-

шивает в сторону свои веселые зеленоватые глаза и хмурит брови, его физиономия становится разбойнически красива.

Второй — был бесцветен и казался очень забитым и больным, но имел дурной и злой характер и, говоря ласковым шопотом, умел сначала всех расположить в свою пользу, а потом сразу отталкивал какой-нибудь неожиданной и нелепо-злой выходкой. От него Паньке стало тошно со второго же дня своей службы.

Затем следовал мальчик — Артюшка. Отчаянный озорник и задира, вечно выпачканный сажей, клеем, варом, он сразу вступил с Панькой в задирательно-боевые отношения, которые скоро разрешились дракой. Артюшка был побит и удивлен этим. Он с неделю сумрачно поглядывал на Паньку и всячески старался отомстить ему за свое поражение, но, видя, что Панька глубоко равнодушен ко всем его выходкам, пошел было с ним на сделку.

— Вот что, рябой! давай помиримся! — сказал он. — Наплевать, что ты меня поколотил. Это ты покуда еще здоров, а вот поживешь немного, усохнешь, я и сам тебя тогда вздую. Идет?

И он протянул Паньке руку. Панька молча дал свою.

— Ну, только ты все-таки меня младше. Это ты знай! И как ты меня младше, то и должен делать всю черную работу. Понял? Согласен?

Панька посмотрел в его чумазую рожу и сказал, что согласен.

— Ну?! — немного удивился Артюшка. — Это хорошо. Люблю! Ну так вот, ты, значит, будешь убирать мастерскую, ставить самовар, колоть дрова, топить печь, мести двор, и все остальное.

— А ты? — спросил Панька.

— А я! чудак!.. чай, на мою долю хватит еще. Ище побольше твоего.

Установив с Панькой такое разделение труда, Артюшка оказался совершенно свободным от всяких занятий и дней пять блаженно улыбался, видя, как его товарищ обливается потом под бременем обязанностей.

Но дедушка Уткин это заметил, позвал Артюшку и, постукав его колоткой по голове, сказал, что он, Артюшка, хотя и умная шельма, но еще не совсем, а затем, установив правильно его обязанности, позвал Паньку, сказал ему, что он дурак, и тоже дал инструкции.

С той поры между Панькой и Артюшкой резко определились границы взаимных обязанностей. Паньке поручены были все черные дела, не имеющие ничего общего с обучением сапожному ремеслу, а Артюшку посадили на обтянутую кожей квашенку и стали исподволь посвящать в тайны ремесла, что сразу дало ему право относиться к Паньке еще более свысока и даже покрикивать на него начальническим тоном.

Панька долго потом думал, чем именно дедушка Уткин изменил его положение, и не мог этого понять; все оставалось так, как установил Артюшка, хотя дедушка и сказал, что он сделал по своему.

Переход от спокойного, созерцательного существования в будке Арефия к этой жизни, полной ругани, песен, табачного дыма и запаха кожи, был для Паньки резок и давил его. Он, привыкший быть по целым дням один-на-один с собой или в компании с молчаливым Арефием, с большим трудом привыкал к постоянному обществу четырех субъектов, находивших возможность с утра до ночи петь, говорить о чем-то, чего он почти не понимал, смеяться друг над другом и, без всякой видимой причины, разряжаться таким громадным количеством убийственно выразительных ругательств, за каждое из которых Арефий отправил бы их в часть. И он посматривал на своих патронов очень хмуро и неодобрительно, не понимая их и немного побаиваясь. А они, замечая его отношение, еще крепче посмеивались над ним и порой доводили его до того, что у него глаза вспыхивали неприятным зеленым огнем. Это еще больше веселило и интересовало их и все дальше отталкивало от них Паньку.

Часто все они устраивали формальную травлю Паньке, обыкновенно начи-

ная с рассказа о том, как однажды под забором нашли рябого младенца. Они знали от хозяина темную историю рождения Паньки и освещали ее порой так остроумно и с таким веселым усердием, что Панька чувствовал себя, как на раскаленной сковороде. Его коробили те щипательные подробности жизни, которые здесь всегда резко выдвигались на первый план и о существовании которых он не знал и не слышал до сей поры. Когда говорили об его отце и матери, юмористически описывая их наружности, род занятий и т. д., Панька чувствовал, что его косет что-то, давит в груди и страшно щиплет в горле...

С каждой такой сценой в нем все сильнее и сильнее горели различные чувства, и его рябое лицо раскаливалось до того, что становилось страшным. Потешившись вволю, ребята оставляли Паньку в покое и забывали о нем, но он все время, пока его язвили, упорно молчавший, не забывал ни о чем.

Он становился все молчаливее, и у него перестали распрямляться нахмуренные брови, отчего над переносьем легла глубокая ломаная складка. Эта складка, его молчаливость, всегда склоненная голова и суровый взгляд исподлобья дали ему прозвище Старичок. Он не обратил на это внимание и откликнулся на это прозвище. Всем он казался неприятным, много думающим, себе на уме мальчиком. И все, наконец, стали относиться к нему подозрительно и как бы ожидая чего-то от него,

Никандр однажды заметил, что Старичок, должно быть, когда-то убил человека и мучается от желания убить еще одного или безнадежно влюблен в кухарку Семеновну. Колька Шишкин, не соглашаясь с ним, заявил, что, по его мнению, у Старичка слишком развита фанаберия и что правильно периодические трепки могли бы его от этого вылечить. Артюшка, считая и себя в праве высказаться по этому вопросу, предположил, что, если [бы] Старичку подрезать пятки и насыпать в раны рубленой щетины, он бы стал таким весельчаком, что так бы все и танцевал с утра до вечера.

Дедушка Уткин, послушав все это, сказал так:

— Экие вы псы! Работает мальчишка — и ладно. А коли он не козлит повашему, так что же? и хорошо это. Он серьезный. Характер это у него.

И кстати рассказал об одном ротном командире, который тоже имел молчаливый характер и умер оттого, что подавился рыбной костью.

К концу первой недели у всех в мастерской сложился на Паньку взгляд очень твердый и для него ничуть не лестный. Панька это чувствовал, но, конечно, не мог изменить и даже не представлял себе, что изменить такой взгляд возможно. Все, что его заставляли делать, он делал толково, беспрекословно и молчаливо. Когда же в редкие минуты светлых и ровных настроений мастера пытались заговорить с ним без насмешки в тоне и с любопытством к нему, он отвечал им односложно-покойно, но всегда почему-то выходило так, что в конце-концов они оставались им недовольны и снова переходили к задиранию и насмешкам. Его это удивляло, и он на всякое слово, сказанное ему ласково, стал смотреть, как на некоторую ловушку, посредством которой его хотят вызвать на разговор и поставить в удобное для насмешек положение. Это заставляло его относиться ко всем еще более угрюмо и подозрительно.

Так шли его дела с месяц, а потом он постепенно стал привыкать к мысли, что он, очевидно, не похож на других, раз к нему относятся иначе, и его подозрительное и выжидательное отношение притупилось почти до апатии ко всем людям и событиям мастерской. Мастерской тоже примелькалась его молчаливая фигура, и все острое в отношениях сторон сгладилось, отчего эти отношения, конечно, не улучшились.

Панька работал, молчал, получал трепки, выволочки, таски, пинки, затрепщины и много других знаков внимания к нему — и мирился с ними, ибо не мог себе представить, что в этой закоптелой дыре и от этих шумных людей можно добиться чего-либо другого.

В воскресный свободный день он уходил гулять, спрятав себе за пазуху,

краюшку черного хлеба; но, обойдя раза три весь город кругом, нашел, что в нем мало интересного, и ограничил свои прогулки запущенным садом, принадлежавшим Топоркову. В этом саду, за баней, была славная яма, дно которой поросло густым бурьяном. Панька забирался туда и, лежа на спине, смотрел по целым часам в небо. Кругом него от ветра шелестели репейник и кусты одичавшего крыжовника, жужжали пчелы, ползали какие-то красные букашки с черными узорами на спине... И Панька, глядя на них и на все другое кругом него, понемногу учился думать.

Жизнь в мастерской почти совершенно не останавливала на себе его внимания. Она была для него какой-то мертвой загадкой, думать над которой там он не имел времени, да и не хотел, чувствуя себя не в силах вникнуть в нее, а здесь, в яме, она снова проходила перед ним в строгой последовательности, вся, с утра понедельника до вечера субботы. И раз как-то, когда, восстановив ее в памяти, он пропускал ее перед своими глазами, он был поражен вопросом: зачем все это нужно? Зачем нужно шить сапоги для других и ходить босиком самому, пропивая деньги, как дедушка Уткин, или проигрывая их в карты, как Колька? Зачем нужно «возиться с девочками» и потом смешно-горько жаловаться на них, как это делал Никандр, каждый понедельник рассказывавший какое-нибудь удивительное приключение с «ней», с дракой, с бегством от «него», или от полиции? Зачем нужно заставлять людей работать и, пропивая заработанные ими деньги, смеяться над собой за пристрастие к водке, как это делал хозяин?.. Все вообще — зачем?..

И Панька думал, что коли бы Арефий был здоров, так он бы мог рассказать обо всем этом... Но Арефий все хворал.

Панька был у него уже два раза. В первый — его просто не пустили, а во второй — сказали, что Арефий уж не выздоровеет и что ему, Паньке, не нужно и вредно его видеть. Панька отнесся к этому заявлению с большим изумлением и, выпучив глаза на доктора, ни-

как не мог спросить его о том, что хотел спросить, а потом повернулся и ушел, чувствуя себя обиженным чем-то.

К Михайлу он решил не ходить, справедливо полагая, что там для него не может быть чего-либо приятного.

День за днем однообразно и монотонно проходили, не оставляя в Паньке сожаления о них и не зарождая в нем желания видеть их какими-либо иными, но наслаивая на его душу ряд за рядом скучные, серые думы. Со временем думы его стали принимать преимущественно характер метафизический, отвлеченный и почти не задевали реальной жизни...

Жизнь идет так, как идет, и люди живут так, как живут; очевидно, что иначе быть не может и следовательно все это более или менее хорошо... Иногда ему, впрочем, приводилось слышать восклицания, вроде: «проклятая жизнь!» или «собачья жизнь!», но они не останавливали на себе его внимания, во-первых, потому, что в большинстве случаев раздавались в похмельный день — понедельник, а во-вторых — «собачья жизнь», с его точки зрения, не была худой жизнью; собаки ничего не делают, свободны, веселы и часто пользуются вниманием, дружбой и лаской гг. людей.

Сначала его интересовали мастера и хозяин; он пытался уяснить себе их поступки и намерения, но это было очень трудно и для самых объектов его наблюдений, не только для него. Их отношения к нему совершенно потасили этот интерес, и он стал еще более формален, равнодушен и автоматичен. У него выработался шаблон, по которому он проводил свой рабочий день, выработались особые движения и приемы, и он стал похож на маленькую машину, заведенную раз навсегда до поры, пока она не проржавеет и не сломается.

Его, наконец, стали считать идиотом и имели на это право. Действительно, было что-то идиотское в его неторопливых, неодушевленных движениях, в односложных ответах, в неумении оживиться и заинтересоваться тем, что было интересно для всех его окружающих.

А по воскресеньям, лежа в своей яме в саду, Панька размышлял и фантази-

ровал на разные темы, вроде такой: почему солнце, шатаясь по голубой пустыне небес, не сбивается с своего пути и не соскучится расхаживать, как часовой, вечно по одному и тому же месту? Иногда Панька думал, что, кабы его воля, он перекрасил бы это солнце в другой цвет, или выпускал бы его на небо в одно время с месяцем, или что-нибудь другое в этом роде, не менее остроумное.

Через два года такой жизни он стал длинней и суше, отчего рябины на его лице выступили рельефнее.

За это время Артюшка вышел из разряда мальчиков в разряд подмастерьев и занял место рыжего Никандра, которому предложено [было] посидеть в тюрьме месяца три за какое-то удалое похождение. Колька Шишкин намеревался жениться и открыть свою мастерскую. Дедушка Уткин пил и жаловался на одышку и на то, что у него танцуют руки, мешая ему работать. Хозяин, присмотревшись к нему, стал напиваться дома и по трактирам ходил меньше, чувствуя, что деду уже не справиться с ведением мастерской.

Постепенно и Паньку стали посвящать в тайны чеботарного искусства, и он, под деспотическим руководством Артюшки, учился накладывать заплаты и набивать на каблуки кусочки кожи. Против ожидания мастерской и самого хозяина он оказался довольно толковым и спорым работником. Это как будто подняло немного его реноме.

Еще через несколько времени ушел Шишкин, Артюшке прибавили жалованья, Паньку посадили на его место и взяли нового мальчика.

И вот Панька получает три рубля в месяц, шьет под неумолкающее пение веселого Артюшки и стариковское ворчание Уткина и, по своему обыкновению, молчит. Хозяин, находя, что работы теперь немного, не нанимает еще мастера, и, когда заказы скопляются, работает сам, что доставляет ему очень много удовольствия и дает право еще усиленнее выпивать.

— Житьишко!.. — часто говорит он, с шипением протаскивая сквозь кожу драгу. — Работаете да пьете—и буд-

то бы живешь!.. Штуковина, ребята! А между прочим, пора обедать. Мишка! скажи Семеновне, чтобы собирала на стол, а сам беги в кабак, на! тащи половинку бутылки! Дедушка,хватишь?

Дедушка довольно шевелит седыми усами, хозяин улыбается, а Мишка, — плутоватый господин лет десяти, с курчавой черной головой и мышинными глазами, — мчит за половинкой бутылки, выкидывая на бегу удивительное антраше и строя встречным прохожим веселые гримасы.

Через десять лет такой жизни Панька представлял из себя малого очень внушительного объема и вида. Он был высок ростом, немного сутул и очень мускулист; всегда засученные рукава его рубашки обнаруживали коричневую кожу рук, сплошь покрытых синеватыми узлами жил, а из-под длинных каштановых волос, когда он сидел, согнувшись над сапогом, сверкала здоровая, упругая шея, покрытая мягким пухом. На рябом лице густо пробивалась борода и верхняя губа уже была украшена маленькими светлыми усами. Он не стал общественнее, оживленнее за это время, и его глаза смотрели из-под густых, всегда нахмуренных, бровей еще более недоверчиво и хмуро, чем десять лет тому назад.

Он все так же пользовался у товарищей по мастерской репутацией старичка и человека, которому, по крайней его глупости, нимало не соблазнительны прелести выпивок, посещения разных веселых местечек и тому подобные развлечения. К нему, впрочем, привыкли и уже более почти не задевали его насмешками, отчасти потому, что боялись его силы, а более потому, что все равно его ничем не «прошибешь», как они говорили.

Никому не было известно, чем он живет, исключая из своей жизни все то, чем жили они, и самому ему едва ли было известно это. Он казался тупым, неподвижным, неспособным ни плакать, ни смеяться.

Хозяин, теперь совершенно седой, обрюзглый старик, однажды сказал про него, что он уже умер и оживет не ранее того времени, когда архангелы из-

вестят час конца мира и когда, хочешь-не хочешь, а придется и ему встряхнуть костями; а до этого часа он преспокойно просидит тут в мастерской, буде она не разрушится и, таким образом, не заставит его высмотреть вон.

Панька посмотрел на хозяина, желая, очевидно, что-то сказать ему, но ограничился тем, что бледно улыбнулся.

— И на этом благодарю покорно! — откланялся ему Мирон Савельевич, ожидавший большего и исподлобья посматривавший на своего работника.

Как работником, он был очень доволен Панькой и, пожалуй, любил его, громко свидетельствуя об этом в пьяном виде и в трезвом, даря его вниманием, бóльшим, чем всех остальных.

Остальных было двое: Мишка, вороватый парень 19 лет, и Гусь, сорокалетний кривой человек, с неизменно длинной шеей, которая, по его словам, вытянулась у него по той причине, что в молодости он обладал удивительным тенором и пел в архиерейском хоре. Теперь он был лишен всякого голоса, если не считать за голос тягучий скрип, посредством которого он выражал свои мысли и впечатления.

Артюшка давно исчез с поприща сапожного ремесла и занимался сначала мелочной торговлей, потом был половым в трактире, потом однажды снова явился к Мирону, был им принят, украл пару только-что сшитых сапог и исчез на этот раз уж и из города.

Старик Уткин тоже давно ушел в бессрочный отпуск. Как-то раз он сидел, шил и глубоко вздыхал. Последнее время он стал часто вздыхать и с каждым днем все тяжелее; на это не обращали внимания, так как это было с похмелья. Но в этот день он вздыхал, вздыхал, и, наконец, положив молоток, которым разбивал кожу, посмотрел в потолок и спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Позвать мне попа али не надо?

На это тоже не обратили внимания, потому что и это слышали раньше; а однажды был такой случай: Уткин, очевидно, нашел, что одного попа мало, и действительно требовал, чтоб его отправили к архиерею и непременно в закры-

той карете. Но после обеда обратили внимание на то, что он долго не вылезает из-за печи, где у него была постель, и, когда пошли будить, оказалось, что он умер.

Паньку очень поразило это. Он долго смотрел на всех глубокими, спрашивающими о чем-то глазами, но, очевидно, не сумел справиться с формой вопроса и промолчал.

Когда Уткина похоронили, Панька стал ходить на его могилу в сырой и мглистый угол кладбища, густо поросший бурьяном и скрытый от солнца густыми кустами бузины. Там, сидя на земле, он смотрел сквозь отверстие в каменной ограде в даль, видел в ней будку Арефия, реку, поле и лес и вспоминал детство и своего молчаливого друга, который через два года пребывания своего в больнице, умер от истощения.

На Паньку его смерть не произвела особенного впечатления, по крайней мере, он не выразил ясно особенного горя или чего-либо иного.

Его воскресные прогулки охватили теперь очень широкий район. Он бросил яму в саду и, кроме кладбища, ходил на гору за город; с нее весь город был виден ему, как на ладони, и он подолгу смотрел на него и слушал, как он, большой и неподвижный, глухо шумит и как по его улицам смешно шныряют туда и сюда крошечные черные фигурки людей; ходил в лес и лежал там по целым часам, отыскав укромное местечко и прислушиваясь к мягкому шуму деревьев, а иногда уходил в одну из пригородных деревень и шаялся по ее улицам, присматриваясь ко всему внимательно и пытливо, или заходил в деревенский кабак и там, сидя по часу и по два за бутылкой меда или пива, слушал разговоры мужиков. Иногда к нему привязывался пьяный, но его молчаливая, суровая фигура странно действовала на других, менее пьяных, и они вступались:

— Брысь ты! Не трожь человека! Городской человек это! Пшол!.. — кричали они пьяному и при этом посматривали на Паньку подозрительно и враждебно.

Он расплачивался и молча уходил. Однажды его догнал в дверях кабака тихий предостерегающий шопот: «Сыщик!» Больше в эту деревню он не являлся.

Одетый в приличную поддевку, шаровары и рубаху, подпоясанную шелковым поясом с кистями, в фуражке и высоких сапогах своей работы, высокий, сильный, с серьезным лицом, он мало походил на ремесленника, и, вообще, трудно было отнести его по внешнему виду к тому или другому классу людей.

Вот каким он был к тому времени, когда в его жизни произошло то, что его «приподняло, да и шлепнуло», как выразился его хозяин.

— Эй, ты, арестант! — обратился Мирон Савельев к мальчику Сеньке, выходя однажды утром в мастерскую. — Почисти сегодня самовар-то, а то он у тебя грязнее твоей рожицы! А ты, Панька, сегодня поручиковы сапоги постарайся отделать, слышишь?

— Ладно! — сказал Панька, набирая каблук и не оглядываясь на подсевшего к нему хозяина.

Гусь, вдев на нос очки, тачал на машине голенище и наполнял комнату сухим и резким стуком.

В прокопченную табачным дымом и запахом кожи мастерскую через раскрытые окна смотрело майское солнце и врывается с улицы шум шагов и грохот пролеток.

Мирон Савельевич посмотрел в окно, мимо которого мелькали разнообразные человеческие ноги, взял в руки кусок кожи, рассматривая его, прищурил глаза и заговорил старческим баском:

— А к нам постоялки интересные переехали. Две. Из ночных бабочек. Держи ухо востро, ребятишки!

Ему никто не отвечал, но это ничуть не смутило его, и после маленькой паузы он продолжал:

— Вот бы ты, Павлуха, и познакомился! Авось, хоть говорить-то выучился бы. А то что за монах? Или ты в рай, может, собираешься? Не трудись, брат! сапожников туда не пускают. Надобности в них нет, все там бо-

сиком ходят, потому что и погода там райская. Н-да!..

— Ма-аррро!.. жно хароо-о! — раскатистым тенором пропели на улице.

— Так вот заведи-ка, Паша, деликатные отношения с постоялками-то! а? Они бы тебя живо раскалили, переплавили и в новую форму отлили. Хоть у Соломона и сказано «не отдавай женщине сил твоих, ни путей твоих губительницам царей», но это не про нас писано. Они, эти самые женщины, веселые штучки, право! Дать им ежели волю, сейчас бы они весь божий свет вверх тормашками переверотили. Ух ты, какой бал задали бы! Первым делом все бы замужние — мужей по шапке, а девицы — марш-марш замуж! Превеселая канитель вышла бы из этого!

Сегодня Мирон Савельев был в ударе и, не умолкая, «завирался», как называл его фантазии благочестивый Гусь, кончивший стучать машиной и глубокомысленно рассматривавший голенище, стараясь изобразить фальцетом концертное «Царю небесный». Вместо фальцета получалось змеиное шипение, и Гусь, потирая свою длинную шею рукой, ожесточенно отхаркивался и плевался по сторонам.

— Ты чего, Павел, такой красный? — вдруг взглянув на работника, спросил Мирон Савельев. — И лоб в поту!..

— Не знаю! — глухо ответил Павел, проводя рукой по лбу и пачкая его чем-то черным.

— Ты не натирайся сажей-то, не поможет! — резонно заметил ему хозяин. — И глаза у тебя тово, мутные! не здоров ты?

— Да... не здоров... Очень не можется...

— Так что же? — подумал хозяин. — Ну, брось работать-то. Вот он дошьет сапоги... Иди и ляг... отдохнешь.

Павел встал и, шатаясь, пошел к двери.

— На погребу я лягу, коли что... — сказал он.

Идя двором, он чувствовал, что у него трясутся ноги, голова точно налила чем-то и кружится, а перед глазами

в воздухе плавают красные и зеленые круги...

Воздух на погребѣ, сырой и тяжелый, показался ему насыщенным густым паром. Он лег на мешок сена, положенный в угол на сырые половицы, и закинул руки за голову, предварительно расстегнув ворот рубашки и сбросив с себя тяжелый, сшитый из мучных мешков фартук.

На погребѣ было темно, а сквозь щели в двери пробивались лучи солнца и резали тьму тонкими лентами, почему-то дрожавшими; они то пропадали, то снова являлись. На дворе глухо звучали чьи-то шаги, и в голове странно гудело, и било в виски что-то опьянявшее, и кровь быстрой и жгучей струей кипела в жилах, отчего дышалось так трудно, и дыхание, казалось, пахло сырой и горячей кровью. А перед глазами прыгали эти красные и зеленые пятна, то маленькие и сверкавшие, как глаза кошки, то большие и темные, как куски сафьяна, падавшие откуда-то сверху и кружившиеся в воздухе легко, как иссохшие осенние листья.

Павел лежал, широко открыв глаза, и старался не двигаться, боясь, что, если он сделает это, то может упасть куда-то глубоко и долго лететь в этой глубине, полной горячего, удушливого пара. Под ним и вокруг него все колебалось, кружилось и издавало какой-то монотонный, тонко звенящий звук. Этот звук наполнял и голову Павла, надоедливо звеня в ушах.

Так прошло много странно-медленных минут, когда вдруг в отворенную дверь хлынул солнечный свет и знакомый голос Сеньки звонко прозвучал:

— Обедать пойдете, Павел Арефьяч?

— Не хочу! — ответил Павел, и ему показалось странным, что теперь еще только обед, и еще более странным звук своего собственного голоса. Казалось, что с той поры, как он ушел из мастерской, прошло так много времени, что голос его не должен бы звучать так же, как всегда, — глухо, твердо.

На погребѣ снова стало темно, свет странно выпрыгнул из него, и снова потянулись медленные минуты, наполненные этим надоедливым звоном в

ушах. Павлу казалось, что что-то горячее и влажное засасывает его в себя, и он впал в забытие, сквозь которое чувствовал жажду и все более усиливавшийся недостаток воздуха.

— Тут какое-то чучело лежит...

— Видно, сапожник из подвала... Пьяный.

— Ну, пускай его...

Павел открыл глаза и слабо повернул свою тяжелую голову к двери.

На погребѣ было светло, и около двери стояли две женские фигуры. Одна из них поднимала дверь в погреб, а другая стояла около нее с горшком молока в одной руке и кульком — в другой. Она смотрела большими голубыми глазами в угол, где лежал Павел, и говорила другому чистым и сочным грудным голосом:

— Ну, скорее возись, Катерина!..

— Поспеешь!.. — попробуй-ка, подыми ее сама! — отвечала Катерина, сясь поднять сырую и тяжелую дверь. У нее голос был глуше и грубей.

— Смотри-ка, как сапожник вытаращил глаза на меня! У-у!.. — продолжала первая. — Точно съесть хочет...

— А ты ему плесни молоком-то в них.

— Чай, мне молока-то жалко..

Павел смотрел на них лихорадочно блестящими глазами, и обе они казались ему плавающими в тумане далеко от него, так далеко, что когда он глухо прохрипел «дайте напиться», то совсем не надеялся, что они услышат его.

Но они услышали, и та, с голубыми глазами, с горшком молока в руках, бросив на пол кулек и подбирая свободной рукой свое платье, направилась к нему в угол, тогда как другая, на полуловища опустившись по лестнице в погреб, с интересом следила за ней.

— Что, видно, с похмелья — не веселье? Катюшка, кинь комок снега, не молока же ему дать!.. — услышал Павел над своей головой и снова прохрипел:

— Поскорее... пить...

А затем увидел, что голубые глаза приблизились к нему и пристально смотрят в его лицо.

— Катюшка, рябой какой, у-у!.. Да он ведь не пьян!.. не пахнет вином-то... Катерина, больной это, ей-богу, больной! горячий весь и дышит, как паровик!.. Ах, черти окаянные, больного человека на погреб стащили!.. Ну, свиньи!.. Пей, вот, пей! Давно ли ты тут валяешься? а? Родных-то нет, что ли? А в больницу чего не пошел?

Присев около Павла на корточках и поддерживая у его рта кринку, в которую он вцепился дрожащими руками, жадно глотая молоко, — она осыпала его вопросами, очевидно, забыв, что ему нельзя говорить и пить в одно и то же время.

— Спасибо! — сказал он, наконец, оттолкнув от себя кринку и снова уронив на мешок приподнятую голову.

— Кто это тебя сунул в такое прохладное место? Хозяин, что ли? Ну уж и собака, видно!.. — негодуя, говорила она ему и дотронулась рукой до его лба.

— Сам я... — ответил Павел, не сводя с нее глаз.

— Умен, очень умен!.. Давно ли это ты?

— Сегодня вот...

— Ишь!.. Видно, перемогался с неделю, да и слег, наконец!.. Ай, ай, ай!.. как же мы теперь будем? Катюшка! Что мы сделаем с ним?

— А что? В погреб на лед его положить, что ли? Али к себе стащить? А тс, может, еще что? Дура ты! Иди-ка, иди!

Павел с трудом повернул голову и посмотрел на другую женщину, все еще стоявшую на лестнице в погреб и с холодным любопытством смотревшую в его угол. Ему сделалось тошнее от ее насмешливых слов, и он, вздохнув, перевел глаза на ту, что была около него.

Она, не отвечая подруге и строго нахмурив густые брови, что-то соображала.

— Ты лежи! — решительно заговорила она, склоняясь к самому лицу Павла. — Лежи, а я сейчас уксусу да водки с перцем принесу, слышишь?

И вдруг, быстро встав на ноги, она исчезла.

Они обе ушли, не затворив за собою

двери и не надолго оставив за собой звуки спора, вспыхнувшего меж ними.

Павел мог бы подумать, что все происшедшее только бред, но мягкий вкус молока во рту, облитая им рубашка и ясное ощущение на своем лице мягкой руки, тихо гладившей щеки и лоб, не позволяли ему сделать это. И вот, он стал ждать, когда она снова придет. Им овладело странное любопытство, покрывшее собой все болезненные ощущения; страшно хотелось знать, что же будет дальше? Он никогда раньше не замечал за собой такого сильного желания знать, что будет впереди. Поворотившись на бок, спиной к двери, он уставился на двор своими воспаленными болезнью глазами.

Она пришла скоро, неся в одной руке бутылку с надетой на ее горлышко рюмкой, а в другой какую-то мокрую тряпку.

— Ну-ка, пей, — сказала она и, когда Павел протянул к ней руку и открыл широко рот, сама вылила ему из рюмки чего-то, что сразу, как огнем, обожгло ему язык, небо, глотку и заставило закашляться.

— Ага! Славно? — торжествующе воскликнула она и моментально же приляпала ему на голову холодную и мокрую тряпку, издававшую скверный, кислый запах.

Павел молча подчинялся всему этому и не сводил с нее глаз.

— Ну, а теперь поговорим! Хозяин-то сквалыга? Пес с ним! Я сама тебя завтра свезу в больницу. Больно тебе? Ничего, потерпи! Теперь, наверно, лучше будет. Трудно говорить-то? а?

— Нет... могу... — сказал Павел.

— Не надо, молчи! доктора не велят говорить больным-то. Лежи, знай лежи!

И, очевидно, не находя больше ничего, что бы можно было сказать ему, она оглянулась кругом с видом человека, которому вдруг стало очень тошно.

Павел все смотрел на нее и думал про себя, зачем она все это сделала с ним? Он ей чужой, как и она ему. Она, наверное, та постоялка, о которой давеча говорил хозяин. Как ее зовут?.. И он решил, что нужно спросить ее обо всем этом.

— Как... же... вас зовут?—тихо прошептал он.

— Нас? Наталья... Кривцова, Наталья Ивановна. А что?

— Так...

— А!.. — неопределенно произнесла она и, осмотрев его с головы до ног, что-то тихо замурлыкала.

— А вас? — вдруг спросила она, прерывая свою песню.

— Павлом...

— А сколько вам лет?

— Двадцать.

— В солдаты, значит, скоро пойдете! — заключила она и помолчала снова.

— У вас родных-то нет?

— Нет... подкидыш я, — тихо сказал Павел, чувствуя, что у него снова страшно начинает ломить голову и пробуждается жажда.

— А-а!..—протянула она и, придвинувшись к нему ближе, с удивлением смеряла его своими голубыми глазами, точно она не понимала, каким образом он, такой большой и плотный, может быть подкидышем.

— Дайте мне пить еще! — спросил Павел.

— Вот, вот, сейчас! — заторопилась она и, достав кринку молока, живо подсунула под его голову руку, приподняла его и зашептала:

— На здоровье! господи Иисусе!

Он пил и в упор смотрел в ее лицо, раньше немного беспечное, а теперь такое задумчивое и хмурое. Это выражение показалось ему более близким и понятным и развил в нем желание говорить с ней.

— Скажите, зачем вы это делаете? — вдруг громко спросил он ее, как только кончил пить.

— Что я делаю? — недоумевающе оглянулась она вокруг себя и вопросительно остановила на нем свои глаза.

— Вот со мною... все это... Сколько дали мне... укус... сидите... говорите... и все... Зачем? — проговорил Павел и испугался, видя, что она отодвинулась от него и как бы обижена и тоже испугана чем-то.

— Какой вы!.. Не знаю, зачем... так. чай, вы человек... Али нет? Смеш-

но даже, право! — и она недоумевающе пожала плечами.

Панька неопределенно тряхнул головой и, отвернувшись от нее к стене, замолчал. В его большой голове бродили странные мысли... Первый раз в его жизни на него обратили внимание и кто? одна из женщин, которых он, памятуя отношение к ним Арефия и наслушавшись о них в мастерской много далеко не лестных историй, — боялся, не любил, и о которых давно уже тайно много думал, скрывая эти думы и от себя самого и негодуя на себя за них. Женщина — это вечный враг мужчины, который только и выжидает удобного момента, как бы поработить и высосать кровь. Вот преобладающее мнение о женщине, которое ему приходилось слушать чаще других. Иногда, встречая красивую девушку, робко и поспешно бегущую по улице, Панька смотрел ей вслед и думал: какой же она враг, когда она такая птичка? Его боязливое любопытство, которое он проявлял почти всегда, когда другие говорили о женщинах, служило предметом немалых насмешек со стороны мастерской и хозяина. Ему насмешливо удивлялись и делали цинические предположения, страшно обижавшие его, а иногда перед ним каялись в увлечениях и хвалили его за стойкость. В общем, он видел, что женщина играет в жизни громадную, все охватывающую роль, и никак не мог связать с этим выводом из своих дум и наблюдений другой вывод, гласящий, что женщина — враг, — вывод, который тоже подтверждался, но не его наблюдением, а общим голосом всех, кого ни спроси.

Хозяин однажды поучал его: «Баб только берегись, Павел. Бабе не поддавайся, — пролезешь сквозь жизнь. Все, кого ни спроси, скажут тебе, что тяжелей цепи, чем баба, нет на свете. Животное жадное, жить любит хорошо, а работать — мало и на живую нитку. Уж поверь мне, пятьдесят два года на свете живу и был женат два раза».

И вот она, эта страшная и таинственная баба, первая принесла ему приятное сознание, что он, угрюмый и не похожий на людей, Павел, достоин ее забот о

нем, пришла к нему, сидит около него, одинокого и никому не нужного человека...

— Что она делает? — подумал Павел и, тихонько повернувшись, посмотрел на нее.

Она сидела на полу и с задумчивым лицом смотрела в щель от непритворенной двери на двор... Лицо у нее очень доброе и красивое, мягкое, с хорошими голубыми глазами и сочными пунцовыми губами.

— Спасибо вам за заботу! — тихо сказал Павел, невольным жестом протягивая к ней руку.

Она вздрогнула, взглянула на него, но руки не взяла.

— А я думала, вы заснули. Вот что, нужно ведь уйти отсюда. Непременно нужно уйти. Сырость. Ну-те-ка, вставайте!

Павел не принял своей руки и снова настойчиво повторил:

— Спасибо вам за заботу обо мне!

— Ах, господи! Вот уж право!.. Ну чего? какая забота? Жарко везде, вот и я рада посидеть здесь. Вставайте-ка!

Она была чем-то недовольна и, помогая ему вставать, отвернула от него свое лицо, точно не желая встречаться с ним глазами.

От движения Павел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь и глухо зашумела там.

— Трудно мне! — прошептал он, чувствуя, как дрожат его ноги и как все кости ломит боль.

— Ничего, как-ни-то потерпите уж! — нельзя здесь.

Поддерживаемый ею, он поплыл в каком-то тумане по двору и сквозь этот туман видел перед собой ехидно улыбавшиеся рожи хозяина и Гуся, стоявших на пороге мастерской.

— Не могу я больше!.. — хрипло сказал он и почувствовал, что падает в какую-то бездонную яму.

Первый раз в жизни Павел знакомился с больницей. Тошнотворно желтые стены, скверный запах лекарств, измученные и злые лица служащих, бесстрастные физиономии доктора и

фельдшера, стоны, бред, капризы больных, серые халаты, колпаки и унылый раздражающий слух звук шлепанцев-туфель о каменный пол, — все это, дополняя одно другое, сливалось в серую гармонию уныния и беспомощности, безжизненности и тяжелой, неустанно сосущей сердце тоски...

Павел пролежал в бреду одиннадцать дней, и вот уже пятый день, как кризис миновал и он стал поправляться. За это время, по словам служащего, к нему приходил один раз хозяин, два раза Гусь и два раза сестра, однажды с другой, а другой раз — одна. Там, в конторе, она оставила ему чаю, сахару, варенья и еще чего-то в узелке.

Павел, когда служитель, рассказывая ему все это, дошел до сестры, удивленно разинул рот, но вспомнил, что это не кто иной, как Наталья Ивановна, — вспомнил и почему-то очень обрадовался.

— Ишь какая!.. — прошептал он и почувствовал, что ему будет еще более приятно, если он увидит ее.

Но к нему, как к тифозному, посетителям не велено было пускать, и служитель объяснил, что это будет до той поры, пока его не переведут в 5-й барак.

— В 5-й барак допускаются и люди; а сюда, кроме нашего брата да докторов, никому больше нельзя.

Служитель сказал это с какой-то печальной гордостью своим правом перед людьми, а у Павла его сообщение вызвало вопрос — скоро ли его переведут в 5-й барак?

— А это, как нос. Теперь у тебя нос желтый и сухой, а вот он скоро должен будет взбухнуть и покраснеть. Как это с ним случится, тут тебя отсюда и переведут. Тифовых людей всегда по носу переводят. Нам это очень известно. Седьмой год маемся тут-тко... привыкли.

Этот служащий был большой охотник поговорить, и, так как Павел из девяти больных был один способен понимать и слушать, все же остальные находились в состоянии, совершенно не располагавшем их к ведению бесед, то Павлу приходилось единолично нести бремя общения с этим господином. Маленький,

костлявый и рыжий, с меланхолически неподвижными серыми глазами, он, в свободное время, садился на койку Павла и начинал:

— Поправляешься? Вижу, вижу, идет дело на лад. Скоро в 5-й. Это хорошо, что ты похворал так. Тиф — болезнь великолепная, она очищает. До нее человек мюзгирькой мог быть и имел душу, наскрозь греховной пакостью пропитанную, а похворал ей — и чист! потому с бредом она. А во время бреда душа-то человечья исходит из тела и странствует по всем мытарствам... и поучается. Н-да. Положим, мрут с тифу многие, но это ничего. Это человеку необходимо. Предписано. Мрут-то и не от тифу, а оттого, что материя изнасилась... истерлась от жизни-то, и душе требует другой костюм. Квартиру, значит, новую, а человеческому телу одна квартира — земля. Н-да!.. У тебя родственники не умирали? Нет? ага! а у меня одиннадцать умерло. Одного даже живым земля взяла. Водопроводчик был. Кладет это он трубу, а земля-то его рраз! и тью-тю Николка. Взяла. Отрыли его, а он уже шабаш! Н-да!.. Она, земля-то, свое возьмет всегда, от нее не увернешься. Не убежишь. И в воду кинься — в землю попадешь, и в огонь сунься — земля будешь. Бережет она свое добро. Вот и меня скоро потребует. Анисим, друг, пожалуй-ка в могилу! И ляжешь. Ничего не попишешь, ляжешь, да и все тут. Так-то, человечек! Дрыгнешь ногой, не хочу, мол, а она тебе на сердце дохнет, и готово. И нет уж тебя больше. И ничего нет. Потому что до той поры и мир жив, пока ты сам в нем ходишь...

Иногда ему удавалось говорить часа по два кряду. Он не интересовался вопросом, слушают ли его, а говорил свои мрачные речи, и его неподвижные глаза становились все более неподвижны, пока не приобрели странной, тусклый оттенок, тонкой пеленой закрывавший его зрачки. Тогда его речь звучала глуше, отрывистой, фразы все короче, и, наконец, он глубоко вздыхал и обрывался иногда на полслово, а в глазах его уже ясно светился холодный ужас.

На Павла его речи не производили

особенного впечатления. Он почти никогда не слушал их, увлеченный своими думами, теперь освещенными надеждой на что-то, что, он чувствовал, ждет его впереди, но чего не мог себе ясно представить. Матерьяла для построения воздушных замков у него было мало. Жизнь он знал со слов других и сам до сей поры от активного участия в ней сумел уклониться. Но теперь он всем существом своим понимал, что близится что-то новое, большое, неизведанное им и что оно должно будет создать ему новую жизнь. Дум в прямом смысле слова у него почти не было; он не имел достаточно слов, чтобы уметь ясно думать, но с той поры, как он очнулся и вспомнил взгляд голубых глаз Натальи Ивановны, много новых ощущений родилось в его темной душе, а сообщение служителя о том, что она была уже два раза, родило их еще больше.

До двадцати лет он не пользовался ничьим вниманием, но, как человек, не мог жить без него, а как человек, несколько исключительный, совершенно одинокий, ждал его с большей жадной, чем всякий другой, хотя, может быть, совершенно инстинктивно, бессознательно, и, конечно, не имея представления ни о том, каково оно есть, это внимание, ни о том, откуда и в какой форме оно придет. И вот оно пришло. Оно пришло, и он твердо надеялся, что это еще не все и что впереди его ждет целый мир новых чувств. А чисто животное ощущение того, как с каждым днем восстанавливаются его пошатнувшиеся болезнью силы, делало его еще бодрей и еще более разжигало в нем желание скорейшего наступления будущего.

И вот раз, когда его уже перевели в пятый барак, к великому огорчению служителя Анисима, терявшего единственного слушателя и находившего, что переводят его преждевременно, — еще может и умереть, нос разбух недостаточно, — раз, когда Павел, лежа на своей койке и следя за мухами, путешествующими по потолку, был погружен в свои смутные полудумы, полуощущения, над его головой раздался тихий возглас:

— Павел Арефвич!

Он дрогнул и испугался, — это было так неожиданно. Она была тоже смущена чем-то.

— Здравствуйте!.. славу богу, перевели вас!.. вот я принесла тут... — и она совала ему в руки какой-то узел, вся красная и испуганно оглядывавшая исподлобья палату.

У Павла страх уже успел исчезнуть перед горячей радостью, покрывшей его щеки слабым румянцем.

— Покорно вас благодарю! покорнейше вас благодарю! Покорное спасибо! Очень рад я вам. Очень!.. Садитесь вот сюда или вот сюда!.. вот тут очень удобно... Благодарствую! Хорошее вы делаете дело... Будьте уверены в этом... — говорил он ей, сверкая глазами и весь преображенный.

Она еще более растерялась от этого неожиданного ею приема и все еще не переставала оглядываться по сторонам, посматривая то на того, то на другого больного и точно боясь среди них встретить кого-то, кто был бы ей очень неприятен.

— Ничего! я сяду. Не тревожьтесь. Вам вредно... — вполголоса говорила она, делая свои изыскания.

Охваченный энтузиазмом, Павел заметил это.

— Вы не беспокойтесь... Это все хорошие, большие люди... разговорчивые, вежливые. Они ничего... Весьма приятные господа. Ах, как я вам рад!.. — закончил он свою рекомендацию чуть не криком.

Она уже успела осмотреть всю палату и, вздохнув, улыбнулась Павлу широкой, доброй улыбкой.

— И я очень рада, что вы поправляетесь. Я ведь уже была здесь. Без памяти были вы. Вы не тревожьтесь, пожалуйста! Вот тут я принесла вам... доктор позволил. Покушайте! — и она принялась было развязывать узел.

Но Павел схватил его дрожащими от радости руками и заговорил, все более вскипая радостью:

— Поверите ли, как ангел небесный вы мне, ей-богу!..

— Ох, что вы!.. — снова смутилась она.

— Нет, уж это так... Я не могу гово-

рить. Не умею. Я все молчу больше. Но ведь я понимаю же, позвольте!.. Вы кто такая мне? Чужой человек. И я тоже. Но вот вы первая пришли... И тогда на погреб... Из какой корысти? Я же один, весь тут, и никакой ласки не видал за всю жизнь... Вот в чем суть. Вы понимаете? Это очень, это очень хорошо, замечательно хорошо!.. — с жаром потряс он ее руки.

— Вы успокойтесь. Это ведь вредно... кипеть так; меня могут больше не пустить... — успокаивала она его, все еще немного растерянная, не понимая его отрывистых, несвязных речей, но прекрасно понимая, что это она именно принесла с собой столько радости ему.

— Не пустят?!.. — с испугом воскликнул он и, посмотрев ей в лицо, снова заговорил протестующим тоном.

— Это нельзя. Вы сестра мне. Невозможно! Кто вам сказал? Вы — один мой человек. Да!.. Это пустяки! Я имею право!.. И даже жаловаться буду...

— Ах, какой вы чудак! На что жаловаться? Я только к слову, бунтовать вам нельзя... Смешной вы очень!..

Он теперь, действительно, казался ей немного смешным в своем экстазе, и она не могла объяснить себе, почему это он так уж расхотелся; но ей было все более лестно и приятно сознавать, что причиной этому — она. Она становилась смелее и понемногу начала проявлять некоторый деспотизм, которому он беспрекословно подчинялся и который был ему приятен, так же, как и ей, впрочем. Она заставила его жевать какую-то сдобную булку, поправляла подушки, расспрашивала его, как и что он чувствует, и даже, наконец, строго сдвинув брови, заговорила с ним сурово и внушительно. Ее забавляло это, а он совершенно таял от ее забот и внимания.

Он теперь умолк и только смотрел ей в лицо удивленными и радостными глазами, а она говорила ему о том, что вот он скоро выйдет и будет ходить к ней в гости, пить чай, гулять с ней в лесу, кататься в лодке, и много великолепных картин рисовала она ему...

Незаметно прошли приемные часы, и она ушла.

Павел на прощанье жалобно смотрел ей в глаза и просил ее тихим шопотом приходиться.

Оставшись один, он закрыл глаза и живо представил ее себе: маленькая, пухлая, светлорусая, с розовыми щеками, весело и задорно вздернутым носом и с большими, ласковыми голубыми глазами, она была просто красива и свежа. Темленькая кофточка и такая же юбка, гладко причесанные и заплетенные в косу волосы — делали ее еще более простенькой, милой и доброй. Когда она говорила, из-за сочных губ сверкали маленькие зубки, веселые, блестящие. От нее веяло добротой прежде всего.

Павел смотрел, смотрел на нее и, перерожденный, удивляющийся сам тому, что он так сразу и много говорил с ней, и тому, что она так хороша и так близка ему, — умилился и крепко зашнул.

Его следующий день весь прошел в каком-то радужном тумане. Он все представлял себе вчерашнюю сцену и улыбался, и шептал про себя по сту раз «покорнейше благодарю!». выражая этой благодарностью длинный ряд самых разнообразных представлений.

Завтра опять приемный день, и она могла притти. Он представлял себе, как это будет, и придумывал фразы, которые он скажет в похвалу ей... И вместе с тем представлял, что он уже выздоровел, катается с нею по реке на лодке и рассказывает ей про Арефия...

Наступило это «завтра», и он с лихорадочной дрожью во всем теле жадно смотрел с утра до вечера на двери, ожидая, что вот сейчас в них покажется она и, как в первый раз, начнет пытливо осматривать больных и потом сядет к нему на койку, и они будут разговаривать... Но день прошел, и она не пришла.

Павел долго не мог уснуть ночью, пытаясь ясно представить себе то, что могло ее задержать; но не успел в этом и наутро проснулся с сильной головной болью, в тяжелом апатичном состоянии.

Весь следующий день он пролежал молча, неподвижно, ни о чем не думая, ничего не представляя и не ожидая. Про-

шло еще много приемных дней, а ее все не было.

Павел лежал и припоминал все то, что он слышал дурного о женщинах, припоминал и, явно насилая себя, старался навязать все это своей знакомой. Но к ней не шло как-то ничто дурное. Он представлял ее себе грязной, пьяной, воровкой, ругающейся с ним, осыпающей его насмешками, но она, несмотря ни на что, все-таки в конце-концов оставалась простенькой, красивой и доброй.

Дни текли. Он уже гулял по коридору, окна которого выходили на улицу, и подумывал о выписке, останавливаясь у окон и чувствуя непреодолимое желание ходить там по залитым солнцем улицам, среди всех этих здоровых, светлых и озабоченных людей.

Каждая женщина, шедшая по направлению к больнице, вызывала в нем легкую дрожь надежды... С полчаса он напряженно смотрел в конец коридора, не появится ли там она; она все не появлялась, и Павел, чувствуя себя обманутым, тосковал.

Но однажды раздался возглас служителя:

— Павел Гиблый! в контору!

Он быстро бросился туда.

— Вот, получите! принесли вам! — сказал длинный и худой помощник смотрителя, поводя своими черными усами и подавая Павлу бумажный пакет.

— А... кто это принес? — спросил Павел, дрожащей рукой принимая пакет.

— Старик, который сказал...

Павел угрюмо тряхнул головой и протянул руку, чтоб положить пакет на стол против фельдшера.

— ...что он ваш хозяин, и женщина с подвязанной щекой. Молодая.

Павел вздрогнул и принял руку с пакетом обратно.

— Очень у ней подвязана щека-то? — спросил он.

Фельдшер высоко поднял брови и усы и переспросил:

— То-есть как это — очень подвязана щека?

— Нет, я ничего!.. Покорно благодарю!.. Зубы болят у ней, видно!..

— Гм?— качнул головой фельдшер.— Возможно, что и зубы болят... Ну-с?

— Ничего она не говорила про меня? — с некоторым трепетом и тихо осведомился Павел.

— Говорила. «Он, говорит, дурковат у меня немного, так вы уж извините его». Можете итти. Я извиняю вас.

Павел повернулся и вышел, понимая, что над ним смеются. Ему показалось, что он знает, почему она не приходила все это время; просто, у нее болели зубы; но вот, как только стало немного легче, она и пришла. Добрая какая!..

Через неделю после этого он снова стоял в конторе перед помощником смотрителя, который рылся в какой-то книге и щелкал на счетах.

— Ваши вещи вы все получили? — спросил он Павла и, не дожидаясь его ответа, добавил:

— Хорошо. Идите. До свидания!

Павел поклонился и вышел на улицу, а через полчаса, опьяненный солнечным светом и движением, с туманом в глазах и кружащейся головой, входил в мастерскую.

— Ба!.. Пришел! Молодчина!— встретил его хозяин. — Здравствуй! Усох ты здорово! Ну, ничего, зато вон улыбаться выучился.

Павел, действительно, осматривался вокруг себя и улыбался. Его наполнило хорошее, мягкое чувство, когда он отворил дверь мастерской и стал на пороге. Все тут было так хорошо, знакомо и родственно. И эти старые, прокопченные стены тоже как будто улыбались ему белыми пятнами, неизвестно как уцелевшими от черного слоя копоти... Вон в углу его постель и над ней две картины — Страшный суд и Путь жизни...

Мальчик Мишка раскрыл рот и, с выражением живейшего удовольствия на испачканном лице, уставился ему в глаза живыми, черными глазами. И хозяин, очевидно, рад тому, что он пришел. А хозяин все говорил:

— Ну-ну, проходи, садись, отдыхай! Устал, чай. А я тут вдвоем с Мишкой оруду. Гусь запил. Другого взять не хотелось: полагал, что вот-вот ты придешь. Ну, вот хорошо. Теперь мы за-

строчим ой, люди, как! Я, брат, опять втянулся в работу-то. И не пью даже вот сколько уж время!.. То-есть, пью, конечно, но не так, чтобы уж вплоть до чортиков.

Павел слушал и чувствовал себя все более приятно и от того, что хозяин так много и весело говорит, и от того, что в его словах и тоне было что-то родное и хорошее, что падало ему, Павлу, на сердце так тепло и мягко.

— Теперь мы с вами, Мирон Савельич, начнем работать!— с уверенностью и одушевлением сказал он, когда хозяин кончил и стал примеривать кусок кожи к дыре на старом голенище.

— Покорно вас благодарю, что вы приходили ко мне! Мне это очень дорого! — тепло сказал он и прибавил: — Как я совсем одинокий человек...

— Фью-ю!.. — свистнул хозяин, перебивая его.

— Вон как говоришь ты теперь!.. Ах, братец ты мой! Вот уж именно нет хуже без добра! До болезни-то ты бы скорее лопнул, чем сказал такие слова. Важно! Пора, пора! Еще, брат, вот что! Ты сходи к этой Натаньке. Сходи. Хоть она и такая, но, однако, ее надо тебе благодарить. Знаешь ты, как она о тебе заботилась? Беда! Чуть не каждый день шастала ко мне—«были? ходили? видели?»... Да, брат, душу-то она еще не прогуляла. Душа у ней человеческая, не в обиду будь ей сказано! Поди ж ты вот! девка такого поведения — и вдруг. Прошедший раз мы с ней клюкнули малость за твое здоровье, какие она, братец мой, речи говорила!.. у-у-у!.. то-есть, вот ей-богу, сроду не слыхивал! «Ведь на нашу сестру, говорит она мне, как смотрят! как на свинью и паршивую собаку. Верно?» — Верно, мол. — «А он, говорит, — ты-то знаешь, — встретил меня, как родную, вот что! Понял, дедушка Мирон?» — Понял, мол. — «Ну, так и должна я ему за это заплачивать тем же». Скажите, как просто! а? Чудно это малость и как будто-то бы не по жизни совсем. Не похоже на настоящее... верное... на то, что мы все... ты и я...

И дальше этого Мирон Савельич не мог пойти, споткнувшись обо что-то

невидимое Павлу, который слушал все это с выражением глубочайшего внимания и тихой радости на своем рябом лице. Он еще долго смотрел в рот хозяина, когда тот, уже окончательно убедившись в невозможности оформить свою мысль, широко махнул рукой и умолк...

Павел тоже молчал; но, чувствуя, что ему необходимо нужно так или иначе выразить хоть немножко из того, что так приятно наполняло его грудь и туманило голову, он, не найдя ничего лучшего, снова начал благодарить.

— Очень я вас благодарю, хозяин, за все ваши слова! Так благодарю!..—и он развел руками, не имея возможности сказать, как именно он благодарит. — Хворость эта самая на пользу мне пошла. Это вы верно сказали. Волком я себя понимал до нее... а теперь вижу, что человек. И даже вот мне оказывают внимание... Покорнейше благодарю!.. — и он как-то задышался от наплыва желания говорить и высказываться.

— Ну, это, парень, пустяк! Положим, был ты до болезни очень не фарштейн! Неудобным, тяжеловесным человеком был, это твоя правда. Но надо тебе сказать, что неизвестно мне, как лучше жизнь проходит, — сторонкой от людей или заодно с ними. Приятную компанию эти самые люди редко могут составить, и гулять ты с ними—гуляй, но ротик держи закрытым и пальчики сжимай в кулачок на всякий случай. Сердиться, ежели тебя они обтяпают, не следует, потому — каждый жить хочет, а жить-то куды как тесно и другого нельзя не задеть; но не следует и поддаваться. Ты лучше сам из когони-то соки выжми, чем свой бок другому подставлять. А пуще всего берегись баб! Это—т-такие ехидны, что и не заметишь, как она тебя ужалит. Улыбнется тебе — раз, поделует — два, похвалит — три, четыре — ты уж и работник на нее, пять — у тебя уже и душа ноет, воли просит, но дудочки, миленький! Не такие у них, у кошек, лапки, чтоб тебя выпустить! И умрешь ты раньше смерти раз пяток, другой!..

Мирон вдохновился и философствовал вплоть до вечера, не переставая работать.

Павел сидел против него и внимательно слушал, тоже что-то ковыряя шилом. Но внимание к речам хозяина не покрывало собой некоторой неотступной мысли, все время копошившейся в его голове.

— Шабаш! — сказал Мирон, кончая вместе и философствовать, и работать. — Ложись-ка ты, брат, отдыхай. А то — на улицу иди, дышать.

— Нет, я лучше к ней... — смиренно проговорил Павел, потупляя глаза.

— Это к Наталье, значит? Гм!.. Ну, что ж, иди!—задумчиво сказал хозяин.

Но когда Павел выходил из мастерской, он еще крикнул ему вдогонку:

— Смотри же, поглядывай, как бы она тебя не женила!.. Хе-хе!.. И не заметишь, как это случится. Они — ловкие!..

На Павла этот крик подействовал неприятно. Знает он ее, и совсем она не похожа на всех других. Пробовал уж он ее очернить — и не пристало ничего. Она просто добрая — и больше ничего.

Занятый этими протестующими думами, он не заметил, как взшел по лестнице и очутился на чердаке у маленькой, не плотно притворенной двери. Он почувствовал себя неловко и не решился войти, не кашлянув прежде. Но его кашель, хотя и был громок, не вызвал никаких признаков жизни за дверью.

— Спит, видно! — подумал он; но не ушел, а продолжал стоять, заложив руки за спину и тайно надеясь, что вот-вот она проснется.

С улицы доносился глухой шум. От раскаленной солнцем крыши на чердаке было душно и пахло нагретой землей и еще чем-то, щекотавшим ноздри.

Вдруг дверь тихо отворилась. Он отступил, почтительно сняв с головы фуражку, низко поклонился и, не поднимая головы, ожидал, что вот сейчас она скажет ему что-нибудь. Но она все не говорила. Тогда он поднял голову и разинул рот от удивления. Перед ним никого не было, и в комнате тоже было пусто. Очевидно, дверь отворилась оттого, что в открытое окно пахнул ветер.

Он заглянул в комнату. Там все было разбросано, не прибрано, постель, стоя-

шая у стены, смята, на столе перед ней стояли грязные тарелки с какими-то кусками и окурками папирос, две пивные бутылки, самовар, чашки; на полу валялась красная юбка, башмак и смятый букет бумажных цветов...

Павлу почему-то стало грустно при виде всего этого, и он хотел уйти, но вдруг, повинувшись какому-то внутреннему толчку, перешагнул через порог и вошел в комнату. Это была маленькая конурка, с потолком в виде крышки гроба, оклеенная дрянными голубыми обоями; местами они оборвались и отстали от стены; это, в связи с общим беспорядком комнаты, делало всю ее такой странной, как будто бы она была вывернута наизнанку.

Павел глубоко вздохнул, прошел к окну и сел на стул.

— Зачем же я не уйду? — подумал он и ощутил в себе совершенное отсутствие даже намека на то, что ему хотелось бы уйти. — Ведь как и уйдешь? Ее нет, квартира не заперта и вот все разбросано... Она, наверное, не далеко, тут где-нибудь...

И он посмотрел в окно, как бы надеясь увидеть ее.

Из окна открывался странный вид на город. Собственно, города не было, были только крыши и меж них тут и там — зеленые острова садов.

Зеленые, красные, бурые крыши, цепляясь одна за другую, казались беспорядочно брошенными кем-то. Иногда из них стрелой вздымался к небу острый шпиль церкви, увенчанный крестом, чуть-чуть освещенным последними лучами заходящего солнца. Там, на окраине города, уже родилась тонкая дымка вечерней мглы и тихо так плыла над крышами, делая их мягче и темней... Пятна зелени садов сливались с домами, и Павел, наблюдая, как рождается и развивается вечер, кутая своими тенями землю, чувствовал, что ему грустно и сладко... А вдали, за городом, где небо было темнее, блестели две звезды, одна, большая красноватая, блестела так весело и смело, а другая, только-что вспыхнувшая, боязливо вздрагивала, то скрываясь, то появляясь вновь.

Хорошо быть таким человеком, кото-

рый мог бы понимать все, все это — вечер, небо, звезды, засыпающий город и свои думы; который бы знал — зачем все это нужно, какая во всем этом скрыта дума и душа, и который жил бы вровень с этим пониманием и знал бы, зачем и сам он нужен и какое тут его место. Может быть, тогда тот человек мог бы сделать всю жизнь такой же теплой и мягкой, как этот вечер, и сроднил бы людей до того, что каждый человек видел бы в другом самого себя и не боялся бы его...

Увлеченный своими думами, Павел сидел у окна, не замечая времени, хотя оно так заметно проходило перед его глазами. Он тогда понял, что сидит тут уж давно, когда на дворе раздался чей-то крик и он, взглянув из окна вниз, увидал, что уже совсем темно и что все небо блестит звездами. Ему хотелось спать, и он, вздохнув, пошел к двери, но, выйдя из нее, услышал на лестнице тяжелые, неровные шаги и остановился.

По лестнице грузно подымалась какая-то фигура. Она странно всхлипывала, как бы плача. Павел отодвинулся к стороне и стал за дверь.

— Черти... — пробормотал пьяным голосом тот, кто шел к Наталье.

Павел думал, что это идут к ней, и был очень поражен, когда узнал, что это она сама. Еще издали он услышал запах водки, а когда она поровнялась с ним, то увидал, что вся она растрепана, измята и еле идет. Ему стало жалко ее, но он почему-то не решился выйти и помочь ей — и остался за дверью. Вот она толкнула дверь плечом, придавив ею Павла, и вошла в комнату, где сразу раздался звон стаканов и стук падавших бутылок.

— Пошло... все... к чорту... — услышал Павел пьяный голос, в котором все-таки ясно слышались обида и зло.

Он стоял неподвижно и, притаив дыхание, слушал, хотя ему было тяжело и неприятно это.

Вдруг раздался плач и протестующие выкрики:

— Избил... подлец!.. за что избил?! Я могла требовать... мои деньги!.. могла!.. жулик! три рубля... мне ведь нужно!.. А ты думаешь, такая она... и на-

до бить... можно бить!.. нет, ты врешь!.. врешь!.. врешь!.. я тоже... чувствую! ну, я не человек... ну да... не человек... а такая... но ведь я имею право... мое... полное право... требовать... три рубля!!

Она выкрикнула эти «три рубля» так визгливо-звонко и с такой пьяной злобой и тоской, что Павел почувствовал как бы удар от этого крика и быстро пошел из-за двери вон, к лестнице, сам полный горькой тоски и злобы против кого-то. Когда он сходил с последней ступеньки, наверху послышался стук от падения чего-то и звон разбитой посуды.

— Это она стол, значит, уронила... Совсем...—громко сказал он, стоя уже на дворе. Он не знал, что нужно ему делать, но чувствовал, что что-то нужно. Стоя среди двора с фуражкой в руке, он прислушивался, как сильно бьется его сердце и как тяжело и скверно душит что-то в груди... У него мутилось в голове и не было ни одной ясной мысли.

— Подлецы! — прошептал он и стал припоминать все, когда-либо слышанные, ругательства, повторяя их злым шопотом. Потом, когда от этого ему стало немного легче, он вышел за ворота и сел на лавку, плотно прислонясь к стене.

Ему все казалось, что по темной, пустынной улице ходят, шатаясь из стороны в сторону, пьяные женские фигуры и что-то зло бормочут... Тоска все сильнее сосала ему грудь. Он встал и ушел в мастерскую.

— Ну, что, Павлуха, как дела? — спросил его утром хозяин и, тонко улыбаясь, пристально уставился на него глазами. — Был, благодарил? а?

— Не... было ее дома... — хмуро ответил Павел, стараясь не встречаться с глазами хозяина.

— Ой ли? Ну, пусть так. Запишем, что не было, мол, дома! — и он сел за работу против Павла.

— Гуляет сильно девчонка... — снова заговорил он. — А жаль. Сердечная такая. Право же, жаль! Ну, только это и можно, что пожалеть. Больше ничего не стануешь. Дело решенное.

Павел молчал, лихорадочно продерги-

вая драгту сквозь кожу. Хозяин что-то запел себе под нос.

— Мирон Савельич! — обратился к нему Павел после продолжительного молчания.

— Ась? — вскинул головой хозяин.

— Никак уж ей не выбиться из такой колеи?

— Ей-то? Гм!.. н-да! надо полагать — нет, уж не выбиться. А впрочем, дело темное. Темно, как у трубочиста за пазухой, друг ты мой, н-да! Ежели бы нашелся парень этакой, знаешь, железный, да ее бы в ежовые рукавицы взял, ну, тогда еще можно бы спорить, кто выше прыгнет. Но только дураки теперь повывелись. Потому — невесты этой самой теперь везде — что мухи летом. И настоящей невесте хороших цен нет. Гусь, например, женился, взял двести рублей за ней, да сама она херувимская мордочка и грамотная. Конечно, она его надувать будет, потому — чего ж он? Ему уж около пятидесяти, а ей семнадцать. И эта за Гуся пошла, да еще двести дали, — только бери! У-ух, много теперь невесты! дешевая стала. А все почему? Жить, душенька, тесно, народу прорва родится. Запретить бы жениться-то годов на пять-другой. Вот было бы ловко! Право, ей-богу! а?.. — и, увлеченный своей мыслью, старый Мирон начал развивать ее детально.

Панька молчал, и можно было думать, что он внимательно слушает. Но вдруг в момент, когда Мирон с особенным успехом одолел какую-то трудность в своем проекте искусственного уменьшения народонаселения, Панька произнес:

— А ежели бы, Мирон Савельич, подарок сделать?

— То-есть это ей-то? Наталье, значит?.. — после продолжительной паузы спросил хозяин, уставив глаза в потолок и немного обиженный тем, что Павел прервал его фантастические излияния. — Можно и подарок, что ж! Она ведь тратилась на тебя.

Он снова замолчал и, помолчав, замурлыкал.

После обеда оба они опять сидели друг против друга и усердно ковыряли

кожу. День был жаркий, и в мастерской, несмотря на открытые окна и отворенную дверь, было душно. Хозяин то-и-дело вытирал пот со лба, ругал жару и вспоминал об аде, где, наверное, температура градусов на десять ниже и куда он охотно бы переселился, если бы не обещал сделать к сроку эти проклятые сапоги.

Павел сидел с наморщенным лбом и плотно сжатыми губами и, не разгибая спины, шил.

— Так ты говоришь, хорошая она девка-то все-таки? — вдруг спросил он хозяина.

— Эк тебе далось! Ну, хорошая. Так что же? — с любопытством сказал хозяин, внимательно взглядывая на склоненную голову Павла.

— Ничего! — ответил тот кротко.

— Ну, это мало ты сказал! — усмехнулся хозяин.

— А что ж я могу еще сказать? — В тоне Павла звучало печальное недоумение и еще что-то такое же унылое и тихое.

Они помолчали еще.

— Пропадет, значит, она!.. — Это походило на робкий вопрос, но Мирон не ответил ни звука.

Павел подождал еще немного и вдруг протестующе заявил:

— Ну, уж это не порядок! Хорошая, и вдруг должна пропадать! Очень обидно!.. — и он толкнул ногой стол.

— Фью-ю! — свистнул сквозь зубы хозяин и саркастически засмеялся. — Зеленая ты, Павлуха, голова!.. Чувствую я, что уж быть бычку на веревочке. Э-хе-хе!..

Вечером, после работы, Павел вышел в сени мастерской и, став в двери на двор, стал смотреть в окно чердака. Там был уже зажжен огонь, но движения не было. И он долго стоял и ждал, не появится ли в окне ее фигура, но не дождался и, выйдя на улицу, сел у ворот на лавку, где сидел вчера ночью.

У него из ума не выходило все то, что говорил за день хозяин о Наталье, и он весь был наполнен грустным чувством жалости к ней. Если бы он ближе знал жизнь и умел мечтать, он бы мог строить разные планы спасения этой

девушки, но он почти ничего не знал и не умел, и все мысли его сводились к представлениям о ней — на погребке, о ней — в больнице и о ней — пьяной, там, в ободранной комнатке чердака. Он переставлял ее с места на место, брал ее, пьяную, с чердака и вводил в больницу к своей койке; тогда у него выходила бессмысленная и нелепая картина, еще более увеличившая тяжесть его настроения; но, когда, наоборот, он представлял себе ее на чердаке такой, как она была у него в больнице, ему становилось легче, и он с улыбкой оглядывался вокруг по темной улице и смотрел в небо, блиставшее золотом звезд.

В нем как бы бились две волны: одна — теплая и оживлявшая его, другая — холодная, тоскливая, окутывавшая его тяжелым мраком. Он так много думал в больнице о Наталье и так сроднился с ней в своих думах!.. она была первым человеком, приласкавшим его, позаботившимся о нем, и его пустая, одинокая жизнь, жизнь без точки опоры, без друга, — сразу и вся сконцентрировалась около нее, этой девушки, которая была так добра к нему и должна была погибнуть.

Он вспомнил те чувства, которые волновали его, когда она сидела около его койки, и хотел бы, чтоб они, уже побледневшие от времени, возродились в его груди снова в той же силе, как тогда.

— Ах!.. Это вы?! Вышли? — услышал он громкое восклицание и, быстро повернувшись, увидел, что та, о которой так много думал, стоит в воротах, почти рядом с ним. Голова и лицо у нее были плотно закутаны серой шалью, из которой, он видел, блестели голубые большие глаза.

— Вчера вышел. Здравствуйте! — ответил он и, не зная, что бы еще сказать, стал молча смотреть ей в лицо.

— Худо-ой какой вы стали, ай, ай, ай!.. — сожалея, протянула она и, поправив шаль рукой, еще больше закрыла лицо.

— И вы тут хворали, слышь? — спросил Павел.

— Я? Не-ет... то-есть да, я и теперь вот не совсем здорова. Зубы болят очень... Давно уж.

Павел вспомнил, что там, на чердаке, когда она шла мимо него, у нее щека не была завязана...

— Теперь ничего? вы оправились? работаете уж, чай? — проговорила она, помолчав.

— Работая. Сразу вчера начал.

— Ну, прощайте! — и она протянула ему руку.

Павел взял руку, крепко сжал ее и, чувствуя, что вот сейчас она уж и уйдет от него, заговорил быстро:

— Погодите малость! Пожалуйста!.. Сядьте вот... Я хочу вас очень благодарить... Покорно благодарю, что вы так обо мне заботились!..

— Ну, что это вы, право! такие глупости!.. Приходили бы вы ко мне чай пить когда... Днем, в обед вот, а вечером-то не бываю я дома. Приходите, коли захочется! а?

— Я приду. Очень приду. С удовольствием! Благодарю вас!

— Ну, я побегу в лавочку. Прощайте! — И она побежала.

Павел дождался ее возвращения, в смутной надежде, что, может быть, она, возвратившись, снова и уж сейчас же пригласит его к себе; но она пробежала мимо, не взглянув на него, и ему показалось, что она несет под шалью бутылки.

Он вздохнул, посидел еще немного и ушел спать, полный дум о ней и полный грусти, долго не дававшей ему заснуть.

Дня через два он всходил по лестнице к ней на чердак, неся в руках сверток бумаги, в котором был завернут платок, купленный за полтора рубля. Дверь была отворена, и она, увидав его, сразу бросилась куда-то, схватила платок и живо закутала им голову.

— А!.. это вы! Вот хорошо! А я собираюсь чай пить. Здравствуйте, здравствуйте!

Он молча совал ей в руки свой подарок и тихо бормотал:

— Вот это вам... в благодарность...

— Что это? Зачем? Платок!.. О, какой!.. Ах, вы милый!.. — протянула она и сделала к нему движение, простирая руки и точно желая обнять его, но удержалась и снова стала любоваться платком.

Павел видел, что его подарок нравится, и сиял, глядя, как она, сверкая глазами из-под шали, окутывавшей ей, как и вчера, лицо, — переворачивает его перед собой то так, то эдак, и вдруг, повинуясь импульсу женского кокетства, она сбросила с головы шаль и, отвернувшись от Павла в сторону, к стене, на которой висело маленькое зеркало, взмахом обеих рук ловко накинута себе на голову подарок.

— Ой! — ахнул Павел.

У нее под обоими глазами сияли громадные багровые подтеки и нижняя губа, очевидно, сильно разбитая, вспухла.

Она спохватилась, но, видя, что уже поздно, грузно села на стул, закрыв лицо белыми, полными руками, и как-то странно согнулась.

— Ну, подлецы!.. Как били!.. — тяжелым вздохом вырвалось у Павла.

Наступило тяжелое молчание. Павел стоял и растерянно оглядывался, лишенный и языка, и способности что-либо соображать и полный тяжелого чувства негодования и тоски, исковеркавшего его рябое, но вдумчивое и осмысленное лицо в какую-то пеструю, красную с желтым, маску, уродливо жалкую и больную.

На столе кипел самовар, вылетали тонкие, кудрявые струйки пара, бесследно тая в воздухе, и слышался странный, пискливый звук, точно это посвистывало какое-то маленькое и злое животное, насмешливо и холодно торжествуя над чем-то.

Комната была прибрана и не казалась уже вывороченной наизнанку, а была просто бедна, бедна до того, что никак уже не могла быть красивой, хотя ее обитательница и пыталась сделать ее такой, завешивая дыры на обоях дрянными яркими картинами и заставив грязный и сгнивший подоконник тремя горшками фуксии. Гробообразный потолок этой комнаты положительно давил и угнетал своей формой; все казалось, что вот он сейчас опустится на голову, и вместе с тем в комнате станет темно, как в могиле...

Павел смотрел на свою знакомую и видел, что у ней тихо вздрагивают плечи, а грудь колеблется тяжело и бурно, но не понимал, отчего это...

— Уж я... пойду. Прощайте! — вздохнул он, но не двинулся с места.

Зато он понял ее. Она вдруг отняла руки от лица, вскочила со стула и охватила его за шею.

— Нет, уж, пожалуйста, оставайтесь теперь!.. Ведь теперь уж все равно... видели вы это... — Она провела рукой в воздухе перед лицом. — Ах, не хотела я вам показывать этот срам!.. Очень не хотела! Вы такой хороший, добрый, ласковый, не... не... пристааете... не шутите, как все!.. Вчера я, как увидела вас, то очень обрадовалась!.. Ах, думаю, выздоровел!.. И хотела вас позвать к себе, но подумала, как я ему покажу свою битую рожу!.. Ведь он уйдет, плюнет на меня, и все тут! И не позвала. А вот ты... вы какой, только пожалели меня... Другой бы посмеялся, а вы нет... Милый вы!.. а?.. Почему вы такой милый?!

Ошеломленный этим взрывом стыда, тоски и радости, Павел глухо забормотал, стоя против нее и глядя в пол:

— Нет, я, знаете, не очень... То-есть, я совсем даже плох. Дубовый какой-то. Ничего сказать настоящее не могу. Вот вас мне очень жалко... и как родная вы мне, но как это сказать вам,—не знаю! Не могу я даже и слов таких набрать. И ни от кого... никогда... таких слов, какие бы мне... нужны по настоящему времени... не слышал за всю жизнь.

— Голубчик вы какой! Сам же говорит хорошие такие слова, а думает, что не умеет говорить их! Ну, ладно, все-таки надо сесть. Идите вот сюда, рядом со мной. Давайте пить чай! Да! Погодите, дверь запру, а то вломится какой-ни-то осел. Ну их всех к черту! Провались они в тартарары! Ах, кабы вы знали, какие из вашего брата поганцы ест!.. ба-атюшки!.. тошнит, как встретишь после! То-есть такие сквернавцы, такие подлецы!..

Она воодушевилась и не щадила ни «своей сестры», ни «вашего брата». У ней оказался большой критико-публицистический талант, горячий, образный

стиль, немного резкий, правда,—но это только усиливало впечатление. Она бросала свои посылки, как камни, складывала их в выводы, и, хотя эти выводы были немного парадоксальны, они были сногшибательно тяжелы.

Пред Павлом в ярких красках вставала жизнь, о которой он не имел почти никакого представления, и это была такая проклятая, скверная, мучительно-нелепая жизнь, что у него выступил на лбу холодный пот от ужаса перед ней и перед рассказчицей!..

А рассказчица была, действительно, ужасна в своем вдохновении. Ее глаза, от синяков под ними, были страшно глубоки и сверкали дикой радостью и мстительной злобой. Ее лицо почти все обратилось в глаза, и только распухшая нижняя губа, обнажая мелкие и острые зубы, мешала иллюзии. Она говорила с холодной тоской и насмешкой о себе, с мстительным восторгом о других, если они были из «вашего брата» и если с ними совершалось что-либо скверное, и с злобным сожалением, если им что-либо удавалось. Иногда она смеялась, иногда плакала, иногда сливала и смех, и слезы в одну тоскливую ноту. И наконец, когда она, утомленная и охрипшая, перестала, то сама удивилась эффекту своей речи.

Павел совершенно потерял человеческий образ. Он смотрел на нее страшно вытаращенными глазами и свирепо оскалил зубы, стиснув их так крепко, что у него далеко выдались скулы и все лицо стало похожим на морду голодного волка. Он вытянулся по направлению к ней и молчал; молчал и тогда, когда она, кончив свои обличения и жалобы, уже думала о том, как бы ей вывести его из этого оцепенения. Но он вышел сам.

— Хорошо! — глухо воскликнул он.— Очень хорошо! А я и не знал!

Это было сказано таким тоном, как будто бы теперь, когда он все это узнал, оно перестанет уже существовать, уж он позаботится, чтобы перестало!..

— Порядки!.. ну!.. господи! разве так можно?! — Он кинул свою голову на руки и, облокотившись о стол, опять оцепенел.

Тогда она заговорила в более мягком и примиряющем тоне. Находя возможным извинять и оправдывать людей и себя, она делала попытки свалить всю вину и тяжесть событий на водку, — силу, которая все ломит, — но, успев в этом, нашла, что водка слишком жидкая почва для того, чтобы поддерживать на себе всю скверну жизни, — и снова обрушилась на людей; обрушилась и, воздав им должное, перешла к жизни:

— Ведь уж очень тяжело жить. Все везде ямы; одну минуешь — в другую шлепнешься. Ну вот, завяжет себе глаза человек и пошел!.. Куда кривая не вывезет! Где он, настоящий-то легкий путь?.. Кто ж его знает?.. Наша жизнь скверна и тяжка, ну, да и семьянкам не сладко! Одни дети умают да муж, да горшки, да чорт в ступе!.. Вся жизнь такая, неустроенная.

Павел слушал и представлял себе жизнь, которая вся из ям и меж ними узкая тропинка, по которой идет человек с завязанными глазами, а ямы насмешливо и темно зияют и, наполняя воздух гнилым, одуряющим зловонием, кружат ему, одинокому и слабому, голову, — и вот он падает...

А его лекторша уже совсем настроилась на минорно-философский лад и говорила о чем-то странном: о могилах, о полныи на них, о сырости земли, о тесноте...

Павел почувствовал, что он, пожалуй, сейчас заревет, и сразу решил, что пора ему уйти отсюда.

— Иду я. Прощайте! — коротко сказал он и ушел. Она не удерживала его, сказав на прощанье только одно ласковое «приходите поскорее!», на которое он утвердительно кивнул головой.

Он пошел на улицу и долго шлялся по городу, чувствуя себя странно выросшим в этот вечер, каким-то большим и тяжелым, что происходило, должно быть, от того, что он нес в себе много новых дум, представлений и чувств. Все окружающее, весь город казался ему новым и возбуждающим к себе подозрение, недоверие и какую-то презрительно тоскливую жалость... и это, надо думать, истекало из того обстоятельства, что он, Павел, узнал се-

годня много скверных тайн и делишек этого города.

Он возвратился домой с восходом солнца, прогуляв всю ночь и чувствуя себя снова немного больным.

Прошла неделя, в течение которой мой герой посетил мою героиню ровно семь раз.

Им обоим доставляли много удовольствия разговоры о жизни вообще и о жизни друга друга. Павел приводил в исполнение желание, зародившееся в нем еще в то время, когда он лежал в больнице, и рассказывал ей о молчаливом Арефии, о том, что он думал, когда еще мальчиком лежал в яме у бани и когда в юде взрослым шлялся по кладбищу, городу и окрестным деревням... И все эти его думы носили странный отпечаток недоумения и недоверия к самому себе, но общий вывод из них был тот, что в жизни что-то такое идет не так, расшатано, поломано и требует солидной починки.

Она рассказала уже ему свою биографию, очень простую. Шестнадцати лет, когда она была горничной у купца, с ней совершенно неожиданно случился грех, за который ее прогнали от купца и из дома ее родных, мещан Кривцовых. Она, как всегда это случается, куда человека выгоняют и когда ему некуда деваться, очутилась на улице... Явилась благодетельница, потом — благодетель, еще один благодетель, еще один, еще — и повалились чорт знает откуда целые десятки благодетелей!.. Они валились в течение восьми лет до сегодня, в чем она со вздохом откровенно призналась Павлу. Но он это знал и — кроме тоски — не ощутил при этом сообщении ничего особенного.

У них установились простые дружеские отношения, и часто случалось, что она говорила с ним, как с женщиной, а он спрашивал ее, как мужчину. Ее синяки понемногу сходили с лица, и оно начинало приобретать свой естественный цвет, здоровый и сочный. Она была очень здорова, и тонкий, как бы свинцовый, налет, характерный признак профессии, все еще не касался ее щек.

Она любила петь и часто пела Павлу очень нелепые, но еще более грустные песни, в которых шла речь непременно о любви. Но слово любовь не вызывало, очевидно, в ней никаких особенно приятных представлений и ощущений, и она произносила его так холодно и равнодушно, как не ухитрилась бы сделать это и семидесятилетняя старуха, у которой такое слово могло вызвать воспоминания и вздох о былом.

Павел ей просто очень нравился, что вполне естественно: это был первый человек, который не относился и не умел отнестись к ней так, как относились все до него. Она понимала, что он чист перед ней, как женщиной, — и это немного приподнимало ее, делало лучшей, не обязывало ни к нахальной развязности, ни к цинизму, еще не успевшим войти в плоть и кровь. С ним в то же время можно было говорить обо всем и совершенно просто; он, хотя и мало говорил сам, но слушал всегда внимательно.

Впрочем, он теперь стал развязней и говорил больше, чем прежде, что опять-таки понятно, ибо она старалась понять и вникнуть в его душу и думы, — он ей был дорог и нужен. Он относился к ней с некоторым удивлением. Она казалась ему на редкость хорошей, доброй, мягкой, и в то же время была из таких, о которых он не слышал ни одного слова хорошего...

Воспоминания об Арефии крепко сидели в нем, и теперь он часто про себя сравнивал, кто лучше, и не решался сам себе ответить, как бы боясь оскорбить память покойника ответом не в его пользу. Ему было невыразимо приятно вечером, кончив работу, приходиться к ней так свободно, просто, и сидеть, попивая чай и разговаривая тоже так просто, как бог на душу положит.

Она была грамотна и очень любила читать трогательные истории, напечатанные на плохой серой бумаге и продаваемые пятакоч пара. У ней была целая куча их в сундуке под кроватью, и иногда она довольно бойко прочитывала одну из них Павлу, а прочитав, начинала убеждать его полюбить чтение, что он ей всегда и обещал.

Павел чувствовал себя хорошо и даже выучился смеяться, что, впрочем, к нему очень не шло. Мирон Савельич посматривал на него добродушно и насмешливо и иногда довольно ехидно посмеивался, на что Павел ничуть не претендовал. Хозяин нравился ему все больше, он относился к его делам все внимательнее, и Павел платил ему за это тем, что работал, как вол.

Однажды хозяин сказал ему:

— А что, Павлуха, чай, возьми меня с собой уже в гости-то!

Павел почему-то обрадовался его предложению, и вот они вечером втроем пили чай на чердаке Натальи. Старик зорко наблюдал за молодежью, предоставляя ей говорить и изредка только вставляя в их разговор два-три смешных словечка.

Вечер провели очень весело и мило. А идя домой с Павлом, Мирон Савельич, сначала все что-то свиставший сквозь зубы, наконец, заявил Павлу, тронув его за плечо:

— Смешнущий ты, братец мой, человечина! И она тоже... ну, девица!.. милые вы мои черти, не прищемите друг другу хвостов как-ни-то ненароком, а все остальное в воле вашей.

Павел из этих слов ничего не понял, но, чувствуя, что это сказано из хорошего побуждения, поблагодарил хозяина. Он всегда в затруднительных случаях прибегал к благодарности.

Однажды мои герои сидели и, по обыкновению, попивая чай, до которого оба были большими охотниками, — разговаривали о том, кто что любит. Павел, перечислив свои страстишки, молчал и слушал перечень Натальи.

Она насчитала много: карусели, коньяк (с лимонадом и сельтерской любила больше, чем без оных), цирк, музыку, пение, книжки, осень, потому что она очень грустна, маленьких детей, пока они еще не научились злиться, пельмени и т. д. — и, наконец, остановилась на катанье в лодке.

— Больше всего люблю! — заговорила она, блестя глазами. — Едешь — и качает тебя, как ребенка в люльке... И так и становишься, как ребенок; ничего не понимаешь, ни о чем не дума-

ешь, плывешь, плывешь... без конца бы плыла, вплоть до моря, и всю жизнь!.. хорошо это!.. ах, вот бы покататься!

И они решили ехать в воскресенье кататься. В воскресенье погода удалась хорошая, ясная, жаркая — июльская погода. Они выбрали легкую, устойчивую лодку, Павел сел в весла, и они поплыли против течения. С одной стороны берег был окаймлен коричневой широкой лентой крутых глинистых обвалов, а с другой — зеленой бахромой кустарника, из которого там и сям пробивались высоко к небу пышные березы, серебристые осины и дубы, уродливо растрепанные ветром, изогнувшим их сучья. За лодкой бежала, журча и извиваясь, пена, но она пропадала, не догнав лодки, и это ее, должно быть, очень обижало, — в звуке, с которым она таяла вдали, было что-то недовольное... Небо, ясное и глубокое, отражалось в воде, отражались в ней и те кусты, которые росли ближе к берегу; в воде они стояли вниз вершинами, и это, должно быть, было им очень приятно, — они покачивались в ней с такой ленивой красотой и грацией!.. Смелые, юркие стрижи носились над водой и хлопотливо трещали, а по берегу расхаживали, помахивая черными хвостами, веселые трясогузки, смешные, точно они были маленькими сороками. Над рекой носились полные, могучие и мягкие звуки... Шелестела листва, река плескалась о берег, где-то далеко плавала песня, сильная, грудная и красивая...

Павел, в красной рубаше и без фуражки, сильно и мерно греб приемом опытного гребца, не двигая корпусом и работая только мускулами рук. Иногда ему на лоб падала прядь волос, он откидывал ее назад спокойным движением головы. В его глазах сияло много удовольствия, и он вдыхал глубоко грудью сухой, душистый воздух, поговаривая изредка: — Эх, славно!..

Наталя сидела против него, положив руки на колени, с застывшей на губах блаженной улыбкой, и покачивалась в такт с ударом весел по воде, — а с них падали в воду такие красивые, блестящие капли и звенели так тихо и ласково... Она поглядывала вокруг се-

бя и на гребца, такого сильного, большого, — и все улыбалась, то глазами — голубыми и задумчиво-нежными, то губами — пухлыми и сочными.

Им обоим не хотелось говорить. Оба они чувствовали, что без слов лучше, и как нельзя больше походили на героев романа, пока еще только немножко влюбленных, не сознававших этого, но уже в достаточной степени заинтересованных друг другом и ускорявших события внимательным наблюдением друг за другом. Но они еще только походили на героев, и пока не успели стать ими, по причинам, известным их судьбе — и только ей.

— Пристанем к берегу? — спросил Павел, когда они доехали до лужайки на берегу, очевидно, специально устроенной природой для маленьких пикников. Вся она была покрыта тенью от берез, полукругом обступавших ее, и поросла мягкой низенькой травой, среди которой редко пестрели какие-то бедные и скромные цветы.

Они вышли, захватив с собой узелок с провизией, медный чайник и бутылку какой-то наливки. Через полчаса на лужайке дымил костер и над ним висел чайник с водой; иногда в костер с бочков чайника падала капля воды и, шипя, испарялась. Дым извивался сизыми кудрявыми гирляндами, таял в воздухе и опьянял каких-то маленьких мушек, которые, уныло звеня, падали на землю.

А кругом все было так тихо, точно прислушивалось к чему-то. Павел хлопотал, развязывая узел, а она с мечтательным лицом срывала цветы и травинки и, что-то тихонько напевая, делала из них букеты. Это было романтично, но это было так, — поверьте в правдивость моей музыки!.. Поверьте и в то, что, собирая цветы и вдыхая их запах, она делала это ничем не хуже всякой другой девушки. Я прошу извинения у всех других девушек, если они заподозрят меня в том, что я ставлю мою героиню на одну доску с ними. Ей-богу, это не так! и пусть они успокоятся, я не решусь сравнивать их с моей героиней. Я не могу идеализировать, я только уверен, что все люди могут быть очень хорошими людьми, ес-

ли они хотят этого и имеют на это свободное время.

Потом вскипел чайник, и они стали пить чай и закусывать, заботливо угощая друг друга и перекидываясь короткими замечаниями о том, как все это хорошо. От трех рюмок наливки у Павла зашумело в голове, и он почувствовал потребность говорить.

— Хорошо, наверное, тем людям, которые понимают, что к чему принадлежит в жизни, — задумчиво начал он.

Наталья посмотрела на него и, помолчав, спросила:

— Что хорошего-то?

Павлу нужно было подумать прежде, чем ответить ей, и, воспользовавшись паузой, она заговорила, не дожидаясь его ответа:

— Не знаю, как... но мне так лучше ничего не понимать, — меньше спросится и душе спокойней. Живи, как живется, да поменьше на людей смотри...

И они начали философствовать. Но это скоро им надоело, и тогда они стали просто болтать. Павел все более пьянел. Наступал вечер, тихий и теплый. Наталья смотрела кругом, — становилось темно и грустно, и она захотела домой. Ей стоило большого труда убедить Павла, что уже пора ехать. Он весь как-то размяк и, соглашаясь с ней, не трогался с места, над чем-то смеясь и в то же время проявляя ясные признаки слабой борьбы с одолевавшим его сном.

Наконец, она свела его в лодку, сама села в весла, а он сейчас же лег на дно и уснул. Лодка тронулась вниз по течению и тихо, без гребли, поплыла около берега. Угли от их костра раздувал тихий ветер, и в воду летели мелкие искры, падая на пятна теней от прибрежных кустов. Наталья направила лодку на середину реки и, плывя в молчании и мягком свете только-что явившейся луны, смотрела на спавшего Павла и думала о чем-то, должно быть, очень грустном, потому что по ее щекам медленно текли одна за другой слезы.

С одного берега на нее смотрели темные группы кустов, с другого — суровый и резкий обрыв, а с неба — звез-

ды, разгоравшиеся все ярче и ярче. Тишина была такая, как бы все живущее заснуло крепким сном, и даже вода под лодкой не звучала. Темная и спокойная, она казалась густой, как масло... Вот вдали замигали огни города, и оттуда понесся гул, сначала отрывисто, как вздохи какого-то большого спящего животного, а потом — сплошной, густой волной...

Они приехали. Лодка сильно толкнулась о берег, и Павел проснулся. Он оглянулся вокруг, и ему стало стыдно, что он спал.

— Простите меня, Наталья Ивановна, за такое... — сказал он, когда они уже далеко отошли от реки по глухой и узкой улице.

Она удивилась и спросила:

— За что?

Тогда он уверенно объяснил ей, что это не очень хорошо — спать при даме.

— Господи! — воскликнула она. — Откуда вы это?.. Взяли-то такую чепуху откуда?..

— Это не чепуха, — стоял он на своем, — это вы сами же мне в одной книжке прочитали... да. Помните? И он напомнил ей.

— Вот видите! — сказал он тогда, немного торжествуя свою правоту, и прибавил: — Уж в книжках не может быть чепухи! — из чего ясно видно, как плохо он был знаком с литературой.

Когда они пришли домой, он остановился у лестницы на чердак и, сказав ей «прощайте», протянул руку. Она поколебалась почему-то, но потом вдруг схватила его руку и, крепко сжав ее обеими своими, как-то странно громко зашептала ему:

— Голубчик мой!.. какой вы милый, милый!..

И быстро побежала вверх, оставив его немного удивленного этой похвалой.

Потом они еще раз устроили такое же славное катанье...

Так вот как они жили! Но Судьбе идилический жанр, очевидно, надоел так же, как он надоел и людям, и вот она превращает эту идиллию в роман.

Началось с того, что однажды вечером в дверь мастерской заглянула ка-

кая-то приличная усатая физиономия и очень вежливо спросила у Павла:

— Позвольте узнать, здесь живет девица Наталья?.. Наталья?.. гм?..

Лучше бы ей этого не спрашивать, потому что в глазах Павла она сразу после своего вопроса превратилась в одну из самых богопротивных рож.

— Не знаю! — ответил он глухо и не совсем ласково.

— Такая, знаете, русая... с голубыми глазами... не высокая?

— Не знаю! — сказал Павел уже совсем не ласково.

— Ссс...а!.. а мне сказали, что здесь!.. — разочарованно протянул спрашивавший. — Извините! До свидания!

Павел промолчал и почувствовал, что, с исчезновением этого господина у него, Павла, не исчезло желание пустить ему в лоб колодкой.

— Не знаете ли вы, здесь живет девица Наталья?.. — донесся со двора вежливый и сочный баритон.

Павел, с колодкой в руках, вскочил и бросился к двери. Но когда он подошел к ней, то на дворе прозвучал голос Натальи:

— Сюда, сюда, Яков Васильич!

Павел воротился на место, сел и, ткнув шилом не туда, куда следовало, бросил башмак на пол и снова пошел на двор. Он встал на пороге сеней и стал смотреть в окно флигеля, где жила Наталья. Ничего не было видно, но слышались голоса, — ее веселый и его — густой и предупредительный. Потом слышались шаги на лестнице, и вышли они оба. Павел быстро притворил дверь, оставив маленькую щелочку, и приложился к ней глазом.

Наталья шла рядом с высоким господином в сером котелке. Он крутил ус и заглядывал ей в лицо, она бросала искоса взгляды на дверь, за которой стоял Павел. И они ушли.

Павел воротился в мастерскую, сел у окна и для того, чтоб видеть что-либо на улице, закинул голову назад, но и тогда видел только верхний этаж противоположного дома, его крышу и небо над ней... Тут в первый раз он почувствовал себя в земле, — в сыром подвале, глубоко, закопченном. Он опустил

голову и задумался. Пришел хозяин и заговорил с ним, но не получил ответа. Тогда он спросил тоном участия:

— Ты что это, как избастрылся?

— Так! — ответил Павел, посмотрев вокруг хмурым и пытливым взглядом.

— Как будто Наташка проехала сейчас на извозчике с каким-то брандахлыстом, — сообщил хозяин.

— Нет, это не она... — ответил Павел.

— Так ты чего к ней не идешь сегодня? — осведомился Мирон, поглядывая подозрительно и пытливо на работника.

— Я вот сейчас пойду.

И он, действительно, пошел на чердак. Но дверь в комнату Натальи была заперта замком. Тогда он сел на верхней ступеньке лестницы и стал смотреть вниз, в черную яму, зиявшую перед ним, молча и сурово.

Внизу кто-то о чем-то говорил, но Павлу все это было непонятно. Он был увлечен соображениями на тему — как бы ей помешать? Как помешать ей гулять с этими господами в котелках?.. Прощай раз — тоже был в котелке, только в черном и имел рыжую клочкастую бороду вместо усов, но — все равно — и он, как этот сегодняшний, походил на чорта, обстригшего себе шерсть. Зачем такие люди рождаются и живут? Почему их не ссылают на каторгу? Павел недоумевал, не умея ответить на эти два и на другие вопросы в таком же духе, и, недоумевая, чувствовал, что опять явилась тоска, давно уже не посещавшая его. Теперь он отвык немало от нее, и потому она была острой. К ней примешивалось еще какое-то обидное чувство, которое было ничуть не легче ее.

Подавленный, он сидел час, два, до рассвета, до той поры, пока у ворот не послышалось дребезжание остановившейся пролетки, а на дворе чьи-то шаги.

Павел дрогнул и хотел уйти, но было уже поздно. По лестнице прямо на него шла Наталья, бледная, с измятым лицом и тупыми глазами. Она увидела его и остановилась на половине лестни-

цы, немного смущенная его присутствием.

— Ах, это вы! Что это вы? — заговорила она, но, взглянув на него, замолчала.

Он осунулся от бессонной ночи и, расстроенный своими думами, был сух, резок и пугал своими глазами, смотревшими на нее так, как раньше они не смстрели.

Ей стало не столько стыдно перед ним, сколько боязно его, и она, опершись о перила лестницы, не решалась итти дальше, а он не двигался, упорно глядя на нее. Сцена была безмолвна и странна. Эту странность увеличивал свет, проходивший столбом через слуховое окно в крыше и ложившийся сначала на него, а потом, спускаясь вниз по лестнице, падавший ей в лицо, менявшее свое выражение каждую минуту.

Павел, наверное, сам был бы очень удивлен, если б мог видеть себя в этой позе. Он сидел, упершись локтями в колена, и, подперев ладонями подбородок, смотрел вниз взглядом судьи. Становилось тяжело, и все тяжелее с каждой минутой. Оба они не двигались, и она бледнела все больше, начиная уже дрожать под его упорным, осуждающим взглядом, и ей начинало казаться, что его резкое и острое рябое лицо делается все резче и начинает разгораться гневом и злобой. Чем бы это кончилось, если б на помощь им не явилась кошка? Кошка вскочила, фыркая, в слуховое окно, перепрыгнув через Павла, бросилась по лестнице под ноги Натальи и исчезла.

Я тут не вывожу на сцену ни добрых, ни злых духов. Мною руководит один дух, — это дух правды, и я вывожу кошку, одну из тех маленьких случайностей, которые являются и исчезают, чем иногда создают крупные события, иногда очищают им путь и очень редко позволяют заметить себя. Я не могу сказать, какой величины и масти была эта почтенная кошка, которой я обязан тем, что теперь могу свободно вывести моих героев из затруднительного положения.

Вскрикнув, Наталья бросилась вверх по лестнице, Павел же вскочил еще раньше и освободил ей путь.

— Проклятая, как испугала! — задыхаясь, прошептала Наталья, гремя замком у двери.

Натянутые нервы Павла тоже были потрясены, но все-таки теперь оба они вышли из своего оцепенения, и Наталья, отворив дверь в комнату, развязно пригласила его войти.

Он вошел молча и с видом человека, что-то твердо решившего; прошел к окну, сел там на стул и стал смотреть, как она отцепляет старомодную кружевную накидку, задевшую за что-то на плече.

— Что же вы так рано сегодня встали? — спросила она, чувствуя, что молчание снова готовится стать тягостным.

Он хмуро посмотрел на нее и вдруг, повинувшись какому-то толчку изнутри, заговорил тяжело и неровно:

— Не ложился еще я. Вчера, как увидел эту м-морду с вами и того... это невозможно! вам бы бросить эту жизнь! разве хорошо? всякий может... надругаться... эх!.. чай, не затем на свет-то вы родились. Не порядок! Не порядок! али это вам приятно? Приятно это, придет человек, возьмет, уведет... и все такое?.. нет, вы это бросьте! бросьте, пожалуйста, Наталья Ивановна!..

Он проговорил последние слова тихим, просительным шопотом, а она, очевидно, не ожидая ничего подобного, держа свою накидку в руках, неподвижно и с покрасневшим лицом стояла перед ним и шевелила губами беззвучно и смешно, очевидно, имея что-то сказать, но не умея или не решаясь.

Он, посмотрев на нее, опустил голову и, подождав ее слов, снова так же просительно, как и раньше, произнес:

— Наталья Ивановна?..

Тогда она подошла вплотную к нему и, положив на его плечо руку, заговорила сама, убедительно, тоскливо, тихо и горько:

— Вот что! Уж коли на то пошло, не покрываю я душой перед вами и так все расскажу, как на духу рассказала бы. Знаю ведь я, что вам неприятно это все, то-есть мое поведение. Ох, знаю я это! Но что же я буду делать? Ведь уж это моя жизнь. И ни к чему

я больше не способна. Работать? Не умею и не люблю я работать. Разве это лучше — работать и голодать? Но и стыд у меня тоже есть, — и вот перед вами мне стыдно. Очень стыдно, поверьте! Но — что же я буду делать? а? Ничего нельзя!.. И должна я жить этой жизнью, и буду... и... знаете, я съеду с этой квартиры и не скажу вам — куда. Бросьте вы знакомство со мной. На что вам оно? А вы лучше женитесь на хорошей девушке и живите с нею. Есть ведь хорошие для вас девушки?!

Ее последняя фраза гораздо больше походила на вопрос, чем на утверждение.

Павел резко махнул рукой.

— Э, это не то вы говорите все! Не то совсем! Главная причина — вы, а не я. Я что? Мне очень хорошо. Но вы должны бросить эту жизнь. Погано ведь уж очень! Посмотрите — пришел, увел, — тьфу! Ну, и мерзавцы же! Как это они ухитряются!.. Волос дыбом встает, как подумаешь!.. Гнусы!..

— Миленький, ведь это уж так нужно!.. — тоном утешения протянула она, глядя его плечо и немного пугаясь горького раздражения и в его словах, и на его лице, искаженном гримасой отвращения и гнева.

— Н...ничего не нужно! Врете вы все мне! Али я ребенок? Ничего не нужно! Думал я об этом. Гадость! Фу! бросить нужно, бросить!

— Голубчик мой, что ж я могу сделать? — спрашивала она тихим, умиротворяющим тоном, все более пугаясь и все более склоняясь над ним.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и, ухватившись одной рукой за подоконник, другой делал резкие жесты и вытирал свое воспаленное гневом и почему-то вспотевшее лицо.

— Сделать! сделать!.. Бросить все это! Гнать всех! вон!.. к чорту!..

— Ты не кричи... услышат... не кричи. Давай, поговорим ровненько. Ну, подумай...

— Не хочу. Я уж думал.

— Да нет, ты погоди...

И, собрав всю свою храбрость, она поймала его руку, а так как сестра было

ей не на что, то опустилась перед ним на колени.

— Ни в какую работу я не гожусь, и никто меня не возьмет, потому что у меня такой билет... — раздельно начала было она.

— Э!.. — и он, сделав нетерпеливое движение, вдруг пораженный какой-то мыслью, застыл, наклонился к ней и, молча, пристально взглянув ей в глаза, вдруг спокойно и твердо сказал:

— Вот что, пойдешь за меня замуж? Пойдешь? Пойдешь? Пойди!.. а? Пойди!.. Я тебе... я тебя...—Его голос спустился до робкого шопота и оборвался.

Она откинулась назад, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила, обняла его и зашептала сквозь слезы:

— Милый... голубчик!.. Меня-то замуж... меня-то... за тебя!.. Ах ты!.. за тебя... я замуж!.. Смешной ты... ребеночек ты...

И она, странно смеясь и вместе с тем плача, стала его целовать, крепко охватив его шею руками.

Это для него было ново, и он сначала только прислушивался к тому, как кровь, кипящей струей пробегая по его жилам, сладко туманила его, а потом, конечно, увлекся и, жадно стиснув ее руками, прижал к себе, задыхаясь, пытаясь что-то выговорить и без числа целуя ее лицо своими жаркими и жадными губами...

В окно взглянули первые лучи солнца и наполнили комнату нежным, розовым светом.

Павел проснулся первый. В комнате было душно, ослепительно-светло и тихо, только издали откуда-то доносился глухой, смутный шум. Солнце смотрело Наталье в лицо. От этого она плотно сжала веки и нахмурила брови, недовольно подняв верхнюю губу, что делало ее капризной и строгой, а покрасневшие щеки заставляли его думать, что она не спит, а притворяется. Ее русые волосы растрепались во сне и легли вокруг всей головы легкими, красиво взбитыми прядями... Одно пухлое и белое плечо было обнажено, и тонкие розовые ноздри вздрагивали от дыхания... Вся она как-то просвечивала на солнце и блестела.

Павел, не вставая, стал тихо пригладивать ей волосы. Она открыла глаза, сонно, но все-таки так ласково улыбнулась ему и отвернулась от солнца.

Павел встал и оделся. Потом взял стул, осторожно, без звука подставил его к постели и, сев, снова стал смотреть на нее, прислушиваясь, как ровно она дышала. Она казалась ему такой близкой, родной, ценной, как никогда до сей поры. Он молча улыбался и, сидя, строил планы и рисовал картины будущего, как это и надлежало счастливому любовнику, еще не успевшему утомиться своей любовью.

Ему представлялась мастерская, которую он откроет, когда они обвенчаются. Это — маленькая комнатка, не такая темная и прокопченная, как у Мирона, а светлая, чистая, и рядом с ней будет другая, их комната, — тоже маленькая, только оклеенная голубыми обоями, тогда как первая — желтыми с красными цветами, — это очень красиво. Окна квартиры — непременно в сад, где они по вечерам станут пить чай и откуда летом ветер волеет в комнату много сочного запаха зелени... Она будет стряпать, потом он научит ее шить сапоги, и у них будут дети... И будет еще много такого хорошего, тихого, любовного...

Павел встал с видом полного счастья, вздохнул, оглянулся кругом и, подойдя к столу, взял с него самовар, широко улыбнулся и пошел его ставить на чердак. Как это хорошо он выдумал! Она проснется, а на столе весело будет кипеть самовар, и он, сидя за ним, хозяйничать!.. Она, наверное, похвалит его...

Подождав, пока прогорела лучина, и положив угляй, он, осторожно ступая, пошел в комнату с намерением все прибрать в ней и почувствовал себя огорченным: она проснулась, и его предполагаемый сюрприз был расстроен. Она лежала в постели, закинув обнаженные до плеч руки за голову, и зевала самым прозаическим образом, не выразив на своем лице ничего, кроме того, что он ей знаком, близко знаком, — и все тут.

— А я поставил самовар!.. — с некоторым сожалением произнес он.

— Ну? А сколько бы теперь времени? — спросила она.

— Больше полден! — ответил Павел, и ему показалось очень страшным то, что они говорят о таких вещах. По его чувству, следовало говорить совсем о другом; но о чем и как, едва ли сказал бы он это ясно. Он снова сел около ее кровати на стул.

— Ну что, хорошо? — с улыбкой спросила она его.

— На душе? Эх, хорошо, Наташа! Вот хорошо!.. — восхитился он.

— Ну, и ладно! — с усмешкой сказала Наталья.

Павлу хотелось ее поцеловать. Он взял ее за голову и склонился к ней.

— Ага! видно, понравилось!.. — снова усмехнулась она.

На Павла пахнуло холодом от ее слов и усмешки.

— Что это ты? — недоумевая, спросил он.

— Я-то? Я ничего. Так. Что, жеваться-то еще не раскотелось тебе?

Павел слышал, что в ее тоне ясно звучит подозрение и насмешка, и задумался — что бы это значило?

Она стала одеваться, сев на постели. Лицо у ней было грустное и точно немного злое.

— Что ты какая? — робко спросил Павел.

— Какая? — не посмотрев на него, переспросила она.

Но Павел не знал, какая именно. Он только чувствовал, что она не такая, как бы это было нужно по ходу дел. Но у нее были свои причины быть именно такой, какой она была. С ней, как только она проснулась, произошел резкий переворот. Она сразу припомнила все, что произошло незадолго перед тем между ними, припомнила и почувствовала, что она потеряла дорогого ей человека, поддавшись тому порыву, который поставил ее отношения к нему в известные ей и надоевшие, грязные рамки. Ей совсем не нужно было этого; ей нравилось то почтительное и дружеское отношение Павла к ней, которое было еще за несколько часов тому назад и которое теперь должно исчезнуть, казалось ей. Она твердо знала, чем кончатся те отношения, которые начинаются всегда одинаково, и хотя видела Павла

счастливым и радостным, но не могла думать, что он долго будет таким... Она потеряла человека!.. И она сердилась на себя за это, на сердце ее было много горечи, и хотя пока еще Павел в ее глазах не пошатнулся, все-таки часть своих чувств она переносила и на него.

Он, глядя, как она одевается, чувствовал, что его все сильнее и сильнее обуревают желание обнимать и ласкать ее, и, не имея сил, да и не считая нужным сдерживаться, обнял ее. Она подчинилась ему с холодной, кривой усмешкой на губах и была холодна, но он, полный огня на двоих, не замечал этого...

Минут через десять они пили чай; она, уже умытая и причесанная, сидела на постели, а он против нее на стуле. Он молчал, полный тихого восторга и утомленный, а она была грустна и, поглядывая на него через блюдечко с чаем, вздыхала.

Вдруг Павел заметил, что по ее щекам скатываются крупные слезы и каплют в чай, который она не переставала пить. Едва ли кто-нибудь пил чай со слезами и ухитрился в то же время иметь такое спокойно-равнодушное лицо, как она, эта, кстати сказать, очень нелепая девица!

— Что ты? а? что? о чем? — быстро заговорил Павел, вскочив со стула и бросаясь к ней.

Тогда она бросила блюдечко на стол, расплескала свой чай со слезами и, уже рыдая, заговорила:

— Дура я! обворовала я самое себя!.. Эх, за всю жизнь один раз соловья слушала, и то сама спугнула! Теперь уж дудочки!.. Шабаш, Наташка!.. Теперь уж я тебе известна!.. О!.. О!!.. Дура!.. дура!..

Павел не понимал, в чем дело, и ласкал ее, чем невольно подтверждал ее подозрения. А она все плакала. Наконец, он заговорил:

— Ну, полно, Наташа! Перестань. Вот женимся, заживем ах как! мастерская своя у меня будет, и ты будешь хозяйкой, женой, как все иные бабы! а? Хорошо ведь?

Она отняла его руки, обнимавшие ей шею, и сардонически, но и с надеждой,

маленькой, еле слышной надеждой, заговорила:

— Сколько времени, — неделю, что ли, ты так-то говорить будешь? Знаем мы вас! Э, знаем, мальчик!.. Да не про то я, не про то, не бойся! всерьез я этого не приму, женитьбы-то твоей. Не приму, нет! Ты думаешь, я бы согласилась и в самом деле замуж выйти? Даже и за тебя, даром что ты хорош, не пойду. Не подолгу хорошие-то цветут! А укорю за жизнь мою я слушать не желаю. Не хочу! А ты думаешь, ты бы не стал мне напоминать, что я такая, коли б я женой-то твоей стала? Э, батюшка!.. не меньше кого другого стал бы, уж я знаю это! Нашей сестре во всем болоте ни одной твердой кочки нет. Не про то я... Не хочу я женитьбы твоей, а жалею я себя, дуру, за то, что вот ты мне теперь не друг человек, — и это сама виновата. О! О!!.. дура!..

Павел усиленно старался вникнуть в смысл ее речей и не мог. Но ее слезы действовали на него, и вот они родили в нем тоскливое вдохновение и страх за что-то.

— Слышь, Наталья! Ты не терзай мне душу! — сурово сдвинув брови, начал он. — Не мучь меня словами твоими. Я их понимать не могу. Это не ко мне. Но все дело и не в том совсем. Я вот что скажу, все сердце перед тобой выверну, — смотри! Первый ты для меня человек на всей земле. Первейший, я так чувствую! И на все я для тебя пойду. Скажи мне: Пашка, туши солнце! Я влезу на крышу и буду дуть на солнце, пока не потушу или не лопну. Скажи мне: Пашка, режь людей!.. пойду и буду резать. Скажи: Пашка, прыгай из окна!.. Прыгну! Все, что хошь, сделаю! Скажи: Пашка, ноги мои целуй!.. хошь, теперь целовать буду? хошь? Давай!..

И он на самом деле ведь бросился к ее ногам, что, как известно, давно уже вышло из моды.

Наталья была поражена этим взрывом. Слушая его первые слова с недоверчивой улыбкой, она улыбнулась уже весело, когда он предложил ей потушить солнце, вздрогнула, когда он хотел в честь ее резать людей, — он был

страшен, весь пылая и вздрагивая, — а когда он бросился целовать ее ноги, она почувствовала дикую гордость и, не сопротивляясь, позволила ему делать это.

Поработить человека всегда и для всех — большое наслаждение. Она видела человека, поработанного ею... Но ничто человеческое не было чуждо ей, и она жалела его у своих ног. Она наклонилась, подняла его с пола за плечи, — подняла и ласкала так, как не ласкала еще никого, и так, что, когда они, наконец, успокоились, оба были изломаны и измяты...

Но в них еще не все перекипело, и они решили пойти гулять за город, в поле. Павел забыл о мастерской, о хозяине, обо всем — и шел с ней глухими улицами, которые выбирала она нарочно, опасаясь встретить знакомых. Они вышли в поле, долго бродили там одни, ни в ком не нуждаясь, и разговаривали друг с другом просто, без опасения показаться друг другу смешными или глупыми, без желания насильно навязать друг другу свои мысли и чувства, без взаимного желания заявить о всяческом превосходстве одного над другим, без всего, что необходимо присутствует в любви культурных людей и, делая ее более пикантной, делает менее цельной.

Простим же моим героям их некультурность «на основании вышеизложенного», как говорят юристы!..

Наконец, они пришли к реке, сели на берег под кусты тальника, на песок, чисто вымытый волнами, и, посидев, заснули тут, крепко обняв друг друга.

Через несколько дней после происшедшего Павлу стало казаться, что все мужские ноги, мелькающие мимо окон мастерской, шагают не куда иначе, как на чердак к Наталье, и это заставляло его то-и-дело вскакивать с места и выбегать на двор. Хозяин смотрел на него и посмеивался себе в бороду. Он уже знал от Павла обо всем, и Павел даже привел его на некоторое время в состояние столбняка, почтительно заявив ему о своем желании иметь в его лице посаженного отца. Мирон Савельич, когда вышел из оцепенения, сказал ему целую речь, начав ее так:

— Миленький дурачок! Послушай меня, я два раза был женат. Первая жена все мешала меня с мастерами, а вторая так крепко любила, что я не знаю, как я жив остался, — чем ни попадая и когда угодно дует себе, да и ну!.. точно у ней и папаша, и мамаша оба будочники были, до того она колотить людей любила.

Затем он нарисовал полную картину семейной жизни, с горшками, пеленками, ухватами, стиркой белья, мытьем полов и массой других удобств, заставивших его, по его описанию, в правдивости которого он клялся, есть щи с мылом, ходить на руках, ощущать на своей голове мокрые пеленки и пробовать ею крепость разных горшков. Потом он пофилософствовал на тему, что такое женщина вообще, и, придя к очень печальному выводу, наконец, сказал:

— Чудачина!.. Разве их нет? Чего ж тебе эта нужна? Ведь ты погубишь свою голову с ней, пойми ты! Положим, она вон как тебя перемастерила! совсем человеком стал, и весел, и смеешься, и разговоры говоришь... но, душенька, ведь ты ж ей за это уже уплатил. Разве кто другой станет с ней так обращаться, как ты? Ну, и будет с нее этого, довольно будет. А ты, уж коли что, женись по-христиански, я тебе т...такую ш...штучку икрюную поддену, ах ты мне! Приданое дадут, мастерскую откроешь. А с этой вся жизнь тебе в один месяц осточертеет. И как вы будете жить? Нет ничего, ни чашки, ни ложки, делать она ничего не умеет... Э-хе-хе!.. Плюнь ты на нее, каблук моей души, плюнь!

На Павла эта речь действовала так же, как и на стены мастерской. Он с Натальей за это время сблизился до такой степени, что не только не мог допустить мысли о плевке, но чувствовал, что ему, для того, чтоб работать так же усердно и внимательно, как раньше, — необходимо ее присутствие в мастерской.

Раз он, кончив работу, пошел к ней и не застал ее дома. Он побледнел, затрясся и сел у двери, где и просидел до ее прихода. Она пришла уже после двенадцати, но трезвая и приличная, по-

сколько могла быть такой. Она сразу успокоила его, заявив, что была в гостях у подруги, которая обещала ей достать место горничной. Он был рад этому, поверил и забыл свои страхи. Но вскоре после этого он, думая о ней, натолкнулся на вопрос — откуда берет она деньги? Этот вопрос обдал его холодом, и он в тот же вечер спросил у нее.

— Да много ли мне надо-то? — отвечала она ему тоже вопросом.

Но он не отступался.

— Накопила... немного, по грошам. Ну, и живу...

Что-то толкнуло его спросить — показать деньги.

Она задумалась и, наконец, сказала:

— Что же! можно показать. Изволь.

Но не нашла ключа от сундука, и вопрос остался неразрешенным.

Когда Павел фантазировал о будущей совместной жизни, она молчала, мечтательно закрыв глаза, а когда он, разгоряченный своими фантазиями, ласкал ее, она отвечала на его ласки холодно и раз даже заставила его задуматься и выдумать вопрос:

— Тебе, может, это не по душе?

Она поглядела на него, недоумевая, и не скоро ответила ему, тихо и как бы сама не доверяя своим словам.

— Нет... что ты! Очень даже.

Этого ему было достаточно, чтоб успокоиться.

Он приносил ей свои деньги и отдавал, как жене и хозяйке. Однажды купил ей на платье; но она относилась к этому как-то формально-ласково. В этом отношении к его заботам о ней он почерпнул первые приступы тонкой и острой ревности. Он не понимал этого чувства ясно и умел не высказывать его пока. Но однажды случилась вот что.

Они сидели и пили чай, как вдруг на лестнице послышались шаги и веселое посвистывание, а потом пение тонким тенорком:

И я ид...ду к Матане душке,

И вот Матанин уголок.

Павел нахмурился и посинел от предвкушения чего-то скверного.

И вот Матанин уголок.

— Да... Ах, у вас гости!.. — разочарованно протянул певец, остановившись в дверях.

Он был франтоват, имел козлиную бородку, рыженькие, в стрелку, усы и в общем — довольно мизерен. Присмотревшись к Павлу, он развязно вошел в комнату, еще более развязно повесил свою шляпу на гвоздь и направился к Наталье, улыбавшейся ему навстречу несколько растерянно и виновато.

— Здравсте, бож...жественная Наталья...

— Тебе чего нужно? — возгласил Павел, но не двинулся с места.

Франт посмотрел на него, шевельнул усами и хладнокровно кончил приветствие, галантно потрясая руку Наталье:

— ...Ивановна! Угостите чаешком и просветите мой ум относительно этого чумазого господина с ремешком на голове.

— Пошел вон! — сказал чумазый господин и поднялся со стула.

— Как-с?.. Наталья Ивановна, это как понимать? — несколько обиженно справился господин у хозяйки.

— Пошел вон!! — Павел трясся.

— Извольте-с, я пойду! — поспешно согласился посетитель и ушел; но, спускаясь по лестнице, крикнул:

— С законным браком, Наталья Ивановна! Оповещу...

Но кого он хотел оповестить, осталось неизвестным.

Оставшиеся в комнате долго сидели молча.

— А скоро они перестанут шнырить? — угрюмо спросил Павел.

— Когда всех разгонишь... — спокойно сказала Наталья.

— Много еще осталось?

— Не знаю. Не считала. Тебе чего больно не по душе они? — криво усмехнулась она, исподлобья посмотрев на Павла.

— Не моя я этого терпеть! пойми, не могу! Моя ты теперь...

— Вон как?!.. Где купил? Что дал за такую? — иронизируя, спросила Наталья.

Павел замолчал и нахмурился.

— Смеешься ты... Лучше бы не надо этого. Чай, я не вру, коли говорю это.

Моя ты, и дни, и ночи, всегда теперь я про тебя только и думаю...

— Ну, и ладно! На том и крест поставим! — сухо согласилась Наталья.

С некоторых пор Наталью смущало отношение Павла к ее посетителям. Она полагала, что с ними не следует прерывать знакомства; среди них есть хорошие, веселые люди. Иногда Павел ей казался не только букой, но и человеко-ненавистником. Она думала, что было бы очень трудно жить, если б он был постоянно рядом. У ней были вкусы, у него — другие, очень странные, чтоб не сказать — смешные. Но за всем этим — он был хороший, чистый, честный человек, любивший ее, чем она гордилась, признававший в ней равную, что ей очень льстило. Он говорил с ней обо всем, что было на душе, и она могла говорить с ним так же, а это имело большую цену. Последнее время она часто думала о том, как бы это устроить, чтоб, не теряя его, возможно долее жить так, как жилось до знакомства с ним. Для нее эта жизнь, хотя и прязненькая, но веселая, имела свою прелесть. Все, что она получила бы от нее хорошего, она скушала бы сама, а все дурное разделила бы пополам с ним. И она надеялась, что со временем ей удастся приручить его до такой степени. Его фантазии о женитьбе она очень любила слушать; слушая, мечтательно закрывала глаза, улыбалась и рисовала себе разные картины семейной жизни, картины веселые, живые, увлекавшие ее. Но она была настолько умна, чтоб понимать, что действительность не оправдала бы его фантазии. Она была твердо уверена в том, что у него скоро пройдет это бешенство любви, которое она понимала по-своему, не очень лестно для него, а когда оно пройдет, на нее посыплются укоры, побои и т. п. Да и жить до самой смерти все с одним и тем же человеком в одной комнате, дни и ночи — все с одним, — это, должно быть, невероятно скучно! А иногда ей казалось, что она могла бы жить с ним хорошо и долго, но что ему это не нужно, что она не стоит его и не согласится выйти за него замуж, как бы он ни просил ее об этом,

из жалости к нему, такому хорошему и дорогому ей. Она желает ему счастья, и пусть ее жизнь пойдет так, как шла до этой поры.

Такие думы приносили ей с собой странное, сладкое чувство. Ей казалось, что она чище и умней, когда думает так, и вот она, бессознательно руководясь женской страстью к кокетству, начала искусственно настраивать себя на такой минорный лад и встречала Павла такой тихой, задумчивой и как бы подавленной чем-то. Его же это настраивало на нежности, от которых он всегда переходил к фантазиям. Так развлеклась она от начинавшей заявлять о себе скуки знакомства с Павлом. Но иногда она не выдерживала роли, чувствовала, что ей скучно с Павлом, скрывалась — и показывала когти. Тогда как он, тяготя к ней с каждым днем все более и более, все чаще останавливался на желании поговорить с ней окончательно и, наконец, это желание осуществил.

Однажды вечером, гуляя по городу, они забрели в какой-то садик и, немного уставшие, сели на лавочку под густой навес акаций, уже кое-где сверкавших желтым листом.

— Ну, так как же, Наташа? — спросил Павел, с серьезным видом поглядывая на нее сбоку.

— Что? — осведомилась она, поманивая себе в лицо сломанной веткой и, в сущности, догадываясь, о чем он хочет вести речь.

— Когда же, мол, мы венчаться-то?

От лучей луны, проникавших сквозь листву акаций, на Павла и Наталью легла кружевная тень, она легла на дорожку у их ног, тихо колеблясь на противоположной им скамье. В саду было тихо, а над ним, в небе, спокойном и ясном, задумчиво таяли прозрачные, перистые облака, не скрывая своей пуховой тканью ярких звезд, сверкавших за ними.

Все это, и утомление от прогулки, настраивало Наталью на более мечтательный лад, и выдуманная ею оппозиция Павлу по вопросу о женитьбе теперь казалась ей как нельзя более правдивой и действительно чувствуемой.

— Венчаться? — покачивая головой, переспросила она. — Вот что я тебе скажу! брось ты это. Какая я тебе жена? Просто я гулящая девка, а ты — честный, рабочий человек — и не пара мы поэтому. Я уж ведь говорила, что не могу я, поганая, быть иной.

Ей доставляло удовольствие это самоуничтожение, позволяя думать о себе, как об одной из тех девушек и женщин, о которых она читала в книжках.

— А тебе, — все более минорно продолжала она, — надо хорошую, честную жену. Мне же уж на роду написано погибать в мерзости. Одного хотела бы я, — это видеть жизнь твою, когда она пойдет своим порядком: жена у тебя будет... дети... мастерская... Тогда... — дрожащим от сдерживаемых слез голосом уже зашептала она, — я тихонько... приду... к твоему дому... и посмотрю... посмотрю, как... мой милый Паша...

И она разрыдалась. Ей на самом деле стало больно и грустно от всего сказанного. Ей вспомнилась одна сцена из книжки: любящая и пожертвовавшая своей любовью ради «его» счастья с другой, всеми презираемая, Мери Дезирэ, в рубище, утомленная долгой дорогой, стоит под окном Шарля Лекomba и видит сквозь стекло, как он, сидя у ног своей жены, Флоранс, читает ей книгу, а она мечтательно смотрит в пылающий камин и, одной рукой держа на коленях свое дитя, другой играет волосами Шарля. Бедная Мери пришла пешком издалека и принесла с собой доказательства своей невинности и любви, но увы! Поздно!.. и она замерла под окном своего возлюбленного... дальнейшая судьба которого осталась Наталье неизвестной, ибо в книжке были вырваны последние страницы. Когда эта картина встала пред глазами Натальи, она разрыдалась еще горше и сильнее.

Павел весь дрожал от сострадания и любви, от беспомощности и горя, — дрожал и, крепко прижимая ее к себе, сам со слезами, кипевшими в горле, глухо говорил:

— Наташа! Наташа!.. полно, пере-

стань!.. люблю... не отдам... ведь... — и еще какие-то слова.

Когда, наконец, она немного успокоилась, то он, взволнованный и восторженный ее любовью и благородством, которое ему инстинктивно было понятно, заговорил торжественно и сильно:

— Слушай! ты — мой человек! мой человек ты потому, что я о тебе думаю и дни, и ночи и что у меня, кроме тебя, нет ни души! И никого мне не надо. Никого. А тебя я возьму себе, хоть ты что хочешь говори! Пойми это, пойми! Никому я не могу тебя уступить, потому что без тебя мне не житье. Как я буду жить без тебя, коли я только о тебе и думаю! Мой ты человек! Я за тебя сердце отдам! Поняла? И не толкуй больше.

Но она толковала. Она унижалась перед ним и в то же время чувствовала себя все выше. Громадное сладкое чувство наполняло всю ее по мере того, как она обливала сама себя грязью своих признаний, и, становясь все откровенней, циничней, дошла до того, что сказала ему, наконец:

— Ты думаешь, за это время я чиста была?.. Бедненький! Каждый день...

Но она не договорила. Павел выпрямился перед ней, положил ей руки на плечи и, тряся ее, глухо прошептал:

— Молчи!.. молчи!.. убью!

Затем раздался яростный скрип зубов.

Согнутая его руками, давившими ей плечи, Наталья, почувствовала, что пересолила, и ее обуял страх. Павел видел, что она дрожит, и жалость к ней немного охладила пыл его ревности, хотя и не уменьшила нанесенное ему оскорбление. Он тяжело опустился рядом с ней. Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся томительно долго. Наталья, все еще испуганная, прервала его первая, тихо прошептав:

— Пойдем домой.

Он встал и молча пошел рядом с ней. — Не любишь ты меня, коли можешь говорить мне такие слова. Жалости в них нет. Скрывать должна была это. Да!.. — сказал он ей, приведя свои мысли в порядок.

Она глубоко вздохнула, и на ее лице отразилось искреннее раскаяние.

— Ну, да ладно. Вперед — помолчи. А разговор наш кончен. Деньги у меня есть — сорок два рубля да за хозяйном — девятнадцать. На свадьбу да на первое время жить хватит. Есть у тебя платье... такое, в котором можно бы в церковь войти... которое ты не надевала еще... ни разу?..

— Нет! — тихо сказала она.

— Ну... надо шить. Завтра я тебе куплю.

Она промолчала. Когда они пришли домой, он оставил ее у лестницы, тихо сказал:

— Не пойду я сегодня к тебе.

— Хорошо! — кивнула она головой и избежала по лестнице вверх.

Он послушал, как загрел замоч там,верху, и пошел снова на улицу. Он чувствовал себя глубоко обиженным ее признанием, и ему казалось, что вся улица дышит на него странным холодом, возрождающим в его груди давно забытые чувства, — одиночество, тоску и его старые думы, которые теперь были почему-то тяжелей и непонятней ему, принося с собой что-то новое, чего прежде в них не было.

А она, войдя в свою комнатку, заперла за собой дверь на крючок, села, не раздеваясь, к открытому окну и облегченно вздохнула — «ф... фу!..», а потом, подперши ладонью щеку, стала смотреть в окно.

Собирались тучи. Они вползали на небо, поднимаясь из густой тьмы, закрывавшей горизонт тяжелой бархатной завесой. Двигались они так медленно, точно делали это по обязанности, давно уже надоевшей им. Охватывая собой небо, они гасили звезды одну за другой, и, точно жалея о том, что портят небо, ступеньвая собой его украшения и скрывая от земли его мягкий, умиротворяющий блеск, — плакали частыми, крупными каплями дождя. Дождь гулко стучал о железо крыши, и эти звуки казались предупреждающими о чем-то землю сигналами туч.

Наталя, как и Павел, тоже чувствовала себя обиженной и поработанной, как никогда.

— А, вот ты какой! тоже, как и все, — сегодня любя, а завтра — в зубы. Ну, голубчик, шалишь!.. погодишь!.. — думала она.

Ей вспомнилось его искаженное злобой лицо, его шопот и скрип зубов... «Молчи!.. убью...» За что? За то, что она была с ним так откровенна и сказала ему всю правду? Благородно!.. а еще друг!.. а еще любит!.. До сей поры ей никто не обещал убить ее, а когда ее били, то били просто так, без всякого предупреждения и почти под пьяную руку. Но те господа и он — это разница большая!.. И ей снова стали рисоваться картины жизни с Павлом, последовательно — день за днем и полно — с утра до вечера, со всеми деталями. Вот они проснулись — рано утром. Ей еще хочется спать, но нужно ставить самовар, ему пора работать; нужно топить печь и стряпать, коли есть чего стряпать; нужно убрать комнату, потом — накрыть на стол... Обедать, мыть посуду, мести пол, что-нибудь шить себе или ему, снова ставить самовар... и вечер.

Ну, положим, пойдут они гулять вдвоем, коли есть свободное время. Гулять с ним очень скучно. К ним в гости едва ли кто будет ходить, — он такой бука и чорт!.. Придут с прогулки, — ужинать и спать. Вот один день. А как работы у него не будет? А как он начнет ее сначала корить ее прошлой жизнью, а потом колотить?.. И, наверное, он будет ревновать ее ко всем с двенадцатилетнего мальчишки до семидесятилетнего старика. А о чем она будет говорить с ним? Он ведь глупее ее и неграмотный; она любит читать книжки, где она тогда возьмет книжек?.. И чем дальше она думала, тем тошней и скучней представлялась ей жизнь с Павлом.

— За что же я ему продам себя? — поставила она вопрос и быстро нашла, что ему нечем заплатить ей за нее. Тогда она стала вспоминать, что ее к нему привязывает и чем она ему обязана. Она с удовольствием открыла, что обязан он ей, а не она ему, и что вся ее привязанность к нему основана на том, что он жалкий, одинокий...

Так что же теперь?! Тут она вздохнула легко и свободно и укоризненно и громко сказала:

— Ах ты, рябой чорт! а?.. погоди, я тебе покажу! я тебе докажу, кто я такая!.. ты не поскрипишь у меня больше!.. Ты думаешь, я твоя рабыня? Ну, это дудочки!.. Это, миленький мой, игрушечки!..

Вскочив с места, она накинула на себя платок, еще что-то и быстро вышла из комнаты, не заперев ее, несмотря на то, что дождь уже шумел на улице, монотонно колота по железу крыши, по панелям и в стекла окон... Она торопилась доказать Павлу, кто она такая, и была полна злобной удали и сознания своей независимости.

Два дня ее не было. Павел, как только вошел поутру первого дня в ее комнату, так сразу почувствовал, что совершилось нечто новое и для него далеко не приятное. Он ждал ее весь день, а ночью ходил по городу, заглядывая во все портерные и трактиры; но ее нигде не было. Он стиснул зубы, нахмурился, сгорбился и молчал весь день. Тупая боль и предчувствие чего-то тяжелого, несчастного давили, и понемногу в нем нарастала злоба против Натальи. На третий день он похудел и осунулся, точно после болезни.

В этот день вечером, мимо окон мастерской, к воротам подкатили две пролетки. Павел услышал ее смех и, побледнев, бросился на двор.

Она шла под руку с выцветшим человеком в форме военного писаря; у него и усы, и лицо, и мундир — все как-то слиняло, а она была навеселе, покачивалась, что-то пела и смеялась. За ними шла еще пара: тоненькая черная девица с пожилым человеком, похожим на повара.

Павел смотрел из сеней в щель между досками и чувствовал, что в нем все кипит, что он сейчас задохнется от злобы; но когда они скрылись на лестнице, он как-то сразу успокоился и впал в холодное, неподвижное отчаяние. Он сел в сенях на пол и, прижавшись головой к кадке с водой, оцепенел.

Ему казалось, что он слышит смех и говор, доносящийся до него с чердака... и перед глазами его в разных позах мелькала Наталья, оживленная, громко и весело смеющаяся, какой она никогда не была с ним.

— Почему она не была такой со мной? — вдруг родился у него вопрос. Он скоро и правдиво ответил себе на него: с ним, Павлом, нельзя ей быть такой; он неуклюж, глуп и скучен. Это сознание увеличило его тоску. Значит, он теряет ее по своей воле!.. Он теряет ее!.. теряет... и остается снова такой же, какой был прежде, до встречи с ней, — одинокий, молчаливый... никому не нужный, смешной подкидыш... И, как всегда это бывает, когда женщину любят и теряют, — Паньке ярко вспоминалось все хорошее в Наталье, и, подавляя собой все дурное в ней, воображение, наконец, нарисовало ему ее такой чистой, ласковой, доброй и необходимо нужной ему, — что его тоска усилилась до какого-то удушья.

И вдруг он вскочил, улыбнулся и с видом крайней решимости бросился через двор к ней на чердак. Он шагал по лестнице, а навстречу ему лился клочущий, веселый шум.

Он в дверях. Наталья, возбужденная, раскрасневшаяся, удало подбоченясь одной рукой и подняв другую, с платком в ней, кверху, очевидно, приготовилась танцевать... Все остальное было в тумане, одна Наталья только была ярка, красива и жива...

— Здравствуйте, Наталья Ивановна! — дрожащим голосом, но весело крикнул Павел.

— Ах!.. Это... ты!.. — раздалось тихое восклицание, немного испуганное и дрожащее.

Потом все стало мертво и тихо... и все колыхалось и плыло куда-то... Только Наталья стояла неподвижно и смотрела своими большими голубыми глазами, такими хорошими и светлыми.

— Да... вот я пришел... к вам... поселиться. Весело у вас тут... слышу — смеются... дай пойду!.. — растерянно говорил Павел и чувствовал в своей груди какие-то толчки, двигавшие его вперед. Один из этих толчков был так

силен, что сбросил его с порога, где он стоял, прямо к ногам Натальи.

— Наташа! Наташа!.. Я пришел... выгони их всех вон! Прости меня!.. не могу я жить без тебя, не могу!.. Не могу я! Как же это? Один... невозможно одному! Я же тебя люблю! ведь люблю!.. ведь уж я говорил, что люблю!.. Ведь ты мой человек... на что тебе они? Дни и ночи... дни и ночи все о тебе об одной... все думы... я буду весел... буду веселый. Смеяться буду и много говорить тоже.

Он обнял ее, ткнул свою голову в ее колена и бормотал свои слова глухо, просительно и так потрясаяще жалко, что сначала подавил всех своим появлением.

Наталья была испугана. Она прислонилась спиной к стене и с побледневшим, искаженным лицом схватила его за голову и пыталась оттолкнуть от себя коленями и руками, но он точно замер, вцепившись в нее, а она беспомощно шевелила синими губами и не могла ничего выговорить...

Но вот в комнате послышалось слабое хихиканье. Это засмеялась черненькая девица; ее смех подхватили писарь и человек, похожий на повара. Наталья недоумевающе обвела их глазами, взглянула на Павла — и расхохоталась сама. Вся комнатка на чердаке тряслась от громкого, здорового хохота четверых людей.

Изумленный, раздавленный этим хохотом, Павел сел на пол и смотрел куда-то в угол тупыми, безумными глазами. Он был, действительно, очень смешон. Его лицо, мокрое от слез, остановившихся в рябинах, было жалко, растерянно, и всклокоченные волосы, выбившись из-за сдерживавшего их ремня, образовали из себя какую-то фантастическую, клоунскую прическу; тупые глаза, глупо раскрытый рот, рубашка, выбившаяся из-за фартука, и, наконец, какая-то грязная, мокрая тряпка, прицепившаяся к опорку на его ноге, — все это не могло сделать его трагичным и внушающим сострадание. Четыре разнообразно изогнутые от смеха фигуры и он, растерянно, молча и неподвижно сидевший на полу... Кто-то пролил пи-

во, и по полу потекла тонкая струйка, направляясь к Павлу... Черная девица, в припадке восторга, бросила чью-то женскую шляпу, и она, полетев через голову Павла, упала к нему на колени... Он взял ее в руки и растерянно стал рассматривать.

Это разожгло смех еще более. Смеющиеся охали, визжали, стонали... Павел встал на ноги... так он был еще смешнее. Он был смешон и тогда, когда, шатаясь, пошел к двери, а в двери обернулся и, вытянув по направлению к Наталье руку со шляпкой, бросил шляпку на пол и сквозь зубы сказал:

— П... помни же! — и ушел.

Его провожал неумолкавший хохот.

— Вот так герой!.. — кричал кто-то плачущим от смеха голосом. — Охо-хо!.. ха!.. ха!.. ха!.. Ах, чорт его поberi, ха!.. ха!.. ха!.. Нет, тряпка-то!.. ха!.. ха!.. ха!.. как хвост!.. ой, не могу-у!.. О, ха!.. ха!.. ха!.. волосы-то... ха!.. ха!.. ха!.. на голове... как венец... ха!.. ха!.. ха!.. Ой, чтоб ему... л...лопнуть!.. ха!.. ха!.. ха!..

А на дворе стучал дождь неумолкающей, скучной дробью... Была уже осень...

Целые три дня шел этот дождь, сбивая последние желтые листья с черных, намокших ветвей деревьев. С унылой покорностью судьбе, деревья качали своими вершинами под злыми ударами холодного ветра, который с гневом и тоской метался по земле, точно отыскивая что-то дорогое ему. Упорный, настойчивый дождь и неустанно завывавший ветер создавали вдвоем то прекрасный реквием умершему лету, то необычайно визгливую здравицу воскресающей зиме. Плотные, скучно серые тучи так крепко окутали небо, точно не хотели уже больше развернуться и показать его измокшей, иззябшей земле... В программу четвертого дня вошел снег, носившийся тяжелыми, мокрыми хлопьями над городом по ветру, все еще искавшему чего-то и бешено метавшемуся всюду, налепляя снег на стены и крыши домов белыми пятнами.

Вечером этого дня Павел перешел двор походкой человека, свободного от занятий и дорожащего чистотой своих

сапог, — перешел и, поднявшись на лестницу, задумчиво стал у двери в комнату Натальи. Одет он был по праздничному — чисто, лицо у него было покойно; но оно страшно похудело и осунулось. Подумав немного, он постучал в дверь и, переступив с ноги на ногу, стал дожидаться, когда ему откроют, еле слышно насвистывая сквозь зубы.

— Кто это? — спросили из-за двери.

— Это я, Наталья Ивановна! — ровно и громко ответил Павел.

— А!.. — слышалось за дверью и ему отворили.

— Здравствуйте! — сняв фуражку, поздоровался Павел.

— Здравствуй, чудачина! ну что, прошло с тобой? А, насмешил же ты нас тогда! Ну, и пришел!.. точно тобой пользы мыли. Что бы вот так же одеться, как сейчас!

— Не догадался я об этом, прости-те! — усмехнулся Павел, не глядя в лицо собеседнице.

— Чай пить будешь? — подогрею самовар.

— Нет, благодарствуйте! пошел уж я.

Тут Наталья заметила, что Павел изменил местоимение, и спросила его:

— Что это за благородство такое новое? На «вы» стал говорить.

При этом она несколько презрительно усмехнулась. Теперь он в ее глазах уже не отличался ничем особенным от других людей. После того, как он валялся при людях у нее в ногах, цена ему очень пала. Бывало, ее били более или менее жестоко за измену, и она от него ждала того же; но он оказался несколько иным, и, по ее мнению, эта разница между ним и другими не клонила в его пользу. Бьют — это, значит, любят, и, когда истинно любят, то не только бьют, убивают, — идут на все. А он свалился при людях в ноги и плакал, как баба!.. Это не по-мужски, не по-человечески... Нужно не вымалывать, не выплакивать, а добыть, завоевать женщину, тогда она будет твоей. Да и то не совсем...

Павел вздохнул и заговорил:

— Да ведь мы с вами не родня.

Дружба между нами была, да она уж лопнула... Чего ж!..

Наталья изумилась, но не показала вида. «Значит, он прощаться, видно, пришел!..» Она села на кровать близко к нему и молча ждала, что он скажет еще.

— Темновато здесь, Наталья Ивановна. Лампочку бы зажечь...

— Можно! — и она зажгла лампу.

Он заговорил снова, задумчиво поглядывая на нее:

— В последний раз говорю я с вами, Наталья Ивановна. Да, уж больше нам не придется говорить!..

— Что так? — спросила она, опуская глаза.

Она не знала, как с ним держаться, и выжидала время, когда ей представится возможность взять верный тон. Она находила, что он очень похудел за это время, и ее немного удивляло его задумчивое спокойствие.

— Что так говорите вы?

— Да, так уж, пришла пора. Подумал я, подумал и решил: надо все это кончить. Чего же? ведь нечего мне от вас ждать! — он пытливо посмотрел в ее лицо.

Ей стало жалко сначала прошлого, а потом и его самого. Она видела, что, в сущности, он печален и убит, несмотря на свое спокойствие, а она была все-таки женщина и, как женщина, не могла не жалеть, раз видела перед собой несчастного.

— То-есть, как это вы?.. — начала она, подымаясь к нему. — Я ведь всегда согласна...

— Э, не надо! — махнул он рукой. — Конец. Дело решенное. Да вы и правы; по совести сказать, ничего бы у нас с вами не вышло. Какой я муж? Какая вы жена? Вот в чем суть...

Он помолчал. Она никак не могла понять, куда он клонит... А в окна мягко стучал мокрый снег, точно хотел что-то предупредить и напомнить...

— Да... Это действительно... плохо бы было... — тихонько прошептала она и почувствовала, что ей становится все более жалко и его, и еще чего-то...

— Ну, так вот!.. Но оставить я вас так не могу. Невозможно это мне. Но-

сил я вас в моей душе такое долгое время... и много для меня значило... Опять скажу, первым человеком вы мне были. Первейшим. С первой вами я жизнь понимать настояще стал. Очень много вы для меня значили, и не было вам цены. Прямо говорю, в душе вы моей жили!..

У него начал вздрагивать голос, а она чувствовала, что по ее щекам потекли слезы и, почему-то не желая, чтобы он видел это, повернулась к нему боком.

— В душе вы моей жили!.. — еще раз произнес он. — Так неужели я могу отдать вас опять на растерзание?! на поругание?! на скверну?! Никогда! Невозможно мне это! Чтобы человека, которого я люблю всем сердцем... который мне дороже всего... такого чтобы человека да другие понесли?! Этого не будет! Не могу я так, Наталья Ивановна, не могу!..

Он говорил это, как-то весь согнувшись и стараясь не смотреть на нее, и в его тоне, кроме горячего убеждения, звучало еще что-то, просительное и извиняющееся... Левая его рука лежала на колене, а правую он держал в кармане поддевки.

— Так как же? — тихо спросила она, едва удерживаясь от рыданий и все еще не глядя на него.

— А вот так!..

Павел вынул из кармана длинный нож и ткнул его ей в бок, ровно и твердо вытянув руку.

— Ой!.. — слабо крикнула она, повернулась к нему лицом и повалилась с кровати прямо на него.

Он принял ее на руки, положил на кровать, оправил на ней платье и посмотрел ей в лицо. На нем застыло удивление, брови были подняты, глаза, теперь уже тусклые, широко раскрылись, и рот был тоже полуоткрыт... щеки были мокры от слез...

Натянутые нервы Павла не выдержали больше. Он глухо застонал и стал целовать ее горячими, жадными поцелуями, рыдая и дрожа, как в лихорадке. А она уже была холодна. В стекла окна стучал снег, и в трубе выл ветер холодно и дико. Темно было и на дворе, в комнате... Лицо Натальи каза-

лось просто белым пятном. Павел замер, склонясь над ней, и в этом положении его нашли к вечеру другого дня. Никто в продолжение почти суток не мешал им: одной — лежать на постели с ножом в левом боку, а другому — плакать, положив на ее грудь свою голову, в то время как за окном ему громко вторил осенний ветер, холодный и сырой!..

Была уже весна, когда над Павлом Арефьевым Гиблым совершали великий акт человеческого правосудия.

В окна залы заседания весело смотрело молодое весеннее солнце, жестоко накаливая гладко отшлифованные лысины двух господ присяжных, отчего те чувствовали сильную склонность ко сну и, чтоб не дать заметить этого товарищам, публике и суду, принуждены были наклониться вперед и вытянуть шею. Это придавало им вид людей, увлеченных процессом.

Один из членов путешествовал глазами по физиономиям публики и, очевидно, не находя среди них ни одной умной, печально помахал головой; другой крутил ус и внимательно смотрел, как секретарь чинит карандаш.

Председатель только-что произнес:

— На основании... в виду полного сознания подсудимого... полагаю допрос свидетелей... — и, обращаясь к прокурору, спросил: — Вы ничего не имеете?..

Добродушный господин с тараканьими усами любезно улыбнулся председателю и откровенно ответил:

— Ничего-с!

— Г. защитник! Вы ничего не имеете?..

Защитник был искренен не менее прокурора и тоже громко сознался в полном неимении чего-либо, что, впрочем, было ясно начертано на его физиономии.

— Подсудимый! Не имеете ли вы сказать что-либо в свое оправдание?

Подсудимый тоже ничего не имел...

Он был туп и производил на всех очень неприятное впечатление своим рябым и неподвижным лицом.

Но все трое — и прокурор, и защитник, и подсудимый, — как оказалось, надули публику, единогласно заявив, что они ничего не имеют.

Прокурор имел удивительную способность придавать своему лицу свирепое выражение голодного бульдога и сильную склонность к аффектации и застрашиванию присяжных тем, что, если они отнесутся к подсудимому снисходительно, то он их перережет.

Защитник имел привычку во время речи протестующе сморкаться, патетически ерошить волосы и злоупотреблять жалкими словами. Он красноречиво, внушительно, протестующе громко воскликнул:

— Гг. присяжные заседатели!.. — и, вложив в это восклицание весь свой пафос и все красноречие, бессовестно ограбил сам себя, ибо весь остаток речи вышел у него бедным, бездушным и

ничего не сказавшим сердцам гг. присяжных заседателей.

И подсудимый все время имел тайную мысль, которую и объявил во все услышание после того, как ему сообщили, что его отправят на двенадцат лет в каторжные работы.

— Покорно благодарю! — поклонился он председателю и просительно проговорил с увлажненными глазами: — Ваше превосходительство! Нельзя ли мне к ней на могилу?

— Что-с?! — строго спросил председатель.

— К ней на могилу сходить!.. — робко повторил осужденный.

— Нельзя-с! — крикнул председатель и мелкими шажками умчался куда-то в угол коридора.

И двое солдат увели преступника тем же порядком, каким всегда уводят из суда преступников...

Вот и весь роман.

Лирические стихи

ВАСИЛИЙ КАЗИН

★

Когда Октябрь лишь зачинал стихи,
Когда был голос новой песни детским,
Я даже и наклонности стихий
Старался духом пронизать советским.

На что уж солнце слыло до меня
Особой с гордым именем светила,
Но и оно, в моей строке звеня,
Явилось в мир — как наших вихрей сила.

Я острым глазом отыскал тогда
И звонкий образ отдал солнцу мая,
Чтоб шло оно, палящий жар труда,
Как счастья страсть, от нас перенимая.

И прежде часто веявший в стихах
Беспечной ленью и звучащий сагой,
Стал у меня за совесть, не за страх
Весенний ветер славным работягой.

Когда весной по каждой мостовой
Неслись ручьи, неслись за ротой рта,
Он, этот ветер, голубой метлой
Сметал их с грязью до седьмого пота.

Потом пустился мой веселый стих,
Когда он стал на вид казаться взрослым,
Учить, как тьму помощников людских,
Орду стихий — им свойственным ремеслам.

И мог ли я не радоваться сам,
Как, заражая мир рабочим пылом,
Взбиралось ловко солнце по лесам,
Вздывая свет свой к облачным стропилам.

Как будто солнце светом мудреца
Еще тогда указывало взгляду —
В какие выси надо нам Дворца,
Дворца Советов вознести громаду.

Как будто солнцем был наметан план,
Чтоб мощь его поднять к небесным сводам,
Чтоб водчества прекрасный великан
Светил, как счастье, всей земли народам.

Что ж! и к высотам мысли не глуха
Работа созданного нами солнца,
Воспитанника нашего стиха,
Природы первого краснознаменца.

КЛЕВЕТА

Пред судом чужого взгляда,
 Чтя обычных правил круг,
 Очень часто, милый друг,
 В блеске лучшего наряда
 Ты проводишь свой досуг.

И всегда, как помнит опыт,
 Лишь увидят облик твой,
 Как стремительный прибор,
 Восхищенья сладкий шопот
 Вдруг взметнется пред тобой.

Хоть давным-давно приелись
 Этих сладостей слова,
 Но от них, хмельных сперва,
 У тебя и раньше, прелесть,
 Не кружилась голова.

Вся — противница гордыни,
 Враг шумливой суеты,
 Всем с достойным чувством ты
 Светишь с детства и поныне
 Пышной славой красоты.

Ты, поди, со смеху прыснешь,
 Покачаешь головой,
 Лишь узнаешь, свет ты мой,
 Чем язык иных завистниц
 Мнит принизить образ твой.

Иль нахмуришься, как тучка,
 Вдруг услышав клевету:
 Что легко, мол, быть в цвету,
 Что ты, дескать, белоручка —
 Можешь холить красоту.

Что, питая страсть к нарядам,
 Так и полнишь жизни дни...
 Вспыхнут быстрые огни, —
 Но ты глянь спокойным взглядом,
 Весь свой образ распахни.

И какая не смирится
 Тут завистница твоя!
 Страсти к платьям не тая,
 Ты и стирки мастерица,
 Мастерица и шитья.

И под хлюпающий шорох,
 Чуть лишь голых ног стыдись,
 Мастерица ты, мечась
 Огоньком движений скорых,
 Гнать с упорством с пола грязь.

И какой поет работой
 То, что в поступи ночей,
 С сердцем, солнца горячей,
 И с бессонною заботой
 Сторожишь покой детей.

На тебе — вся тяжесть дома.
 Но, как речь их ни пуста,
 Шепчут зависти уста,
 Что тебе лишь, мол, знакома
 Кровных комнат маята.

Что лишь только в сите быта
 Всех твоих стараний толк,
 Что твой бог — все тот же шелк,
 Что страна тобой забыта,
 Что, мол, долга голос смолк.

Что поденных мыслей крохи
 Засорили солнце дум —
 Тех, что взвихрившийся шум
 Нашей огненной эпохи
 Заронил в твой ясный ум.

Но ни эта, ни другая,
 Никакая клевета
 Силой слов не налита,
 Чтоб твой образ, дорогая,
 Вдруг смутила темнота.

Только так, для верхогляда
 Ты — созданье тишины,
 Жизни комнатной отрада.
 Но как грянет гром войны,
 И веселый блеск наряда,
 И в который влюблены
 Пылкой доблести сыны, —
 Кроткий свет простого взгляда, —
 Все отдашь ты, если надо,
 Счастью матери-страны.

СМЕРТЬ

Еще она застенчиво, несмело
Идет, быть может,
Где-то вдалеке,
Еще, быть может,
Мыслью не хмурила —
Мой теплый дух предать своей руке.

Еще она оказывает милость,
Что мрак ее
Лишь чуть не погасил
Ту тайну тайн,
Которая ломилась
Со дня рожденья страстью разных сил.

И хоть немало лет
Уплыло дымом,
Оставив раны старые свои, —
Еще держусь я другом,
Побратимом,
Вождем задора, бодрости, любви.

И вот давно ль
Меня ломала буря,
Но все силен в характере моем
Чертенок —
В людях шуткой, балагурия,
Огонь веселья высечь, как кремнем.

И в сердце столько озорного грома,
Что, тенью застилающего путь,
Вот так и рвешься
Всю серьезность дома
По-детски мимоходом толкануть.

Идешь с высоким солнышком в обнимку,
И словно мир
Сроднился так с тобой,
Что видишь ветра
Каждую ужимку
И блеск его улыбки голубой.

Но ты не видишь, что, шатая плечи,
В твой звонкий шаг
Вползая легкой мглой,

Крадется смерть,
Чтоб сбросить року встречи
Весь пестрый короб жизни пожилой.

Чтоб сбросить в холод полного изгнания
Всю взрослость плоти,
Искушенный взгляд,
Всю сложность чувств,
Залегший камень знания,
Созревший дар, ведущий песен лад.

И вдруг, подкравшись
Спереди иль сзади,
Она рванется, обоймет тебя.
Метнется ветер,
Съезжившись во взгляде,
Споткнется солнце,
Блестками рябя.

Ты, может быть, и выдержишь,
Ты спрячешь
Смятенье сердца — в строгости лица,
А, может быть,
Ты сердцем и заплачешь,
Роняя миру скорбный звон конца.

Быть может, к горлу
Взбросятся рыдания —
Ну что ж, и даже в голос,
В крик, навзрыд
С любимым миром
Страшный миг прощанья
Омыть слезами — не ззор, не стыд.

Я и без слез бы с миром мог проститься,
Но только б слышать
Пыкий вихрь живых,
Но только б мыслить
Мой нехитрый стих,
Но только б, имя помыслов моих,
Вот это счастье:
Тихо мне светиться
Под светляками глаз твоих больших.

Хмурое утро*

Третья часть романа «Хождение по мукам»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

«Разбойники» были поставлены только в феврале во время короткой передышки Качалинского полка. Длинные переходы в мороз и метели, когда впереди, вместо теплой ночевки, разливалось под тучами мрачное зарево и в снежных степях не найти было щепки — обогреть заочневшее тело у костра, — затажные бои, утренние тревоги, злобные, короткие схватки с казаками — все осталось позади. Мамонтов с остатками потрепанных полков был далеко за Доном. Армия его таяла. Ему больше не верили: напрасно он уложил десятки тысяч — цвет донского войска — в трех наступлениях на Царицын.

Качалинцы, заняв без боя большую, замирившуюся станицу, повеселели, — поели сытно и выпались тепло. Впереди — весна, а там и конец, может быть, затажной войне.

Полтора месяца тяжелого похода изнурили Дашу, — ей и в голову не приходило братья снова за этот спектакль. Театральное имущество растерялось, несколько человек из труппы было ранено, пропала и сама книжка с пьесой. Даше хотелось хоть несколько вечеров побыть в тепле с Иваном Ильичом, посидеть около него, — без слов,

без дум, коротая в сумерках тихий покой под бессонную песенку все того же сверчка под печкой.

Надо было постирать и поштопать белье, отдать подшить Ивану Ильичу валенки. Привести себя немножко в порядок, а то и муж, и все на свете, да и сама она в том числе, забыли, что она женщина. В первый же вечер Даша и Агриппина шли из бани по замерзшим лужам, легкий мороз веял около горячих, распаренных щек, — вот было счастье! Они с Агриппиной поставили самовар, собрали ужинать, Иван Ильич и Иван Гора тоже вернулись из бани, и вчетвером сели за стол, — мужчины кряхтели от удовольствия, — ши-то как пахли, из самовара-то как хорошо пахло! Иван Гора сказал:

— Вот, Иван Ильич, по трудам и отдых...

Отдохнуть Даше не пришлось. На второй день, перед тем часом, когда вернуться Ивану Ильичу, пришла Анисья с книжкой — Шиллером, — сдержанная, серьезная, и заговорила, поднимая мечтательные глаза:

— Тоска у меня, Дарья Дмитриевна... То ли я испорченная... Все люди, как люди, а я испорченная... У меня еще у маленькой это замечалось... Ну, потом, конечно, рано вышла замуж, дети... Да вот — горе мое случилось... Мне двадцать четыре года, Дарья Дмитриевна. Кончится война — куда я пойду? С мужиком жить в хате, глядеть в

* Продолжение. См. «Новый мир», №№ 4—5 в 8 за 1940 г. и 1, 2 за 1941 г.

степь в пустую? После всего, что видела, что я слышала, — мне другое нужно...

У Анисьи под шинелью поднялась грудь, глаза полузакрылись:

— Я эту книгу всю прочла, в боях не расставалась с ней... Может быть, я мало сознательная, темная, необразованная, но это можно поправить. Дарья Дмитриевна, во мне разные голоса живут... Про себя я ничего не знаю, а про людей знаю... Слезы кипят, когда думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию рассказать... Живая бы она встала из этой книжки... Мне и Шарыгин покойный про то же говорил... Дарья Дмитриевна, мы сегодня нашли помещение, в школе, — человек на триста... Здесь и плотники есть, и лесу можно достать, и холстыны... Отчего бы нам не сыграть «Разбойников»? Роли мы помним... Сегодня ребята поминали: хорошо бы посмеяться...

Пришел Иван Ильич и, разумеется, восхитился: «Великолепная идея! Недельку здесь постоим... Замечательный будет праздник ребятам!..» Удивительный был человек Иван Ильич, — ничто в нем не могло затуманить жизнерадостности: раз Даша около него, — значит, мчимся полным ходом к счастью... Как в те далекие, синие, ветреные июньские дни на пароходе...

Так Даше и не удалось послушать в сумерки, как бьется сердце у любимого человека, подобраться осторожно, будто кошачьей лапкой, к его затаенным мыслям... Да и было ли у него затаенное? Да и зачем оно тебе, Даша? Иван Ильич — просто щедрый человек, все, что есть у него, до последнего, — бери... И лицо его, огрубевшее от морозов и ветра, — простое, как солнце... Ах, все бы обернулось по-другому, если бы у Даши, в нежной тьме ее худенького тела, зачалась добрая жизнь, плоть его от плоти...

Труппа начала репетировать. Что это были за муки! Даша молча плакала, артисты стыдились глядеть в глаза друг другу. Огрубели, ожесточились, застудили голоса... Помог Сапожков, — прочел доклад о происхождении

театра вообще, где доказал, что театр свойствен даже некоторым птицам и животным, например, лисице, которая «мышкует», то-есть поймает мышь и устраивает с ней перед лисенятами настоящее представление: и подпрыгивает, и навзничь опрокидывается, и ходит на лапках, крутит хвостом... Труппа ободрилась, и дело понемногу пошло на лад. В школе сколотили помост, размалевали холсты. Рампу устроили из сальных плашек. Пропавшие в походе фраки и сюртуки, те, что Иван Ильич еще на хуторе реквизировал у презжего адвоката, неожиданно отыскались в обозе. И, наконец, настал этот день: только закатиться солнцу, — по станице проехал на артиллерийской сивой лошади красноармеец (выдумка Ивана Ильича), затрубил в медную трубу и начал кричать: «Граждане и товарищи, представление «Разбойников» Шиллера начинается...»

К школе сбежалась вся станица. Крыльцо и вход в зал штурмовали так, что туда вваливались люди с выпученными глазами, без шапок, без пуговиц... Те, кто не попал на представление, недолго горевали. Над станицей стоял молодой месяц в глубоком предвесеннем небе. Перед школой залились гармошки. Красноармейцы удивляли недавно замирившихся казачек любимой песней: «По небу полноточ ангел летел...» Знакомились, а там уж пошли и шутки, — «ласки в глазки, а поцелуй в роток...» А то еще и так: «Военному человеку жениться — не чихнуть, можно и подождать».

Публика в зале по началу грохала хохотом, узнавая в размалеванном старике, с волосами из паки, в балахоне, перефасоненном из поповской рясы, — красноармейца Ванина... «Он это! — кричали. — Давай, Ванин, жги, не бойся...» Когда особенными ползучими шагами из-за полога в кулисах появился человек в мешковатой одежде с двумя хвостами, в бабьих чулках, — зубы все на виду, глаза врозь, — и зашипел поэмину: «Папаша, здесь я, ваш верный сын, Франц», — публика тоже сразу узнала Кузьму Кузьмича и легла со смеху...

Даша за кулисами, схватившись за виски, повторяла Сапожкову;

— Это конец, это чудовищный провал, я так и ждала...

Но артисты преодолели веселое настроение в зале. Публика всех узнала и начала слушать. Латугин подходил к дымно горящим планшетам, — они озаряли снизу его могучее лицо, с наклеенной из бараньей шерсти бородкой, с бешено изломанными бровями, — стиснув руки на груди так, что трещал черный адвокатский стюртук, он говорил сильным голосом:

«— О, если бы я мог призвать к восстанию всю природу, и воздух, и землю, и океан, и броситься войной на это гнусное племя шакалов...»

Тут уже публика совсем затихла, понимая, к чему клонится пьеса.

Декораций не меняли, перестановок особенных не делали. Перед началом каждой картины сквозь занавес просовывался Сергей Сергеевич, — лицо у него улыбалось, будто он знал что-то особенное:

— Картина третья. Представьте роскошный замок графов Моор. В окне льется аромат из сада. Прекрасная Амалия сидит в своей комнате...

Лицо его, освещенное планшетам, пряталось. Занавес раздвигался. Никому и не хотелось признавать в этой гневной красавице, в широкой юбке, в пестреньком платке, завязанном косынкою на груди, — румяной, кудрявой, с глазами во все лицо, — Анисью Назарову из второй роты.

Заговорила она низко, с дрожью, будто запела, кулачишком застучала по столу на Франца: «Прочь от меня, негодяй...» И пошла пьеса, как волшебная сказка, что в детстве, в зимние вечера, бывало, рассказывает дед, а ты слушаешь, свесив голову с печи...

Кузьма Кузьмич боялся за одно место, где Амалия ударяет его по щеке. У нее, все же, при ее мечтательности, рука была красноармейская. Кузьма Кузьмич шепнул было ей: «Легче...» Она же ото всей души: «О, бесстыдный клеветник!» — размахнулась, будто вся тяжесть прошлой жизни легла в ее руку, и ударила, — Кузьма Кузь-

мич отлетел в кулису. Но никто не засмеялся. Из публики крикнули: «Правильно...» И все захолопали, потому что каждому хотелось так же стукнуть негодяя.

Потом она сорвала с шеи бусы, бросила их, растоптала:

«— Носите вы золото и серебро, богачи! Пресыщайтесь за роскошными столами, покойте члены свои на мягком ложе сладострастия! Карл! Карл! Люблю тебя...»

Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь, многозначительно сказал: «Антракт...» Анисья, подойдя за кулисой к Даше, прижалась к ней, уткнула лицо ей в грудь, мелко дрожа в ознобе:

— Не хвалите меня, не надо, не надо, Дарья Дмитриевна...

Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры вспотели, напряженные мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человеческими, и плевать уж им было, если чего и не слышали от суфлирующего свистящим шопотом Сергея Сергеевича, — не стесняясь, сочиняли свое, хлеще, чем у Шиллера, во всяком случае, доходчивее.

Публика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидевший рядом с комиссаром в первом ряду, несколько раз прослезился, Иван Гора, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. И в особенности довольны были артисты, — не хотелось раздеваться, разгримировываться, впору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей станице кричали петухи.

Праздник кончился. Затихли песни и гармошки, лишь кое-где хлопала калитка. Отпели и петухи. Станица спала. По улице медленно шла Анисья, рядом — Латугин, в шинели, накинутой на одно плечо, — ему все еще было жарко.

— Да, Анисья, да, чудно... Идешь ты в этой скорлупе в своей, в шинелишке, а я сквозь нее тебя вижу... Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить...

Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо. А перед анисьиными глазами все еще горели площадки, за ними в горячо надыханной темноте каждое ее слово с силой отзывалось, и оттуда шли к ней взволнованные вздохи, и было в этой ее силе бездонное, небывалое женское. Ей приятно было слушать Латугина...

— Многих я знал, краля моя... Да ну их всех к чорту... Такой не встречал... Зарезался я, — хочешь слушай, хочешь нет...

Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее, — шинель с его плеча упала на снег. Долго, сильно поцеловал Анисью в холодноватые губы. Отстранив, глядел в ее будто равнодушное лицо со щеками, подрумяненными свекольным соком. А она — не на него, подведенные глаза ее глядели на месяц

— Вот она где, мука моя!.. Ну, ладно...

Он поднял шинель, и они опять пошли...

Этой ночью Даше тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, она говорила:

— Я понимаю — сейчас это не осуществимо... Но, послушай — Анисья у нас есть, Латугин у нас есть. Кузьма Кузьмич—это просто талант. Это Яго... Мы будем ставить Отелло... Пополним труппу, завтра же ты дай приказ по полку... Увидишь — в дивизии, в корпусе будем играть... Но необходимо, во-первых, сохранить наши декорации... Поговори с комиссаром, пусть он выделит нам специальные подводы... А как слушали! У меня было впечатление, что зритель — это губка, впитывающая искусство...

— Ты права, права, — отвечал Иван Ильич. Заложив руки за спину, в рубашке — распояской, без сапог, в мягких чоботах, которые ему Даша купила у казачки, он ходил, каждый раз залоняя большим черным телом огонек на столе, и почему-то Даше это было неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался, и огонек освещал его красноватое, крепкое, как из бронзы,

улыбающееся лицо, — у Даши тревожно стучало сердце.

— Ты права... Русский человек любит театр... У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то особенная, жадность... Скажи — полтора месяца боев, истрепались люди, — одна кожа да кости, ведь так и собака сдохнет... При чем тут еще Шиллер? Сегодня будто это тебе в Москве премьера в Художественном театре. А возьми Анисью... Ничего не понимаю, — настоящий самородок... Какие движения, благородство... Какие страсти! Красавица при этом... Ребята прямо рты разинули...

Размахивая руками, он опять засланил свет. Даша сказала:

— Иван, ты можешь не ходить по комнате...?

В голосе ее было давно, давно им не слышанное раздражение; облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими глазами. Иван Ильич сразу осекся, подошел к постели, присел на край. Не скрываясь, струсил.

— Иван, — и она села в постели, — Иван, я давно хотела тебе задать один вопрос. — Она быстро провела пальцами по глазам. — Это очень трудно, но я не могу больше...

По его лицу она увидела, что он понял — какой будет этот вопрос, и все же она сказала, потому что тысячу раз повторяла его про себя:

— Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину?

У него начали подниматься плечи, он пробормотал невнятное, взялся за голову. Даша пронзительно глядела на него, у нее еще была какая-то надежда... Неужели это приговор...?

— Даша, Даша, так не понимать... Все-таки нужно быть великодушной.

— Великодушной? (Вот он — приговор!..)

— Я тебя, Даша, так люблю... Ты меня можешь ненавидеть... Хотя, в сущности, не знаю — за что?.. Органически, так сказать, отталкиваться... Это мне очень понятно... Полюбил я тебя на всю жизнь, тяжело ли мне, легко ли, это — честное слово — неважно... Сердце мое со мной, так и ты

со мной... Живи покойно, будь счастлива...

Даша, слушая, трясла головой, он, морщась, с усилием говорил:

— Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки, — сколько они исходили в поисках счастья, и все напрасно, и все напрасно...

Даша выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соскочила на земляной пол и, подбежав, погасила огонек на столе.

2

Иван Гора, вернувшись с Агриппиной со спектакля, зажег огарок и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки, — такая у него была привычка: прежде чем лечь спать, привести все в порядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в стороне от него, на лавке, около двери.

— Ты тоже ничего себе сыграла, — говорил он, зевая и поскребывая шею. — Не расслышал я, что ты там пропищала, ролишка-то уж очень маленькая... Но — Анисья, Анисья...! — Опустив нос к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. — Чересчур она, пожалуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела, — мужика чувствует, это у нее есть... Побережь ее нужно, побережь... А что думаешь — мало таких революция наверх вытянула? В этом все и дело... На этом все и спланировано, народ не серый, нет... Богатый народ... Воюем-то уж больно расточительно... Машины бы нам надо... Вот, прочти... — Он разгладил один из листков. — Захватили мы танк голыми руками... Будь у меня сын, — я бы ему, сопляку, на груди выжег: помни, не забывай, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеются...

Агриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, вспоминала самое жалобное про себя, что могло припомниться... Как Иван Гора лежал ночью в степи, не шевелясь, не дыша, и ей было все равно тогда — еще живой он или уже мертвый. В винтовке у нее осталась последняя обойма... Агриппина не захотела уйти с другими, уж его-то она не бросила в той степи, ночью...

Жалко, что там с той поры не валяются белые косточки агриппиныны...

— Ты что спать не ложишься, Гапа?

Иван Гора заслонился ладонью от свечи и всмотрелся, — у Агриппины текли слезы из зажмуренных глаз, часто капали с длинных ресниц, черные брови высоко были подняты... Он собрал в полевую сумку листочки, подошел к Агриппине и присел на корточки перед ней:

— Ты чего, глупая... Устала, что ли?

— Жги, жги емау грудь, учи его, учи про белые косточки...

— Гапа, чего ты несешь?..

Она ответила девчоночьим отчаянным голосом:

— На втором месяце я... Не видишь ты ничего... Знаешь одно — Анисья, Анисья...

Иван Гора тут же и сел у ног Агриппины. Рот у него самостоятельно раздвинулся, как у глупого...

— Гапа, а ты не врешь? Гапа, счастье какое, — неужто беременна? Милая ты моя, желанная, Гапушка...

И, когда он так сказал, она — уже низким, бабьим глосом:

— Да ну тебя, уйди с глаз долой...

Потянулась к нему, обняла и припала, все еще всхлипывая, с каждым разом короче и слабее...

3

Третий разгром атамана Краснова под Царицыном вызвал оживление всего Южного фронта, нависшего тремя армиями, — Восьмой, Девятой и Тринадцатой, — над Доном и Донбассом. Враждовавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на вражду, повесить седла в сарай, — пускай их пачкают голуби, — завернуть в сальные тряпочки винтовки, зарыть поглубже в землю. Какой чорт выдумал, что под большевиками нельзя жить! — земля никуда не делась, вон она дымится на оголенных буграх под весенним солнцем, и руки при себе, и кони просятся в хомут, волю — в ярмо...

Главком из Серпухова торопил с наступлением. Первоначальный порочный

план главкома несколько менялся. Армии перестраивались на ходу: вместо движения по Дону, на юго-восток, красным армиям, в распутицу и бездорожье, приходилось поворачиваться на юго-запад, на Донец. Но делать это было уже поздно: столбовая дорога революции — пролетарский Донбасс — была закрыта крепко: за эти два месяца топтанья на месте дивизия Май-Маевского, ворвавшаяся в Донбасс, пополнилась сильными добровольческими частями, снятыми с Северного Кавказа после того, как там, в астраханских песках, была рассеяна Одиннадцатая красная армия. На правом берегу Донца стояло теперь пятьдесят тысяч отборных белых войск под командой Май-Маевского, Покровского и Шкуро.

Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось производить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непролазной грязи, отрываясь от своих частей. Все это тормозило и замедляло перегруппировку. Переправы через широко разлившийся Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные бои. И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вешенской, неожиданно вспыхнуло организованное деникинскими агентами, упорное и кровавое казачье восстание. Белые аэропланы перебрасывали туда агитаторов, деньги и оружие.

Только одна левофланговая Десятая армия, согласно приказу главкома, продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной магистрали, — отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей.

Десятая армия шла навстречу своей гибели.

4

В степь, на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было глядеть, — в лужах, в ручьях, в вешних сзерах пылало солнце. В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, с

трубными криками плыли клинья журавлей, — провожай их, запрокинув голову со ступеньки вагона!.. Куда, вольные? На Украину, в Полесье, на Волинь и — дальше — в Германию, за Рейн, на старые гнезда... Эй, журавли, кланяйтесь добрым людям, расскажите-ка там, поставив на красной ноге на крыше, как летели вы над Советской Россией и видели, что льды на ней разломаны, вешние воды идут через край, такой весны нигде и никогда не было, — яростной, грозной, беременной...

Даша, Агриппина, Анисья часто собирались теперь на площадке вагона, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шел на юг, а весна летела навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубашках, расстегивая ворот. Иногда впереди, за горизонтом, постукивало, погромыживало, — это передовые части Десятой выбивали из хуторов последние банды станишников. Без большого труда взята была Великокняжеская. Проехав ее, эшелон Качалинского полка выгрузился на берегу реки Маныча и стал занимать фронт.

Сальские степи, по которым весной Маныч гонит мутные воды поверх камышей, пустыни и ровны, как застывшая, зазеленевшая пелена моря. Здесь, по Манычу, с незапамятных времен летели стрелы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со скифами, аланами и готами; отсюда гунны положили всю землю пустой до Северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки слушали древнюю повесть о богатырских подвигах Манаса. Роскошны были эти степи весной, — напившаяся земля торопилась покрыться травами и цветами, влажные вечерние зори румянили край неба в стороне Черного моря, огромные звезды пылали до самого горизонта, из-за Каспия, как персидский щит, выкатывалось яростное солнце.

Штаб Качалинского полка расположился в единственном жилом помещении в этой пустыне — за изгородью брошенного конского загона, в землянке, крытой камышом. Противника поблизости не обнаруживалось, армейские разведки ушли далеко на юг — в сто-

рону Тихорецкой и на запад — к Ростову. Бойцам трудно было растолковать, что пришли они сюда не рыбу глушить в Маныче гранатами, не тратить дорогие патроны по уткам на вечерней заре, — предстоит тяжелая борьба: армия брошена в тылы врагу, и враг этот — не доморощенный и еще не пытаный...

Иван Гора однажды вернулся из штаба дивизии, позвал Ивана Ильича, — молча пошли на берег, сели над водой, закурили; красное сплющенное солнце опускалось, застилая испарениями землю; кричали лягушки по всему Манычу, — нагло, громко квакали, ухали, стонали, шипели...

— Икру, сволочи, мечут, — сказал Иван Гора.

— Ну, чего же ты узнал?

— Всё то же. Тревога, — все понимают, и ничего нельзя сделать, железный приказ главкому: наступать на Тихорецкую. Что ты скажешь на это?

— Рассуждать не мое дело, Иван Степанович, мое дело — выполнить приказ.

— Я тебя спрашиваю, что ты сам-то про себя думаешь?

— Что я думаю?.. А ты не собираешься ли меня расстрелять?

— Тьфу ты, чудак... Все вот так вот отвечают... Трусы вы все...

Иван Гора, сдвинув картуз, поскреб голову, потом у него зачесался бок; с берега под ногами оторвался кусок земли и с мягким всплеском упал в мутные водовороты. Лягушки орали со сладострастной яростью, будто собирались населить всю землю своим скользким племенем...

— Значит, ты считаешь правильной директиву главкому?

— Нет, не считаю, — тихо и твердо ответил Иван Ильич.

— Ага! Нет! Хорошо... Почему же?

— Мы и здесь уже почти оторвались от резервов, от баз снабжения; противник перережет где-нибудь нашу ниточку на Царицын, — тогда снимай сапоги. Не солидно это все.

— Ну, ну?..

— Наступать нам еще дальше на юг, на Тихорецкую, — значит, лезть, как

коту головой в голенище. Ничего хорошего из этого не получится. Я еще мог бы понять, если наша армия послана для демонстрации, чтобы любой ценой оттянуть силы белых с Донбасса...

— Так, так, так...

— Но это слишком уж дорогое удовольствие — ради демонстрации угробить армию...

— Вывод какой твой?

Иван Ильич надул щеки, бросил погасшую собачью ножку в воду:

— Вот, вывода-то я не делал, Иван Степанович...

— Врешь, брат, врешь... Ну уж — молчи. Без тебя все понятно... Ты мне как-то, Иван, рассказывал про твоего комиссара Гымзу, — помнишь, как он тебя послал к главкому с секретным донесением на предателя Сорокина... Так вот... (Иван Гора оглянулся и понизил голос.) Я бы, кажется, сам сейчас поехал и не в Серпухов к главкому, а в Москву, прямо туда... Где-то сидит сволочь, — в Главном командовании, что ли... Да иначе и быть не может: война... Уж очень мы доверчивы... Если у нашего брата, у какого, мысли — высоко, сердце — широко, — ему и кажется, что, кроме буржуев, весь мир хорош: руби честно направо и налево... Я присматривался в Питере к Владимиру Ильичу, — у него такой глазок русский, прищуренный... Энтузиаст, мыслитель, — руки заложит за пиджак, ходит, лоб уставит и вдруг — глазком на человека: все поймет... Вот как надо... Я за тобой, за каждым движением, за каждым словом твоим слежу... А ты за мной не следишь, ты мне слепо доверяешь... Я тебе дам вредное задание, — ты промолчишь и выполнишь...

— Нет, не выполняю...

— Ты же только-что сказал: рассуждать не твое дело... Ну, а что ты сделаешь?

— Постараюсь разубедить, уговорить...

— Уговорить! Интеллигент... Стрелять надо!.. Ах, боже мой...

Иван Гора положил большие руки на картуз, на голову, уперся локтями в ко-

ленки. Он не рассказал Телегину про главное, про то, что вчера в дивизии на партийном собрании была прочитана телеграмма из Москвы председателя Высшего военного совета Республики, — ответ на тревожный запрос командарма Десятой, — телеграмма высокомерная и угрожающая, в которой категорично подтверждались ранее данные директивы...

— А вот тебе и последние сведения: на правом фланге у нас сосредоточиваются четыре дивизии генерала Покровского, переброшенные с Донбасса, в лоб движется корпус генерала Кутепова, он уже отрезал нам дорогу на Тихорецкую, — разгадал план главкома... На левом фланге накапливается конница генерала Улагая... А позади на четырехстах верст — пустота...

— Вот это все и решает, — сказал Иван Ильич. — Если хочешь мое мнение: немедленно эвакуировать всех больных, все лишнее отправить в тыл и быть налегке. Маныча нам не удержат...

Иван Гора ничего не ответил. Помолчав, с ожесточением плюнул в реку:

— За такие разговоры следовало и меня и тебя — в Ревтрибунал... Сказано будет тебе: умереть на Маныче — и умрешь...

— От этого я не отказывался никогда, кажется, и не отказываюсь.

5

Второго мая за рекой показались разъезды кутеповцев. Сначала это были небольшие, сторожившиеся кучки всадников. Они сновали по степи, то приостанавливаясь, то во всю прыть под выстрелами мчались по сверкающим лужам. Их приближалось все больше, они смелее приближались к фронту, спешивались и, кладя коней, обстреливали передовые заставы.

Третьего мая в грохоте орудийной стрельбы подошли главные силы Кутепова. Сосредоточиваясь в районе железной дороги, они уверенно, последовательными волнами атаковали берега Маныча. Налетали бипланы-разведчики, не похожие ни на русские, ни на не-

мецкие. Раскидывая воду и грязь, шли грузовики с понтонами. В тот же день ударная часть кутеповцев прорвалась через реку в расположение морозовской дивизии, но была истреблена в штыковом бою.

К ночи цепи отхлынули и залегли. Нигде не зажигали костров. Стихла перестрелка, и ночь взошла над степью такая же тихая, влажная, пахнущая цветами. Заквакали, будто ничего особенного не случилось, наглые лягушачьи хоры. Некоторым людям, спавшим ухом к земле, чудился мягкий шорох травы, раздвигающей могильную тьму нежными и сильными ростками.

В штабной землянке у Ивана Ильича всю ночь шло совещание. Нетерпеливо ждали приказа из дивизии о наступлении, — для всех было очевидно, что такому врагу нельзя давать ни часу времени безнаказанно маневрировать и наносить удары там, где он хочет, по жидкому фронту Десятой армии, растянутой чуть ли не на полсотни верст, открытой и с флангов, и с тыла. Командиры доносили о настроении своих частей: красноармейцы возбуждены, не спят, шепчутся по окопам, — будь это восемнадцатый год, весь полк сбегался бы на митинг, грозя разорвать командира, если тут же не будет приказа — вперед! Бывают такие особенные минуты отчаянности и злобы, когда все, кажется, возможно сместь на пути своем.

В землянку вошел ротный командир Мошкин. — Он только-что перебрался по шею в воде через Маныч с того берега, где находился один взвод из его роты. Был он из царьцынских металлистов, военное дело любил со страстью охотника.

— Симпатично у вас пахнет, товарищи, — сказал он, жмурясь от табачного дыма, в котором едва мерцала свеча. Прыгая то на одной, то на другой ноге, стащил сапоги, вылил из них воду. — Мои ребята кадета подранили, хотел его привести, жалко — кончился... Парнишечка — сопляк, но злой до чего, — «хамы, хамы!» — Ребята диву дались... Снаряжен, — сукнецо, ботиночки, ремешки... Что казаки! Казак—

дурак, мужик, свой брат, — ты его тюк, он тебя тюк, и отскочил... А эти — такие белоручки беспощадные, ай-ай!.. Во взводе — одни офицеры, взводный — полковник. У каждого на руке — часы... Я уж моим ребятам сказал: вы, бродяги, про часы забудьте, к белым постам за часами не ползать, зубы ра-зобью...

Мошкин засмеялся, открывая хорошие зубы, — добротой осветилось некрасивое, рябоватое, умное лицо его.

— Положение такое, товарищи: в степи — шум, давно мы его слышим, как смерлось. Послал разведчика, Степку Щавелева, с одним австрийским штыком, — дух святой, а не человек... Уполз, приполз... Артиллерия, говорит, у них подошла и, вроде как, на телегах пехота... Готовьтесь, товарищи...

Иван Ильич, одурев от дыма, на минутку вышел из землянки на воздух. Среди поблекших звезд стоял острый, пронзительно светлый серп месяца. На изгороди, из трех жердей, на верхней, сидели три женские фигуры. Иван Ильич подошел:

— Сказано — всем ночевать только в окопах, — я не понимаю!

— Нам не спится, — сказала Даша, сверху, с жерди, наклоняясь к нему.

И Даша, и Анисья, и Агриппина казались большеглавыми, худенькими, необыкновенными... И он не мог разоб-раться — улыбаются они ему или как-то особенно морщатся.

— Мы здесь подождем, когда у вас кончится, — сказала Агриппина.

— А я с ними, товарищ командир полка, разрешите остаться, — сказала Анисья.

— Слезьте на землю, ну что, как куры, уселись... Пули же летают, — слышите?..

— Внизу навоз и блохи, а здесь поддувает хорошо, — сказала Даша.

— Это не пули, это — комары, вы нас не обманывайте, — сказала Агриппина.

Даша, — опять наклоняясь:

— Лягушки с ума сошли, мы сидим и слушаем...

Иван Ильич обернулся к реке, только сейчас обратив внимание на эти вздо-

хи, ритмические стоны томления и ожидания, и вот он, — победитель, большеротый солист, в три вершка ростом, с выпученными зелеными глазами, — начинает песню и распевается, уверенный, что сами звезды слушают его похвалу жизни...

— Здорово, браво, — сказал Иван Ильич и засмеялся. — Ну уж ладно, сидите, только, если что начнется, — немедленно в укрытие... Он за плечо притянул к себе Дашу и шепнул на ухо: — Чорт знает, как хорошо.. Правда?.. Ты очень хороша...

Он махнул рукой и пошел к землянке. Когда они опять остались одни, Анисья сказала тихо:

— Век бы так сидеть...

Агриппина:

— Счастье-то кровью добывается... Оттого оно и дорого...

Даша:

— Девушки мой, чего я только в жизни ни видела, и все летело мимо, летело, не задевая... Все ждала небывалого, особенного... Глупое сердце себя мучило и других мучило... Лучше любить хоть одну ночь, да вот так... Все понять, всем наполниться, в одну ночь прожить миллион лет...

Она склонилась головой к плечу Анисьи. Агриппина подумала и тоже прислонилась с другой стороны к Анисье. И так они долго еще сидели на жерди, спиной к звездам.

6

Кутеповскую артиллерию корректировали самолеты — новенькие английские бипланы, — покрусась над разрывами, сбросив красным парочку бомб, они, как ястребы, планировали в степь, к горизонту, к батареям, начавшим на рас-свете сильный обстрел Маныча.

Для остротки противника из дивизии прилетела единственная, поднимающаяся на воздух, машина — старый тихоходный ньюпор, отбывший службу в империалистической войне и кустарно отремонтированный в Царицыне. На него страшно было глядеть, когда он, противно всем естественным законам аэродинамики, деревянный, из желтых па-

лочек, с заплатанными крыльями, треща, хлюпая и — вот-вот — замирая, пронеслся над головами. Зато летал на нем известный всему Южному фронту и прекрасно известный белым летчикам Валька Чердаков — маленький, как обезьяна, весь перебитый, хромой, кривоногий, склеенный. Его спрашивали: «Валька, правда, говорят, в шестнадцатом году ты сбил немецкого аса, на другой день слетал в Германию и сбросил ему на могилу розы?» Он отвечал писклявым голосом: «Ну, а что?» Известный прием его был: когда израсходована пулеметная лента, — кинуться сверху на противника и ударить его шасси. «Валька, да как же ты сам-то не разбиваешься?» — «Ну, а что, и уграбляюсь, ничего особенного...»

Когда увидели его машину, летевшую низко над степью, все повеселели, хотя веселого было мало. Бризантные снаряды рвались по обоим берегам Маныча, прижимая красноармейцев в окопы. Против одной нашей грохало без раздыху с их стороны, по крайней мере, шесть батарей. Цепи противника быстрыми перебежками, азартно и неудержимо приближались.

Валька Чердаков подлетел, покачал крыльями, приземлился неподалеку, вылез из самолета и, прихрамывая, ходил около него. К нему подбежали красноармейцы. Все лицо его было залито машинным маслом.

— Чего, ну, чего не видали? — сердито сказал он, вытаскивая из фюзеляжа чемоданчик с инструментами и запасными частями. — Отгоняйте от меня самолеты противника, — я буду работать.

Действительно, белые его заметили, и три англичанина начали кружиться над этим местом, — довольно высоко, так как красноармейцы стреляли по ним. Бомба за бомбой падали и взметали землю. Валька, не обращая внимания, чинил маслопровод. Одна бомба разорвалась так близко, что самолет его покачнуло и по крыльям забарабанили комья земли. Тогда он поглядел на небо и погрозил пальцем. Закончив ремонт, крикнул красноармейцам:

— Давай сюда, берись, крути пропеллер. — Влез в машину, уселся. — Товарищи, как вы крутите, это же не бабий хвост, а ну, не бойся вспотеть!

Мотор зачихал, запукал оглушительно, заревел, красноармейцы отскочили, машина, покачиваясь, подпрыгивая, покатила в степь так далеко, — казалось, сроду ей не оторваться, — и поднялась. Валька набрал высоту и начал делать мертвые петли, чтобы хорошенько взболтать в баке дрянную смесь бензина со спиртом. Описав широкую петлю, с разгона пустился на противника. Но три биплана быстро стали уходить, не принимая боя.

Полетав над фронтом, сколько он нашел нужным, Валька Чердаков опять приземлился и послал Телегину записку:

«Видел восемь новых легковых машин, — на фронте — Деникин с англичанами, это факт, примите во внимание. Два орудия противника подбиты. Обстрелял походную колонну. Лечу на базу за бензином...»

7

Деникин был на фронте. Прошло немало больше года с тех пор, как он, больной бронхитом, закутанный в тигровое одеяло, трясясь в телеге в обозе семи тысяч добровольцев, под командой Корнилова пробивавших себе кровавый путь на Екатеринодар. Теперь генерал Деникин был полновластным диктатором всего Нижнего Дона, всей богатейшей Кубани, Терека и Северного Кавказа, — сюда следовало включить и Крым (из-за слабости местного правительства, а главным образом, вследствие бунта на французских военных судах туда вторглись большевики), а также Грозный и — в ближайшем времени — царство черного золота — Азербайджан.

Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт к генералу Кутепову военных агентов — англичанина и француза, чтоб им стало очень неприятно и стыдно за Одессу, Херсон и Николаев, позорно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная армия выбила

оттуда французов и греков! — мужики, партизаны, на виду у французских эскадренных миноносцев, изрубили шашками в Николаеве целую греческую бригаду. В панике, что ли, перед русскими мужиками отступили победители в мировой войне — французы, трусливо отдав Херсон, и эвакуировали две дивизии из Одессы... Чуть и дичь! — испугались московской коммунии. Антон Иванович решил наглядно продемонстрировать прославленным европейцам, как, увенчанная эмблемой лавра и меча, его армия бьет коммунистов.

У него затаилась еще одна досада: на решение Совета Десяти в Париже — на Клемансо, Ллойд-Джорджа и на этого мирового великопостника и ханжу президента Вильсона — о назначении адмирала Колчака верховным правителем всея России. С таким же успехом можно было поставить на это место адмирала Понтон Фонтон Девриона — известного петербургского шаркуна и ловеласа.... Дался им Колчак! В семнадцатом году он сорвал с себя золотую саблю и швырнул ее с адмиральского мостика в Черное море. Об этом сообщили газеты чуть не во всем мире. В это время генерал Деникин был посажен в Быховскую тюрьму, — газеты об этом молчали. В восемнадцатом Колчак бежит в Северную Америку и у них, в военном флоте инструктирует минное дело, — в газетах печатают его портреты рядом с кинозвездами... Генерал Деникин бежит из Быховской тюрьмы, участвует в Ледяном походе, у тела погибшего Корнилова принимает тяжелый крест командования и завоевывает территорию большую, чем Франция... Где-то в парижской револьверной газеточке помещают три строчки об этом и какую-то фантастическую фотографию с бакенбардами, — «женераль Деникин»!.. И правителем России назначается мировой рекламист, истерик с манией величия и пристрастием к кокаину — Колчак!

Антон Иванович не верил в успех его оружия. В декабре колчаковский скороиспеченный генерал Пепеляев взял было Пермь, и вся заграничная пресса завопила: «Занесен железный кулак над

большевистской Москвой». Даже Антон Иванович на одну минуту поверил этому и болезненно пережил успех Пепеляева. Но туда, на Каму, послали из Москвы (как сообщала контрразведка) политкаторжанина, никогда даже не бывшего военным, — того, кто осенью два раза разбил Краснова под Царицыном, — он крутыми мерами, быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из Перми за Урал. Этим же, несомненно, должно было кончиться и теперешнее наступление Колчака на Волгу, — ведется оно без солидной подготовки, на фуфу, с невероятной международной шумихой и под восторженный рев пьяного сибирского купечества...

— Тактика у нас несколько иная, чем вы, и мы, и немцы применяли в мировую войну, цепи — более редкие и со значительно большими интервалами, каждый взвод выполняет самостоятельное задание, — говорил Деникин, стоя в новеньком, открытом, щегольском фиате и рукой, в белой замшевой перчатке, указывая на четкое, как на параде, развертывание стрелковой бригады генерал-майора Теплова.

Рядом с главнокомандующим в машине стоял француз, в небесно-голубом, тончайшего сукна, френче и таких же галифе, на маленькой голове — глубоко и ловко надвинуто бархатное кепи с золотым галуном; из-под бинокля, в который он глядел, торчали шелковистые усики; на боку — алюминиевая фляжка с коньяком. С ума сойти, до чего комфортабельный француз! На подножке машины стоял, также глядя в бинокль, англичанин, — поглубе и одетый попроще, в хаки с огромными карманами, набитыми фотографическими катушками, табаком, трубками, зажигалками; фуражка его, — блином, — сдвинутая на нос, служила предметом обсуждения у русской свиты, стоявшей в почтительном отдалении. «Что там ни говори, — не умеют англичане носить форму, штафедроны! То ли дело кавалергардская фуражечка! А как носили фуражки царскосельские гусары ее величества, а? Идет такой барбос...!»

Около машины на калмыцком жеребчике сидел неприветливый Кутепов, — коренастый, полуседой, в расстегнутом бараньем полубубочке; ради парада он надел перчатки и нацепил шпоры; маленькие глаза его были воспалены; он пятый день долбил этот проклятый Маныч и прекрасно понимал, что происходящее сейчас на глазах у этих франтов развертывание бригады Теплова — балет, который дорого обойдется бригаде.

— Особенность этой войны — ее большая маневренность, — объяснял Деникин. — Отсюда все значение, которое у нас приобретает конница. Здесь у меня решающее преимущество: Терек, Кубань и Дон дадут мне сто-двести тысяч кадровых сабель...

— О ла-ла-ла-ла, — легкомысленно пропел француз, не отрываясь от бинокля.

— У красных конницы нет, и им не из чего ее создать, исключая бригады Буденного, наделавшей столько хлопот бедному экс-атаману Краснову...

— Двести тысяч седел и уздечек — их надо иметь, — сквозь зубы проговорил англичанин, тоже не отрываясь от бинокля.

— Да, в этом все и дело, — сухо ответил Деникин. Он сдержался, хотя ему очень хотелось сказать всю правду этим союзничкам, именно сейчас — среди своих войск, под грохот орудий (автомобили стояли всего в версте от батарей). Сказать, что они — лавочки, что вся их политика — близорукая, трусливая, копеечная, — на грош заменять пятаков... Доказано же им, как дважды два, что большевизм опаснее для них, чем двести пятьдесят германских дивизий. Так давайте же оружие, сколько мне нужно, господа, если боитесь посылать в Россию ваших солдат... Рассчитаемся после, в Москве. Англичанину важно только одно — на каком основании генерал Врангель занял Грозный со всеми нефтяными вышками?

— А нехватит у меня седел — охлюпкой посажу казака на коня, — не удержавшись все же, хотя и не слишком резко, но без излишнего добродушия сказал Деникин и повернулся к

переводчику: — Переведите им обоим, что значит — «охлюпкой».

Переводчик, предупредительный до отвращения, южного типа молодой человек, вдруг вместо ответа начал с ужасом тянуть в себя воздух. И сейчас же Кутепов крикнул, задирая лошади голову и шпора ее:

— Господа, немедленно — под машину!

За шумом боя не заметили, как подлетел прямо на автомобиле желтый неуклюжий самолет. Никто даже не успел выстрелить по нему, — он круто взмыл. Перегнувшись с него, — маленький, испачканный, вихрастый летчик швырнул две лимонки, — ручные гранаты, — одну прямо в капот великолепного фиата, другую около... Мелькнул оскаленными белыми зубами и ушел высоко.

Генерал Деникин, англичанин и француз успели все же кинуться под автомобиль, — особенно трудно было залезать под него Антону Ивановичу с его животиком и в толстой шинели. Отделались только испугом. Свита, как разбрызганная, кинулась в стороны, успел отскочить и генерал Кутепов.

8

Добровольцы напирали с невиданной злобой. Много их лежало на ровной степи, ткнувшись носом. Но все новые и новые цепи придвигались к Манычу. Под настильным огнем легких пулеметов они — то там, то там — поднимались, нагибаясь, перебежали, быстро оккупывались, прятались за каждый бугорок, в каждую воронку от снаряда. Передовые заставы качалинцев были уже оттянуты. Белье накапливалось на той стороне реки. Телегин приказал вынести из землянки полковое знамя и снять чехол с него.

Решительная минута наступала. Артиллерия перенесла огонь на качалинские резервы и там подняла сплошной вал черной земли. С того берега несся ливень свинца. Не ложась, набегали последние цепи добровольцев. Сразу пулеметный огонь прекратился, и сотни людей бросились в Маныч с таким

ожесточением, что закипела вода, — потрясая винтовками, шли по грудь, по шею, плыли, вскидывались, пораженные пулями, барахтались, тонули, — по телам их лезли новые и новые... Широю река была здесь всего сажень в тридцать... Никаким пулеметным огнем нельзя уже было остановить бешеные волны людей, орущих без памяти... Но напрасно генерал-майор Теплов, стоя на том берегу в камышах, махая шашкой и крича: «Вперед, вперед!», — рассчитывал, что столь устрашающий порыв атаки заставит красных в панике отхлынуть и побежать.

Качалинцы весь день ждали этой минуты, и те, у кого тоской закатывалось сердце, пережили томность, заостенели в злом напряжении. Когда атака началась, командиры и коммунары, вцепившись в рубаху ли, в штаны ли, удерживали красноармейцев: «Стреляй, стреляй...» Чудовищная ругань катилась по окопам. Немало здесь было таких, кто парнишкой или уже в возрасте, зимою на льду, на мосту или посреди улицы, — туго подтянув кушак, надев кожаные рукавицы, — ломил стена на стену, конец на конец. В крови была старая, лихацкая охота кулачных боев. «Ах, гады, ах, гады...!» И злоба дебѣлила сердце... «Пусти, так твою так!!!» С диким вскриком, уставя штык, первым кинулся из окопа Латугин... За ним с пологого берега навстречу атакующим хлынули красноармейцы: «Ура, ура, ура...!» И в ответ гады: «Ура, ура, ура!» Штыковой удар качалинцев был неудержимый, бешеный. Опрокинули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались уже на середине реки, колотя прикладами, швыряя гранаты, схватываясь врукопашную... Где же было офицерам, хоть и боевым да нежным телом, господским сынкам, выдержать против насаdistых, высигивающих из воды, кидających на плечи деревенских парней, донбассовских шахтеров, волжских портовых грузчиков, лесокатчиков... Над взволнованным Манычем, покрасневшим от крови, стояли вопли, лязг оружия, грохот рвущихся гранат. Белых ломили, теснили, и они уже стали вылезать на

тот берег. Генерал-майор Теплов бросил новые подкрепления. Тогда комиссар Иван Гора взял у знаменосца полковое знамя, — вишневого шелка с золотой звездой, пробитое пулями в прежних боях, — высско поднял его и, окруженный коммунарами, побежал на тяжелых ногах к Манычу.

Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пойме обнажились заросли камыша, Телегин еще до начала атаки расположил резерв под командой Сапожкова. Когда Иван Гора взял знамя, Телегин оставил командный пункт, вскочил на лошадь и поскакал на пойму. Он заехал в камыши и закричал красноармейцам, которые полдня лежали в грязи, как кабаны:

— Товарищи, противник бежит, не давай ему опомниться!

Полтора ста бойцов, таща на руках тяжелые пулеметы, оставляя сапоги в вязком иле, — где ползком, где вплавь, — переправились под прикрытием камыша на ту сторону, вышли во фланг кутеповцам и ударили по ним пулеметным и ружейным огнем. Тогда исход боя был решен. Белые отхлынули от Маныча и под перекрестным огнем беспорядочно начали отступать и побежали. Далеко с правого их фланга, растянувшись по степи жидкой лавой и загигая наперерез им, мчались конники подоспевшего в помощь качалинцам эскадрона с соседнего участка.

Остатки бригады Теплова выходили из окружения. Только отдельные отставшие кучки белых падали под штыками красноармейцев. Дальнейшее преследование становилось опасным. Телегин приказал Сапожкову — выровнять фронт и окапываться, и поскакал туда, где в полуверсте ползло по степи полковое знамя. Он давно следил за ним — как оно переправлялось через реку, двинулось вперед, остановилось и вдруг поникло, и опять поднялось, и, колыхаясь, двинулось вперед...

Мглистые тучи закрыли закатывающееся солнце, степь быстро темнела. Блеснули на горизонте кутеповские пушки, ширкнули снаряды, уносясь чорт знает куда, и все затихло, — ночь прикрыла поле кровавого боя.

Покуда можно было еще видеть, Телегин ходил, разыскивая комиссара Ивана Гору. Встречные красноармейцы говорили про него разное. Все видели, как он со знаменем перешел Маныч. Но знамя потом нес уже комрот Мошкин. Но и Мошкина ранило. Подконец знамя оказалось в руках у одного здорового парняги. К Ивану Ильичу подошли Латугин и Гагин. Они остались единственными в живых из орудийной прислуги, когда снарядами вконец разбило их орудие номер первый, отслужившее свою верную службу.

Латугин сказал, с трудом разжимая зубы:

— Иван Ильич, вот страховище-то было, вспомнить жутко.

— К ребятам и сейчас опасно подойти к иному, — так же тихо сказал обычно молчаливый Гагин.— Дышат— во как — ребрами, то и гляди, штыком пхнут...

— Иван Ильич, вы Ивана Степановича, что ли, ищите?

— Да, да, ты его видел?

— Пойдемте.

Они пошли к реке, обходя трупы. Из темноты кое-где слышались стоны, бормотанье. Перекликались санитары, отыскав раненого. Иван Ильич различил захлебывающийся шопот Кузьмы Кузьмича. Идущий впереди Латугин вдруг остановился и присел.

Иван Гора лежал ничком, большой и длинный, — как сразила его пуля в сердце, так и упал он, раскинув руки, будто обхватывая всю землю, не желая и мертвый отдать ее врагу.

9

Старые качалинцы, из тех, кто знал Ивана Гору еще красноармейцем, а потом ротным командиром, собрались ночью в поле и рассудили похоронить комиссара на видном и памятном месте, на высоком кургане на берегу Маныча.

Курганов было здесь разбросано достаточно, а этот один возвышался, как холм. Может быть, в древние времена его насыпали для ханской юрты, чтобы с высоты далеко были видны бесчисленные табуны на степи. Может быть,

в еще более древние времена под ним скифы погребли своего вождя вместе с конем и любимой женой и на вершине уложили рядами срезанные лозины, и утвердили — острием к небу — огромный бронзовый меч, который они почитали как божество плодородия и счастья.

Комиссара Ивана Гору на поднятых руках перенесли через реку, положили наверху кургана на весеннюю траву, причесали ему волосы и покрыли его вытянутое тело полковым знаменем.

Ночь была тиха и ясна от лунного света. В ногах комиссара стал с обнаженной шашкой Иван Ильич, в головках — комиссар первой роты Бабушкин — петроградский коммунар. Красноармейцы проходили по очереди мимо, — каждый брал винтовку на-караул:

— Прощай, товарищ...

Когда простились все и надо было братья, чтобы опустить комиссара в могилу, на курган опять взбежал Латугин:

— Сегодня, — крикнул он, — сегодня смертельные враги убили нашего лучшего товарища... Он нас учил, — для чего мне дадена эта винтовка... Воевать правду! Вот для чего она у меня в руке... И сам он был правдивый человек, коренной наш человек... Нас учил — уж если мамка тебя родила, запищал ты на свете на этом, — другого дела для тебя нет: воюй правду... Я прошу командира полка и комиссара Бабушкина принять от меня заявление в партию... Говорю это по совести, над этим телом, над знаменем...

Комиссара похоронили. Иван Ильич пошел — здесь же неподалеку — в штабную землянку вместе с Бабушкиным, временно заступившим место Ивана Горы. С ним был длинный разговор. Телегин настаивал, чтобы рапорт о сегодняшней победе был составлен в самых сдержанных выражениях, потому что — еще несколько таких побед — и Качалинского полка не станет.

Иван Ильич говорил и все потирал лоб и покашливал, будто у него застряло в горле.

— Уверяю тебя, если бы у нас в Военсовете был Сталин, как этой осенью,

мы бы на Маныче сейчас не стояли, он бы этого не допустил. Мы Кутепова бьем, у нас силы уменьшаются, у Кутепова увеличиваются. В наступление перейти не можем. Вот, в этом вся ошибка... Я понимаю твоё воодушевление, Бабушкин, но ты тоже пойми: если наш рапорт не прозвучит, как тревога, — мы, значит, преступники, мы замалчиваем главное, да, да...

Его позвала Даша. Иван Ильич вышел из землянки. Она сказала, хрустнув пальцами:

— Поди ты к ней, пожалуйста, уведи ты её.

Она повела Ивана Ильича к кургану. Ночь потемнела перед рассветом, месяц закатился, степной ветерок посвистывал около уха.

— Мы с Анисьей исстрадались, она ничего не слушает...

На кургане у засыпанной могилы Ивана Горы сидела Агриппина, угрюмо опустив голову, шапка и винтовка лежали около нее. Поодаль сидела Анисья.

— Она, как каменная, главное — оторвать её, увести, — прошептала Даша и подошла к Агриппине. — Видишь, командир полка тоже просит тебя вернуться вниз...

Агриппина не подняла головы. Что людские слова, что ветер над могилой равно для нее летели мимо. Анисья, продолжавшая сидеть поодаль, склонилась лицом в колени. Иван Ильич покашлял, сказал:

— Не годится так, Агриппина, скоро светать начнет, мы все уйдем на ту сторону, что же — одна останешься? Нехорошо будет перед товарищами.

Не поднимая головы, Агриппина проворчала глухо:

— Тогда его не покинула, теперь — подавно... Куда я пойду?

Даша опять прошептала, показывая себе на лоб:

— Понимаешь — помутилось у нее...

— Гапа, давай рассудим. — Иван Ильич присел около нее. — Гапа, ты не хочешь от него уходить... Так разве это только и осталось от Ивана Степановича — в этом в кургане? Он в памяти нашей будет жить, воодушевлять нас...

Пойми это, Гапа, ты — его жена... А в тебе еще — плоть его, живая зреет...

Агриппина подняла руки, сжала их перед лицом и опустила.

— Ты нам теперь вдвойне дорога... Дитя твоё усыновит полк, подумай — какую ты несешь обязанность. — Он погладил её по волосам. — Подними винтовку, пойдем...

Агриппина горестно покивала головой тому месту, у которого она сидела всю ночь. Встала, подняла винтовку и шапку и пошла с кургана.

10

Кровавые бои на Маныче продолжались до середины мая и затихли. Генерал Деникин, раздосадованный бесплодными усилиями Кутепова прорвать фронт Десятой армии и чрезвычайно большими потерями, вызвал его в Екатеринодар. У себя в кабинете, в присутствии высокомерного, презрительного Романовского, — несправедливо, с бросанием толстого карандаша на лежащие перед ним бумаги, — Антон Иванович говорил в повышенном тоне:

— В конце-концов мы воюем или мы устраиваем цирковые представления для господ союзников? Мы не глдиаторы, ваше превосходительство! К чему все это лихачество? Скандал! Совершенно некультурная операция, партизанщина какая-то!

Кутепов хорошо знал Деникина и понимал, почему он так кипит. Он молчал, угрюмо — вкось — глядя на маленький букетик цветов рядом с чернильницей.

— Вот, прочтите, порадитесь, — Деникин взял верхний листочек из пачки бумаг. — Фронт красной Девятой армии прорван, с ничтожными потерями для нас, прорван блестяще... Мы вступили в район казачьего восстания. Очевидно, на-днях займем станицу Вешенскую... Но операции на Донце могли бы уже вылиться в широкое наступление — не свяжи мы здесь, на Маныче, столько наших сил. Мне стыдно, господа, за нашу стратегию... Весь мир смотрит на нас... Там они очень впечат-

лительны, будьте уверены... Пожалуйте сюда...

Он отыскал среди бумаг свое пенсне и подошел вместе с Кутеповым и Романовским к дубовому столу, где лежали военные карты.

План заключался в том, чтобы генералам Покровскому и Улагаю, закончившим сосредоточие крупных конных масс на флангах Десятой, прорваться в тылы, разбить полевую конницу большевиков, захватить станцию Великокняжескую и в четыре-пять дней закончить полное окружение красных на Маныче.

— К сожалению или к счастью, — я уже не знаю, господа, — но вопрос престижа Доброармии ложится в основу нашей стратегии. Вопрос престижа может даже повести нас к опасным, но широко впечатляющим операциям... Он заставляет нас нервничать, когда, казалось бы, разумнее обождать и укрепиться... Но, господа...

Деникин вынул из бокового кармана тужурки чистый полотняный платок, пахнувший одеколоном, и стал протирать пенсне, — короткие пальцы его с блестящей сухой кожей слегка дрожали.

— Доброармия решает вопросы мировой политики. На западе — после провала Одессы, Херсона и Николаева — это начинают понимать... Правда, это пока отдельные голоса, но от нас самих зависит, чтобы они слились в единый хор... Мы должны действовать молниеносными и сокрушающими ударами, — аплодисменты в этой войне превращаются в транспорты с оружием... Я всегда предостерегал против авантюры, я не люблю азартных игр. Но я не люблю и проигрывать... Если наши успехи в Донбассе не приобретут размаха общего наступления в глубь страны и не закончатся Москвой, — буду считать это за проигрыш...

Красавец Романовский со всезнающей надменной улыбкой постукивал папироской о серебряный портсигар. Косясь на него из-под наморщенного низенького лба, генерал Кутепов понял, откуда у Антона Ивановича вдруг такой размах мыслей. Здорово, значит, ему здесь накручивают хвост. Но Куте-

пов был не штабной, а полевой генерал: вопросы высшей стратегии казались ему слишком туманными и утомительными, его дело было на месте рвать горло врагу.

— Сделаем все, что можем, ваше высокопревосходительство, — сказал он, — прикажете взять Москву этой осенью — возьмем...

11

Третьи сутки, без глотка воды, без куска хлеба, качалинцы пробивались к железной дороге. Приказ об отступлении был дан двадцать первого мая. Десятая армия отхлынула от Маныча на север, на Царицын, с огромными усилиями и жертвами разрывая окружение. Дул сухой ветер, пристилая к земле полынь, — серой была степь, мутна даль, где волчьими стаями собирались кавалеристы Улагаю.

Обозные лошади падали. Раненых и больных товарищей перетаскивали в телеги, на которых и без того некуда было приткнуться. За телегами, спотыкаясь, шли легко раненные и сестры. От жажды распухали и лопались губы. Воспаленными глазами, щурясь против восточного ветра, искали на горизонте очертания железнодорожной водокачки. Из широких степных оврагов не тянуло даже сыростью, а еще недавно здесь переправлялись по пояс в студеной воде, — хотя бы каплей той влаги смочить черные рты!

В одном из таких оврагов наткнулись на засаду: когда телеги спустились туда по травяному косогору, — близко раздались выстрелы и, подняв коней чорт их знает из-за какого укрытия, на смешавшийся обоз налетели казаки, в расчете на легкую поживу. С полсотни снохачей-мародеров мчались по косограм, выставив бороды. Но они так же легко и отскочили, когда из-за каждой телеги начали стрелять по ним, — винтовки были у каждого раненого, даже Даша стреляла, зажмуриваясь изо всей силы.

Казаки повернули коней, только один покатился вместе с лошадьёю. К нему побежали, надеясь взять на нем флягу с водой. Человек оказался в серебряных

погонах. Его вытащили из-под убитой лошади. «Сдаюсь, сдаюсь... — повторял он испуганно, — дам сведения, ведите к командиру...»

С него сорвали флягу с водой да еще две фляги нашли в тороках. «Давай его сюда живого!» — кричал комрот Мошкин, сидевший с перебитой рукой и забинтованной головой в телеге. Пленный офицер вытянулся перед ним. Такой паскудной физиономии мало приходилось встречать, — дряблая, с расщепанным ртом, с мертвыми глазами. И пахло от него тяжело, едко.

— Вы кто — регулярные или партизаны?

— Иррегулярной вспомогательной части, так точно.

— Восстания в тылу у нас поднимаете?

— Согласно приказу генерала Улагая производим мобилизацию сверхсрочных...

Обоз опять тронулся, и офицер пошел рядом с телегой. Отвечал он с живейшей готовностью, предупредительно, четко. Знал — как покупать себе жизнь, видимо, был матерый контрразведчик. Кое-кто из красноармейцев, чтобы слушать его, зашагал около телеги. Люди начали переглядываться, когда он, отвечая на вопрос, рассказал об отступлении с Донца Девятой красной армии и о том, как в разрыв между Девятой и Восьмой врезался конный корпус генерала Секретева и пошел гулять рейдом по красным тылам.

— Врешь, врешь, этого не было, — неуверенно сказал комрот Мошкин, не глядя на него.

— Никак нет, это есть, — разрешили: при мне сводка верховного командования...

Анисья Назарова слезла с телеги и тоже пошла с кучкой красноармейцев около пленного. Мошкин читал треплющиеся по ветру листочки сводки. Все ждали, что он скажет. Анисья слабой рукой все отстраняла товарищей, чтобы подойти ближе к пленному, — ей говорили: «Ну, чего ты, чего не видала...» Ноги ее были налиты тяжестью, голова болела, глаза будто запорошило сухим песком. Не пробившись, она обо-

гнала товарищей, споткнувшись, схватилась за вожжи и остановила телегу. Никто сразу не понял, что она хочет делать. Вытянув шею, большими — во все потемневшее, истаявшее лицо — бледными глазами глядела на пленного:

— Я знаю этого человека! — сказала Анисья. — Товарищи, этот человек живыми сжег моих детей... Меня бил в смерть... В нашем селе двадцать девять человек заporол до смерти...

Офицер только усмехнулся, пожал плечом. Красноармейцы, сразу придвинувшись, глядели то на него, то на Анисью. Мошкин сказал:

— Хорошо, хорошо, мы разберемся, — поди, ляг на телегу, голубка, поди, приляг...

Анисья повторяла, будто в забытьи: — Товарищи, товарищи, его нельзя оставить живого, лучше вырвите мне сердце... Общайте его... Зовут его Немешаев, он меня помнит... Смотрите, узнал меня! — радостно крикнула она, указывая на него пальцем.

Десятки рук потянулись, разорвали на офицере пропотевший казачий бешмет, разорвали рубаху, вывернули карманы, — и — правильно — нашли воинский билет на имя ротмистра Николая Николаевича Немешаева...

— Ничего не знаю, не понимаю, — угрюмо повторял он, — женщина врет, бредит, у нее сыпняк...

Красноармейцы знали историю Анисьи и молча расступились, когда она, взяв у кого-то винтовку, подошла к Немешаеву, коснулась рукой его плеча, сказала:

— Пойдем.

Он дико оглянулся на серьезные лица красноармейцев, задохнувшись, хотел сказать что-то Мошкину, который отвернулся от него, продолжая читать листочки сводки; вцепился в обочье телеги, будто в этом было спасение. Но его отодрали, пхнули в спину:

— Иди, иди...

Тогда он изумленно пошел в степь, втягивая голову в плечи, ступая, как слепой. Анисья, идя — в десяти шагах — следом, подняла тяжелую винтовку, вжалась плечом в ложе:

— Обернись ко мне.

Немешаев живо обернулся, готовый к прыжку. Анисья выстрелила ему в лицо, и, больше не глядя, не оборачиваясь, вернулась к товарищам, глядевшим неподвижно и сурово, как совершается справедливая казнь.

— Чья винтовочка, возьмите, — сказала Анисья и пошла к задней телеге, влезла в нее, легла и потянула на себя попону.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Катя поправляла диктант в школьных тетрадках. Эти тетради, нарезанные и сшитые из разных сортов обоев (писали на них только с обратной стороны), были крупным достижением в ее бедной жизни. За ними она самостоятельно ездила в Киев. До народного комиссара дойти было легко. Наркомпрос, узнав, кто она и зачем приехала, взял ее за локти и посадил в кресло; из закопченного чайника, стоявшего на великолепном столе, налил морковного чая и предложил ей с половиной леденца; расхаживая в накинутом на плечи меховом пальто и в валенках по ковру, он развивал головокружительную программу народного просвещения.

— За десять-пятнадцать лет мы будем просвещенной страной. Сокровища мировой культуры мы сделаем достоянием народных масс, — говорил он с улыбкой, теребя бородку. — Предстоит гигантская работа по ликвидации неграмотности. Этот позор должен быть смыт, — это дело чести каждого интеллигентного человека... Все молодое поколение должно быть охвачено воспитанием от яслей и детских садов до университета... Никто и ничто не помешает нам, большевикам, осуществить на деле то, о чем могли только мечтать лучшие представители нашей интеллигенции...

Наркомпрос обещал Кате десять тысяч тетрадей, учебники, литературу, карандаши и грифельные доски. Она уходила от него по мраморной лестнице, как во сне. Но затем начались затруднения и неувязки. Чем ближе Катя при-

двигалась к тетрадкам и учебникам, тем дальше — в нереальность — отодвигались они, и тем двусмысленнее, ироничнее или угрюмее становились люди, от которых зависело выдать ей по ордеру тетради и учебники. В гостинице, в неоплаченном номере, где на кровати не было даже тюфяка и под потолком предсмертным накалом едва дышала электрическая лампочка, Катя предавалась отчаянию, сидя в шубе на егэзливом диванчике.

Однажды к ней в номер — без стука — вошел рослый человек в косматой шапке, в перепоясанной ремнем куртке, и — прямо к делу — спросил басовито:

— Вы все еще здесь? Я ваше дело знаю. Покажите, — какие у вас там справочки...

Стоя под красноватой лампочкой, он просматривал документы. Катя доверчиво глядела на его насмешливое, сильное, красивое лицо.

— Сволочи, — сказал он, — саботажники, подлецы... Завтра пораньше приходите ко мне в городской комитет, устроим, чего-нибудь придумаем... Ну, будьте здоровы.

Через этого человека Катя получила со складов обои, карандаши и целиком — реквизированную у одного эстета-сахарозаводчика — библиотеку, наполовину на французском языке. Самым утомительным, пожалуй, было: обратный путь с этими сокровищами в товарном вагоне, куда на каждой остановке врывались бородатые, страшноголовые мужики с мешками и взбудораженные бабы, раздутые, как коровы, от всякого съестного добра, припрятанного у них под кацавейками и под юбками.

Оказалось, что у Кати есть кое-какая силешка. Не такой уж она беспомощный котенок, — с нежной спинкой и хорошенькими глазками, — мурлыкающий на чужих постелях.

Силешка у нее нашлась в тот вечер неудачного оглашения ее алексеевой невестой. Катя заглянула в уготованное ей благополучие деревенской лавочницы и попятилась так же, как остановится и с отвращением содрогнется человек,

увидев на пути своем вырытую могилу. Могилой представились ей налитые водкой, жадные алексеевы глаза — хозяйина, мужа! В Кате все возмутилось, взбунтовалось, и было это для нее самой неожиданно и радостно, как ощущение сил после долгой болезни. Так же неожиданно она решила бежать в Москву, — когда станет теплее. У нее нашлась и хитрость, чтобы все это скрыть. Алексей и Матрена только замечали, что она повеселела, — работает и напевает.

Алексей постоянно теперь за обедом, за ужином (в другое время его дома и не видели) подмигивал: «Невестится наша...» Он тоже ходил веселый, — добился решения сельского схода, ломал флигель на княжеской усадьбе и возил лес и кирпичи к себе на участок.

В начале января, когда Красной армией был взят Киев, через село Владимирское прошла воинская часть, и Алексей на митинге первый кричал за советы. Но вскоре дела обернулись поинному.

В селе появился товарищ Яков. Он реквизировал хороший дом у попа, выселив того с попадьей в баньку. Созвал митинг и поставил вопрос так: «Религия — опиум для народа. Кто против закрытия церкви, тот — против советской власти...» — и тут же, никому не дав слова, проголосовал, и церковь опечатал. После этого начал отслаивать батраков, безлошадных бобылей и бобылок — а их было человек сорок на селе — ото всех остальных крестьян. Из этих сорока организовал комитет бедноты. Собирая их в поповском доме, говорил с напористой злобой:

— Русский мужик есть темный зверь. Прожил он тысячу лет в навозе, — ничего у него, кроме тупой злобы и жадности, за душой нет и быть не может. Мужик у нас не верим и никогда ему не поверим. Мы щадим его, покуда он наш попутчик, но скоро щадить перестанем. Вы — деревенский пролетариат — должны крепко взять власть, должны помочь нам подломать крылья у мужика.

Яков напугал все село, даже и членов комитета. На деревне известно каж-

дое сказанное слово, и пошел шопот по дворам:

«Зачем он так говорит? — какие же мы звери, кажется, русские, у себя на родине живем, — и вдруг нам верить нельзя... Да как это так — огулом всем крылья ломать? Ломай Алешке Красильникову, — он бандит... Ломай Кондратенкову, Ничипорову, — известные кровопийцы, правильно... А мне за мою соленую рубашку ломать крылья? Э, нет, тут чего-то не так, ошибка...» А другие говорили: «Батюшки, вот она какая советская-то власть!...»

Когда Яков выходил со двора по какому-нибудь своему недоброму делу, неумытый, давно небритый, в драной солдатской шинелишке и в картузе с оторванным козырьком, — но, между прочим, в добрых сапогах да, говорят, и под шинелишкой одетый хорошо, — изо всех окошек следили за ним — мужики качали головами в большом смущении, ждали: что будет дальше?

В марте, когда вот-вот только начали вывозить навоз в поле, Яков созвал общее собрание и, опять грозя обвинением в контрреволюции, потребовал поголовной переписи всех лошадей, реквизиции лошадиных излишков и немедленного создания в княжеской усадьбе коммунального хозяйства... Сорвал возку навоза и весеннюю пахоту, неумытый чорт!

Вскоре за этим в село приехал продотряд. Сразу стало известно, что Яков представил им такие списки хлебных излишков, что продотрядчики, говорят, руками развели. Яков сам с понятными пошел по дворам, отмечая мелом на воротах — сколько здесь брать зерна... «Да сроду я этих пудов-то и в глаза не видал!» — кричал мужик, пытаясь стереть рукавом написанное. Яков говорил продотрядчикам: «Ройте у него в подполье...» Мужику страшно было перед Яковым креститься, — со слезами драл полусубок на себе: «Да нет же там, ей-богу...» Яков приказывал: «Ломай у него печь, под печью спрятано...»

Его стараниями начисто подмели село, вывезли даже семенную пшеницу. Алексея Красильникова он вызвал

отдельно к себе в комитет, запер дверь, на стол около себя положил револьвер и с насмешкой оглядывал хмурого Алексея.

— Ну, как же мы будем разговаривать? Хлеб есть?

— Откуда у меня хлеб? Осень — не пахал, не сеял.

— А куда лошадей угнал?

— По хуторам рассовал, по знакомцам.

— Деньги где спрятаны?

— Какие деньги?

— Награбленные.

Алексей сидел, опустив голову, — только пальцы у него на правой руке разжимались и сжимались, отпускали и брали:

— Некрасиво будто получается, — сказал он, — ну, налог, понятно, — налог... А это что же: хватай за горло, скидай рубашку...

— В Чека придется отправить...

— Да я не отказываюсь, надо, так надо, деньги принесу.

Алексей дома прямо кинулся в подполье и начал выволакивать оттуда дорожные сумы, мешки и свертки с мануфактурой. В одной суме были у него николаевские и донские деньги, — эти он рассовал по карманам и за пазуху. Другую суму, набитую керенками, — дрянью, ничего не стоящей, — дал Матрене:

— Отнеси в комитет, скажешь — других у нас не было. Они не поверят, придут сюда половицы поднимать, так ты не противься. Часы и цепочки брось в колодезь. Мануфактуру положи в тачанку, припороши сеном, ночью возьми у деда Афанасия лошадь, отвезешь на Дементьев хутор, я там буду ждать.

— Алексей, ты куда собрался?

— Не знаю. Скоро не вернусь, — тогда по-другому обо мне услышите.

Матрена опустила на брови вязаный платок, концами его прикрыла суму с керенками и пошла в комитет. Алексей накинул крюк на дверь и повернулся к Кате, стоявшей у печи. Глаза у него были весело-злые, ноздри раздуты:

— Одевайтесь теплее, Екатерина Дмитриевна... Шубку меховую да чулочки

шерстяные. Да вниз — теплое... Да быстренько, времени у нас в обрез...

Он глядел на Катю, расширяя глаза, вокруг зрачков его точно вспыхивали искорки, жесткие русые усы вздрагивали над открытыми зубами. Катя ответила:

— Я с вами никуда не поеду...

— Это ваш ответ? Другого ответа нет?

— Я не поеду.

Алексей придвинулся, раздутые ноздри его побелели:

— Одну тебя не оставляю, не надейся... Не для этого сладко кормлена, сучка, чтобы тебя другой покрывал... Барынька, сахарная... Я еще до твоей кожи не добрался, востонешь, животная, как выверну руки, ноги...

Он взял Катю налитыми железными руками и захрипел, — она уперлась ему локтем в кadyк, — в два шага донес до кровати. Катя вся собралась, с силой, непонятно откуда взявшейся, вывертывалась: «Не хочу, не хочу, зверь, зверь...» Вскакивала, и он опять ее ломал. Алексею было тяжело и жарко в полушубке, набитом деньгами. Он вслепую стал бить Катю. Она прятала голову, повторяла с дикой ненавистью сквозь стиснутые зубы: «Убей, убей, зверь, зверь...»

Крючок на двери прыгал, Матрена кричала из сеней: «Отвори, Алексей!..» Он отступил от кровати, схватил себя за лицо. Она сильнее стучала, он отворил. Матрена, — войдя:

— Дурак, уходи скорее... Сюда собираются...

Минуту Алексей глядел на нее, — понял, лицо стало осмысленнее. Захватил в охапку свертки мануфактуры, мешки и вышел. На единственном, оставленном при хозяйстве коне он уехал со двора задом через перелазы в плетнях, рысцой спустился к речке и уже на той стороне поскакал и скрылся за перелеском.

Немного позже Матрена достала из сундука юбку и кофту и бросила их на кровать, где, вся ободранная, лежала Катя:

— Одейся, уйди куда-нибудь, стыдно глядеть на тебя.

Яков с понятными обыскал алексеев дом от подполья до чердака, но того, что было припрятано в тачанке, не нашли. Матрена ночью привела лошадь и уехала на хутор. Всю ночь Катя, не снимая шубы, сидела в темной, наступившей хате, ожидая рассвета. Нужно было очень спокойно все обдумать. Как только рассветет, — уйти. Куда? Положив локти на стол, она стискивала голову и начинала всхлипать. Шла к двери, где стояло ведро, и пила из ковшика. Конечно, — в Москву. Но кто там остался из старых знакомых? Всё, всё растеряно... Тут же у стола она уснула, а, когда сильно вздрогнула и проснулась, — было уже светло. Матрена еще не возвращалась. Катя поправила на голове платок, взглянула в зеркальце на стене, — ужасно! И пошла в комитет.

Она долго дожидалась на черном крыльце, когда в поповском доме проснутя. Наконец, вышел Яков с помойным ведром, выплеснул его на кучу грязного снега и сказал Кате:

— А я собрался посылать за вами... Пойдемте...

Он повел Катю в дом, в комнату, предложил Кате сесть и некоторое время рылся в ящике стола:

— Вашего мужа, или как он там вам приходится, мы расстреляем.

— Он мне не муж, никто, — быстро ответила Катя. — Я прошу только — дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу в Москву...

— Я хочу в Москву, — насмешливо повторил Яков. — А я хочу спасти вас от расстрела.

Катя просидела в этой комнате до вечера, — рассказала все про себя, про свои отношения с Алексеем. Время от времени Яков уходил надолго, — возвращаясь, разваливался, закуривал.

— По инструкции Наркомпроса, — сказал он, — в селе нужно восстановить школу. Не очень-то вы подходите, но на худой конец — попробуем... Вторая ваша обязанность — сообщать мне всё, что делается на селе. О подробностях этой корреспонденции условимся после. Предупреждаю: если начнете

болтать об этом, — будете наказаны жестоко. О Москве покуда советую забыть.

Так, неожиданно, Катя стала учительницей. Ей отвели маленькую пустую хатенку около школы. Бывший здесь старичок-учитель умер еще в ноябре от воспаления легких; петлюровцы, занимавшие одно время школу под воинскую часть, спалили на цыгарки все книжки и тетради, даже географическую карту. Катя не знала, с чего и начать, — и пошла за советом к Якову. Но его на селе уже не было. Внезапно, так же, как тогда появился, он уехал, получив какую-то телеграмму с нарочным, — успел сказать только деду Афанасию, который околачивался теперь около комитета бедноты, боясь утратить свое влияние:

— Передай товарищам, — поблажек мужичкам—ни-ни, никаких. Вернусь,— прсверю...

С отъездом Якова на селе стало тихо. Мужички, приходя к поповскому дому посидеть на крыльце, — говорили комитетчикам:

— Натворили вы делов, товарищи, как уж будете отвечать?.. Ай, ай...

Комитетчики и сами понимали, что — ай-ай и на селе тихо только снаружи. Яков не возвращался. Прошел слух про Алексея Красильникова, будто он собрал в уезде партизанский отряд и перекинулся к атаману Григорьеву. А скоро все село заговорило про этого Григорьева, который выпустил универсал и пошел громить советские города. Опять стали ждать перемен.

В сельсовете Кате обещали кое-чем помочь: поправить печи, вставить стекла. Катя сама вымыла в школе полы и окна, расставила покаленные парты. Она была добросовестная женщина и по вечерам, одна у себя в хатенке, плакала, потому что ей было стыдно обманывать детей. Чему она могла научить их — без книг, без тетрадей? Какие могла преподавать правила, когда всю себя считала неправильной... И вот, рано утром около школы раздались веселые голоса мальчиков и девочек. Ей пришлось собрать все самообладание. Волосы она гладко зачеса-

ла и завязала тугим узлом, руки чисто-чисто вымыла. Отворила школьную дверь, улыбнулась и сказала маленьким, задравшим к ней курносые носики, мальчикам и девочкам:

— Здравствуйте, дети...

— Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна... — закричали они так чисто, звонко, весело, что у нее вдруг стало молодо на сердце. Она рассадила детей по партам, взошла на кафедру, подняла указательный палец и сказала:

— Дети, пока у нас нет книжек и тетрадей и чем писать, я буду вам рассказывать, а вы, если чего не поймете, то переспрашивайте... Сегодня мы начнем с Рюрика, Синеуса и Трувора...

Хозяйство у Кати было совсем бедное. С алексеева двора она ничего не захотела брать, да и тяжело ей было встречаться с осунувшейся, мрачной Матреной. В катиной хатенке лежал венник у порога, на шестке — два глиняных горшка да в сенях старая деревянная бадейка с водой. Утехой был маленький садик, обнесенный плетнем, — две черешни, яблоня, крыжовник. За плетнем начиналось поле. Когда зацвели вишни, Катя почувствовала, что ей будет семнадцать лет.

В садике она обычно готовилась к урокам, читала французские романы из библиотеки сахарозаводчика и часто вспоминала Париж в голубой дымке прошлых лет. Тогда — в четырнадцатом году — она жила в предместье Парижа, в полумансардной квартирке с балконом, повисшим над тихой, узенькой улицей, над крышей небольшого дома, в котором некогда жил Бальзак. Окна его кабинета выходили не на улицу, а в сады, спускающиеся к Сене. В его время здесь была глушь. Когда со стороны улицы появлялись кредиторы, он потихоньку удирал от них через сады на Сену. Теперь сады принадлежали какой-то богатой американке, и там по вечерам, когда Катя выходила на балкон, кричали павлины резкими весенними голосами, и Кате, приехавшей в Париж после разрыва с мужем, — в тоске, в одиночестве, — казалось, что жизнь уже кончена.

Дети полюбили Катю, на уроках

очень внимательно слушали ее рассказы из русской истории, похожие на сказки. Конечно, задачи по арифметике, таблица умножения и диктанты были более трудным делом для детей и для самой Кати, но общими усилиями справлялись гораздо лучше; — все знали о том, как Алексей едва не убил ее. Женщины приносили кто молочка, кто яичек, кто хлеба. Что принесут, то Катя и ела.

Сидя под старой, покрытой лишаями яблоней, Катя правила тетрадки. За низеньким, тоже ветхим, плетнем давно уже хныкал маленький мальчик.

— Тетя Катя, я больше не буду.

— Нет, Иван Гавриков, я на тебя сердита, и я с тобой два дня не разговариваю.

Иван Гавриков — с голубыми, невинными глазами — был невероятный шалун. На уроках он тянул девочек за косицы, когда ему за это выговаривали, он будто бы засыпал и сваливался под парту — нельзя даже описать всех его шалостей.

— Нет, нет, Гавриков, я прекрасно вижу, что ты не раскаиваешься, а пришел сюда от нечего делать...

— Раз-ей-боженьки, больше не буду...

В хату с улицы кто-то вошел, и голос Матрены позвал Катю.

Что ей было нужно? Катя быстро простила Гаврикова и пошла в хату. Матрена встретила ее пристальным, недобрим взглядом:

— Слыхала? Алексей близко... Катерина, не хочу я этого больше, не ко двору ты нам... Все равно — убьет он тебя... Зверем он стал, что крови льет! Ты во всем виновата... Один человек вот только-что рассказывал — Алексей идет сюда на тачанках... Катерина, уезжай отсюда... Подводу тебе дам и денег дам...

2

Покуда Вадим Петрович лежал в харьковском госпитале (у него с трудом заживала перебитая голень), — времени для всяких размышлений было достаточно. Итак, он оказался по эту

сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлекателен: нетопленная палата, за окнами падающий мокрый снег, скверная еда — серый супчик с воблой—и будничные разговоры больных об еде, о махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о нескончаемой кровавой борьбе, участники которой — эти больные и раненые люди с обритыми головами, в байковых несвежих халатах — то спали целыми днями, то тут же, на койке, играли в самодельные шашки, то кто-нибудь вполголоса заводил тоскливую песню.

Вадима Петровича они не чурались, но и не считали его за своего. А ему впору было разговаривать с самим собой — столько накопилось у него непродуманного и нерешенного, и столько воспоминаний обрывались, как книга, где нехватает страницы в самом захватывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот новый мир, потому что это совершалось с его родиной. Теперь надо было все понять, все осмыслить.

Однажды главный врач принес ему московские газеты. Вадим Петрович прочел их совсем иными глазами — не так, как бывало, заранее злобно издаваясь... Русская революция перекидывалась в Венгрию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены дерзостью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная войной, раздаваемая междуусобицей, заранее поделенная между великими державами, берет руководство мировой политикой, становится грозной силой.

Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах, — они знали, какое дело сделано, они поработали... Их спокойствие — вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное — выдержало пять столетий, а уж, господи, чего только не было... Странная и особенная история русского народа, русского государства. Огромные и неоформленные идеи бродят в нем из столетия в столетие, идеи мирового величия и правдивой жизни. Осуществля-

ются небывалые и дерзкие начинания, которые смущают европейский мир, и Европа со страхом и негодованием вглядывается в это восточное чудовище, и слабое, и могучее, и нищее, и неизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые зарева всечеловеческих идей и замыслов...

И наконец, Россия, именно Россия, избирает новый, никем никогда не пробованный, путь, и с первых же шагов слышна ее громовая поступь по миру...

Понятно, что с такими мыслями Вадиму Петровичу было все равно — какие там грязные ручки за окнами гонят по улице мартовский снег и бредет угрюмый и недовольный советский служащий, с мешком для продуктов и жестяной для керосина за спиной, в раскисших башмаках — заседать в одной из бесчисленных коллегий; было все равно — какой глотать суп, с какими рыбьими глазками. Ему не терпелось — поскорее самому начать подсоблять во круг этого дела.

Украина очищалась от петлюровцев. Недавно был взят Красной армией Екатеринослав. Петлюра еще цеплялся за Белую Церковь, но и оттуда его, наконец, выбили, и он с остатками куреней ушел за границу, в Галицию. Впереди наступающих войск Красной армии катился широкий вал партизанских востаний. Их размах трудно поддавался учету и руководству. Они вспыхивали, как пожары, по селам и волостям, раздираемым жестокой борьбой малоземельного крестьянства с крепким кулачеством. И те, и другие выставляли отряды, шибавшиеся со всей яростью — конные и пешие — в кровавых битвах. Повсюду шныряли, маскируясь и провоцируя, тайные агенты — петлюровские, денкинские и польские, и еще более темных и скрытых организаций. Советская власть была по городам да по магистральям железных дорог, а за ними в стороны—на полет снаряда с бронепоезда — бушевала война.

Вадим Петрович получил, наконец, долго ожидаемое назначение — в штаб курсантской бригады, где комиссаром был Чугай, в середине марта выписался из госпиталя — еще прихрамываю-

ший, с палочкой — и поехал в Киев, в свою часть.

3

Банда атамана Зеленого, отколовшегося от Григорьева, громя сельсоветы и охотясь за коммунистами, подсакивала на сотнях тачанок к самому Киеву. По следам Зеленого на дорогах находили людей с содранной кожей, иных — посаженными на расщепленный пенек, комитетчиков он жег живыми в амбарах, евреев прибывал гвоздями к воротам, взрезывал животы, зашивал туда кошек. План ликвидации этой банды был разработан с участием Рощина в штабе наркомвоенна. Сил было не много. Наркомвоен Украины выехал из Киева на пароходе, чтобы руководить операцией на месте.

Днепр был еще широк. Пароход шлепал колесами по ясной воде, возмущаемой лишь ленивыми водоворотами. Ни плеск колес, ни голоса курсантов не могли заглушить соловьиного пения по берегам, опущенным пахучей и клейкой зеленью, — в сережках, в пуху, в цыплячьей желтизне. На палубе было горячо от солнца, поднявшегося над разливом. Вадим Петрович стоял у борта и глядел на сверкающую воду.

Много было прожито весен, но никогда с такой силой не бродило в нем вино жизни... Да еще в самое неподходящее и непоказанное время... Туманилась голова неясными предчувствиями... Лучше и не лезь в карман за папирской, не хмурь брови, серьезный деловой человек, — не отряхнешься от налетающих очарований... Вон она, весенняя мгла, поднимается над разливом, над островками, над полузатопленными хатами, пронизанная повисшим в ней огромным солнцем. Свет его мягко ложится на воду, на деревья с бледными и зыбкими отражениями, на спины коров, по колено зашедших в воду, на травянистый бугор, куда взобрался бык, озираясь на невиданное, неиспытанное чудо весны.

Странно, очень странно, — Рощин все это время, начиная с Екатеринослава, мало вспоминал о Кате. Как будто

она отошла вместе с его прошлым, — слишком неразрывно была связана с жизнью, страстно им самим осужденной... Возвращаясь мыслью к Кате, — он возвращался к тому самому Рощину, увиденному им когда-то в парикмахерском зеркале: тогда у него нехватало отвращения, чтобы выстрелить, по крайности хоть плюнуть в свое отражение, — теперь бы он сделал это.

Две весны тому назад его чувство к Кате, казалось, наполняло вселенную, — всю вселенную за его сморщенным лбом смертельно растерянного и обиженного человека. Тогда ему нужна была катина любовь, особенно нужна была в одинокий час, в екатеринославской гостинице, когда он глядел на дверную ручку, на которой можно повеситься... А теперь — не нужна? так, что ли? В Ростове предал Катю в первый раз, в Екатеринославе — во второй?

Он глядел на плывущие берега, втягивал всей грудью медовый влажный воздух и не чувствовал ни угрызений, ни раскаяния. Нет, в Екатеринославе предательства не было... Там кончался расчет с прошлым. И была Маруся... Пропела коротенькую, невинную, страстную песню о новой жизни... вот об этом весеннем полноводье, о неизмеримом, неизведанном счастье.

Бык, стоявший на травянистом холме, заревел, и на корме парохода засмеялись курсанты, кто-то из них тоже заревел, передразнивая. Рощин блаженно закрыл глаза. Разве смерть — безнадежность? Марусина смерть была светла. Смерть ее была, как вскрик уходящего оставшимся: любите жизнь, возьмите ее со всюю страстью, сделайте из нее счастье...

Он не отложил попыток разыскать Катю. По его просьбе из военного наркомата в уездные исполкомы Екатеринославщины и Харьковщины был послан запрос об Алексее Красильникове, но сведений о его местонахождении до сих пор не поступало. Большого Вадим Петрович сделать сейчас не мог, — эти несколько часов на палубе парохода были единственным свободным временем за полтора месяца работы по восемнадцати часам в сутки.

К нему подошли Чугай и наркомвоен. Это был худощавый человек, в парусиновой толстовке, с покрасневшим от солнца лицом и глазами, влажными и будто пьяными, хотя он никогда не пил и ненавидел пьяных так, что едва не расстрелял хорошего человека, комбрига, застав его в халупе за баклажкой горилки... Указывая на высокий берег, где белела колокольня, наркомвоен говорил:

— Мое село... Бабушка, бывало, слышит, гудит пароход, — беспокойная была старуха, — сейчас мне слив в лукошко, груш, орехов и гонит на пристань торговать... Ну — купец из меня не вышел...

— А у меня бабуня до-обренькая была, — сказал Чугай, — все по святым местам ходила, до десяти лет меня с собой брала — побираться...

Наркомвоен, — не слушая его:

— Потом уж отдали меня в кузницу — подмастерьем, она и сейчас, должно быть, стоит, вон — пониже колокольни. До сих пор люблю запах древесного угля, угара. Когда мне затылок отбили хорошо, я подался в Киев, в паровозное депо, — вот как было... А потом уж — в Харьков, на механический...

Чугай, — не слушая его:

— Мастер я был гнусить на церковной паперти. Расцарапашь себе чего-нибудь, морду кровью измажешь, глаза завел и — давай «Лазаря»... Потом с бабкой, бывало, драка у нас из-за копеечек.

Чугай повторил, уже рассеянно:

— Значит, драка у нас с бабкой...

Он глядел на берег, выдавшийся мысом, у которого Днепр заворачивал к луговому разливу. Выпуклые глаза Чугая напрягались. Он пришлепнул ладонью шапочку с ленточками и быстро пошел к капитанскому мостику...

— Эй, папаша, — крикнул он капитану — сухонькому старичку с висячими усами — держи подальше к луговой стороне!

— Нельзя, товарищи, идем фарватером, а там же мели...

— Давай, давай не фарватером! — Чугай хлопнул себя по кобуре. — Давай круче!..

Пароход огибал мыс, и понемногу открывалось на покато́м берегу большое село с высокой колокольней, мельницами, белыми хатами и свежей зеленью низеньких, пышных садов.

— Видите на отшибе, вон — чуть видна — хатенка, там я и родился, — говорил наркомвоен Рошину.

Чугай крикнул серьезно:

— Давай, зараза, круче лево руля!

На берегу стояло много телег, у берега — много лодок, к ним теснились люди, прыгая в лодки, и на одной уже торопливо гребли. Чугай в развевающемся бушлате бегом по трапу спустился на палубу. И почти одновременно хлестнули выстрелы с берега и лодок по пароходу и — с парохода загрохотали пулеметы. С плывущей лодки в воду посыпались люди. Толпа на берегу заметалась, кидаясь по тачанкам, и они вскачь, поднимая пыль, поскакали вверх по широкой улице. Загудел и набатно забил колокол на колокольне.

Стрельба и бегство длилось всего несколько минут. Берег опустел. Чугай, весело поблескивая выпуклыми глазами, поднялся по трапу:

— Зеленый! Ну и сукин же сын, прорвался-таки! Вот, Вадим Петрович, тебе и план окружения! Что же, нарком, десант надо высаживать...

4

Банда Зеленого металась в окружении, как стая волков, была, наконец, прижата к железнодорожному полотну под огонь бронпоезда и уничтожена в густом орешнике, куда кинулись на прорыв бандитские тачанки. Все заросшее поле было там заранее перекопано, — четверни вспененных коней, поражаемые пулями и гранатами, взвивались из орешника, задние врезывались в телеги, ломая и опрокидывая их. Бандиты кидались по кустам, где их ждала смерть, — никто из них и не пытался молить о пощаде. Атамана Зеленого взяли под кучей прошлогоднего хворо-

ста; когда его вытащили оттуда за ноги, курсанты удивились, — думали: великан какой-нибудь страховитый, оказался — щуплый, корявый, плюнуть не на что, только бегающие глазки — бесцветные, ненавистные — выдавали его волчьей породу. Ему скрутили руки, ноги, чтобы живым доставить в Киев.

Один отряд из его банды, все же, прорвался стороной и ушел на восток. В погоню за ним наркомвоен послал кавалерийский полк в триста сабель с Чугаем и Рощиным. Началась долгая и осторожная погоня. Бандиты на хуторах сменяли лошадей, красные шли на бессменных, по следу. Выяснилось, что бандиты держат путь на село Владимирское. Об этом рассказали крестьяне в одной деревне, где у них за сутки до того бандиты реквизировали коней и пограбили — что могли взять наспех.

— Да уж кончили бы вы их, товарищи, поскорее, так, признаться, нам — ужас — надоели военные-то действия, — говорили крестьяне Чугаю и Рошину у колодца, где кавалеристы поили коней. — Атамана ихнего мы хорошо знаем: он из села Владимирского, Алешка Красильников, правильный был мужик, спору нет, но избаловался, такой, сатана, стал бешеный...

Так Вадим Петрович напал неожиданно на след Алексея, за которым гнался вторую неделю, на след Кати. Было от чего ему смутиться: от Кати отделил его один дневной переход. Какой найдет ее? Замученной, неузнаваемой? — такой, что лишь молча только прижать ее седую голову к груди... Седую, седую... «Ну, вот, Катя, теперь — отдохнешь, будем жить, надо жить...» Нет, нет, невысказанно, — покорной женой Алексея она не стала...! А — вернее — в конце дневного перехода конь его остановится у катиной могилы... И, может быть, так лучше для нее... Катин образ останется нетронутым, неоскверненным...

Полк быстро шел по пыльной дороге. Вадим Петрович покачивался в седле. Образ Кати путался и стирался в его суровой памяти. Какой найдет ее, — такой и примет в свою жизнь.

5

В селе Владимирском еще дымилась сожженные хаты, еще со страхом дети приходили глядеть на лужи крови, не запорошенные золой, еще прятались по чужим дворам дрожащие, распухшие от слез женщины, когда Чугай и Рошин с двух концов двумя лавами ворвались в село. Но Красильникова там уже не было. Кто-то предупредил его, и он, после расправы с комитетчиками, зарубив саблями семнадцать человек и восемнадцатого деда Афанасия, — этого уж прямо из озорства, — ушел со своими бандитами за какие-то полчаса до появления красных.

Крестьяне так были злы на него, что сбежались чуть не всем селом, окружив кавалеристов, под которыми шатались лошади.

— Догоните его, — кричали, — убейте Алешку, у него сил немного, у него патронов нет. Он далеко не ушел, мы знаем, куда они, сволочи, пошли... Вы их голыми руками возьмете.

— А что, граждане-товарищи, — спросил Чугай, — дадите нам свежих коней?

— Дадим... Для этого — дадим.

— Сколько?

— Да полсотни наберем... Своих вы у нас оставите, потом обменяем... Ей-богу, ведь он нам жить не даст.

Покуда бегали за лошадьми да пере седывали, Вадим Петрович, разминая ноги, подошел к женщинам. Они, видя, что человек что-то хочет спросить, придвинулись.

— Красильникова я знал в германскую войну, — сказал он. — Брат у него был, женатый, а сам он, кажется, был не женат... Как он теперь? Семейный?

Женщины, не понимая еще, к чему он клонит, с охотой заговорили:

— Женатый, женатый...

— Да какой он, — женатый! Не жена она ему...

— Ну, жил просто с ней...

— И не так... Товарищ военный, я тебе расскажу... Выиграл он эту женщину в карты у Махны и привез ее сюда, хотел на ней жениться... Она, ко-

нечно, говорит ему: женись, только жить по-мужицки я не привыкла... Сама-то она из господских, красивая, молодая, идет по улице — пава... А двор у Алешки еще в прошлую весну немцы сожгли... Вот он и давай строиться... А тут пошли эти дела с Яковом...

Третья женщина, еще более осведомленная, протискалась к Вадиму Петровичу:

— Слушай, бил он ее, так бил, товарищ командир, да не удалось ему, окаянному чорту, ее убить... С марта месяца она у нас учительницей...

— Так, так, — проговорил Вадим Петрович, покашливая, — что же — она и сейчас здесь, в селе?

Женщины стали взглядывать одна на другую. Тогда четвертая, — только-что подойдя:

— Увез он ее, в тачанке под сеном, живую, мертвую, — не знаем...

Маленький мальчик, глядевший очарованными глазами на Рощина, — на шашку с медной рукоятью, на пыльные сапоги со шпорами, на большие часы на руке, на револьвер со шнуром, — совсем запрокинувшись, чтобы увидеть его лицо, сказал грубым голосом:

— Дяденька, врут они. Они про тетю Катю ничего не знают. Я все знаю.

Стоявшая за его спиной худенькая, с болячкой на губе, некрасивая девочка сказала:

— Дяденька, вы ему верьте, этот мальчишка все знает.

— Ну, что ты знаешь?

— Тетю Катю Матрена на станцию увезла. Тетя Катя не хотела ехать да как заплачет, а Матрена — тоже как заплачет... Потом тетя Катя мне сказала: «Я вернусь, скажи детям...» Алешка на тачанках в село въезжает, а Матрена с тетей Катей с другого конца уехали... Как они на горку въехали, так с телеги меня согноли...

— По коням...! — крикнул Чугай.

Вадиму Петровичу не удалось дослушать. Отряд на свежих лошадях, с пулеметными тачанками, двинулся из села. Рядом с Чугаем и Рощиным скакал, подкидывая локти, низенький черный мужик из тех, кому весь этот день пришлось отсиживаться в колодце по пу-

пок в воде и тине. Он так и взобрался охлюпкой на лошадь, весь заскорузлый, в рваной рубахе, босиком, со взерошенной бородой. Он повел отряд в обход к дубовому лесу, куда бандитам была одна дорога в этих местах.

Туда поспели еще засветло и начали окружать лес, оставляя один свободный выход бандитам, — в засаду. Низкое солнце из-под глянцевитой листвы пробивалось между корявыми стволами. Лошадь под Вадимом Петровичем шла беспокойно, — мотала головой, останавливаясь, покусывала себя за коленку, била задней ногой по брюху. Он, наконец, бросил повод и держал карабин обеими руками наготове. Лучи солнца, с золотящимися в них тучами комаров, пестрили и полосатили лес, — трудно было что-нибудь разглядеть впереди и в стороне от себя, где — справа и слева — редкой цепочкой, осторожно похрустывая валежником, пробирались спешенные курсанты сквозь поросль и высокий папоротник.

Где-то здесь, как предупреждал проводник, должна была попасться лесникова сторожка и дорога, по которой бандиты и могли только проникнуть в лесную чащобу. Мшистая крыша, освещая седлом, показалась неожиданно в нескольких шагах. Вадим Петрович остановился, вглядываясь из-за густой поросли. Негромко посвистал. Сильнее и ближе затрещали сучья под ногами курсантов. Он опять тронул лошадь, проехал сквозь кусты и увидел заброшенную сторожку, — на небольшой поляне около нее стояло несколько распряженных тачанок, валялась какая-то ветошь и тряпье. Бандиты отсюда ушли.

Вадим Петрович, держа наготове карабин, осторожно стал объезжать сторожку. Алексей Красильников так же осторожно пятился впереди него от одного угла к другому, намереваясь завладеть лошадью этого всадника. Рощин, оглядываясь, остановился у боковой стены, Алексей — у передней, с выбитым окном и сорванной дверью. Чтобы все сделать без шума, он держал только нож наготове. Когда Рощин выехал из-за угла, — Алексей с ножом

кинулся на него, но Рошин успел загордиться карабином. Алексей, отпрянув, сильно ударился спиной о стену сторожки. Нож у него упал, он глядел на Вадима Петровича, на ожившего мертвеца. Завизжал в суеверном ужасе и, нагнувшись, побежал, беспорядочно махая руками. «Алексей!» — крикнул Рошин, бешено рванул повод и поскакал за ним. Алексей вдруг, добежав до дерева, схватился за него в обнимку, прижался лицом к дубовому стволу. Рошин на скаку соскочил с седла и почти в упор стал стрелять в широкую, вздрагивающую спину Алексея.

6

— Здесь она жила?

— Ага.

Рошин, нагнувшись, перешагнул через порог в покосившуюся избенку об одно окошко, такое низенькое, что лопухи снаружи совсем закрыли его. У окошка, на столе, тоже маленьком и низеньком, лежали тетрадки, сшитые из обоев, и несколько книг. Одна из тетрадей была раскрыта, и около — пузырек с чернилами и перо. Значит, Катя успела только выбежать. Он присел на корточки перед столом. Маленький мальчик, тихонько прикрыв рот рукой, подавился смехом и указал глазами Рошину на печку.

В печном устье, на шестке, сидел галчонок, с круглыми, глупыми глазами, — должно быть, вывалившийся из трубы, где было гнездо. Увидев, что на него обратили внимание, галчонок, подсобляя себе крыльями, бочком упрыгал в печку.

— Их там четыре штуки, — сказал мальчик, — ужо их переловлю...

Перебирая то, что лежало на столе, Вадим Петрович нашел катин школьный дневник, где она записывала уроки и некоторые особенные происшествия. Почти каждая дневная запись кончалась: «Иван Гавриков опять шалил...» Или: «Даю себе честное слово три дня не разговаривать с Иваном Гавриковым...» Или: «Иван Гавриков опять ходил по самому краю крыши, чтобы напугать девочек. Я просто в отчаянии...»

— Кто это Иван Гавриков? — спросил Рошин.

— Я.

— Зачем же ты шалишь, огорчаешь Екатерину Дмитриевну?

Иван Гавриков тяжело вздохнул, голубые глаза его стали совсем невинными:

— Приходится... Я учусь-то хорошо. Ты посмотри у девчонков чистописание: забор — палки. Вот моя тетрадка. Тот. Удивишься. Таблицу умножения всю знаю, хочешь, спроси? — Он изо всей силы зажмурился.

— Верю, верю.

Вадим Петрович сел на пол, поджав ноги, продолжая перелистывать дневник. В нем ни слова не было про себя. Но с каждой страницы будто поднималась к нему катина вечная юность, доверчивая и чистая нежность. И он видел ее руку с голубоватыми жилками, ее теплые, ясные глаза...

— Девятью девять — восемьдесят один, что, не правда? — сказал Иван Гавриков.

— Молодец, молодец... Слушай, она тебе ничего не сказала — куда поехала?

— В Киев.

— Ты не врешь?

— Очень мне нужно врать.

— У нее, — может быть, ты знаешь, — где-нибудь еще спрятаны письма, тетрадки?

— Все тут... Я и это нынче домой возьму, она наказывала — пуще глаза беречь тетрадки, а то мужики опять раскурят.

На последней страничке дневника он прочел:

«...Я почему-то верю, что ты жива и мы встретимся когда-нибудь... Ты представляешь — я вышла из долгой, долгой ночи... Мне хочется рассказать тебе о маленьком мире, в котором я живу. Птицы за окошком меня будят. Я иду на речку купаться. Потом, по дороге, я пью молоко у тетки Агафьи, — я ей должна уже рубль шестьдесят копеек, но она подождет. Потом приходят дети, и мы учимся. Нам ничто не мешает, у нас нет никаких забот. Оказывается — человеку совсем не

то нужно, что нам казалось нужным и без чего мы не могли жить... Прямо стыдно сказать — мне будто опять семнадцать лет, — я знаю, Дашенька, ты поймешь, о чем я хочу сказать... Меня только огорчает иногда мой самый любимый мальчик, Иван Гавриков... Он необычайно...»

На этом письмо обрывалось, потому что нехватило больше места в тетради. Вадим Петрович подтянул Ивана Гаврикова, поставил его у себя между колен:

— Ну? Чего тебе подарить?

— Патрон.

— Пустого-то у меня нет...

— А ты выстрели, пойдем на двор.

Вадим Петрович поднялся с пола, сложил тетрадь и стал засовывать ее за гимнастерку:

— Эту тетрадку, Иван, я возьму.

— Ни, она заругает.

— Я тетю Катю скоро увижу и скажу ей, что взял... Пойдем на двор — стрелять...

(Продолжение следует.)

Гостеприимство

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

★

Меня встречают всюду добрым словом,
Со мной эвенки делятся уловом.
Я — друг и брат хакасов и долган.
На стойбище, в улусе и аиле,
Мне говорят: «Вы б дольше погостили,
Не ближний путь лежит на океан...»

Седой Кавказ мне отвечает эхом.
На Диксоне пушистым, нежным мехом
Я от морозов северных согрет...
Пусть я не знаю северных наречий,
Но руки дружбы мне легли на плечи.
Везде я — свой, приятель и сосед.

Приду в аил — хозяин стелет шкуры.
Костер дымится... И звенят топшурьы,
И все в честь гостя пляшут и поют...
Гостеприимство!.. Стало ты законом
У нас в стране, где все многоплеменной
Одной семьею дружно живут.

На-гора

Роман

А. КОПТЕЛОВ

★

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Издавна шли в Сибирь беглые люди, дерзнувшие сбросить с плеч барское ярмо. В лесах, в горных долинах оседали на жительство, рубили скрытые от глаз начальства деревни. Так, на берегу Чубыша зародилось село Тайное. Вольные люди выкорчевали лес на высокой Прямой гриве и каждое лето покрывали ее разноцветными пшеничными, овсяными и гречишными полосами. И распаханная высокая грива выдала беглецов: село было найдено, а вольные люди приписаны к барнаульским и колывано-воскресенским горным заводам. Вольнолюбивых тайнинцев стали называть «куренными людьми». Это были крепостные коронованного помещика, обязанные доставлять на горные заводы сотни тысяч коробов древесного угля.

С отменой крепостного права умерли горные заводы Алтайского округа. Тайнинцы же попрежнему выжигали уголь, только теперь они развозили его по степи и продавали деревенским кузнецам.

Перед самой войной тайнинский кузнец Алексей Дымнов привез из-за Салаирского края короб каменного угля. В кузницу Дымнова, стоящую на окраине села, на самом берегу Чубыша, сбежались углежоги.

— Неужели, Алексей Павлович, этот камень огнем возьмется? — приставали к молчаливому кузнецу.

— И чему тут гореть? Камень, он камень и есть.

— Ох, а как он, дядя, баско горит! Жарища от него страшная!..— отвечал за отца Ромша, семилетний мальчуган. — Его из земли достают... Яму выкопают, и достают.

— Из земли? Так он, мужики, бесов человеку подсунет.

— Верно твое слово. Говорят: «Нечем чорту играть, так он уголье ворошит». Поди, на этом угле черти в аду грешников поджаривают?

Вскоре углежоги по всему селу разнесли молву:

— Алешка Дымнов с нечистым связался.

И когда надо было машину поправить или к сломанной косе пятку приварить, упрашивали его:

— Уж ты, Алексей Павлович, ради бога не клади бесовский камень в горно.

Пришлось кузнецу короб с каменным углем убрать подальше от заказчиков.

На всю жизнь запомнил Ромша девятнадцатый год. Летним утром взметнулся над сельской сборней красный партизанский флаг. Соседи Дымновых пришивали к кошемным шляпам, фуражкам и косматым папахам кумачевые ленты. На окраинах села появились караулы. Охотники несли в сборню порох, свинец и пули. Деревенские кузнецы ковали пики и шашки.

Когда выбирали сельский штаб, Ромша пробрался к столу, а потом рассказывал сверстникам:

— Тятка говорил там, что скует пушку! А может — две. Большу-ушие!.. Вот такие!.. — Мальчик выкинул вперед руки, как бы обнимая толстое дерево. — Еще толще!..

— Ну уж, толще! — заносчиво перебил рыжий Борька Тяпкин. — Так тебе и поверили!.. Железа этакого нет у твоего тятки!..

— Железа?! Да он возьмет.. возьмет два сошника и сварит!..

С того дня на дворе Алексея Дымнова стало шумно, как на ярмарке. Стук и звон не прекращались ни днем, ни ночью. В сумерки разводили костры. Пахло дымом, дегтем и свежими стружками.

Одну стену кузницы партизаны разобрали и на том месте сделали горно на три меха. Углежого привезли несколько коробов добротного угля. Плотники обобванивали березовый коротыш и высверливали отверстие, в которое можно было вогнать железную втулку. Колесники делали для пушки крепкие передки. Охотники отмеривали порох и рубили железо для зарядов. Все спешили так, что по часу не брались за кисеты с табаком.

К кузнице свозили старые серпы и косы. Покончив с пушкой, Дымнов начал ковать пики и сабли.

Однажды утром во двор кузнеца въехало несколько десятков всадников. Среди них был один недеревенский человек, сутулый и толстощекий, одетый в коричневую шляпу с широкими полями и в черное пальто особенного покроя. За его конем с громким лаем гнались соседские собаки. Всадник был обут, как баба, в ботинки, а поверх них носил узкие голенища с застежками. Лицо у него было круглое, мягкое, голое: сбрита не только борода, но даже усы. И Ромша не мог удержаться, чтобы не сказать своим сверстникам:

— Гляди — баба в штанах и в шляпе! Ей-богу, баба!

Левая рука незнакомца была обмотана белым и лежала на полотенце, концы которого на загривке были стянуты в узел.

— Где-нибудь с коня бухнулся и руку вывихнул!.. — посмеялся мальчик. —

Ездит, собак дразнит своей одежей!..

Незнакомец проехал к кузнице и, не слезая с коня, спросил командира. Отец вышел в кожаном фартуке, с клещами в руках.

— Спокойно сидите вы тут, товарищи партизаны! А враг рядом, — строго сказал приезжий. — Сейчас в Камышенке нас дружина обстреляла. Ранили меня!..

— Савелий! — крикнул отец чернородому человеку. — Слетай в разведку!.. — Перенес взгляд на приезжего: — А вы кто будете?

Незнакомец неумело вывалился из седла, воркующим голосом произнес:

— Боркун.

Мальчик не понял, что он сказал, отметил, что у него один глаз серый, другой лиловый, и, давясь смехом, зажал рот ладонью.

— Приехал в ваш отряд поступить, — медленно, с расстановкой выговорил незнакомец.

— Из каких мест приходите? — настороженно спросил отец.

— Я родился в западной части России. А теперь приехал из Америки. Я — революционер. — Отрекомендовавшись, приезжий достал кожаный портсигар. — Закуривайте. Американские! Из страны свободы!..

У портсигара столкнулось несколько рук. Алексей Дымнов тряхнул кисетом.

— Мы из своего свернем — покрепче табачок, понадежнее, — проговорил он и, взглянув в глаза приезжему, переспросил: — Мериканец, значит, будешь?.. Ладно, пойдем в штаб.

Ромша и его сверстники уже бежали к своим приятелям. Через какой-нибудь час мальчишки по всему селу разносили:

— Мериканец приехал в партизаны поступать!..

2

Штаб помещался в тесной, заплыванной и прокуренной сельской сборне, передний угол которой занимало красное знамя. На нем, по совету человека, тайком приезжавшего из города, жена Алексея Дымнова вышила белым гарусом:

«Мир — хижинам, война — дворцам».

Вокруг стола сидели члены штаба, все семь человек. Бороды у них расчесаны, усы подкручены. Одеты они по-разному: кто в косматой папахе и солдатской шинели, кто в фуражке, большинство же — в новых рубашках из полосатого холста и в кошемных шляпах-криночках.

— Как же ты в Америке-то очутился? — спросил Дымнов Боркуна.

— Я — старый революционер. В пятом году распространял листовки. Допустил неосторожность, и жандармы схватили меня. Девять месяцев просидел в тюрьме. Товарищи помогли бежать, и я эмигрировал в Америку. А когда услышал, что в России — революция, поехал бороться за свободу. Я — большевик.

— Документы какие имеешь?

Боркун порылся в глубоком кармане брюк, достал бумажник из коричневой кожи и подал Дымнову удостоверение с печатью Федерации русских рабочих в Сан-Франциско. Затем он сунул ему какую-то бумажку с английским текстом.

— Вот, смотри...

— Такими бумажками ты мне в нос не тычь, — грубо оборвал его Алексей Павлович, вдруг почувствовавший, как кровь прилила к лицу. — Я в гимназиях не обучался...

Он возвратил Боркуну бумажку с непонятным текстом, а удостоверение читал долго, вдумываясь в каждую фразу, затем посмотрел на свет и, заметив незнакомые буквы и водяные знаки, сразу перебрал взгляд на лицо «американца».

— А тут какие-такие потайные слова напечатаны? — сурово спросил он, тыча пальцем в хрустящий лист. — Для кого они?..

— Фабричное клеймо... — с невольной усмешкой ответил Боркун.

— Но, но, рассказывай... На деньги ставят такое клеймо, чтобы подделать не могли... А тут — зачем?..

— В Америке каждый листок бумаги имеет такие буквы и знаки.

Кузнец передал удостоверение членам штаба, а сам, чуть прищутив глаза, спросил:

— А как ты к нам пробрался? Через какие земли?..

— Через Китай. Пропустили меня, как политического эмигранта.

Его попросили на минутку выйти.

— Кто же он такой, бес его дери? — задумчиво произнес Дымнов, перекидывая взгляд с одного товарища на другого.

— Большевик, он же сам заявил! — отозвался писарь Савкин.

— Я не тебя спрашиваю, — оборвал его Дымнов и, обращаясь к членам штаба, спросил: — На Дальнем Востоке мериканцы против нас воюют? Воюют. Японцы воюют? Воюют. Стало быть, не могли они большевика сюда пропустить? Не могли, А он пробрался.

— Вот что, робятушки, надо спросить у него русский паспорт, — предложил сухощавый колесник.

— Верно твое слово: русский человек не продается...

— Русский русскому рознь, — возразил Дымнов. — Мы вот с вами за советскую власть поднялись, а кулаки и попы Колчаку дружины сколачивают. А Колчак чей? Заграничных буржуев приказчик.

— Правильно говоришь, не в паспорте дело, а в том — за народ он или за буржуев.

Члены штаба продолжали спорить до тех пор, пока на площади не раздались выстрел. Выбежав из сборни, они увидели, что площадь полна людьми. Партизаны, подбоченясь, сидели в седлах. Между ними проталкивались бабы, чтобы взглянуть на «американца». Он стоял на крыльце винной лавки и, потрясая кулаком, бросал в толпу раскаленные гневом слова: на больших дорогах Сибири больше виселиц, чем телеграфных столбов... восставший народ должен лавиной двинуться на города, расправиться с белым зверем, освободить своих братьев рабочих из тюрем... Он сдернул шляпу с головы и, взмахнув ею, крикнул «ура». Ему ответили грозным гулом. Снова кто-то вскинул ружье, и над головами поплыл пороховой дымок.

Алексей Павлович взбежал на крыльцо.

— Порох лишний завелся?.. Забыли, что кругом — волчьи стаи?.. Порох для нас — дороже хлеба, дороже золота...

3

Недели через три к селу подошел карательный отряд поручика Подгорбунского с двумя трехдюймовыми полевыми орудиями и с шестью пулеметами. Партизаны были вынуждены отступить в тайгу. Ромша с матерью скрывался за селом, в полуобвалившейся землянке рыбака.

Ночью мать укладывала сына на пальто — единственное, что успела захватить из дому:

— Усни, сыночек, усни, мой сокол!..

Лунные лучи проникали в землянку. В их трепетном свете лицо матери с густой сеткой морщин возле глаз и скорбной складкой в уголке рта казалось особенно печальным. Ромша жалел мать и хотел быть послушным. Но сон, как назло, не шел. Мальчик прикрыл глаза и начал дышать глубже. Мать бесшумно вышла из землянки. Северный ветер рвал над яром сухую траву. Вдали за лесом холодное небо было освещено заревом. Рассыпая искры, взлетало пламя: горели соломенные крыши дворов.

Мать не слышала шороха и вскрикнула, когда сын прижался головой к ее руке.

— Ты так и не уснул, моя ягодка? — прошептала она. — Верно, в такую ночь спать нельзя...

Прижавшись друг к другу, они до рассвета просидели на пороге землянки, у самой воды, пока волна не прибила к их ногам синее старческое тело с полубогоревшим черепом. Похолодевшими руками мать повернула сына к реке затылком, и он уткнулся лицом в ее грудь. Слезы душили мать. Она повела сына на высокий яр, в густой и угрюмый лес. Но и там не было покоя: ветер наполнял лес смрадом пожара.

Через день, когда смолкли выстрелы, мать с сыном вернулись на пепелище.

Окраины села были сметены огнем. Торчали только трубы печей.

Они приютились в бане, вырытой в высоком яру над рекой.

4

Был серый сентябрьский день. Ромша играл с мальчиками в шаровки за околицей села. Они, как полагалось, разделились на две группы: одни — на лунках, другие — в «поле». На лунке подбрасывали вверх деревянный шарик величиной с яблоко. Нужно было попасть в него шаровкой и успеть подобрать ее раньше, чем стоящие в «поле» перекинут шарик на лунки. Веселая игра требовала меткости удара и сноровки.

Ромша бежал в «поле» за своей шаровкой, когда по старому тракту из березовой рощи выехали всадники. Одеты они были на редкость пестро: на одних черные или серые пиджаки и барашковые папахи, на других — домотканые, похожие на халаты, полушерстяные шабуры и кошменные шляпы, на третьих — цветистые рубахи и помятые фуражки. За плечами — старые охотничьи берданы и дедовские шомпольные дробовики.

— Наши едут, наши!.. Партизаны!.. — воскликнул Ромша. За ним, на ходу засучивая штаны, побежали его сверстники.

Они встретили вершников — партизанскую разведку — и псбежали дальше в лес, навстречу отряду. Во главе его ехал командир полка Иван Семенович Боркун. Ромша издали узнал его. «Американец» носил все ту же коричневую шляпу. В остальном костюме его был нов и необычайно яр: через широкие голенища полуболотных сапог переваливались малинсовые и фиолетовые кисти шелковых полушалков, намотанных на ноги вместо портянок; широкие брюки из золотистой парчи сияли, точно попвская риза; вместо пальто — короткая чуйка из лилового китайского шелка.

— Ишь, нарядился!.. Как петух! — усмехнулся мальчик и, заметив большие кресты на золотистой попоне, крикнул

сверстникам: — Глядите, конь-то, конь-то!.. в поповской ризе!

Ромша засмотрелся на красные знамена, на ружья и самоковные пики и шашки.

— Трещотки везут! — вскрикнул один из мальчиков. — Деревянные!.. Вон, вон...

— Это заместо пулеметов, — солидно разъяснил Ромша.

Но где же отец? Где он? Где его пушка?

Ромша побежал по обочине дороги, обгоняя незнакомых людей. Босые ноги не чувствовали уколов сухой сосновой хвой и ощерившихся прошлогодних шишек.

Увидев одного из своих соседей, Данилу Устьянова, высокого, всегда мрачного человека с черной, как головня, узкой бородой, Ромша схватил его за стремя и, впившись испуганным взглядом в холодные и усталые глаза, спросил прерывающимся голосом:

— Мой тятка... тятка где?

Данила едва заметно качнул головой и, глубоко вздохнув, посоветовал:

— У командира спроси.

Детская ручонка оторвалась от стремени и повисла. Сердце будто сжала холодная рука... Партизан было раза в два меньше, чем при отступлении из села. Но, может, тятку только ранили, и он лежит где-нибудь в тайге, в тайном месте? А может, у какого-нибудь богатого села из пушки по белякам палят?..

Пока догонял командира, щеки стали мокрыми. Дрожая всем телом, едва выговорил:

— Тятка... где едет? С пушкой... Кузнец... Дымнов...

— Кузнец?.. Нет кузнеца с пушкой... земля приняла, — растягивая слова и покачивая головой, ворковал Боркун, но, заметив толпу женщин, спешивших навстречу, заговорил громко: — Твой отец, мальчуган, настоящий герой! Истинный борец за советскую власть, за свободу!

— Тятка... тятка где?.. В какой деревне?..

— Забыл, как называется та дерев-

ня, — с легким раздражением пробормотал Иван Семенович Боркун.

Ромша, стиснув зубы, чтобы не рыдать, побежал прочь.

Нет отца... Пусто кругом... Теперь он — единственный мужчина в семье, большак. В этом тоже было что-то страшное. Большак... И далеко-далеко отодвинулся от Романа безмятежный сентябрьский полдень, когда он играл с мальчишками в шаровки...

Он не мог итти к себе в баню — не хотел, чтобы кто-нибудь видел его мокрое лицо; пробежал через площадь и упал под одним из высоких тополей, которыми была окружена семиглавая деревянная церковь. Уткнулся в густую, запыленную траву. Память воскрешала день за днем, начиная с того времени, когда отец стал собирать партизанский отряд. Вот он, большой, краснощекий, кует пушку. Железо сердится, брызжет искрами, но он заставляет его свернуться. Вот отец едет впереди отряда. Рядом — знаменосец. Красное полотнище ласково треплет отца по плечу. Как было обидно тогда, что он, Роман, — маленький. Будь ему хотя бы семнадцать лет, ехал бы рядом с отцом и сжимал в руках древко знамени... Вот надвинулась ночь, темная, со зловещим заревом, по реке поплыли обгоревшие трупы... Какой-то Подгорбунский привел карателей. Остановился в доме лавочника. Говорили, привез с собой бабу с такими яркими губами, что, наверно, она всегда ест одни крашенные пряники. И вот опять едут партизаны, а отца нет среди них... Пригнув голову и роняя слезы, Ромша побежал к своему пепелищу.

До полуночи он сидел с матерью на лавочке у черной, пахнувшей дымом бани. Обняв его и тихо покачиваясь, мать причитала:

— Уж ты, мил сыночек мой, вырастешь большим, не забудь родимого тятеньку. Съезди во село Раздолье да порасспроси дсбрых людей, где похоронен. Поплачь, сыночек, на его могилке. За меня поплачь слезами горькими...

Внизу лопотала багряная вечерняя волна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

К апрелю солнечные увалы освободились от снега; на вербе полопались бурные почки, обнажился блестящий белый пух; в голубом воздухе весело прозвенел первый жаворонок. Обрадованные раннею весной, тайнинцы выпустили искудавших от бескормицы коров на ближние увалы, а лошадей угнали в поля, на далекие проталины, — рассчитывали, что недели через две кони выгуляются, направятся жирком и к началу полевых работ будут на месте. Весна шла бурная, ручьистая, обещала большое половодье. Седьмого апреля на Чубыше начался ледоход. За селом нагромоздило затор. Лыдины, дробясь и вставая на ребро, с злобным шипением, с треском полезли одна на другую, и вода в реке стала быстро прибывать, угрожая прибрежным улицам села. Но в ночь на восьмое тяжелыми аспидными плитами надвинулись тучи, и на землю стали валить мокрые хлопья снега. К утру новый снежный покров достиг полуметра, ртуть в термометрах упала до двадцати четырех. Сырой снег превратился в ледяную броню. Пришлось посылать в поля кузнецов, чтобы подковать и вывести в село истощенных коней, которым сороки уже расклевали спины в кровь.

Морозы стояли около двух недель и унесли четверть конского поголовья. Стало ясно, что всем мужчинам нехватит дела на посевной, и, когда приехал человек вербовать людей на угольные копи, председатель колхоза «Красный партизан» встретил его радушно:

— По плану, говоришь, в нашем колхозе надо завербовать десять человек? Дам тебе пятнадцать, только сумей уговорить их! Да вот тебе первый! — воскликнул председатель, увидев Романа Дымнова на пороге конторы. — Этот один за десятерых сработает!

О приезде вербовщика Роман услышал ранним утром и тогда же решил уехать на угольные копи. Еще когда отец ковал первую пушку, пытливому мальчугану запала в голову мысль — узнать, откуда взялся в земле горючий

камень, что за шахты роют люди и как в них работают. Позднее он приставал с расспросами к учителю, добродушному старичку, тот рассказывал старательно, но слова у него были какие-то вялые, бесцветные, и мальчик решил: как только вырасту, посмотрю шахту.

За завтраком Роман сказал о своем решении жене Ефросинье Власьевне, милостивой русоволосой женщине, которую за веснушки на щеках и вздернутый нос прозвали в селе Тетерочкой.

— Да тебя что, из ума вышибло, что ли? — спросила она испуганно. — Там людей земля давит.

— Ротозеев давит.

— Чересчур бойкие-то завсегда раньше тихих на смерть наускаивают.

— Ты еще скажешь, что черти уголь сторожат, — усмехнулся Роман.

— Дом надоел? Своя жена наскучила? — дрогнувшим голосом спросила Ефросинья Власьевна.

Она надеялась услышать в ответ, что муж любит ее, никогда не бросит и никуда не поедет, но Роман молчал, и она, потеряв самообладание, выпалила:

— Я давно замечала, что ты за чужими юбками таскаешься. Такому не надо было и жениться..

В который раз вспомнил Роман поговорку: «Сварливая жена в доме — хуже пожара!» За последний год Ефросинья Власьевна своей глупой ревностью опустошила его сердце: в нем, правда, оставалась еще привязанность, но и та была готова уступить место простой жалости. Он прикрикнул на жену, но она не замолчала. Роман, двинув стол так резко, что повалилась посуда, выбежал из дома.

По дороге в контору он успокоился; за год, который ему предстоит провести на руднике, жена многое передумает... Однако начальнический тон председателя вернул Роману настроение, с которым он покинул дом.

— Не спросили, согласен ли я, а уже запрягаете, — сердито бросил он и посмотрел на председателя из-под нахмуренных широких бровей.

— А что тебя спрашивать? — удивился тот. — Деньги лишними не будут, — хорошо заработаешь!

— Значит, сейчас и договорчик поставим? — обрадовался вербовщик и потряс чистым листом бумаги.

— Нет, погодим... — жестко, с достоинством ответил Роман и вышел из конторы.

2

Недалеко от конторы колхоза Роман встретил Дениса Панкратова, высокого, вихлявого парня одних с ним лет. Денис был навеселе, серые глаза его блестяли озорно.

— Ромка, дружба!.. Я на шахту записался! — тонким голоском выкрикнул Панкратов, обнимая Дымнова. — Гуляю, Ромка, последний нынешний денечек... Пойдем ко мне пиво допивать!

Домой возвращаться не хотелось, и Роман не стал отказываться от приглашения.

— Ты все со своей клушкой в гнезде сидишь? Тятей заделался, — смеялся Денис, похлопывая друга по спине.

Роману не хотелось говорить ни о чем. Даже пил он в этот день молча. Когда Панкратов снова и снова начал уговаривать приятеля завербоваться на шахту, Дымнов, ударяя ребром ладони по столу, прерывал его:

— Брось об этом... Язык, наверно, уже намозолил!

Они весь день провели вместе, а вечером, еле держась на ногах, приплелись в клуб. В бывшей церкви место алтаря теперь занимала небольшая сцена, отделенная от зала легким серым занавесом.

Панкратов с Дымновым ввалились в клуб, когда занавес только-только раздвинулся.

— Пешто в потемках сидите? — громко спросил Панкратов. — Сторожиха, огня давай!.. А то я сяду кому-нибудь на колени.

Успокаивая приятеля, Дымнов не заметил, как с крайнего стула у стены поднялась высокая полная женщина и, переругиваясь со зрителями, пошла меж рядов к нему. Это была Маруся-Гулеуся, известная всему селу отходка. Она жила на второй половине кулацкого дома, в котором поселился Роман Дымнов. Первое время она по-соседски частень-

ко заходила к Ефросинье Власьевне, по долгу засиживалась у нее и, улучив минуту, кидала на Романа откровенные взгляды. Но Роман с умешкой отворачивался от нее.

Распорядитель вечера стал оттеснять пьяных приятелей к двери. Следом за ними вышла на площадь, в ночную тьму, и бойкая отходка. Улучив момент, пока Панкратов задержался у тополей, она подхватила Дымнова под руку и прильнула к его уху:

— Ты куда, Ромушка? Домой? Я тебя провожу.

— К черту дом!.. — крикнул Роман, еле держась на ногах. — Я сегодня гуляю.

— Правильно, мой цветочек миленький, — прошептала Гулеуся и обвила руками шею парня.

3

«Куда его черти загнали, окаянного? — не в первый раз спрашивала себя Ефросинья Власьевна, томясь в ожидании мужа, и, не находя ответа, глубоко вздыхала: — Неужели загулял?.. Но с кем мог загулять?»

Вот и соседка вернулась домой, — слышен ее вкрадчивый голос, — а Романа все нет. Спросить бы у нее: «Не попадался ли тебе навстречу мой Дымнов?», но она в ответ скажет что-нибудь охальное и потом просмеет на всю деревню. Да и вернулась Гулеуся опять не одна, — слышны мужские нетвердые шаги...

Заплакал ребенок, Ефросинья Власьевна схватила его на руки и села к окну.

Всю ночь она не сомкнула глаз. На рассвете вышла доить корову. Пальцы дрожали, и теплые струи молока падали мимо ведра. Боялась, что вот-вот скрипнут ворота, во двор войдет сельский исполнитель и соблезнующе сообщит:

— Несчастье постигло вас...

Проводив корову за село, Ефросинья Власьевна медленно возвращалась домой. Не думая о своей соседке, рассеянно глядела на окна ее комнаты: на подоконнике лежала темносиняя фуражка, козырек помят, ремешок над ним

оборван. Точь в точь такая, как у Романа! Но ведь в потребиловку много привозили таких фуражек, мог кто-нибудь и другой так же помять козырек.

«Да ведь мой пропадает где-то целые сутки!.. Может, она его где-нибудь подпоила?..»

Ефросинья Власьева, дрожа, стала взбираться вверх по углу дома. Ноги ее срывались с выступов круглых бревен, пальцы горели. Пусть на улице соберется толпа хохочущих баб и мужиков, Ефросинья Власьева все равно не спрыгнет на землю, пока не убедится, что это — не романова фуражка.

Но вот взгляд упал поверх занавесок в комнату, и Ефросинья Власьева увидела на засаленной подушке пухлое лицо Гулеуси, а рядом — широкий, разрезанный одной глубокой морщиной лоб Романа, его густые черные брови и прямой нос.

— Ой, батюшки!.. — взвизгнула женщина. Пальцы ее ослабели, ноги сорвались с бревна, и она упала на землю.

За окнами было попрежнему тихо, и оттого Ефросинье Власьевне стало еще обиднее. Она схватила жердь с соседней изгороди и, размахнувшись, ударила сначала по одному стеклу, потом — по другому.

— Вот тебе! Вот!..

4

Проснувшись от звона разбитых окон, Роман вскочил с кровати и недоумевающим тяжелым взглядом окинул чужую комнату. Он не мог вспомнить, как очутился у женщины, которая всегда вызывала в нем брезгливость. Голова его раскалывалась от боли, щеки жгло, как огнем. После этой позорной ночи стыдно будет встретиться с соседями...

Ефросинья Власьева ворвалась в комнату.

Роман хотел было разнять сцепившихся женщин, но почувствовал, что не сможет прикоснуться к рыхлому телу Гулеуси. Он выбежал во двор и огородами прошел на вторую улицу.

Вербовщика застал еще в постели.

— Вставай, товарищ, договор писать, — сказал он настойчиво и, видя, что вербовщик зевает и потягивается, добавил: — Поднимайся скорее, а то в другое место уйду...

Завербовался Дымнов на год. Вербовщик выдал суточные и сказал, что сам купит Роману билет и вручит на станции перед отходом поезда.

— Мне деньги сейчас нужны... — твердо заявил Дымнов. — Да не дрожи ты над бумажками, — не сбегу.

Домой он вернулся с большим свертком, в котором, кроме детских ботиночек, лежало несколько отрезков сатина, розовая побрякушка, ярко раскрашенная уточка и килограмм карамели. Жены дома не было, — она искала его по всему селу. У двери стоял сын на коротких кривых ножонках и, захлебываясь, плакал. Отец взял его на руки, рукавом своей рубахи утер слезы с пухлых щечек ребенка и, пригладив белый пушок на его голове, заговорил:

— Не плачь, Егор Романович... ты ведь у меня большой. Не плачь. Вот тебе уточка. Крякает. Кря-кря. А вот тебе конфетка.

Ребенок взял конфетку, вместе с пальцами сунул в рот, и серые глаза его счастливо засияли.

— Сейчас ботиночки примерим, — продолжал отец. В голосе слышались и ласка, и грусть. — Велики? Ну, ничего — скоро подрастешь.

Роман прижал сына к груди, поцеловал и, заторопившись, спустил на пол. Нашел мешок и стал складывать в него со стола хлеб и картошку. Заметив, что ломти хлеба успели подсохнуть, он подумал:

«Вчера нарезала, ждала меня!..»

Остаться в комнате, слушать, как сын лепечет: «Тя-тя, тя-тя», Роман больше не мог. Да и жена могла вернуться с секунды на секунду. Лучше прсвалиться сквозь землю, чем сегодня встретиться с ней. Чорт дернул вчера пойти с Денисом пить пиво. Одурманило оно. Знать, не простое, а с табаком.

Роман переобулся в новые сапоги, схватил мешок и быстро вышел, едва удержавшись, чтобы не оглянуться. По

огородам и маленьким переулкам выбрался за село и был доволен тем, что не встретил жену.

Пересчитав деньги и убедившись, что на железнодорожный билет нехватит, он зашагал в сторону тайги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Каждый день в зеленую котловину Кузбасса вкатывались шумные поезда, высыпали у маленьких станций и полустанков толпы суетливых людей с детьми, с домашним скарбом. Наскоро сложив жилища из пластов дерна, люди приступали к работе.

А работы с каждым днем становилось все больше и больше. Под одной из сопек, где толщина угольных пластов достигала четырнадцати метров, пробивали новую штольню. За поселком на лужайке рубили кусты ивняка и сдирали дерн, чтобы начать проходку ствола самой мощной шахты.

Всюду стучали топоры, скрипели телеги лесовозов. Бараки для завербованных не успевали строить.

Из соседних сел перевозили кулацкие дома и ставили в две шеренги между линией железной дороги и мутноводной, вертялой речкой Ажой.

Роману отвели в бараке скрипучий топчан с соломенным матрацем. Плотники только-что ушли, и густой запах добротного соснового дерева переполнял новое жилье. Положив мешок на столик между топчанами и кинув на постель стеганый пиджак, Роман отправился на старую шахту, куда его назначило рудоуправление. На крыльце барака он столкнулся с толпой молодых парней в разбитых обутках и холстяных рубахах. Выше всех поднималась острая макушка Дениса Панкратова с выцветшими на солнце жесткими волосами.

— Ромушка, голубок! Ты откуда выпал?.. — дурашливо вскрикнул Денис.

— Я научился у Ивана-дурака: печь затопил, и на ней сюда прикатил. С гор скатился, и кочергой за сопку уцепился... — усмехнулся Роман.

— Неужто пешком?! — подивился Денис. — А я на поезде приехал! И уже на работу поступил, да на хорошую, — говорят, рубликов пятьсот будешь огребать! А тебя куда определили?

— На первую шахту.

— К нам, значит. Просись в бригаду Марфы Теленковой. Будешь зашибать деньги!

Роман ничего не ответил.

Дневной поезд выкинул на станции новую людскую волну. К семейным домам шли большие толпы. Мужчины сгибались под громоздкими тюками одежды, подушек и одеял. Женщины, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, несли в руках корзины. Карапузы, ухватившись за юбки матерей, шлепали по грязи босыми ногами.

На самом берегу реки, где уже зелена придорожная конотопка, густая и кудрявая, как ягнячья шерсть, высокий мужчина, в сапогах с широченными голенищами, в армяке из верблюжьей шерсти и в лисьем малахае с малиновым верхом, развьючивал верблюда. Мужчине помогала молодая женщина. Круглое лицо ее было обрамлено белоснежным джаульком — казахским платком, — и это подчеркивало легкий румянец смуглых щек. Двухлетний мальчуган в черной плюшевой шапочке, с перьями филина, сидел на цветистой кошме. Вслед за тюками и небольшими деревянными ящиками мужчина стал снимать с лежащего верблюда кривые палки и тонкие деревянные решетки — остов юрты. Роману захотелось расспросить, откуда прикочевали эти люди, где и как жили, захотелось поближе взглянуть на странное животное.

Он подошел к кочевникам и, сняв фуражку, поздоровался. Мужчина ответил приятным грудным голосом:

— Сам здравствуй! Откуда пришел, товарищ? Из деревня?

Роман рассказал о себе и спросил казаха — откуда он?

— Мы кочевал из Казахстан. Каркаралы слышал? Дальше Семипалатной, степь большой такой. Зима был худой — степь льдом покрылся, корова пропадал, барашка пропадал, одна эта верблюд остался. — Закончив свое

краткое повествование, казах спросил: — Тебя как звать?

Он повторил за Романом его имя, отчество и фамилию, а затем сообщил:

— Наша звать — Натай, фамилия — Казыбеков. Двадцать три год степь кочевал.

Слушая словоохотливого казаха, Дымнов рассматривал его приятное смуглое лицо с небольшими скулами, удлинёнными карими глазами и черными волосками на верхней губе.

Натай заложил щепотку табаку за щеки, под язык и продолжал расспрашивать Романа:

— Твоя баба есть? Звать как? Моя баба звать Жамал. Парнишко есть, девка есть?

— Есть сын, только в деревне остался, — пробормотал Дымнов и почувствовал, что уши его налились жаром.

Когда Роман собрался уходить, Натай дружески сказал ему:

— Приходи, товарищ, в гости в нашу юрту. Друг будешь.

Было приятно, что вот в новом городе уже есть знакомые, и Роман обещал Натаю заходить в его юрту.

Вернувшись из шахтоуправления, Дымнов нашел Панкрата отдыхающим.

— Ну, богатырь, к нам записался? В забойщики? — спросил земляк.

— Нет, я — коногоном.

— Коногоном? — Панкратов приподнялся и захохотал. — Коногон!.. Все равно, что копновоз. Ребячье занятие...

— Да ты же не знаешь, что коногон в шахте делает, а смеешься!

— Прет тебя, прет от шахты, трусишь, — посмеялся Панкратов и тут же похвалился: — А я ни капли не боюсь!..

— Почет храбрым! — воскликнул Роман, шутивно козырнув земляку.

Раздеваясь, подумал: «Завтра надо встать пораньше. Как-то встретит меня земля?»

2

Шахта № 1 на руднике была единственной, пройденной до революции. Надземные сооружения ее ветхи и убоги: невысокий деревянный кодер походил на лесную наблюдательную вышку;

в маленьком домике, надрываясь, стучал дряхлый паровичок, поднимавший и опускавший клетки; раскомандировка — покосившаяся изба, крыта поамбарному.

Когда Роман подошел к колодцу (все называли его стволом), груженная углем клеть поровнялась с чугунными плитами. Откатчица уперлась ногами в щербатые плиты, выкатила вагонетку из клетки и по рельсам погнала ее к железнодорожным вагонам. Сивоусый рукоятчик зычно крикнул:

— Садись, робята, да поживей!

Входя в мокрую и грязную железную коробку, шахтеры втокнули туда и Романа Дымнова.

Сивоусый подошел к стене и, дергая за рукоятку, четыре раза ударил молотом по буферу от старого вагона. Машинист дал самый тихий ход.

Клеть чуточку приподнялась и стремительно полетела вниз, будто оборвался металлический канат. Роман взмахнул руками, но не нашел, за что бы ему ухватиться. Кто-то картавый, смеясь, посоветовал:

— За пол дегжись, а то упадешь.

Но Дымнов не заметил, что смеются над ним. Он смотрел то на мокрую тесовую обшивку стенок ствола, то на светлое, все уменьшающееся, отверстие над головой, и ему казалось, что деревянные стенки вот-вот сомкнутся. На лицо падали крупные, холодные капли воды, словно в шахту ворвался летний ливень. С каждым метром сгущался неприятный запах сырости, прелого леса и грибов. Дымнов с радостью подумал: «Вроде бы ничего особо страшного нет».

Вторая такая же черная коробка, поднимаясь, поровнялась с первой. На несколько секунд ход клеток замедлился, когда же вторая клеть двинулась вверх, Роману показалось, что это их стремительно поднимают на поверхность.

— Что случилось?.. — спросил он у безусого парня.

— У шахты дно отвалилось, — теперь мы пропали!.. — пошутил тот.

А сосед справа буркнул:

— Ничего, выше неба не поднимут.

С легким толчком клеть опустилась на дно шахты, и люди стали выходить на тесный рудничный двор, где стояло несколько железных вагонеток-опрокидушек, груженных углем. Молодой парень-коногон, подцепив четыре порожних вагонетки, увозил с собой в темноту штрека песню. Она звучала глухо в сыром подземелье:

Встаю я рано на рассвете,
Бегу к лошадке вороной,
Цепляю партию вагонов
И мчуся прямо под забой.

С низкого деревянного потолка лился крупный дождь. Толстые столбы у стен были одеты пышным белым пухом. Роман хотел содрать его, но в руке осталась только противная слизь.

Через несколько минут глаза привыкли к темному подземелью, свет ламп показался ярким, и Роман отметил, что за коногонами волочатся тени-раскоряки, — то бросаются на стенки, то прячутся между стоек.

Свернули с главного штрека. Подземная галлерея стала еще уже и грязнее. Кое-где вода покрывала рельсы.

— Это весна нам нагадила, — сообщил один из старых коногонов. — Нынче вода была большая, еще месяца два в шахте будет так дождить.

Запахло конским навозом, потом и сбруей. Роману эти запахи были приятны. Где-то поблизости отдыхают кони, а с конем всегда на сердце спокойнее, особенно в темную ночь. Здесь всегда ночь, и в этой ночи с четвероногим другом, который, наверно, изучил все шахтные закоулки, Роман будет чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Обгоняя друг друга, коногоны побежали к конюшне. Когда Роман пришел туда, они уже были в стойлах: одни охомутивали лошадей, другие выводили без хомутов и исчезали в той же узкой галлерее. Роман успел заметить, что у многих лошадей на плечах сбита кожа, а на спинах — гнойные язвы.

«На землю бы их сейчас поднять, под теплсе солнышко, скоро бы плечи заживили» — подумал Роман. У коротконового подвижного человека в черной фуражке, из-под которой высунулись

сосульки редких волос, он сердито спросил:

— Почему коней не бережете?

— Где их всех убережешь? — отозвался человек певучим голосом. — Коногонов много, за всеми не уследишь. Опять же сознательность низкая: конь, говорит, не мой, а казенный...

Прощупав Дымнова круглыми кошачьими глазками, он спросил:

— Как вас по фамилии?.. Я здесь конюхом служу, звать меня — Марк, по батюшке Захарьевич, по фамилии Антошин.

Взглянув на старых коногонов, старик сообщил:

— Всех коней расхватили. Придется вам на сей день «Ленивого» запрягать.

В тесном стойле Роман нашел высокого, костистого гнедого коня, ласково похлопал его по сухому крупу.

Конь как-то странно повернул голову и начал обнюхивать нового человека, принесшего с собой запах полей и лесов.

— Да он никак кривой? — спросил Дымнов.

— На оба глаза, мил человек, — отозвался Антошин. — Бедовый конь, говорят, был. Когда его в шахту сверзили, он зауросил — не стал ходить ни в запряжке, ни так: ляжет, и ничем его не сгонишь. Плетьми дерут, а он знает свое, лежит, да и только. Хотели обратно на-гора выдать, но помешал коногон Алешка Забскин: я, говорит, какого хошь уроса в два счета уломаю. Ну, взял он его, да в сердцах как-то и выхлестнул ему оба глаза.

— А конь не старый, и сила в нем должна быть, — сказал Дымнов, расчесывая пальцами косматую вороную гриву.

— Силы у него, как у слона... Но больше двух вагонеток, мил человек, не прицепляй, — не повезет.

По штреку «Ленивый» шел осторожно: голову держал низко, а ноги поднимал высоко, нащупывал конскую дорожку между рельсов. Изредка Роман останавливал его и прислушивался: тишину тревожило едва слышное дыхание коня да капли воды, разбивающиеся о камень. Казалось, что впереди подсте-

регает какая-то мохнатая темнота и сзади крадется по пятам. Роман ехал дальше, и темнота трусливо отодвигалась в глубь шахты.

По пути новый коногон настороженно поглядывал на стойки: многие были переломлены, некоторые вдавлены в почву. Он приподнял лампу и взглянул на обросшие грибками перекладки — и среди них попадались погнутые и надломленные тяжелой кровлей.

Но вот темнота, стиснутая с двух сторон светом ламп, метнулась в углы и исчезла. Роман увидел на одной из толстых стоек старую лампу «Бог в помощь», похожую на жестяной чайник. В тонком носке горел обожженный фитиль.

В прежнее время все шахтеры Кузбасса работали с такими факелами. Открытый огонь мог вызвать взрыв газа, и лампу следовало бы назвать не «Бог в помощь», а «Пронеси, господи». Теперь же эта рухлядь держалась — да и то благодаря беспечности управляющего — только на главных штреках, в самых безопасных местах.

Роман увидел девушку в красной косынке. Она сидела на скамье в неглубокой нише между стойками. Колеблющийся свет лампы падал на ее приподнятую руку, в которой она держала небольшую растрепанную книжку. Как только коногон поровнялся с ней, она бросила книжку на скамью.

— Куда едешь?

Называя свой участок, Роман успел заметить, что у девушки — черные, мило изогнутые брови, тень на щеках от длинных ресниц и веселый блеск карих глаз.

— Новенький, что ли? — спросила она, передвигая ломиком стрелку.

— Первый раз еду.

— Видать по лицу... и по коню... — сказала девушка и, добродушно улыбаясь уголками губ и ямочками на щеках, подбодрила: — Ты не робей, страшного тут ничего нет.

Коротко рассказала, куда ему ехать. Слушая ее, Дымнов смотрел на свою лампу.

«Неужели со стороны кажется, будто я трушу?» — подумал он и хлестнул

коня. Хотелось чем-нибудь доказать девушке, что он едет смело. Спеть бы песню, да шахтерских песен Роман не знал. А над деревенскими частушками девушка может посмеяться.

Приближаясь к новым выработкам, он встретил Панкрата. Денис шел, ударяя пальцем по стойкам.

— Ты что людей смешишь? — спросил Роман.

— Круги считаю! — не расслышав приятеля, заодно сообщил Денис. — Одна перекладка и две стойки — круг. А перекаладина здесь называется огнивом. Меня послали сосчитать, сколько в шахте кругов.

— Посмеялись над тобой.

— Много ты знаешь... восьмилетний коногон! — огрызнулся Панкратов. — Ежели в шахте кругов меньше, чем требуется, она обвалится.

И он пошел дальше, продолжая подсчет.

Через некоторое время Роман опять увидел его. Парень шел быстро и не поднимал головы.

— Стой!.. Вот эти круги забыл подсчитать.

Денис не отозвался, ухватился руками за ступеньку и полез вверх, в черную тесную нору, туда, откуда доносились глухие звуки ударов.

Роман прислушался, и ему показалось, что где-то в темноте дятлы долбят гнилое дерево.

3

Поднявшись на-гора, шахтеры шли в мойку. Это был небольшой домик, разделенный тесовой перегородкой, по одну сторону которой мылись мужчины, по другую — женщины.

Роману мойка понравилась. Он пожалел только, что нет пара.

— Попариться любишь, иди в городскую баню, — посоветовал невысокий пожилой человек, споласкивая мыло. Руки его были покрыты синими пятнами, будто забрызганы краской. — Посмотрел бы ты, как раньше жил шахтер. Вылезет на-гора весь мокрый, грязный, ежели летом — то прямо в речку падает, а зимой — бегом до ба-

рака. Жена к той поре уже вскипятила воду в большом чугуне. Посадит мужа в стиральное корыто, большую-то грязь с тела собьет, а маленькая так и остается.

— Озорничали раьше? — спросил Роман, кивнув головой на перегородку.

— А ты думал!.. Люди были грубее, сердитее. Шахтерская работа, она — тяжелая, — обругается человек, будто и легче станет.

Слова Романа были услышаны в женском отделении, и оттуда донесся басовитый, озорной голос:

— Что за монах объявился там? Не наш ли считальщик?

— «Кузбасс-баба» ввязалась — теперь всех нахлещет, — сказал пожилой шахтер. — Ей на зуб не попадайся.. Вон как грохочет!..

Через перегородку перевалился грубый хохот, будто поблизости упала поленица сухих дров.

— Это Марфа Теленкова, — сказал Панкратов. — Она, окаянная, сегодня подшутила надо мной!..

И он, чтобы избежать насмешек Марфы, стал рассказывать, как считал в шахте стойки.

— Ох, и силища у этой Марфы! Пятых мужиков за пояс заткнет, — с завистью сказал смуглолицый шахтер, потом успокоил Панкратова: — К тебе, молодчик, милостивую шутку применили. А то, бывает, новичков посылают в соседний забой за гнутыми костылями. Паренек пойдет и ляпнет: «Дайте нам гнутых костылей». Его спросят: «Сколько штук требуется?», а после того повалят на спину, ноги к голове подогнут и по мягкому месту нахлещут: «Вот тебе гнутые костыли!..» Это давно, от горькой жизни, такая привычка у шахтеров завелась — подшутить над новеньким.

— А вы, однако, мастер про старое рассказывать?

— Интересуешься?.. Забегай в выходной. Спроси Митuzова, тебе всякий мою квартиру укажет.

Роман спросил, отчего у него на руках такие странные пятна.

— Это меня земля попятнала, — зна-

чит, буду шахтером до гроба. Был я в завале, и вот обе руки помяло.

Дымнову понравилось, что шахтер рассказывал о завале, будто о прошлогоднем осеннем дождике, и он подумал, что когда-нибудь сам будет таким же.

Они вместе вышли из мойки. Впереди них спешили к мосту две девушки. Одна ростом, крепкими плечами и красной косынкой напомнила Роману бойкую стрелочницу с задорными карими глазами, которая давеча заставила его смущенно опустить взгляд, и он уже не слышал, о чем рассказывал Митuzов. «Да, она смелая девушка, и походка у ней такая напористая...» — подумал он.

Девушки повернули направо. Митuzов остановился и окликнул:

— Варюша!..

Девушка в красной косынке оглянулась.

— Я сейчас, папа... только Ньюру провожу.

— Не опоздай к обеду... Мать не любит по два раза суп разогревать, — крикнул Митuzов.

«Варя!.. Красивое имя!.. — подумал Роман. — А в наших деревнях возле тайги попам за крестины помалу платили, вот они и намакали Акулин...»

В бараке Романа ждал Панкратов.

— Ну, Ромша, и уголька мы нарубили!.. Больше всех!.. — начал он. — Поглядел бы ты на бригадиршу нашу, на Марфу!.. Не зря ее «Кузбасс-бабой» прозвали. Ну и баба!.. В плечах широкая, лицо круглое да красное, а глаза такие острые, — все насквозь видит. А как начнет уголь ворочать, — пыль столбом! Даже нисколько не обидно, что такая посмеялась надо мной.

— Ты все круги подсчитал или не успел? — пряча улыбку, спросил Роман.

— Нет, какая-то девчонка помешала, — усмехнулся приятель. — Я иду, а она ломом возле рельс ковыряет: «Стой, говорит, дядя, все круги не считай, другим дурачкам оставь». Я опешил и счет позабыл. А она и спрашивает: «Это тебя Теленкова послала круги считать? Пойди назад и скажи: «Пока ты, Марфа, под землей ходишь, нам

бояться нечего, ты своим горбом кровлю подопреешь...»

— Да-а, брат, Денис Михайлович, дожили мы с тобой, достукались, что бабы над нами насмеваются... — едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, проговорил Роман.

И попытался представить себе девушку в ту минуту, когда она разговаривала с Панкратовым.

4

На следующее утро Роман спустился в шахту раньше других коногонов. В конюшне было слышно, как дышали кони да лениво струилась вода в канаве. Две жирные крысы, волоча хвосты, пробежали от ларя с овсом к складу сена. Дымнов прошел к стойлу «Ленивого». Конь, перекинув голову через низкую перегородку, чесал зажелтевшими зубами шею соседке, пегой «Зиме». Она, в свою очередь, грызла у него за ушами. Так лошади чешут одна другую на солнечных лугах во время сытого отдыха. Роман вспомнил поле, коней, на которых работал в колхозе. Там был один такой же темногнедой, только ростом пониже «Ленивого»... Хорошо теперь в полях! Березовые перелески полны голубых медунок, весеннее солнце — ласковое, нежное, ветерок рассеивает золотистую пыльцу вербы...

«В выходной день обязательно схожу за город...» — решил Дымнов.

Конь обнюхал человека и положил голову ему на плечо.

— Узнал?.. — спросил Роман, поглаживая короткую шерсть выше горячих ноздрей. — Узнал, друг? А я тебе хлеба принес. Наверно, давно его не ел?

«Ленивый» жадно схватил хлеб, слегка прищипнув зубами пальцы. Изжевав и проглотив кусок, он стал отыскивать губами руку Романа. Тем временем через перегородку протянула морду «Зима» и легонько ущипнула коногона за плечо. Он отпугнул кобылу и остаток хлеба отдал «Ленивому»; открыл ларь с овсом и, бездумно зачерпнув полные пригоршни, словно это был его домашний закром, бережно понес слепому ко-

ню. Потом он отыскал скребницу, щетку и стал чистить его.

Семена короткими ногами, в конюшню вкатился Антошин и, увидев коногона, удивленно воскликнул:

— Раненько встаешь, мил человек! Видать, работающим пахарем был?! Да ты никак опять «Ленивого» собираешься запрягать?!

Ощупав потники хомута, Роман спросил:

— Почему хомут не просушил?

— А у меня здесь печек много? — огрызнулся Антошин, обнажив тесные ряды мелких зубов. — Все мной довольны, на тебя одного не угодил.

А через минуту, подобрев, он пожаловался:

— Есть которые коногоны, даже оставляют сбрую у выработок... Хомут бросит, коня непустит, а сам по печка нагора вылезет.

— И кони одни приходят сюда?

— А то куда же? Конь — тварь умная.

— Надо о таких коногонах сообщать управляющему.

— О том, что ты овес без спроса берешь, может, тоже управляющему сообщить? — кривя синие губы, спросил Антошин. — Я не такой человек.

Дымнов сдернул с себя сапоги, разматал портянки и сделал из них пояски на хомут:

— Вот с эдакими подкладками дней пяток поработаем, и плечи твои заживут, — тихо сказал слепому коню и повел его из конюшни.

В этот день за четыре часа Роман вывез угля больше, чем накануне за всю смену, — он меньше раздумывал во время работы и все реже останавливался, чтобы прислушаться к подземным шорохам и звукам. Еще не побывав в забое, он уже отличал удары по углю от ударов по стойкам, которыми забойщики подпирали кровлю. Он начинал свыкаться с глухими взрывами динамита и не вздрагивал безглаго при виде крыс, пробегавших по штрекам. Но в этот день случилось такое, о чем Роман долго не мог вспомнить без смущения. С порожними вагонетками он спешил к месту работы. На его пути, над самой

головой была печка, которой уже не пользовались, но еще не успели забить досками и замазать глиной. Выше печки начала садиться кровля в длинном старом забое — в лаве, из которой люди уже давно ушли. С треском ломался сухой крепейный лес. Сотни тысяч тонн породы обрушивались на почву, на которой когда-то лежал угольный пласт. Штрек наполнился громом, густым гулом, земля содрогалась. Дикий ветер ворвался в штрек, и стало понятно, что шахта обваливается. Роман не запомнил: то ли он сам выпрыгнул из вагонетки, то ли его ветром выбросило, только очнулся он бегущим в сторону рудничного двора. И в этот миг его схватили за плечо и остановили:

— Куда побежал?.. Чего испугался?..

Оглянувшись, Роман увидел сияющее задорной улыбкой лицо стрелочницы, ее сверкнувшие белизной зубы и веселые карие глаза.

— Села пустая лава, — бояться ничего, — спокойно сказала девушка.

Роман не промолвил ни слова: повернувшись, он побежал против ветра. Теперь он завидовал Панкратову, — лучше бы вчера быть на его месте, чем сегодня показать себя таким трусом.

«Ленивого» нашел недалеко от печки, из которой нужно было выгружать уголь. Конь дремал, низко опустив голову.

Гром отодвигался все дальше и становился глуше, будто уходила за горизонт грозовая туча. Роман прислушался: над головой, в толще земли, люди продолжали стучать так же равномерно и спокойно. И так же, как раньше, поблескивая, сыпался уголь в вагонетку.

5

Варя Митузова работала в шахте третий месяц. В ту весну на руднике только и разговора было, что о предстоящей механизации подземных работ. Говорили, что скоро появятся машины, которые будут рубить уголь, и что лошадей на откатке заменит электровоз. Варя думала о том, что она одной из первых научится управлять машиной в подземном коридоре.

В шахту она вошла без робости, как в родной дом. Воспитанная на рассказах деда и отца о труде горняков, она увидела штрек таким, каким рисовала его себе, оттого в душе ее сразу поселилось спокойствие.

Варя дежурила на одной из главных шахтных «площадей», которую горняки прозвали «Москвой». Но даже там, в подземной «Москве», движение было столь слабым, что девушка вскоре заскучала, не зная, куда девать свой досуг. У нее родилась мысль — брать с собой книгу. Строгого контроля тогда не было, и ей не составляло никакого труда пронести книгу в шахту. Она любовно обертывала ее газетой, часто мыла руки в канаве с грунтовой водой, но следы пальцев оставались на страницах, и после работы приходилось стирать их резинкой, чтобы потом не ворчала старшая сестра, книгоноша.

Десятник Водохватов был недоволен тем, что девушка таскает с собой книжку, и не раз бурчал, что пожалуется начальству и добьется перевода Вари на другую работу. Но «площадь» ее блистала, как комната, чистотой, поезда проходили без задержки, и придаться десятник ни к чему не мог.

Девушка с книжкой в шахте — это было необычно, и конононы смеялись над ней, а когда заметили, что она не ругается так хлестко и скверно, как другие, стали покрикивать:

— Эй, ты, монах, в бабьих штанах!..

На насмешки Варя отвечала молчанием.

Новый коногон привлек внимание Вари тем, что он не удивился ее книге. Ей хотелось узнать, кто он такой, откуда приехал, надолго ли завербовался на шахту. Но он был скуп на слова, всегда спешил то на рудничный двор, то к месту новых выработок и даже старался не смотреть на Варю. Ей понравилось, что он, молодой, здоровый и сильный человек, несомненно, будущий забойщик, для начала поступил конононом.

В тот день, когда отец окликнул Варю за мостом, она взяла у Нюры взаймы тридцать рублей.

— Я давно собираюсь завиться... — сказала она. — До полочки ждать не хочется... все девушки завиты.

Но отец предупредил Варю, чтобы она не опаздывала к обеду, и ей пришлось отложить посещение парикмахерской. Нюра заметила, что голос подружки дрогнула, когда та отвечала отцу. Рядом с Митузовым шел молодой коногон, и Нюра шепнула с лукавой улыбкой:

— Бравый парень... этот, новенький!..

Варя промолчала. Прощаясь с подружкой, сунула ей хрустящие бумажки.

— Я раздумала... Ни к чему мне это...

6

Марфа Теленкова первой из женщин пошла в забой и, работая там, обгоняла многих опытных забойщиков. Рассказывали, что она отличалась большой смелостью и всегда помнила первую заповедь шахтера — не покидать товарища в беде, какая бы опасность ни угрожала тебе самому. Однажды во время большого обвала, освободившись от угольного плена, она быстро откопала товарищей и одного за другим вынесла на главный штрек. Шахтеры уважали Марфу за смелость и ловкость, за крутой ее нрав. Дымнову хотелось посмотреть, как работает эта сильная женщина, поучиться у нее горняцкому мастерству.

Роман вышел на работу на час раньше смены. Не заходя в конюшню, направился прямо к новым печам и, с бригадой Марфы Теленковой, стал подниматься в забой. Лестницы, поставленные почти вертикально, он нашел очень неудобными. Многие ступеньки — и без того далеко отстоящие одна от другой — были поломаны, приходилось подтягиваться на руках. При малейшей неосторожности сорвешься и полетишь вниз. Впереди Романа поднималась сама Марфа Теленкова. Она настолько плотно заткнула собой печку, что Роман не видел света лампы, висевшей у нее на груди.

Очутившись в забое, Роман невольно

остановился: ему показалось, что он в глухую полночь попал в густой горелый лес, растущий по крутому склону горы. Но здесь деревья не уходили корнями в землю, а стояли на длинных горбылях, где для них были вырублены неглубокие гнезда. От стойки до стойки было не более метра. За первым рядом следовал второй, третий, четвертый...

Марфа быстро передвигалась по крутому склону. На одни стойки она наступала, за другие цеплялась руками и перекидывалась дальше. Крепежный лес, казалось, гнулся под нею.

Теленкова остановилась, одной рукой придерживаясь за стойку, подняла свою лампу и, оглянувшись, спросила:

— Кто там еще ползет, как жуелица?

Роман увидел как бы полную луну, вдруг засиявшую в ночи.

Денис отозвался:

— Наш этот человек, деревенский, коногоном на шахту поступил. Идет посмотреть, как мы уголь рубим.

— Пусть поглядит, — одобрила женщина. — Работнем сегодня на удивление!..

Вот и пласт. Черная угольная толща. Из нее как бы рвутся к лучам лампы тысячи светлячков. А слева — сизая наклонная кровля, как крутая крыша в амбаре. Чудилось — вот-вот она сомнет крепление и с грохотом ляжет на почву.

Марфа осмотрела уступ мягкого угля, встала на доску и начала кайлой долбить черную стену. По соседству с ней рубил уголь Денис Панкратов. После каждого его удара на почву падали и катились вниз мелкие кусочки угля. А Марфа отворачивала целые глыбы. Не глядя на ученика, она покрывала:

— По кливажу лупи, по слоям.

— Вы без динамита работаете? — спросил Роман.

— Я кайлой даю больше, чем другие динамитом, — похвалилась Теленкова. — И забой у меня всегда чистый, газу нет.

«Видать, в работе старинки придерживается» — подумал Роман. Женщина грубо прикрикнула на него:

— Иди-ко ты, паренек, вниз уголь выгружать, — я завалю тебя.

Роман спустился на основной штрек, печка была уже полна угля.

Отъезжая с первым поездом груженных вагонеток, он запел:

Вот конь мой мчит вагоны
По узкой грязной колее...

И был рад тому, что уже знает одну шахтерскую песню.

Часа через два, возвращаясь с порожняком, Роман вздрогнул от глухого гула.

«Опять где-то в пустых забоях садится кровля» — решил он.

Но в это время из соседней печки выпал долговязый человек. Поднявшись на ноги, он побежал в сторону рудничного двора. Дымнов узнал земляка и окликнул его, но Денис, не оглядываясь, пронзительно взвыл:

— Всех подавило!.. — И, пригнув голову, побежал еще быстрее.

Роман быстро поднялся в соседнюю выработку, во весь голос крикнул шахтерам:

— Марфу завалило-о!.. Бегите спасать!

Захватив с собой лопату, он вместе со старыми горняками влез в изуродованный забой Теленковой. Ровной черной стены не было и в помине. В колышущемся свете ламп виднелись нависшие глыбы угля. Порода пошелкивала, угрожая новыми обвалами. Над печью лежала груда разрыхленного угля, смешанного с камнем и поломанным крепейным лесом. Откуда-то из-под этой груды вырывались приглушенные стоны. Там, широко расставив ноги, человек руками отгребал уголь и отбрасывал куски породы.

— Сюда!.. Один живой покамест... — крикнул он людям, спешившим на помощь.

Роман не отставал от забойщиков и не думал об опасности. Прыгая со стойки на стойку, он добрался до того места, где шахтер откапывал своего товарища. Лопатами они быстро отбрасали уголь и, схватив человека за руки, вытянули его. Мелкие куски угля сыпались с его одежды. Лицо было

бледносиним, усы и брови — черными от пыли, губы вытягивались, искривлялись, он силился что-то вымолвить. Двое понесли его, остальные продолжали разгрести уголь. Романа отправили вниз и, чтобы ускорить разгрузку печи, дали в помощь ему двух коногон.

На основном штреке он снова увидел помятого шахтера. Опираясь руками о плечи двух человек, забойщик осторожно передвигал ноги. Он как бы вытаскивал изо рта тяжелые слова:

— Я говорил: «Надо закрепить». А она засмеялась: «Не дрожи, простоит и без крепи». «Алдан» хотела взять. Вот... взяла...

Роману объяснили, что «алданом» шахтеры называют нависшие глыбы угля. Находятся люди, которые, пренебрегая опасностью, решаются подрубить глыбу без крепления, — вот это и называется «взять алдан».

«Рисковая была...» — подумал Роман о Марфе, как о мертвой, и ему стало грустно. Несколько часов назад он любовался смелостью, ловкостью этой женщины, силой ее удара по пласту угля. Она была весела, жизнерадостна. И вот земля отомстила ей за ненужный риск.

Возвращаясь порожняком, Роман всякий раз осведомлялся о том, как идут поиски Марфы, и обычно получал в ответ угрюмое:

— Не скоро ее откапашь — завал огромный.

Третий раз нагружая свой поезд, он заметил, что черный грохочущий поток вот-вот иссякнет, встал на край вагонетки и ломом ткнул в тесную нору. За ударом не последовало звука, лом коснулся чего-то мягкого. Роман вздрогнул и спрыгнул на шпалы. Из печки свесилась ступня, обутая в старую калошу, затем показалась коленка в крови, смешанной с угольной пылью. Это было столь неожиданно, что Роман отскочил в глубь штрека. Спустя минуту он корил себя:

«Чего испугался?.. Экая невидаль — покойник».

Конгоны помогли перенести тело забойщицы в пустую вагонетку, и Роман

отвез его на рудничный двор. В клетки прикрыл своей курткой...

В конце дня, поднимаясь на-гора, он услышал, как усатый шахтер говорил своим соседям:

— Теперь я долго не смогу один оставаться в шахте, — все будет казаться, что Марфа по забоям ходит да об уголь кайлой постукивает.

Вернувшись в барак, Роман нашел койку Панкратова пустой. Уборщица, горбатая вдовушка, недавно приехавшая из деревни, спросила его:

— Ты тоже, как заяц, в кусты метнешься?.. Домой?.. — И, не дожидаясь ответа, продолжала: — Своя жизнь всякому дорога. Посмотри, сколь коек оголилось...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Дымнов и Натая остановились у порога столовой.

— Места есть. Сегодня, Натая, ты — мой гость. Угощу я тебя твоим любимым... — Роман не договорил и, тряхнув головой, по-казахски прищелкнул языком; подошел к столу, за которым сидел американец, инженер Биллинг, и, как хозяин, отодвинул один из стульев. — Садись. Я сейчас принесу...

Казыбеков сел, сдернул с бритой головы лисий малахай, положил на угол стола и, достав табакерку, начал высыпать из нее зеленый табак на свою жесткую, бурую ладонь.

Биллинг смотрел на казаха из-под нахмуренных тяжелых бровей, нижняя губа его вздрагивала. Он вспомнил родную страну, где цветным запрещен вход в рестораны, театры и магазины для белых.

Инженер перенес взгляд на малахай, рядом была открыта форточка, и лисья шерсть малахая шевелилась от ветра.

— Вон, вон!.. — закричал Биллинг, бледнея, и указал пальцем на шапку.

— Моя!.. — Натая поднял малахай и потряс над столом. — В казахская степь все такой шапка носит. Теплый! Лисица шкура сдирал!.. Гляди.

Американец вскочил, вышиб у него малахай из рук и, сжав кулаки, спросил с дрожью в голосе:

— Ви скоро будет уходить.. желтой собака?

Казах поднял малахай и хлопнул им по столу.

— Я худой слов не говорил... Почему ты верблюжий песня запел?..

Перегнувшись через стол, Биллинг толкнул Натая кулаком в грудь.

Роман обернулся на шум и, забыв кружки с кумысом, подбежал к иностранцу, схватил его за руку:

— Ты что здесь глотку раскрыл? Что, говорю, кулаками машешь! Чем он тебе помешал?

Из-за соседних столиков повскакивали рабочие, инженеры.

— Правильно. Тащи его в милицию.

— Здесь ему не Америка.

— Он — желтый. Оскорбляль меня...

— Что ж такого, что он желтый? У нас хоть пегий будь, все одно со всеми ровня.

Инженер Шеровский продвинулся к американцу и солидно, с сознанием собственного превосходства, сказал по-английски:

— Коллега! Уважайте закон страны, которая дала вам работу.

— Разве вы не слышали, что делают эти дикари? — спросил Биллинг. — Они воруют белых детей и режут! Мне говорили сами русские.

— Первый раз слышу такую контрреволюционную пропаганду, — возмущенно сказал Шеровский, а жена его Эмилия Нестеровна повторила эту фразу по-русски.

Роман продолжал держать иностранца за руку. Какой-то человек в сером костюме раздвинул толпу и взял его за другую руку.

— Идемте.

— Это есть варварство. За один желтый дикий арестовать честный белый! — кричал Биллинг. — Вы будете отвечать перед весь цивилизованный мир!

Столовая опустела, — все вышли посмотреть: поведут иностранца в милицию или отпустят.

2

Два дня спустя произошло еще одно событие, о котором долго говорили на руднике. Ночью — между сменами — отказал один из насосов. К этому времени уровень речки был уже пройден и низвергающихся в шахтный ствол потоков стало больше. Хотя остальные два насоса работали без перерыва, к рассвету вода в шахте поднялась до трех метров. Утренняя смена застала механика Мейнла за разборкой машины.

— Большая поломка случилась? — осведомился шахтер Андрей Батькин.

— Диск не выдержал, — через переводчика сообщил механик.

— А мне думается, что внизу хряпок засорился, — возразил шахтер. — Еще вчера этот насос захлебывался.

Он прошел к стволу и потребовал бадью, но рукоятчик сказал, что без разрешения механика никого в шахту не спустит. Батькин вернулся в водоотливную и настойчиво попросил Мейнла:

— Спустите меня, в два счета все поправлю.

Механик прикрикнул, чтобы ему не мешали работать.

— Не мешать?.. Не мешать вредить?.. — вспылал шахтер и обругал механика. — На шахте авария, а вы кого-нибудь известили? Где управляющий? Где главный инженер?

Мейнл бросил работу и, заявив, что снимает с себя всякую ответственность, ушел.

— Ну, что будем делать, ребята? — спросил Батькин, обращаясь к шахтерам.

— Ваша слово правильно, — испортился там, внизу, — поддержал чех Малек.

— Открывай ляду! — крикнул Андрей Матвеевич и, торопливо сбрасывая резиновую шахтерку, с усмешкой добавил: — Я теперь здесь — самый старший.

Голый, он казался еще выше и сутулее. Тело его было узловатое, смуглая кожа гладкая и блестящая, будто ее смазали гусиным салом.

Рукоятчик открыл разбухшую ляду. Шахтер ухватился за канат и перекинул ноги в железную бадью. Под его тяжестью бадья качнулась в сторону, затем начала медленно опускаться в просторный колодез и, миновав неширокий бетонный пояс в опалубке, вошла в полосу ливня. Косые струи били со всех сторон, словно полные дождя, грозовые тучи столкнулись тут в борьбе.

Стиснув зубы, Батькин старался не замечать холодного, хлесткого дождя. Когда днище бадьи шлепнулось о темнозеленую поверхность, он перегнулся через борт и, вытянув руки, щучкой бросился в воду. Все тело его пронизали острые иглы холода. Но вот руки коснулись шербоатой породы, и шахтер начал продвигаться к углублению в углу, где полагалось быть хряпку испортившегося насоса. А вот и он! Но почему пальцы нащупали не железо, а что-то мягкое? Тряпка?.. Так и есть! Ни одного открытого отверстия!.. Андрей Матвеевич начал выдирать тряпку, но тут почувствовал, что сможет продержаться не более двух-трех секунд, и со всей силой оттолкнулся от породы, чтобы скорее вынырнуть на поверхность. Ухватившись за край бадьи, Батькин сделал несколько глубоких вдохов, а затем снова погрузился в воду.

Тем временем на шахту приехал Шеровский. Лежа на раме у открытой западни, он смотрел в колодез. Когда Батькин вынырнул третий раз и взобрался в бадью, инженер взмахнул рукой, чтобы шахтера быстрее выдали нагора.

Подняв выше себя рваную заиленную портянку, Батькин потрясал ею и гремел:

— Полюбуйтесь, товарищ инженер! Все отверстия были забиты!..

По его коже, покрывшейся пупырышками, как у ошипанного гуся, стекала вода.

— Откуда эта портянка взялась? С чьих лап? — кричал Батькин, а сам притопывал ногами, чтобы скорее согреться. — Да и такого ила в шахте тоже не могло быть...

Его окружили рабочие. Малек принес белье и настаивал, чтобы шахтер немедленно оделся.

3

Секретарь райкома Виктор Сергеевич Левченко в это время был в Новосибирске. Вернувшись на рудник в полночь, он в десять часов утра вызвал Батькина и Боркуна, управляющего шахтой «Великан». Встретил их, стоя за столом; пожал руки. Подождал, пока они сели, а потом, глядя на шахтера, спросил:

— Ну, Андрей, как ты там иностранцев шпыняешь, а? Рассказывай.

— Что ж рассказывать-то, Виктор Сергеевич?.. Большой ссоры у меня с ними вроде не было...

— А маленькая не в счет?

— О маленьких задоринках вспоминать — только время терять. Вот о вчерашнем еще можно помянуть.

— Как ты там вчера воевал?

— Из-за насоса чуточку поспорили.

— Хороша «чуточка»! — невольно улыбнулся Левченко. — Вредителем называл?

— Так это ж под горячую руку... Надо было аварию ликвидировать. В горячке и он может меня обложить, — я жаловаться не побегу. А, по правде сказать, Виктор Сергеевич, я думал, что он ни чорта не поймет...

— Худое для некоторых из них доходчивей доброго... А погорячился ты зря.

Левченко перенес взгляд на Боркуна:

— Иван, ты охрану в ночное время намерен усилить? Сколько у тебя сторожей? Один на всю площадку? Так могут разворовать и перепортировать все машины.

— Я, Виктор Сергеевич, полагаюсь на революционное сознание масс...

— Не болтай. Скажи прямо: прошляпил.

Боркун смущенно улыбнулся и сказал:

— Прошляпил. Сегодня поставлю сторожей к каждому большому объекту строительства.

— Ты не думал о том, что для ино-

странных специалистов следует открыть особую столовую? Подыщи помещение. Не найдешь — построй новое. В две недели. А потом, что у вас за порядок — в пальто и шапках впускают в столовую!

Боркун хотел спросить — прорабатывать ли на собраниях поступок американца, но Левченко сказал:

— Гнусная вражья выдумка о казахах и русских детях уже широко гуляет по городу. Начнем бить по ней. На вашей шахте нужно провести первый вечер казахского народного творчества.

— Откуда артистов пригласить? Из Алма-Ата? — спросил Боркун, раскрывая записную книжку.

— Найдите среди рабочих. Певцы и музыканты среди них должны быть.

— Да ведь это же...

— Не твое дело, хочешь сказать? — перебил секретарь. — Нет, и твое дело. Человек после работы повеселится вечером, попоет, попляшет, — на завтра и уголь рубать начнет бойчее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Нелегко было решить, на что израсходовать получку: хотелось скорее одеться по-городски, но охотничья страсть напоминала — нельзя на осенний сезон остаться без ружья. Решение пришло неожиданно. На одном шахтном собрании Роман увидел, что у Вари Митузовой — вся голова в кудрях, и навязчивая думка вторглась в голову: «Встретит в праздничный день — назовет деревенщиной!» В тот же вечер он купил ботинки, шерстяные брюки в полоску и рубашку из белого зефира, хотя и считал его очень марким. А на ружье решил откладывать по несколько рублей от полочки.

Когда Роман услышал, что накануне выходного комсомольцы, по обычаю, устраивают костер на одной из сопок и что вся молодежь соберется туда, он сходил в магазин за шелковым галстуком, который потом доставил ему немало горьких минут. Началось с того, что

сосед по койке, курносый парень, увидев попку, гаркнул на весь барак:

— Ромка притащил ошейник!

Возле Дымнова вмиг собралась толпа.

— Ну, Ромка, теперь по тебе все девки будут сохнуть!

— «Монашка» бросит книжку, в тебя влюбится.

Дымнов вздрогнул, брови его сошлись в одну черту. Хотелось крикнуть: «Не из-за девки же я, чорт возьми, купил галстух!..»

Как ни старался Роман перед зеркалом, а красивого узла завязать не смог; махнул рукой и, раздвинув хохочущую толпу, выбежал из барака. Промелькнули улицы, переулки, дома, огороды. Вскоре город остался позади. Не зря еще в деревне за широкий и скорый шаг его прозвали «бегуном».

День уходил на запад; обнищавшие листья березки светились. Под ногами шуршал сухой лист.

За кустами — неторопливые шаги. В тихом говоре женщины послышалось что-то знакомое, и Роман тревожно оглянулся. Он увидел прямоплечего парня в костюме цвета поблекшей осенней травы. Парень вел под руку Варю Митузову. Девушка вполголоса рассказывала о чем-то веселом и озорно встряхивала головой. Вот она, даже не вздрогнув от неожиданной встречи, подняла на Романа правдивые карие глаза. В них зажглись огоньки радости, но в тот же миг погасли, лицо ее стало серым.

Дымнов круто повернул вправо и скрылся за кустами.

Вскоре он оказался на тропинке и, сам не замечая того, пошел так медленно, что его то-и-дело обгоняли парни и девушки. Он думал о Денисе Панкратове; вернувшись домой, парень сообщит Ефросинье Власьевне рудничный адрес Романа. Скоро почтальон принесет письмо. Жена будет звать домой, о прошлом же не напомнит ни одним словом. И Роман ответит ей, что будущей весной, выполнив договор, вернется в родное село.

На широкой каменной вершине лысой сопки уже плясало веселое пламя. Вокруг костра расположились группами парни и девушки. Голоса их звенели дружно, и песня лилась могучим потоком.

Но вот пришел Митузов, и песня смолкла. Шахтер заговорил спокойно, как дома, в своей семье. Слова его напомнили о днях, которые в памяти Романа навсегда остались далекими негаснущими кострами. Казалось, где-то на склоне сопки полощутся на ветру партизанские знамена, позвякивают удила боевых коней.

«Спрошу Митузова, не был ли он в Раздолье» — решил Дымнов. Но взгляд его упал на фигуру девушки, стоявшей неподалеку от отца, и думы о прошлом вдруг оборвались. При свете костра лицо девушки казалось еще румянее и красивее. Она была в коричневом шерстяном костюме. Рядом с нею стоял скуластый парень. Бородачев!.. Какая неприятная фамилия!.. Губы у него толстые и немного вывернутые, а тусклые черные глаза кажутся наглазами. Едва ли такой ухажер согласится попусту бить ботинки. Из-за таких и сопку прозвали «Алиментной».

Роман не хотел смотреть на Варю, но неожиданно взгляд его столкнулся с ее беспокойно ищущим взглядом, и он почувствовал себя виноватым. Все знают, что она скромнее многих девушек, работающих под землей. Говорят, еще никто не слышал, чтобы она обругалась скверным словом. Может, она случайно встретила Бородачева? Если так, то домой пойдет с отцом и можно будет вместе с ними спуститься в город. Роман спросит партизана о Раздолье: далеко ли оно отсюда и где там братская могила?

Дружные аплодисменты заставили Дымнова вздрогнуть. Кто-то громко гаркнул: «Товарищ Боркун!» И опять — аплодисменты. На каменную плиту влез полный человек и стал спиной к огню. На голенищах хромовых сапог играли отблески потухающего костра.

Роман рванулся к камню. Шагал через парней, полулежавших на земле. На

него ворчали, но он шел, не оглядываясь. Оказавшись возле самой плиты, посмотрел на «американца» снизу вверх, на сердце у него защемило.

Боркун заговорил о Раздолье, но, рассказывая о разгроме отряда, он ничего нового не прибавил к тому, что было известно многим, а о гибели пушкаря Дымнова даже не упомянул.

Когда оратор умолк, Роман хотел задать несколько вопросов, но парни сняли Ивана Семеновича с плиты и начали дружно подбрасывать в воздух.

Но вот Боркун уже — на ногах. Вот идет он к лесочку, у которого стоит конь, запряженный в ходок — легкие дрожки с прутяным кузовом.

Роман забежал вперед, остановил его и спросил нарочито громко:

— А вы не помните кузнеца Дымнова?

— Дымнова?! — Боркун взглянул в лицо парню. — Как же можно забыть такого героя?! Сегодня я торопился на шахту и о многих не упомянул.

— А ты — сынок Алексея Павловича? — гудел он, вводя Романа подальше от людей. — Заходи ко мне, поговорим, повспоминаем. Я ведь помню тебя таким мальчуганом. Ты, наверно, охотник? Алексей не мог не заразить сына этой страстью. Как-нибудь съездим на охотишку. Я тебе дам свое ружье...

Он говорил быстро, без-умолку, его невозможно было перебить. А когда они дошли до ходка, предложил Роману место рядом с собой, но тот отказался.

Оставшись один, Дымнов вспомнил, что хотел возвратиться в город вместе с Митузовыми. Но на вершине сопки уже не было ни одной девушки, и Роман побегал вниз по тропе. Впереди — знакомые голоса: Митузов с Батькиным, не торопясь, спускаются к лесу.

«Ушла... с тем... Видно, вправду в тихом омуте черти водятся» — подумал Роман и свернул с тропы. Спускался медленно, часто останавливался и прислушивался, — под ногами шуршали опавшие листья, полунагие березки перешептывались, может быть, последний раз в эту осень.

Глубокой ночью Роман вошел в го-

род, и он показался ему незнакомым и неприветливым. Возвращаться в барак не хотелось, — парни-зубоскалы начнут расспрашивать о Варьке. Хорошо бы теперь с кем-нибудь поговорить о партизанских днях, о гибели отца и о том, что наболтал Боркун; посоветоваться бы...

Незнакомая песня доносилась с берега Ажи.

Роман свернул в переулочек и пошел на голос чужой радости.

2

Дрова в костре догорали. Извиваясь сизыми змейками, дым тянулся к круглому отверстию в своде юрты.

Кошменная кровля походила на степной небосвод. В дымовое отверстие видны далекие яркие звезды.

Сидя у огня, Натай пел о цветистых степных просторах, о девушке, вскормленной степью:

Много звезд на небе — ты их ярче,
Солнце жарко — поцелуй твой жарче.

Качнув головой, сильнее ударил по струнам домры:

Месяц ясен — ты его яснее,
Степь в цветах, а твой наряд пестрее.

Приподнялась кошменная занавеска, закрывавшая вход в юрту. Натай отбросил домру, шагнул навстречу неожиданному гостю:

— Проходи, друг. Эта ковер садись. — Выждав, пока Роман сел на пестрый ковер, Натай опустился рядом с ним.

— Я помещал тебе? Ты песни пел? — спросил Дымнов.

Из-за ситцевой занавески вышла Жамал, поклонилась гостю, подвинула чайник в костер и начала расставлять посуду на низком круглом столе.

— Маленько пел, — ответил Натай и схватил домру. — У казахов есть песня! Девка любила молодой парень, бедный пастух. Парень тоже любил ее. Они хотели жить один семья, один юрта. Но пастуху нечем было платить калым. Сын бая хотел взять ее себе.

Натай раскинул руки, будто перед ним расстилались беспредельные степи, потом ударил по струнам и запел, покачиваясь.

Роман не понимал слов, но чувство, заложенное в песне, овладело им.

Оборвав песню, казах начал рассказывать, о чем повествовала она. Глаза его сияли, на смуглых щеках играл легкий румянец. Когда рассказчику не хватало слов, он обращался к помощи вещей, окружавших его, иногда же показывал на лицо и стан жены.

Романа растрогало желание гостеприимного хозяина так рассказать длинную и красивую песню о двух любящих сердцах, чтобы русский понял и почувствовал ее. И Роман понимал Натая, рисующего образ девушки. Она была стройна, как алма-атинский тополь, тело ее гибко, как балхашский камыш, волосы — темней безлунной ночи, мягче дорогого шелка, брови изогнуты, подобно луку, мягки и густы, точно шерсть на спине выдры. Нежностью своей она напоминала цветок летних горных пастбищ, а весельем — степную пташку.

Слушая певца, Роман думал, что едва ли найдется на земле парень, сердце которого не встрепенулось бы при встрече с такой девушкой. Роман поймал себя на том, что в чертах степной красавицы он старается отыскать знакомые черты дочери старого горняка. Это заставило его покраснеть, и он подумал:

«Варька эта такая же, как все девки, — ничего в ней особенного».

А Натай снова взял домру и запел. Взгляд его чуть прищуренных глаз летел через костер, куда-то далеко-далеко. Казалось, что он сквозь кошемную оболочку юрты видит бескрайнюю степь в белых весенних цветах, видит там молодых влюбленных, сердцем чувствует их тоску.

Затем он долго рассказывал, как тосковала девушка по своему возлюбленному, как грустны были песни ее, как молодой пастух рвался к ней и как он был предательски убит байским сыном.

Зная, сколь длинна эта песня, Жамал воспользовалась паузой и сказала мужу, что чай готов.

Натай положил домру на сундук и пригласил гостя к столу.

— Садись тут... Баурсаки кушать будешь?

Роман сел на маленький кошемный коврик, но как ни поджимал ноги, колени все-таки торчали выше стола. Колобки, поджаренные в бараньем сале, ему понравились, и он похвалил хозяйку.

— Скоро будем в клубе вечер делать, — сказал Натай, улыбаясь. — Казах будет песни петь. Много-много!

— Ты споешь эту песню?

— Нет. Эта песня будет петь другой человек. Мне учительница говорил, — я буду рассказывать другой песня. Татьяна звать. Знаешь?

Роман утвердительно качнул головой, хотя о девушке Татьяне он ничего не знал.

— Ваш Пушкин об ней книжку писал. Абай Кунанбаев переводил казахска язык.

Вскинув голову, Натай начал читать «Письмо Татьяны». Переведенное в прошлом столетии на казахский язык, оно стало столь же известным и любимым в степи, сколь известны и любимы песни акынов — казахских поэтов и певцов.

Пушкин? Роман помнил только «Сказку о рыбаке и рыбке». Но в той сказке ни о какой Татьяне не говорилось.

Когда Натай умолк, Роман похвалил его за хорошую память.

— Память маленькой, — всё книжкам печатано, — сказал казах, принимаясь за баурсаки.

Роман опустил глаза на свои подогнутые ноги.

«Натай в книжке прочитал о Татьяне Пушкина, а я даже не знал, что есть такое сочинение».

Молчание затянулось, и Роман, чтобы нарушить его, заговорил о партизанах.

3

Солнечный осенний день казался длиннее летнего, и Роман не знал, куда девать себя. Он хотел зайти в библиотеку и попросить «Сочинение о Татьяне». Но в клубе начался ремонт, и библиотека была закрыта. Часа два бесцельно бродил по городу, вышел из поселка и, оглянув сопку, направился в поле. На зеленой лужайке сидели женщины, одетые по-праздничному ярко и пестро. Одна из них вслух читала толстую книгу, и Роман обошел их кружок.

По обе стороны дороги лежали картофельные поля шахтеров. Пахло гниющей ботвой, которую давно свалили сентябрьские иней. За картофелищем началась золотистая щетка пшеничного жнивья. Вдали, на возвышенности, желтые скирды упирались лбами в голубое небо. По серому облачку Роман узнал, что там молотят хлеб, в котором много пушистого молочая и осота. Из всех полевых работ он особенно любил молотьбу. На молотьбе люди всегда работают быстро, с упоением, и не замечают того, что их торопит машина. Роману хотелось пойти к скирдам, на ток, но он подумал, что в глазах колхозников прочтет укор: «Мы работаем, а ты погуливаешь», — и пошел вправо, в низину, где виднелись островерхие столжары. Это были шатры из сучковатых березовых жердей, на которых сушился горох. Роман отщипнул несколько стручков и прилег на мягкую траву. Такая же густая трава была на лужайке, где сидели женщины в пестрых платьях.

«Чего доброго, эту бабочку с книгой хулиганы тоже прозовут монашкой, — подумал он и улыбнулся. — Пока таких немного, над ними будут смеяться, как и над Варварой».

«Опять Варвара!.. Что же такое со мной?.. Неужели успел полюбить ее? За что? Она — такая же, как наши деревенские».

Роман попытался определить ее характер и решил, что она непременно должна быть неуживчивой.

«А что в ней плохого?» Он старался

найти что-нибудь, что навсегда оттолкнуло бы от нее, но ничего не мог припомнить, кроме ее встречи с Бородачевым.

Холодок обволакивал тело. Солнце уже опустилось к сопкам. Лучи его вязли в большом белом облаке, как в вате. Роман вспомнил, что ушел из города, не пообедав, встал и быстро зашагал туда, где из-за увала быстробылись копры. Он держался ближе к сопке, но, неожиданно для себя, опять вышел на ту лужайку, где утром видел женщин. Их теперь было больше, и они сидели на другом месте.

«Пообедали и снова собрались» — подумал Роман, и ему захотелось узнать, что за книга владела женами шахтеров в течение всего дня. Он подходил тихо, осторожно, чтобы раньше времени не обратить на себя внимания. Но одна из женщин услышала его шаги. Чтица Клавдия Колюбакина, опустив книгу, повернулась к нему.

— Что вас черт носит тут целый день? — сурово спросила она. — Слушать — не слушаете, а только мимо ползаете...

— Я ничего... — растерянно пробормотал Дымнов. — Я только посмотреть, какая книга у вас...

Девушка, сидевшая рядом с Колюбакиной, оглянулась: это была Варя.

Но Роман уже шагал к кустам.

«Девчонке может в голову взбрести, что я за ней бегаю» — подумал он.

Варя посмотрела ему вслед и шопотом спросила сестру:

— Ты, Клаша, проводишь меня?..

Едва Роман успел войти в молодую березовую рощу, как перед ним встал Бородачев, с мутными глазами, слегка покачивающийся, и крикнул хриплым, пропитым голосом:

— Не липни к девке, а то...

— Плевал я на такую девку, — с усмешкой ответил Дымнов. — Она не помнит, когда девкой-то была.

— Ты что болтаешь?.. — спросил Бородачев, сжимая кулаки. Но голос его тотчас же обмяк, на щеках появились бледные пятна. — Замечал за ней?.. Знаешь?..

Роман не нашелся, что ответить, и, обойдя растерявшегося парня, углубился в роу.ру.

Он был доволен минувшим днем.

4

Варя попросила сестру проводить ее потому, что у нее произошла резкая размолвка с Бородачевым. На обратном пути он, желая испытать девушку, сказал:

— Про тебя, Варя, на шахте говорят нехорошее.

— Злая собака раз твякнула, а ты и поверил, — ответила девушка так, что нельзя было понять: не то она старается скрыть обиду, не то гордится собою. — Ты же говорил, что любишь меня, значит, не будешь верить сплетням.

— Я не знаю, то ли это сплетня, то ли нет. Может, ты и вправду...

— А ты только так и думаешь обо мне? Еще не запряг, а уже хлещешь. А что было бы, если бы я, в самом деле, согласилась выйти за тебя?

— На руках буду носить...

— Нет, спасибо. Я на своих ногах прохожу — это надежнее, — ответила девушка и пошла к тропе, по которой спускалась молодежь.

— Все равно будешь моя... или ничья... — прошипел Бородачев, преграждая ей путь. А когда девушка захохотала и побежала от него, он крикнул вдогонку: — Живой не отступлюсь... Так ему и скажи...

Варе было больно и стыдно перед собою, и она до рассвета не могла заснуть. Ей вспоминались глаза Романа, весь вечер они были полны не ревностью, а злой горечью. Подруги, наверно, уже давно ждуг ее, чтобы наброситься с расспросами о вчерашнем. Если не пойти к ним, они прибегут сюда... Да и мать, заметив неладное, пристанет с расспросами: не больна ли дочка, не обидел ли кто?.. Девушка решила на весь день уйти к Клавдии. Сидя на лужайке, Варя почти не слышала, что читала сестра, а думала только о себе и осуждала себя за то, что так безрассудно допускала ухаживания

Бородачева. Но ведь она сделала это для того, чтобы проверить Дымнова: будет ревновать, значит, любит. Правда, Бородачев казался ей смелым, сильным парнем, но вчера она убедилась в том, что он невыносимо груб.

Как она и ожидала, Бородачев настиг их по пути в город и схватил ее за рукав:

— Погодь маленько...

— Не вяжись... — прикрикнула девушка, вырвала рукав и так глянула на парня, что он понял — все для него потеряно. Он хотел было снова схватить девушку за руку, но женщины окружили ее, а парню сказали, что если будет приставать и дальше, то попарят крапивой.

Эта угроза была самым унижительным и оскорбительным из всего, что слышал в жизни Костя Бородачев. Он обозвал шахтерок монашками и скрылся в кустах.

5

Дело Биллинга разбиралось в выходной день в зале кинотеатра. Дымнова вызвали в суд свидетелем. Он пришел рано утром и занял место во втором ряду. Он впервые был в суде, и его интересовало все: где будут сидеть судьи, прокурор, защитник, где посадят подсудимого, и будет ли за его спиной стоять красноармейцы, зачем колокольчик на красном сукне стола.

Судья, бритый, круглоголовый человек, был одет в белую полотняную, расшитую синим шелком рубашку и в простой черный пиджак. Одним из заседателей оказался Кондратий Митузов, только-что побрившийся по этому случаю; вторым заседателем была невысокая смуглолицая женщина в таком же длинном без рукавов бархатном костюме поверх серого платья, какой носила жена Казыбекова. Вероятно, это учительница, которая, как Натай рассказывал, приехала из Алма-Ата.

Дымнова, как и других свидетелей, попросили выйти в фойе. Позднее друзья передали ему все, что происходило в зале.

Биллинг начал с того, что заявил отвод составу суда: его оскорбляет присутствие желтолицей женщины за судейским столом. Когда его отвод был отвергнут, он начал отвечать на вопросы суда неохотно и грубо, двумя-тремя словами.

Едва переводчик упомянул о том, что про детей инженер слышал от нескольких русских, как из глубины зала крикнули:

— От притаившихся кулаков!..

Судья позвонил, призывая к порядку.

Первым из свидетелей вызвали Романа, и он вдрагивающим от возмущения голосом рассказал обо всем, что произошло в тот день в столовой. Ему казалось, что теперь для суда все ясно, что никакие подтверждения не нужны и остается только написать приговор. Но судья держался иного мнения. Допросив нескольких рабочих, свидетелей происшедшего, он попросил пригласить Шеровского. Инженер вошел в сопровождении жены.

— В великом Советском Союзе вражда между людьми разных наций заменена дружбой, — переводила Эмилия Нестеровна, повторяя интонации мужа. — Многие из присутствующих здесь вчера слушали концерт, на котором выступали казахи. Это было настоящее искусство! Мы получили большое наслаждение в то время, когда перед нами выступали даже не артисты, а обыкновенные рабочие и их жены.

Роману понравились эти слова иностранца. Роман сам долго находился под впечатлением вчерашнего концерта. В песнях и музыке бывших кочевников слышались шелест степных ковылей, топот табунов, веселый утренний переклик птичьих стай и как бы чувствовалась бескрайняя степь с ее серой травкой, с жарким солнцем. Не зная ни слова по-казахски, он угадывал, когда в песне проклятьем поминалось прошлое и радость — солнечный советский день. Слушая Натая, Роман про себя повторял недавно прочитанное «Письмо Татьяны» и был доволен своей памятью. О концерте он сказал бы то же

самое, что сейчас услышал из уст красивой инженерши, и ему захотелось аплодировать ей.

— Оскорблять народ, создавший такое прекрасное искусство, причислять к дикарям, как делает Биллинг, это — большое преступление, — продолжала переводить Эмилия Нестеровна.

Прокурор потребовал высылки Биллинга из страны. Зал поддержал прокурора продолжительными аплодисментами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Дымнов принес в шахту кусок кошмы, чтобы починить хомут «Ленивого». Эта работа была для него приятна, она воскрешала в памяти родное село, колхозный стан. Звуки его быстрых шагов гулко летели по узкой галлерее. Услышав их, конюх метнулся от стены, на которой висели хомуты, и пошел по коридору в глубь конюшни. Но Роман успел заметить, что конюх повесил хомут на стену против стойла «Орла». Проходя мимо этого хомута, Роман сунул в него руку и оцарапал ладонь об острую проволоку; можно было подумать, что ее закатали небрежные кошмовалы. Он хотел снять хомут со стены, но Антошин, семена короткими ногами, подбежал к нему и, сложив руки на животе, низко поклонился:

— Доброго здоровьяца, Роман Алексеевич, ударник наш первейший!

— Иди к чорту,—прикрикнул Дымнов.

Будто не расслышав коногона, Антошин склонил голову к левому плечу и посмотрел озабоченно.

— Примечаю я, мил человек, что твой гнедко на правую заднюю ногу припадает.

— Гнедка извел? — взревел Дымнов и бросился к стойлу «Ленивого».

Конь стоял твердо на всех четырех ногах. Широкая спина его, с жолобом посредине, была мягкой, лоснящейся. На зубах коня хрустело сухое сено.

Роман выскочил из стойла и, заметив, что Антошина уже нет, юркнул к лест-

нице, которая начиналась у входа в коношню. Он не знал, пошел Антошин этим путем или же убежал к стволу шахты. Но он надеялся, что, если не догонит его в этом ходке, то задержит при выходе из клетки. Чтобы подняться быстрее, он хватался не за поручни, а за жесткие четырехугольные ступеньки, и ладони его горели. Он дышал широко открытым ртом, забывал стирать пот с лица.

На-гора острый ветер обдал его холодом и кинул в лицо снежную крупу. Закрыв щеки руками, Роман побежал к клетьевому помещению. Рукоятчик сказал ему, что Антошин минутой раньше поднялся на-гора и ушел в сторону конторы.

Роман бросился к управляющему шахтой. В кабинет влетел, не спросив разрешения. За столом сидел Павел Воронов, бритоголовый человек с седыми продымленными усами. Разъяренный коногон коротко рассказал ему обо всем. Воронов позвонил по нескольким телефонам, но оказалось, что Антошин уже успел уйти за ворота.

— Ах, кулацкая морда!.. Как он одурачил меня... — Роман тяжело крутил головой. — Надо бы мне его сразу — за воротник...

Положив телефонную трубку, управляющий сказал:

— Никуда он не денется... Ты что на ногах стоишь? Садись. Закуривай. Не куришь? Счастливый человек!

Закурил. Сильную струю дыма выпустил в сторону от Романа и снова повернулся к нему:

— Тебе не надоело коногоном работать?

— По правде говоря, мне пора бы...

— В забой. Верно говоришь. Я об этом же думал. Поступай в бригаду.

Воронов позвонил и распорядился, чтобы секретарь позвал бригадира Федора Колюбакина.

Колюбакин держался просто, но с достоинством; взял стул от стены, поставил к столу, сел, закинув ногу на ногу, и приготовился слушать.

— У тебя, Федор Иванович, в бригаде людей нехватает, — заговорил Воронов. — Вот тебе новый шахтер. Как

говорится, люби и жалуй. Я думаю, он тебе понравится...

— Посмотрим, каков будет в забое.

Дымнов знал, что к коногонам Колюбакин относится высокомерно, и настоятельно посмотрел на него, ожидая, что он еще скажет.

— Мне говорил о нем Батькин, — продолжал бригадир. — Но я похвалы слушать слушаю, а людей сам проверяю на работе.

— А как у тебя с отбойными молотками? — спросил Воронов. — Отставляете молотки в сторону и рубаете кайлой?

— Был такой грех. Трясут они, окаянные. Ну ничего, помаленьку привыкнем.

Барабания пальцами по столу, Воронов укорял Колюбакина в том, что его передовая бригада сползает вниз, не выполняет плана. Бригадир объяснил, что их «режет ложная кровля». Роман не знал, что это такое, но решил не спрашивать Федора Ивановича.

«Войду в забой — все увижу, во всем разберусь».

2

На руднике появились жесткие фибровые каски. В шахте № 1 их носила только бригада Колюбакина. Положив каску перед Дымновым, кладовщик Прохоров, старый шахтер, сказал:

— Голова будет в сохранности. Если даже упадет на тебя тяжелый кусок породы, и то каска защиту окажет.

«Значит, там кровля часто обваливается, — думал Роман, шагая к клетям. — Придется ухо держать остро...»

С обеих сторон пласта, на котором работала бригада Колюбакина, лежали слои породы толщиной в 8—10 сантиметров, за ними — слои угля такой же мощности, и только потом уже — коренная порода. Вот эти слои и прозвали ложной почвой и ложной кровлей. Они очень усложняли работу. Ложная почва вместе с добытым углем сползала вниз, к печам, и увеличивала зольность. Шахтеры старались удержать ложную кровлю и стойки ставили густо. Но мелкие

плитки сланца все же отваливались и смешивались с углем. Проходя по забою, Роман увидел и понял это без посторонней помощи.

Нового забойщика Колюбакин поставил на нижний уступ, сам соединил отбойный молоток со шлангом воздухопровода и отвернул вентиль.

— Рубай по кливажу, по слоям, значит, — уголь легче пойдет.

— Это я уже знаю, — похвалился Роман.

— Тем лучше, если ты... сам все знаешь, — проронил Колюбакин, про себя же подумал: «Парень берется горячо. А часика через два пить запросит».

Роман положил доску на стойки, стал на нее и, направив пику молотка в уголь, нажал на головку. Молоток заступал быстро и резко. Роман вздрогнул, чуть было не выронил рукоятку. Хорошо, что поблизости никого не было!.. Он поднял молоток и навалился на головку. Пика со скрежетом уходила все глубже и глубже, но от пласта не отваливалось ни куска. Роман нажал еще сильнее, и пика, уйдя в угольную толщу по самую пружину, остановилась. Сколько ни давил на молоток, уголь не падал. Роман увидел, что к нему снова приближается бригадир, и почувствовал себя уличенным в хвастовстве.

— Ты, Роман Алексеевич, неправильно рубашешь, — сказал Колюбакин, довольный тем, что пришла минута выступить в роли учителя. Он стал рядом с молодым забойщиком и, освободив молоток, начал работать: вонзал пику в уголь и в то же время давил вниз. Кусок отваливался за куском. — Вот так действуй. Я сам дней пять бился, пока понял, как надо работать им. Спросить в ту пору было не у кого.

Всю смену Роман работал без отдыха. Думая только о том, как бы еще раз не осрамиться перед бригадиром, он не обращал внимания на мелкие кусочки породы, ударявшиеся о его каску. Натруженные непривычной работой, руки ныли, и Роман ждал перерыва в рубке угля, чтобы вместе со всей бригадой ставить крепи. Трудно тяжелые стойки укреплять на крутом склоне, но после

молотка даже эта работа показалась отдыхом.

Когда кончилась смена и шахтеры спустились на главный штрек, бригадир хлопнул Дымнова по плечу.

— Ну как, Алексеч, руки не болят? Работнули мы сегодня неплохо!

— А завтра еще поднажмем! — отозвался Роман, и на черном лице его блеснули в улыбке крупные зубы.

— Правильно, орел! Люблю таких! — Колюбакин схватил Дымнова в беремья. — Побороться бы нам с тобой, что ли?

— Поборемся... только не здесь, — ответил Роман, юрко повернулся, одним плечом нажал на грудь бригадира, другим — разорвал его сцепленные руки.

Колюбакин подумал, что новый забойщик обладает и силой, и ловкостью, коли, после первого трудового дня в забое, так легко вырвался из цепких рук. Нравилось бригадиру и то, что за эти шесть часов Роман не только не утратил веселого настроения, но даже стал подвижнее и глаза его сияли.

Усталость все же сказывалась, — колени Романа слегка дрожали и мускулы рук ослабели, — но это была приятная усталость.

3

В мойке уборщица сказала Дымнову:

— Тебя ищет завхоз. Прибегал сюда два раза.

Горячая вода ласкала усталое тело. Но Роман не хотел заставлять завхоза ждать и, едва смыв грязь, пошел одеваться.

Завхоз выдвинул ящик, достал ключ и, стукнув им по столу, сказал:

— Вот ключ от твоей комнаты.

— От моей?!

— Ну да, от твоей. Управляющий распорядился дать комнату на двоих.

Комната оказалась с одним окном, но большим, на юг. В ней держался еще запах краски, и было приятно чувствовать себя первым жильцом. Небольшой стол на тонких ножках, желтые табуретки, железные кровати и чисто выструганные доски на них — все в этой

комнате было новым и казалось удобным. «Матраца недостает... Одеядо я купил. А которую же койку я облюбую? Пожалуй, эту, на ней доски лежат плотнее».

Снег за окном стал синим, Роман поспешил за вещами в барак. В коридоре его остановила рябая, остроносая женщина:

— Вас тут спрашивал молодой человек...

Роман оставил ключ для него. А вернувшись, нашел комнату открытой. Белокурый парень с коротко остриженными волосами застилал одеялом облюбыванную Дымновым койку.

Услышав шаги, парень распрямылся. Он оказался высоким, стройным, крепким в плечах. Виновато улыбнувшись, он сказал:

— Я решил поместиться на этой койке. Вы не возражаете?

— Нет... Они одинаковые...

— Ну и отлично. Моя фамилия — Вепрев, зовут Женькой. А тебя?

Роман слышал много хорошего о Вепреве: прошлым летом он приехал на рудник, а уже успел занять первое место по проходке печей и параллельных штреков. Роман тряхнул руку парня, долго смотрел на его лицо. Оно было крупным, румяным, темносерые глаза блестели задорно, над верхней губой — густая светлорусая щетка пробивающихся усов.

— Устраивайся, а я пока сбегая за остальными вещами, — сказал Вепрев и вышел из комнаты.

4

В двух шагах от окна в морозном тумане белеет береза. На ветках сидят нахохлившиеся, сонные воробьи. Вот один проснулся, поднял крылышко и клювом, похожим на подсолнечное семя, поковырял в пуху. Выпала серая пушинка и, тихо кружась, колышется в густом воздухе. Роман следит за ней, пока она не упадет.

Ходики, купленные накануне, деловито отсчитывают минуты. Десятый час. В это время солнце обычно показывается над белыми от снега крышами города,

но сегодня лучи его не могут пробить густой туман.

— Пора итти! — сказал Евгений, взглянув на часы. — А то заставим девушек ждать. Нехорошо.

Они быстро натянули на себя свитры из верблюжьей шерсти, надели вязаные шляпы и вышли на улицу.

Город кутался в седой туман. Тополя и столбы на улицах, палисадники и стены домов — все было покрыто лебяжьим пухом инея. Обвисшие провода подходили на мягкие веревки. Роману хотелось оборвать их и, играя, тащить за собой, как пастушьи бичи. Пока жил в деревне, сотни раз видел богатую кухту на деревьях, но не находил в ней прелести и лишь вспоминал приметую: «Урожай будет богатый».

— Знаешь, Рома! — заговорил взволнованно Евгений. — У меня душа поет!.. Подумай, я не видел Галю два месяца. А она у меня такая... такая... каких больше нет!

Он хлопнул руками, словно хотел пуститься в присядку. Но навстречу им шла пожилая женщина в беличьей дожде, и он заговорил тише.

Роман многое слышал о девушке; знал, что она в прошлом году окончила семилетку и теперь в соседнем городке учится на курсах коллекторов треста геологической разведки, знал, что ее отец, принскатель, лежит в братской могиле героев Перекопа, а мать заведует шахтной столовой, знал, что Галя приехала на один день — навестить милого, и потому пропускал слова друга мимо ушей. Он думал — хорошо ли Варя ходит на лыжах и в каком костюме она выйдет сегодня?

— Мы сейчас бы поженились, но Гале очень хочется полазить по горам, — продолжал Евгений. — Она так много слышала об Алтае и Горной Шории, что по ночам ей снятся снежные вершины. Я говорил ей, что замужество не помешает путешествовать, что я отпущу ее на все лето. Но она не соглашается.

«Ему хорошо... Галя будет первой женой» — думал Роман, чувствуя на сердце щемящую тяжесть. Скрывать от Вари, что в деревне осталась жена с малолетним сыном, он не сможет. Но как

отнесется Варя к этому сообщению? Вдруг она прогонит его от себя и запретит показываться на глаза?

В деревню Роман не вернется и жену звать сюда не будет. Но ведь Ефросинья Власьевна может приехать незваная. Как тогда быть? Как ей сказать?..

Тяжелое раздумье омрачило предстоящую встречу, и Роман хотел даже, чтобы девушки не пришли. Но приземистый домик лыжной станции уже был виден. К его двери приближались две женщины одинакового роста. Одна в голубом лыжном костюме, другая — в темнокрасном. По очертанию фигуры Роман узнал Варю.

Едва друзья успели переступить порог, как девушки начали их укорять:

— Нечего сказать, хороши кавалеры! Мы думали, вы лыжи для нас уже приготовили, а вы только сейчас являетесь!

Галя звонко хохотала:

— Ой, да они заспанные! Умыться не успели, бедные. Смотри, смотри, Варька, у твоего Ромушки совсем глаза слипаются.

Роман взглянул на хохотушку. У нее были голубые глаза, тонкие черные брови и маленький яркий рот.

— Не засматривайся на меня, — Варька ревнивая, — посоветовала Галя и засмеялась громче прежнего.

А Роман, сжимая руку Вари, подумал:

«Моя красивее!»

В деревне он привык ходить на охотничьих лыжах с одним койком. Бамбуковые палки ему мешали, и он отставал от девушек и Вепрева.

— Ну и кавалер у тебя, Варька! Из обоза хромых! — восклицала Галя, захлебываясь хохотом.

За городом Варя замедлила ход, и Роман, успев несколько примениться к лыжам и палкам, скоро настиг ее. Он ждал, что и Варя посмеется над ним, но она, глядя сияющими глазами вдаль, сказала:

— Посмотри, какая чудная красота! Мне всегда хочется в таких местах остаться и жить долго-долго...

Туман рассеивался. Там, куда смотрела Варя, солнечные лучи уже разо-

рвали его пелену и облили сиянием низкорослые, одетые снегом елки.

Галя и Евгений спешили к густому лесу.

Варя старалась идти рядом с Романом. Но, когда между ними вставала елочка, девушка останавливалась и, пропустив парня, шла по его лыжне.

Они вышли на лужайку, где стоял стог сена. С южной стороны его солнце уже растопило снег и обнажило землю. Лыжники натеребили сена, сели отдохнуть. Солнце обливало их теплыми лучами. От одежды поднимался пар.

По крестьянской привычке Роман, уходя из дому, сунул в карман ломоть хлеба и печеную картошку. Этот неожиданный завтрак был им особенно приятен. Черный хлеб казался вкусным. Он был талым, потому что согрелся в кармане.

Со счастливой улыбкой Роман смотрел на разрумившуюся девушку. Глаза ее сияли, как этот свежий, чистый снег.

— Вот и позавтракали! — восклицала Варя и всем телом потянулась к парню. — Какой ты... заботливый...

Дымнов схватил ее и крепко прижал к себе.

— ...хороший, милый!..—прошептала девушка, уронив голову на грудь парня. Несколько минут она сидела неподвижно, а потом, взглянув ему в глаза, спросила: — Ты почему к нам не заходишь?.. Мама мне уже раза три говорила: «Позови вечером... чайку попетье. Из самовара-то вкусней, чем у него там из жестяного чайника». Чудачка она!.. Около самовара, говорит, семьей пахнет...

Роман встал, — где-то совсем близко разливался частый, как звон бубенчиков, смех Гали.

5

Домой Роман вернулся раньше Вепрева и, гремя ключом, открывал дверь. Соседка выпорхнула из своей комнаты и, ядовито улыбаясь, подала белый конверт, зашитый льняными нитками.

— Вам, Роман Алексеевич, письмоцо пришло. Наверно, от милой жнущки,

из деревни. Она там, поди, истосковалась по вас?..

Дымнов вырвал письмо из сухих пальцев женщины, сунул в карман и, холодно поблагодарив, опять загремел ключом.

— Она, поди, там детей растит без отца родного? — не унималась соседка. — Есть детишки-то? Наверно, сердце пощипывает, когда на ум придут?

— А вы что, в няньки напрашиваетесь? — сверкнув глазами, спросил Роман и ушел в свою комнату.

Соседка ответила громко, чтобы слышно было через дверь:

— Нет, ошибаетесь, Роман Алексеевич, чтобы я к вам — в няньки. Просто девушке одной надо сказать... Она, бедная, не знает, что у вас в деревне — детная женушка...

Роман зубами перекусил толстую нитку. Из самодельного конверта выпал лист, выданный из книги учета колхозного имущества. На нем расположились буквы, крупные и неуклюжие, чернила рыжие. Письмо было, действительно, от Ефросиньи Власьевны. Оно начиналось с упрека, что Роман бросил ее, законную жену, бросил сына, целый год живет на руднике и домой даже не собирается.

«Я знаю, что ты связался там с шахтерскими девками, — читал он, — а мне посылаешь гроши. Ты думаешь, что я на эти гроши могу прокормить твоего сына, что я бессловесная и не ска-

жу ни слова. Ошибаешься, товарищ Дымнов. Я знаю, что сейчас ты перешел в забойщики и денег зарабатываешь много. И я подам на тебя в суд, чтобы присудили половину твоего заработка отдавать мне на прокорм ребенка. Советский закон стоит за детей...»

«Она права — закон за детей, — подумал Дымнов. — И ничего не скажешь — закон правильный».

«...а если не хочешь судиться, — читал он дальше, — то немедленно высылай двести рублей и каждый месяц — по сотне...»

«Чья же рука писала это?..» — задумался Роман, присматриваясь к почерку.

Судиться ему не хотелось. Он боялся не приговора, а широкой огласки: вот стоит перед судом отец, бросивший сына! Деньги посылает — и спокоен. Видать, в этом — вся его забота о воспитании ребенка.

Он обругал себя за то, что женился молодым; письмо разорвал на мелкие клочки и бросил в печку. Потом достал двести рублей, которые были отложены на покупку ружья, и отправился на почту. На переводном бланке написал:

«Посылаю деньги на воспитание родного сына Егора Романовича Дымнова».

Дважды перечитал эти строки: ему было приятно, что он написал не на «прокорм», как было в письме Ефросиньи Власьевны, а «на воспитание родного сына».

(Продолжение следует.)

Арена спорта

С. БОНДАРИН

★

Бродячий цирк Ивана Кадыкина знают по всей Бессарабии.

Когда в конце июня 1940 года балаган прибыл в придунайский городок, над садами которого поднимаются выцветшие голубые купола церквей, Иван Трофимович в интересах сбора распорядился начать гастроль не в самом городке, а в рыбацком поселке на острове.

Дунай в этом году был на редкость многоводным. Его желтые, широко разлившиеся воды, вздрагивая, лоснились под солнцем, из городка казалось, что темные избы на острове стоят в воде.

Однако переправились благополучно, быстро отыскали место для балагана.

До жары успели установить ограду и скамьи.

Среди реквизита, сваленного в кучу на полянке перед церковью, ребром стояла всем известная вывеска — красные буквы на желтом поле:

„Arena sportiva. Ivan Kadikin“.

Когда вывеску укрепили над входом в балаган, Васена Савельевна, жена Ивана Трофимовича, написала плакат по-русски:

„Иживечерно французкая борьба. Вольная арена после програм каждый любитель может принять вызов чемпиона“.

Борцы, клоун и фокусник, он же конференсье, Лазари крепко спали в тени за парусиной балагана. Васена Са-

вельевна варила общий суп, а Кадыкин, чувствуя боль в боку, лечил себя мазью особенного состава, какую втирают в кожу скаковым лошадям перед скачками.

Струилась река, на берегу и в поселке было знойно и безлюдно, и было непонятно, кто принес слух о том, что Красная армия перешла границу, а советские мониторы дымят у дунайского гирла.

Вскоре, однако, высоко над Дунаем показались косяки самолетов. Рыбаки, вернувшиеся домой из города, рассказали: румыны пробуют вывезти все, что недостаточно прочно прикреплено к земле, но жители останавливают обозы. В примарии уже создан временный комитет.

Иван Трофимович поднялся мгновенно. Надтреснутый капитанский бас донесся до середины реки. Представление состоялось, но кое-как, на скорую руку, и балаган опять свернули.

Слезы Васены Савельевны, обеспокоенной участью сына, ушедшего в Тульчу к своей невесте, не поколебали Ивана Трофимовича.

Когда советские авионы, как называли здесь авиацию, сбросили за городом воздушный десант, балаган Кадыкина уже находился на левом берегу.

Борцы, индусский факир Бен-Гази, скептический конференсье Лазарь Ефимович — пожилой жгучий брюнет с подстриженными усиками — все они убежали за толпой навстречу десанту.

С Иваном Трофимовичем оставался лишь рыжий лохматый песик, по прозвищу Рутютю.

С артистами убежала и Васена Савельевна.

С палкой в руках, в белом легком картузе, сидя среди скамей и ящиков, Кадыкин презрительно рассматривал свои руки, оглядывал живот и ноги, — не таким было его тело в ту пору, когда между чемпионом мира и Россией легла граница.

По газетам он знал, что в России любят спорт, но о борцах писали редко, а если и писали, то имена были все новые. Лишь одно знакомое имя борца повстречал Кадыкин — имя его тезки и ровесника Ивана Колодного. Но лучше бы не знать, что постоянный его соперник на мировых аренах, которого он все-таки положил в берлинском чемпионате и потом еще дважды бросал на лопатки — в Одессе и в Орле, — лучше бы ему не знать, что Иван Колодный награжден орденом и званием заслуженного мастера спорта.

С торопливым, веселым гулом над городком снова летели самолеты. Закинув голову, Кадыкин не отводил взгляда от эскадрилий, и мутноватые глаза с кровяными прожилками, выкатившиеся наружу от частых и длительных физических напряжений, увлажнились. Он смахнул слезу, но слеза опять набежала, и он уже не утирал ее, потому что в одиночестве стыдиться было некого.

Воротилась Васена Савельевна. Она едва дышала, возбужденная, как девочка. Рутютю, заигрывая, бросился к ней, но она отмахнулась:

— Да погоди, не до тебя. Дай отдышаться. Ах ты, боже мой!

— Где же остальные? — ворчал Кадыкин. — Долго ли мне продавливать ящик? Самолеты сели?

— Да я же говорю: авионы опустились за кирпичным заводом. Боже! Напудриться не дадут.

Васена Савельевна, как умела, передала картину приземления больших советских самолетов, предварительно сбросивших солдат на парашютах. «Не солдат, а красноармейцев» — поправил ее Кадыкин.

— Я хочу знать, кто перепишет вывеску? Пошли кого-нибудь за красками.

— Какие краски? — отвечала Васена Савельевна. — Какие тут краски? Все магазины закрыты.

— Так, может, сегодня мне и обеда не будет?

Грохотание хозяйского баса не утихло и тогда, когда вернулись борцы, артисты и издавший виды Лазарь Ефимович Лазари. Этот сохранял хладнокровие. Великолепный парашютный снегопад ему понравился, но не затронул в нем особых чувств, не пробудил, как это случилось с другими, горячих нетерпеливых мыслей. Кадыкин оглядел Лазаря Ефимовича молча, но с открытым презрением.

Ночью Иван Трофимович не мог заснуть.

Кадыкин с женою, Лазарь Ефимович, Бен-Гази со своей партнершей, худенькой Лизой, и Стефик Ямпольский, любимый ученик Ивана Трофимовича, — снимали пустой дом в переулке, похожем на деревенскую улицу.

Разговоры в сенях закончились далеко полночь. Поздно ночью пришли клоун Маноля и трансильванец Тулуш, — вместе с толпой горожан они окапывали рвом гараж пожарной команды, чтобы румыны не вывезли ценные пожарные автомобили.

По переулку иногда проезжали таратайки с беглецами, слышался топот отступающих румынских отрядов, офицерские окрики.

Васена Савельевна заикнулась было, что еще не поздно собраться и им: как же станут они жить на двух берегах — сын там, а они здесь? Но Кадыкин засопел страшно, и жена осеклась. Кадыкин все кашлял, то-и-дело прикуривая от керосиновой лампы. Рутютю беспокойно поглядывал на хозяина из-под стола.

На рассвете, когда Васена Савельевна заснула, Кадыкин подошел к окну и опять оглядел свою грудь и руки. От принятого решения ему стало веселее. Он тщательно побрился, потом, оставаясь в одних трусиках, вышел во двор, шагая через спящих, и окатил се-

бя холодной водой из колодца. Рутютю вышел за ним, но предусмотрительно остался на пороге, счастливо потягиваясь.

Проснулся Стефик Ямпольский и, храбрый со сна, жизнерадостно пошутил:

— Интересно, Иван Трофимович, какой величины и веса будут теперь люди?

— Ты бы поздоровался, — проворчал Кадыкин. — А люди—такие, как я. Нравится?

Ямпольский хмыкнул, поздоровался и, не сводя взгляда с учителя, приступил к своим упражнениям. Крепкое, цельное, мускулистое, звонкое тело молодого борца мгновенно ожило. Мускулы сообщались по всему телу, пробегая под кожей, — от шеи через грудь, живот, бедра.

Кадыкин покосился на него и прикрикнул:

— Довольно. Пойди набери воды, окати меня!

★

Плоские мониторы, попыхивая дымком, стояли у причала борт к борту, как пироги, вынутые из печи и еще не разнятые. Слышались боцманские дудки, краснофлотцы проворно двигались по скользким, покатым палубам. Жерла башенных пушек, хотя и прикрытые кляпами, были обращены в сторону от бессарабского берега, на котором уже толпились босоногие мальчишки и женщины с корзинами помидор, бубликов, подсолнухов, со свежее зажаренной рыбой и всякой иною снедью.

Предприимчивая эта публика, повидимому, и не интересовалась торговлей: с радостными, восхищенными лицами дети и женщины, молодые люди в галстуках и мужчины с бородками интеллигентов, — все, кто успел прослышать о прибытии советской флотилии, теперь старались не упустить ни одного движения на борту кораблей, ни одной черточки во внешности моряков.

Капитан третьего ранга Бровченко, рассматривая с мостика толпу, все шире и шире заливающую пристань, чув-

ствовал состояние людей и сам готов был бы немедленно выразить перед ними чувства восторженности и умиротворения, охватывающие его. Но было еще и чувство большой ответственности происходящего, и он следил за своими движениями, стараясь держаться безукоризненно.

Гул толпы нарастал. В толпе выделялась фигура высокого бритого старика, опирающегося на палку. Тяжелый старик стоял неподвижно, тогда как другие, теснясь, выталкивали вперед женщин с корзинами, и толпа уже наступала к самой кромке пристани. Но вдруг все смолкло: с борта дежурного корабля сошел по сходням патруль. Отряд выстроился шеренгой перед отступившей толпой горожан и, звякнув в тишине винтовками, словно узкое длинное животное, одновременно поднял десятка два ног... За отрядом хлестнули мальчишки.

Бровченко сошел на берег вечером, с группой командиров и краснофлотцев.

Улицы городка очень напоминали знакомые черноморские города — таким был Херсон, такие кварталы можно встретить на окраинах Одессы...

Под густой, темной, почти черной растительностью бульваров уже раздавались звуки гитар; с удивлением Бровченко услышал знакомые песни: на садовых скамейках хором пели то «Катюшу», то «Три танкиста».

Как будто и не бывало той короткой заминки в жизни города, которая вынудила опустить железные шторы на окна магазинов, закрыть маленькие тенистые ресторанчики, излюбленные ремесленниками и рыбаками.

Магазины торговали шибко: то здесь, то там привлекали запахи кофе, баранины, душистого южного борща. В глубине ресторанчиков, затененных верандами с порослым дикого винограда, на прилавках были выставлены в несколько ярусов пахучие, острые, цветистые кушанья греческой кухни. Баклажаны, раздавленные под напором сочного фарша, но не потерявшие лилового блеска; громадные пунцовые помидоры; запеченный перец в соусе из оливкового

масла и уксуса; свежие огурцы; зажаренные в сухарях рыбы, колбасы, спадающие концами с перегруженных блюд; разноцветное, то граненое, то гладкое стекло флаконов и бутылок; наконец, большие глиняные кувшины с легким бессарабским вином и бурные, фыркающие сифоны, — все было знакомо Бровченко с детства, напоминало о неизменно щедрой природе юга.

Жадные слушатели собирались у стоек тотчас, как только кто-либо из советских людей задерживался за смесью вина с сельтерской водой или чашечкой коричневого, сваренного по-турецки, кофе.

Словоохотливые рассказчики испытывали, повидимому, то же чувство праздничного умиротворения, какое было у Бровченко.

Всюду слышалась русская речь, тронутая мягким южным акцентом, то торопливая, возбужденная, то медлительная и протяжная, с ноткой юмора, — будто в дальней дороге внезапно встретились расположенные друг к другу люди, и теперь каждый спешит поправиться другому.

Уже стемнело, а буквы яркой вывески, поднятой над входом в балаган, были еще видны:

„Арена спорта. Иван Кадыкин“.

Ниже было добавлено: «Ижевчерно французкая борьба. Вольная арена в честь Красной армии».

Глянцевито-желтая афиша, прикрепленная у входа, изображала Ивана Кадыкина, знаменитого чемпиона, в виде цветущего, усатого борца. Широкая, увешанная медалями лента из серебра была наложена на грудь через плечо. Пояс с драгоценной пряжкой окружал тучные бедра. Заложив толстые руки за спину, Иван Кадыкин стоял в своем спортивном трико, бесстрашно глядя вперед, широколобый, скуластый, с лихо закрученными вверх усами.

В душе Бровченко, которому было далеко за тридцать, всколыхнулось воспоминание детства. Внезапное и разящее, как острота знакомого запаха, восстанавливающего забытые картины жиз-

ни, воспоминание это задержало его перед входом в балаган, сразу отодвинув все то, что до этой минуты его занимало.

Иван Кадыкин. Нет, Бровченко не ошибся! С толпою мальчишек он много раз дежурил у входа в неприступный рай цирка, где в тот год был мировой чемпионат Французской борьбы.

... На большой доске-диаграмме, вывешенной в ярко освещенном подъезде, отмечались шансы участников чемпионата и, конечно, несмотря на то, что тут были имена Луриха, Ивана Колодного, Святогора, — имя Ивана Кадыкина, как всегда, выделялось сплошными победами.

Было большой удачей дожидаться разезда борцов и, затесавшись в толпу почитателей чемпиона, пройти за ним до извозчика. Коляска со скрипом оседала под грузом Кадыкина, когда, раздвинув толпу, он ступал на подножку.

Однажды мальчику удалось-таки купить билет во второй ярус и увидеть решающую схватку Кадыкина с Иваном Колодным, яростно брошенным на обе лопатки, — сейчас это впечатление ожило в памяти. В тот же вечер он очутился, наконец, рядом с гигантом в богатом романовском полушубке, совсем вблизи, только протяни руку — тронешь, но он этого не сделал, вдруг смертельно испугавшись невиданных форм человека, взгляда его и голоса, показавшегося мальчику свирепыми...

И вот балаган Ивана Кадыкина был перед Бровченко.

Когда Бровченко поднял голову, он увидел того самого рослого, бритого старика, с красным скуластым лицом, который утром разглядывал мониторы. Вблизи он казался более тучным, отяжелевшим. Опираясь на палку, старик наклонился и подобрал окуроч, кем-то брошенный у входа в балаган. Мохнатая собачонка обнюхала землю.

Старик покосился на моряков, рассматривающих афишу.

— Зайдем, — сказал Бровченко товарищам. — Зайдем, зайдем! — Он понял, что перед ними Кадыкин.

Симпатичное лицо пожилой дамы, может быть, излишне накрашенное, взглянуло из кассы, и Бровченко попросил билет.

Старик выпрямился, задержал моряков.

— Простите, — вежливо пробасил он. — Но я был бы рад, если бы вы согласились посетить мой балаган в качестве гостей.

— Зачем же, — возразил Бровченко. — Мы так, как все... Если не ошибаюсь, — и он замешкался, подыскивая форму обращения, — если не ошибаюсь, — гражданин Кадыкин?

— Ваш покорный слуга, — отвечал тот с благовоспитанностью человека, знававшего хорошее общество.

— Ну, тогда позвольте, — и Бровченко протянул руку. Большая, толстая в кисти рука долго не отпускала его — старик смотрел выжидательно.

— Очень интересно! — сказал Бровченко. — Чрезвычайно!

— Балаган, — сказал Кадыкин, как бы прося снисхождения. — Только балаган.

— Нет, я помню вас, — возразил Бровченко. — В цирке Чинизелли, в Одессе, верно?

Кадыкин так вздохнул, точно хватил кипятку, широкая улыбка открыла вставные зубы.

— Да неужто помните? — воскликнул он. — Как же! Сезон двенадцатого года.

— Я был тогда мальчуганом, — продолжал Бровченко, — а вы, — что скрывать? — вы были нашим кумиром. И что же! Кадыкин все еще на арене. Так?

— Пройдите, милый, — и Кадыкин, улыбаясь, сделал широкий жест радушного гостеприимства.

Он позаботился, чтобы у моряков были места в первом ряду партера. Он лишь просил не взыскать, если придется отменить представление, — еще нет тока. А если ток дадут, он, Кадыкин, сделает все, чтобы моряки остались довольны.

На скамьях было уже много публики, белели рубашки и кителя моряков. Рыбаки, ремесленники, портовые ребята

были одеты по-праздничному — в мягких черных шляпах и при галстуках. Как только вошла новая группа, грянул оркестр: труба, скрипка и барабан. Местная публика, желая, повидимому, польстить дорогим гостям, расказывала, что только ради праздника Кадыкин решил тряхнуть стариной: уже много лет, как он не возвращается к своему аттракциону. Сегодня же состоится гала-представление, и, возможно, выступит сам Кадыкин в коронном номере «гнутья железа и удерживания на себе десяти человек в автомобиле».

Электростанция дала свет, лампы вспыхнули на фоне еще не вполне померкнувшего неба, веселое оживление прокатилось по рядам, и тотчас же удар о железо возвестил начало программы.

Трубач в картузе с золотым галуном высоко поднял трубу, а флегматичный скрипач, взмахнув смычком, приставил скрипку к ключице.

«Арена спорта» началась.

Участники гала-представления старались во-всю, но, чем больше было усилий, тем сильнее обнажалась нищета провинциального цирка. Не веселило и надсадное кривляние клоуна в традиционных, широких панталонах, из которых красноносый Маноля время от времени, вслед за подозрительным звуком, выпускал клубы дымчатого порошка.

Бровченко оглядел соседей: моряки посмеивались, но это не было веселье, охотно откликающееся шутке, жесту, призыву, идущему со сцены, а была лишь сдержанная насмешка: сцена не покоряла зрителей, и они, повидимому, начинали скучать.

Чутье старого артиста, наверно, подсказало бы Кадыкину это настроение большинства публики, когда бы он не был объят горячим волнением. Он покинул свой обычный пост контролера у входа в балаган. Васену Савельевну сменила в кассе Лиза, только-что невредимо и кокетливо выпорхнувшая из ящика, через щели которого Бен-Гази пронизал ее жестяными мечами.

И растерянная Васена Савельевна, и Стефик Ямпольский, и Лазарь Ефимо-

вич топтались вокруг Кадыкина, готова его к аттракциону.

Вот куда следовало бы заглянуть Бровченко и его друзьям!

Возбужденного, тяжело посапывающего Кадыкина энергично массировали, подсурили ему брови, тронули розовым губы и даже большие побелевшие уши. Зашнуровали мягкую обувь атлета.

Вместо прежней, литой серебряной ленты, давно разбитой на куски и проданной, надели чемпиону через плечо красный муар, скрепленный внизу эмблемой из плотной бумаги: серп и молот.

— Что придумал! — приговаривала Васена Савельевна. — И не стыдно тебе?

Кадыкин, однако, был почти счастлив. Еще раз переживал он трепет артиста и спортсмена, забытый давно, чуть ли не на заре неизменных успехов, не напомнивший о себе даже тогда, когда чемпиона встречали роскошные люстры, ревушие толпы амфитеатров Чикаго или Мадрида.

— «Марш гладиаторов»! — властно распорядился Кадыкин, и Лазарь Ефимович, выглянув за занавеску, подал сигнал изготовившимся музыкантам.

Скрипка взвизгнула, и ударил барабан.

Лазари Лазарь Ефимович пошел впереди, за ним Стефик и трансильванец Тулуш несли цепь, которую готовился символически разорвать бывший чемпион мира.

Васена Савельевна перекрестилась.

— Чемпион мира Иван Кадыкин, — донесся до нее голос Лазаря Ефимовича.

Через щель в занавеске Васена Савельевна видела, как Иван Трофимович, подняв правую руку, сжав кулак, важно поворачивался во все стороны, приветствуя публику.

Понемногу, наблюдая необычайное воодушевление мужа, она успокоилась, поверив, что он успешно исполнит легкий аттракцион.

Снова донесся голос Лазаря Ефимовича:

— Чемпион мира, Иван Кадыкин,

триумфатор и лауреат всех столиц мира, непобедимый на обоих материках, почетный гражданин Нигерии и Пернамбуку, кавалер орденов, любимец публики, ввиду того, что сегодняшнее галапредставление дается в честь Красной армии...

Пауза — и Лазарь Ефимович заканчивает бодро и назидательно:

— ...покажет свой коронный номер! Демонстрация небывалой силы волжского богатыря: гнутье железа и вслед за этим — символическое разрывание цепки... Туш!

«Дурак» — подумал Иван Трофимович. Найдя глазами Бровченко, он еще раз отсалютовал, потом, сразу сделавшись строгим, вызывая в себе давно утихшие силы, искусно став в позицию, наклонился и подхватил тяжелый отрезок фигурного железа. Он думал о том, что Лазари соврал: у чемпиона мира всегда был нелюбимый соперник — все тот же Иван Колодный, а теперь у него есть еще и враг — его собственный неугомонный дух бывшего силача, враждующий с ослабевшим, покалеченным телом.

Однако железо уже было закинута за голову. Толстые руки захватили его по сторонам, — будто клещами. Напрягаясь, Кадыкин через зубы втягивал в себя воздух.

Вот-вот железо должно было бы «пойти», но железо не поддавалось.

Страшное, уже лишенное смысла зрелище, начинало тяготить зрителей. Бессмысленность напряжения в этом старом теле, хотя еще и грозном своею массивностью, жестокость выдумки, ошибочно принятой за необходимость, даже за доблесть, ощущались всеми.

— Довольно, не надо! — кричали из рядов. — Хватит!

Но чемпион не отступал: он яростно застонал, слюна, окрасившись краской, смочила его губы, глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит, но, еще раз присев, Кадыкин, наконец, преодолел сопротивление металла и с резким свистящим выдохом согнул его в дугу.

Кадыкин покачнулся, но устоял, весь облитый потом.

Музыканты грянули.

Лазари и Стефик Ямпольский, боровшийся перед этим номером с Матэ Тулушем, оба подошли к согнутому железу, и каждый подержал железо в руках, многозначительно покачивая головой. Кадыкин же снова оглядел публику и снова поднял кулак, но теперь это не было жестом силы и бодрости — вышло так, будто Кадыкин жалобно угрозил.

Пригибаясь, он пошел за кулисы.

Конферансье и молодой атлет в недоумении последовали за чемпионом.

Арена оставалась пустой. Только символическая цепь лежала на ней, нетронутая.

Потом, кривляясь, вышел клоун в широких, испускающих порошок панталонах. Загадочно качнулась занавеска, выглянули встревоженные лица. По рядам пробрался конферансье и, подойдя к Бровченко, передал ему просьбу от Кадыкина — пройти за кулисы.

Гигант лежал на земле ничком, оголенный до пояса.

Он снова удивил Бровченко своими размерами. Женщины присели вокруг Кадыкина, Ямпольский и Тулуш накладывали на его спину мокрые полотенца. Лохматый песик норовил лизнуть его откинутую руку.

Кадыкин взглянул на Бровченко, снизу вверх, одним глазом и проговорил:

— Попалось сработанное железо, вот в чем причина. Сработанное железо гнется трудно. Я хочу знать ваше мнение: удобно ли отказаться от продолжения программы? Разрешите ли вы это? — И добавил глухо: — Я надорвался.

Бровченко сразу и не понял, о чем говорит Кадыкин, какое ему нужно разрешение, но, разобравшись, ответил, что моряки просто уйдут, если Кадыкин попробует продолжить.

Иван Трофимович не унимался:

— Как неудачно вышло! А сам виноват. Не проверить железа!..

— Ох, как не хорошо, — вздыхал он.

С помощью Тулуша и Стефика он приподнялся и сел, опершись о ящик. Над ним стояли, как над прохожим

человеком, внезапно упавшим на улице. Бровченко предложил вызвать врача. Васена Савельевна со слезами в глазах смотрела на мужа, но Кадыкин возразил:

— Пока не надобно. Знаете, у меня был случай труднее, когда Збышко-Цыганевич на острове Куба бросил меня тур-де-тет. Страшной силы и ярости был человек.

— Иван Трофимович, вольная арена состоится? — спросил Ямпольский.

— Совершенно обязательно, — отвечал Кадыкин. — За что же вам деньги платят: выходите.

«Арена спорта» продолжала свою программу, а Васена Савельевна пошла за извозчиком.

Извозчик появился за кулисами, въехав с задней стороны балагана.

— Добрый вечер, Иван Трофимович, — приветствовал извозчик Кадыкина. — Или не вышло у вас что-то?

— Здравствуй, — отвечал тот. — Не вышло. Довезешь старика? Ну, и хорошо, поедем, брат. А это — вам.

Кадыкин достал из пиджака карточку с тем же своим изображением, какое в увеличенном виде было у входа в балаган, — времен берлинского чемпионата.

— Васена, пиши. Пиши так..

И, спросив у Бровченко его имя и чин, Кадыкин продиктовал, а Васена Савельевна написала на карточке:

«Дарю этот лубочный силуэт в память нашей встречи и чувствуя себя у нас только туловище разное, но сердца бьюща воедино. Ат ныне рвите цепи, но не дружеския. Навсегда и без всячки ваш друг, борец авиатор, чемпион мира Иван Кадыкин».

Было слышно — оркестр играет вальс «Дунайские волны». Под звуки вальса на арене раздавались шлепки по голому телу.

Кадыкина поддержали. Подхватил его и Бровченко. Дрожки, скрипнув, перекосились, и, виновато глядя на Бровченко, Кадыкин сказал:

— Все по безграмотной глупости, дорогой капитан! Я все понимаю: это мое последнее выступление должно было бы состояться лет шесть-семь тому назад,

а главное — не здесь. Моя судьба запоздала.

Покорный заботливым распоряжениям Васены Савельевны, действующей толково и быстро, Кадыкин устроился поудобней и, не глядя на Бровченко, спросил с притворным равнодушием:

— Может быть, вы и Колодного помните? Ивана Колодного?

— Колодный? Иван? А как же, — начал Бровченко, — Колодного не только помнят...—Но Иван Трофимович, как бы не замечая готовности капитана рассказать все, что известно о заслуженном мастере спорта, приветственно поднял руку:

— Очень рад был познакомиться, дорогой. Очень, очень рад! Ну, поезжай, голубчик.

Дрожжи тронулись. Рыжий, лохматый песик побежал за ними.

На соборной колокольне пробило полночь. Удары колокола далеко разносились над Дунаем.

Бровченко вступил в дежурство по рейду. Безлунная ночь шла спокойно, но перед рассветом со стороны плавней правого берега раздались ружейные выстрелы. Дежурный сторожевик вышел на стрезень. Через некоторое время

Бровченко доложили, что взята лодка с перебежчиками.

В лодке было двое молодых людей и девушка. Один из перебежчиков был ранен. Бровченко потребовал к себе второго. Вошел рыжий гигант. Бровченко увидел перед собою человека, портрет которого ему подарили. Бровченко теперь вспомнил, что Кадыкин в молодости был рыжим.

Все рассказанное молодым человеком было правдоподобно: он задержался на правом берегу, чтобы вывезти из Тульчи невесту. Девушка с ним. Второй парень, рыбак с Сулина, согласившийся перевезти их, ранен румынами в тот момент, когда лодка отплывала. Рыжего гиганта звали так же, как отца: Ваней, и он хотел лишь одного — поскорее видеть отца и мать.

Бровченко размышлял недолго. Он передал Ваню Кадыкина младшему лейтенанту с приказанием доставить его и девушку к борцу Кадыкину для опознания, а заодно справиться о здоровье чемпиона.

Раненого положили в корабельном лазарете.

Совсем рассвело. Обтекая борта мониторов, громко журчала вода. На пристани уже шумели мальчики и женщины с корзинами.

Поездна в Туву

Э. ВИЛЕНСКИЙ

★

Когда мне надо было выехать в Тувинскую Народную Республику, я со всей остротой почувствовал, что значит отвлеченность географических познаний.

Книги могли рассказать о Туве немного: скудные справки в энциклопедиях; очень интересные, но с давнишними сведениями, книжки Ф. Я. Кона и некоторых путешественников, — это все, что я нашел о Туве.

Пришлось прибегнуть к расспросам «очевидцев».

Ответы были противоречивые. Одни советовали захватить меховые одежды; другие рекомендовали только легкие летние костюмы; третьи — резиновые сапоги, потому что там грязно; четвертые — парусиновые сапоги, потому что там пыльно; пятые — макинтош, потому что там вечные дожди.

В конце-концов я решил последовать мудрому совету Марка Твэна. Этот совет гласит: ехать в том костюме, в каком ходишь дома; везти с собой те вещи, какими пользуешься в обычной обстановке.

Путешествие было увлекательным.

Воздушный экспресс «ПС-84» доставил нас в Новосибирск. «П-5» — в Красноярск. «П-С» — в Хакассию. Фордовский автомобильчик — в Туву...

Саянский перевал

По пути к тувинской границе мы на «фордике» перевалили через Саян.

Дорога петлила, взбиралась на горы и спускалась в междугорья. С каждым новым поворотом открывались картины, одна чудесней другой. Раннее солнце творило чудеса здесь, где все было фантастическим и меняющимся. Тончайшие оттенки света пастельными тонами лежали на склонах, на древних густых лесах, на таежных соснах. Удары молний наносили, видимо, огромный ущерб лесу, — то-и-дело среди лесных чащ торчали обгоревшие, обуглившиеся стволы, — но могучая растительная жизнедеятельность с лихвой покрывала урон. Мы не знали, чем любоваться, на что раньше обратить взор: крутые, захватывающие дух подъемы и спуски, раскраска гор, неба, облаков, огромные поля лиловых, желтых, голубых, белых, синих пышных диких цветов, лежащих широкими однотонными коврами на откосах и обрывах.

Вот куда нужно ездить пейзажистам!

И как мы ни спешили, шофер-тувинец Акол останавливал машину, мы вдыхали чудесный благоухающий воздух, входили в цветные поля и наполняли автомобиль грудой влажных цветов.

Потом попадалась лужайка, еще более ярко расцвеченная; мы выбрасывали набранное и заменяли новыми охапками.

На пути мы несколько раз останавливались у станций. Такие станции

существовали, вероятно, когда люди ездили на перекладных.

На станциях путников встречает повариха. Она приносит на покрытый клеенкой стол сибирские пирожки, наваристые щи, жареное мясо, колбасу, кулебяку и толстое розовое сало, совсем как на Украине. Повариха недовольна, мы едим мало, с ее точки зрения. И только Акол отдает должное заграничной русской кухне.

Потом спуск, мы съезжаем вниз, становится теплее, леса редеют. Через несколько минут Барбакхак, контрольно-пропускной пункт. Несколько человек пограничников и таможенников, живущих здесь, ведут большую работу. Днем и ночью курсируют здесь машины, беспрестанный поток грузов льется по этой дороге в Туву и из Тувы. Пятитонки, трехтонки, гурты скота, почта.

Первое знакомство

Проверка документов, штамп, таможенный досмотр, и мы едем по нейтральной зоне. Через несколько километров домик тувинского контрольно-пропускного пункта. Пограничник гостеприимно встречает путешественников, прибывших из СССР. Он приглашает войти. Чистые комнаты, дорожки на полах, светлого дерева письменный стол, красное сукно, портрет Ленина на стене, два лозунга на кумачевых полотнищах: «Да здравствует революция» и «Да здравствует ленинизм».

Пограничник ставит штампель на красный советский паспорт. Все готово, можно ехать.

Машина помчалась по гладкой и очень прямой дороге.

Это был все тот же тракт, автомагистраль из Советского Союза в Тувинскую Народную Республику. Лучшей дороги не пожелал бы самый взыскательный автомобилист. Рельеф здесь, за Саянским перевалом, стал спокойнее, подъемы и спуски мягче. На поворотах, шедших вдоль обрывов, ровными рядами стояли аккуратные, свежесобеленные столбики. Там, где позволяла местность, дорога вытягивалась в длинную прямую нитку, и Акол жал аксе-

лератор до отказа: спидометр показывал сто, сто десять, сто двадцать...

Стояла теплая погода. За колесами автомобиля вился чуть заметный пыльный след. Воздух был прозрачен и мягок. Хороший, ясный день: такие стоят в начале лета в средней нашей полосе. Сразу были опрокинуты все представления о Туве, как о пустыне с резким климатом, пыльной, выжженной солнцем, лишенной растительности. На склонах невысоких гор зеленели кущи лесов. Бродили стада.

Вдоль пути — станции. Первая — имени товарища Токи, генерального секретаря ЦК тувинской народно-революционной партии. Чистые домики, железные крыши. Можно отдохнуть, закусить, выпить молока, чаю.

Затем идут первые селения. Как бы велики они ни были, ограда опоясывает их кругом. Это защита от скота, который пасется на лугах и, как в старину, иногда по месяцам остается без всякого присмотра. Для того, чтобы въехать в селение, надо вылезти из машины и открыть широкие, десятиметровые ворота.

И тут же Акол рассказывает, что в старину, когда в Туве начинался падеж скота, араты зимой складывали такие ограды из павших животных. Это трудно себе представить — штабеля из замерзших туш коров, овец, коз. И еще труднее себе представить, во что превращались эти штабеля весной, когда все таяло и трупы начинали разлагаться.

В селении рубленые дома стоят рядом с желтыми и серыми юртами. Над кровлей крайней юрты видна железная труба. Топится печь. Рядом с юртой женщина стирает белье. Строится дом, плотники стучат топорами. Люди входят в кооперативный магазин. Кто-то отъезжает от магазина на новеньком велосипеде.

На все это можно было бы не обратить внимания. Что необычного в том, что рубят дом, что стирают белье, что дымит печка, что сверкают спицы велосипеда?

Но ведь надо учесть, что раньше в Туве не знали мыла. Скотоводы ни-

когда не мылись; не стирали белья, — его одевали однажды и носили до износа, не ели хлеба — его не сеяли; не знали, что такое печка, — были только очаги. В Туве из ста человек умел читать только один — лама либо феодал. На всю страну был один-единственный дом — резиденция представителя царской власти; все население жило в юртах, дымных, грязных. Дети спали в люльках, усталых козьем навозом. Пятнадцать процентов населения болело трахомой, тридцать — желудочными заболеваниями, десять — венерическими болезнями; еще больше распространен был в дымных юртах тувинцев туберкулез.

Несчастные больные были отданы во власть шаманов. В стране не было ни одного врача или фельдшера, ни одного человека, окончившего хотя бы среднюю школу.

Зато было двадцать два монастыря, много лам, около тысячи шаманов, множество князьков-феодалов, чиновников. Манчжурские колонизаторы, русские империалисты, светские и духовные феодалы довели тувинский народ до полного одичания и нищеты.

Вот почему деревянная изба, железная труба, кооператив, бельевое корыто и велосипед заслуживают того, чтоб на них смотрели, чтоб их замечали.

Вскоре мы спускаемся к отлогому берегу Енисея.

Акол вводит машину на паром. Рядом с нашим фордовским автомобильчиком стоят «Зис-101», древняя повозочка и «Бюик» сорокового года. Эта смешанная компания быстро переплывает на пароме реку, и мы в Кызыле.

Кызыл

Это уже настоящий город. Он, правда, не особенно велик (всего восемь тысяч жителей), но отлично распланирован, чист, аккуратен. Потом можно будет приглядеться ко всему попристальней, но и сейчас, из машины, видишь многое: магазины, парикмахерская, банк, школы, аптека, несколько двухэтажных и одно трехэтажное здание.

Центральная улица украшена узеньким бульварчиком, вдоль которого стоят столбы — вечером город освещен электричеством. На двухэтажном здании ЦК партии и Малого Хурала¹ уже висят полотнища и гирлянды разноцветных ламп, все готово к празднику: Тува отмечает девятнадцатую годовщину существования республики. Так же украшен и дом полпреда Монгольской Народной Республики; он празднует не только тувинскую годовщину, но и годовщину революции в Монголии.

Мы пересекаем город, не останавливаясь: рабочий день уже кончается, и мы едем на городские дачи, в десяти километрах от Кызыла.

Последнее здание — большой гараж. Это как бы граница между городом и степью. Справа от гаража стоят автомобили, слева, спрятавшись в тень, — коровы, пришедшие с соседнего пастбища.

И через несколько минут — дачи. Чудесный уголок. Густой лиственный лес, такой густой, что лучи солнца почти не пробиваются вниз. Двумя параллельными рядами стоят в тени деревьев маленькие дачи, блестящие свежже выструганными сосновыми досками. Здесь есть дачи однокомнатные и двухкомнатные. Все они обставлены европейской мебелью и очень удобны.

Нам предлагают «ванну». Она чертовски холодна — это купанье в притоке Енисея. Река проходит у самого дачного поселка. Здесь, в верховье, Енисей очень стремителен. Острые камни на дне. Эта «ванна» хорошо освежает, из реки выходишь полный сил и бодрости.

При первых же встречах с жителями города мы в полной мере ощущаем гостеприимство и радушие тувинцев. Какие искренние речи в честь Советского Союза, в честь товарища Сталина! Какие взволнованные лица! Сверкают глаза, люди говорят медленно, подби-

¹ Малый Хурал трудящихся — верховная исполнительная власть в республике; избирается Великим Хуралом — съездом.

рая слова, самые теплые, самые ласковые слова, полные благодарности и дружелюбия.

Надо побывать здесь, чтобы понять, как любят в Туве могучую державу, давшую тувинскому народу свободу и счастье. Разговоры, начатые на берегу Енисея, продолжаются в столовой. Первым говорит Тока, потом министр внутренних дел Товариштай, потом отвечает советский полпред Петров, потом говорит монгольский полпред, потом тувинские министры, члены ЦК. А когда кончаются официальные речи, начинаются рассказы, повествования. Звучат национальные тувинские песни.

Эти песни сложили араты¹, кочуя верхом по тувинским степям, перегоня стада с пастбища на пастбище. И в песнях этих узнаешь степь, слышишь шелест ковыля, чувствуешь тягучее эхо предгорий.

Но в особенности напоминает о степи песня, которую исполняет горлом Падра, секретарь ЦК и председатель комитета искусств. Песня продолжается всего полминуты и поется одним дыханием.

Похоже, будто в горле у певца спрятана какая-то машинка, издающая гортанные мелодические звуки, металлические, отделенные один от другого резкой гранью. Так петь — большое искусство, и слушатели требуют повторения песни.

И когда уже многое сказано и спето, когда съедены многие кушанья, вносят «коренное» блюдо хой-ужазы — сваренную заднюю часть барана. Приносят и другие части барана, также вареные, кровяные вареные колбасы.

Засыпаем мы в легком дачном домишке. Над головой тихо шепчутся деревья, у никелированной кровати мягко светит настольная электрическая лампа, где-то звучит радио, и не верится, что все это происходит так далеко от Москвы, в такой своеобразной стране.

Утром мы опять едем в Кызыл.

Начинается торжество, двойное торжество тувинского народа: девятнадцатая годовщина республики и десятиле-

тие тувинской письменности, — десять лет назад был введен латинизированный алфавит, сменивший трудную, малодоступную широким слоям населения монгольскую письменность.

По дорогам едут и идут на праздник группы аратов. На лошадях, на волах, в длинных, покрытых парусиновым навесом телегах, верхом, пешком.

В последние дни на местах — в хошунах и сумонах — происходили выборы делегатов и различные отборочные соревнования. Вместе с избранниками народа в столицу спешат наездники, борцы, футболисты, волейболисты, приезжают и шахматисты. Шахматы здесь любимая, очень распространенная игра.

Гости столицы везут с собой большие мешки с вареной бараниной, котлы для чая и хотьбак — кислое молоко, похожее на наш кефир. В больших кожаных бутылках везут они араку — самогонную водку, которую делают из этого же хотьбака.

Араты рассказывают, что в хошунных центрах, в сельскохозяйственных артелях, на золотых приисках в эти дни проводятся торжественные собрания и заседания. После собраний, борьбы, шахматных турниров выступают певцы, музыканты, демонстрируются фильмы. Старик арат с увлечением рассказывает о звуковом журнале кинохроники, где показаны Москва, Красная армия, Сталин, Молотов.

В Кызыле мы остановились у городского сада. Тенистый парк раскинулся на берегу Енисея и на острове. По местам, соединяющим обе части сада, по аллеям гуляли тувинцы в красных, желтых и лиловых халатах, в европейских костюмах. Из здания театра неслись звуки духового оркестра, первого и пока единственного в республике. На стене театра висела стенгазета, большая и красиво раскрашенная.

В клубе шел последний круг шахматного турнира. В центре внимания была партия, которую разыгрывали финалисты. Выиграл ее экономист банка, тувинец Пугажик, завоевавший, таким образом, первенство страны. Он учился в Советском Союзе, в экономическом институте, там же познакомился с теорией

¹ Араты — скотоводы. В более общем смысле — народ.

шахмат и даже играл в сеансе одновременной игры против гроссмейстера.

— Тогда я проиграл, — сказал чемпион Тувы, — но теперь, надеюсь, дело вышло бы иначе...

В полдень, точно в назначенное время, в кабинете товарища Токи началось заседание политбюро ЦК тувинской народно-революционной партии.

Две-три минуты, и речь закончена. Короткие прения, заключительное, тоже очень короткое слово Токи, и начинается обсуждение следующего вопроса. Редкое единодушие, полное понимание друг друга, строгость к себе и другим — вот что было характерным для этого заседания.

Заседание продолжалось два часа.



Генеральный секретарь ЦК тувинской народно-революционной партии
товарищ Тока

На столе Токи — книги на тувинском и русском языках, папки, два телефона. Между окон — большой портрет Сталина.

Участники собрания быстро заняли места, и работа началась. Обсуждались последние мероприятия, связанные с праздником, некоторые организационные вопросы.

Вставал докладчик и говорил быстро, но очень монотонно, не меняя выражения лица и без всяких модуляций го-

Только один раз Тока встал с места, — он затянул кисейную занавеску: по улице промчалась колонна грузовиков, и в воздухе поплыло густое облако пыли.

Руководители

Тувинский народ долго страдал. Долгие годы он был под ярмом китайских чиновников и купцов. Много лет страдали тувинцы под игом русского царизма. Народ душили, обирали и угнетали свои феодалы-князья, ламы, кулаки.

¹ Фотографии Э. Виленского.

И потом, когда русский освобожденный народ помог своим тувинским братьям, долго еще продолжалась в Туве ожесточенная борьба. Враг, затаившись, переменяв личину, вредил, наносил удар за ударом. Народу пришлось много пережить, много бороться, прежде чем он уничтожил своих внутренних врагов, прогнал и раздавил последние кулацкие и контрреволюционные элементы, установил власть справедливую, народную — свою власть.

Народ выдвинул и поставил у кормила государственной власти своих людей, батраков, аратов, избранных народа.

И вот сегодня государством управляют трудящиеся — скотоводы, рабочие, интеллигенты.

Они возглавляют партийные и административные учреждения, занимают посты министров, руководящие должности в кооперации, в банке, в школах, в хошунных управлениях, в армии, в ревсомле.

В Кахэме, в районе Мерген, родился товарищ Тока, и здесь прошли долгие годы его батрацкой жизни. В 1921 году, когда в Туве произошла национально-освободительная революция, Тока ушел от богатых, у которого работал, и поехал в Кызыл.

Народно-революционная армия, потом учеба и жизнь партийного борца, революционного деятеля. Тока — председатель комиссии по чистке рядов партии в Дзун-Хемчинском хошуне и ответственный секретарь Государственной плановой комиссии.

То были трудные годы, — годы классовой борьбы, ликвидации феодализма и боев с оппортунистами и контрреволюционерами. Тока был непримирим к врагам своего народа, и партия, удивившись в его силе, стойкости и верности, на VIII съезде избрала его секретарем ЦК, а затем, в 1932 году, — генеральным секретарем.

Тока — настоящий народный государственный деятель, отдающий себя целиком своей стране, работе на счастье народа.

И рядом с ним — такие же люди, такие же верные сыны народа.

Полат — председатель президиума Малого Хурала¹ — рассказ о своей жизни начал словами: «Я родился от беднячки Толчан на реке Самагалдай».

Боир, председатель совета министров, один из популярнейших людей в стране, был пастухом у феодалов и русского кулака; дедушка его и отец, по его выражению, «были рабами феодалов».

Военный министр, полковник народно-революционной армии Шома с одиннадцатилетнего возраста — целых десять лет — батрачил у богатых, китайцев и русских. А теперь — это культурный командир, имеющий специальное военное образование, член политбюро ЦК.

Эти люди росли без имен, без фамилий — у тувинских бедняков детям давали только кличку. Нынешнему министру внутренних дел дали в детстве кличку — Тай. Потом его стали называть так: товарищ Тай. Эти слова слились, образовалась фамилия: Товариштай. Товарищу Товариштаю 35 лет. Это крепкий, подвижной человек, с широким лицом, веселый, радушный.

Падра, секретарь ЦК, батрачил с семи до двадцати лет.

Анчима — заместельница председателя президиума Малого Хурала и завженотделом ЦК — батрачила с 14 лет.

Пазыр-сат — секретарь ЦК — тоже был батраком с 14 лет.

Но эти люди выдвинуты на руководящую работу не только потому, что они в прошлом батраки, бедняки или араты. Это культурные, образованные люди.

Народ верит им, любит их и вместе с ними уверенно строит свою новую жизнь.

Перед праздником

Вечером четвертого июля все руководители тувинского народа пришли в гости к советским гражданам.

В Кызыле есть клуб советских граждан. Около восьмисот человек собра-

¹ Теперь товарищ Полат на учебе.

лись вечером, чтобы послушать доклад Токи, посвященный празднику.

В президиуме за столом сидели члены комитета советских граждан, полпред СССР товарищ Петров, руководители тувинского правительства. Слово дали Токе.

На очень хорошем русском языке он сделал доклад о пройденном пути, о развитии тувинского народа, о его дружбе с СССР, о помощи, которую оказал и оказывает Туве Советский Союз. Тока напоминает декларацию, с которой советская власть вскоре после Октябрьской социалистической революции обратилась к тувинскому народу: «Рабоче-крестьянское правительство России, выражающее волю трудящихся масс, торжественно объявляет, что отнюдь не рассматривает Танну-Тувинский (Урянхайский) край своей территорией и никаких видов на него не имеет».

— С тех пор прошло много лет, и сейчас мы можем, — говорит Тока, — заявить: тувинский народ веками будет помнить великого бессмертного Ленина и благодарить партию и правительство СССР, гениального вождя, горячее сердце трудящихся всего мира — Сталина — за всемерную помощь, которую он оказывал и оказывает нашему тувинскому народу с первых дней национальной революции...

Эти слова покрываются бурной овацией, все рукоплещут.

Начинается концерт. Он очень своеобразен и интересен, этот концерт, составленный из русских дореволюционных и советских произведений, исполненных русскими советскими людьми, выросшими в Туве.

Утром пятого июля Кызыл оказался окруженным юртами. Дымились костры, кипел чай, в котлах варилось молоко. Араты заполняли в городе магазины, гуляли по парку, с любопытством рассматривали первое в стране трехэтажное здание учебного комбината, только-что законченное строительством. Это и первый дом с центральным водяным отоплением.

Город пересекали группы конных аратов, съезжавшихся на праздник.

Выставка, устроенная в павильоне бывшей ярмарки, была переполнена. Сегодня здесь появился новый экспонат — «Краткий курс истории ВКП(б)», книга, переведенная на тувинский язык и отпечатанная в местной типографии.

А вечером в городском театре после торжественного заседания показывалось молодое тувинское искусство, только в последние годы начавшее формироваться. Оно подкупало своей искренностью. Выступали певцы и певицы, танцоры, тувинцы играли на игыле. Игыл похож на саази; на грифе его вырезана конская голова. Другие играли на лимбе — местной флейте, на пызаганджи — тувинской скрипке. Каждое выступление встречалось всеобщим восторгом и требованиями повторить номер.

А когда на сцене стала работать группа акробатов, жонглеров и канатоходцев, овациям не было конца. Успехом пользовался и руководитель группы Оскал-оол, ездивший в Москву и учившийся в школе циркового искусства, и его ученики — местная молодежь, обученная им и впервые выступавшая на сцене.

До поздней ночи веселились зрители в театре, в аллеях парка, в садовом ресторане, где продавалось местное пиво и советское шампанское, на танцевальной площадке, где европейский вальс и американское танго завоевали полное право гражданства, и за городом, где при пляшущем свете костров скотоводы пили араку, пели протяжные песни или вели тихую, долгую беседу.

Одна из величайших побед

Рано утром шестого июля мы поехали в Туран, центральный город Пихэмского хошуна¹. Мы опять переправились на пароме через Енисей и поехали на север. Мы ехали с Полатом на праздник Пихэмского хошуна.

В Туране десятки лошадей, помахивая хвостами, стояли у ограды. Их хозяева, приехавшие из сумонов¹, ушли на городскую площадь. Подходили со знаме-

¹ Хошун и сумон — единицы административного деления.

нами делегации. Правильным четырехугольником выстроились тысячи людей вокруг трибуны, украшенной хвоей и гирляндами цветов. Полат поднялся на трибуну и сказал:

— Я поздравляю ваш хошун с великим достижением. Вы по ликвидации неграмотности вышли на первое место в республике. 91 процент грамотного взрослого населения — это такая победа, которая радует сердца всех жителей нашей страны. Президиум Малого Хурала вчера постановил наградить ваш хошун Орденом Республики...

Полат закончил речь, сошел с трибуны и прикрепил к хошунному знамени орден.

В стране появился первый орденоносный хошун.

Но, по совести говоря, всю страну, все хошуны надо было наградить за успехи в области народного образования: теперь ведь из каждых ста взрослых людей 86 научились читать и писать. Невиданные, завидные темпы! До 1930 года в Туве было четыре начальных школы с четырьмя дамами-учительницами. В них училось около ста детей из богатых семейств. Сейчас — сто школ. Кроме того, есть учебный комбинат, в котором учится 312 человек, и курсы по подготовке в вуз (вуза еще пока нет, но создание его предусмотрено), где занимаются 23 будущих студента.

Интересен характер школ. Они разбиты на три вида.

Так называемые летние школы открываются на летниках, там, где кочуют араты. Школы передвигаются вместе с кочевниками из одного пункта в другой. Организация таких школ была вызвана необходимостью приблизить их к арату и в исключительной короткой срок, до переезда на осеннее пастбище, обучить детей чтению и письму. Учителями в таких школах работают слушатели второго, третьего и четвертого курсов педагогического отделения учебного комбината.

Сумонная школа строит свою работу по четырехлетней программе. Эта школа интернатная, дети содержатся в интернате за счет родителей. До 1939 года в сумонных школах были только

первые классы, а в 1939—1940 годах открылись и вторые.

Хошунные школы — тоже интернатные, но учащиеся в них содержатся за счет государства. В этих школах есть третьи и четвертые классы. Четырехклассной хошунной школой заканчивается общее образование. Пока что получается некоторый разрыв между общеобразовательной школой и специальной — в системе так называемого «учкомбината». Но в этом году открываются пятые классы, а затем откроются шестые, и скоро хошунные школы будут посылать в учкомбинат юношей и девушек с семилетним образованием.

В учебном комбинате есть педагогическое, медицинское, счетно-торговое и сельскохозяйственное отделения. Учащиеся содержатся за счет государства.

За последние пять лет государственных затраты на народное образование возросли в пять раз.

Народное торжество

Когда мы возвращались из Турана в Кызыл, вокруг столицы и на улицах города царил тишина.

Все ушли на праздник.

И когда мы подъезжали к площади, лежащей за городом, мы увидели тысячи людей, которые двигались к месту парада. Они размещались по двум сторонам огромного четырехугольника, третью сторону которого занимала армия, а четвертую — правительственная трибуна с установленными рядом громадными портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Началось торжество.

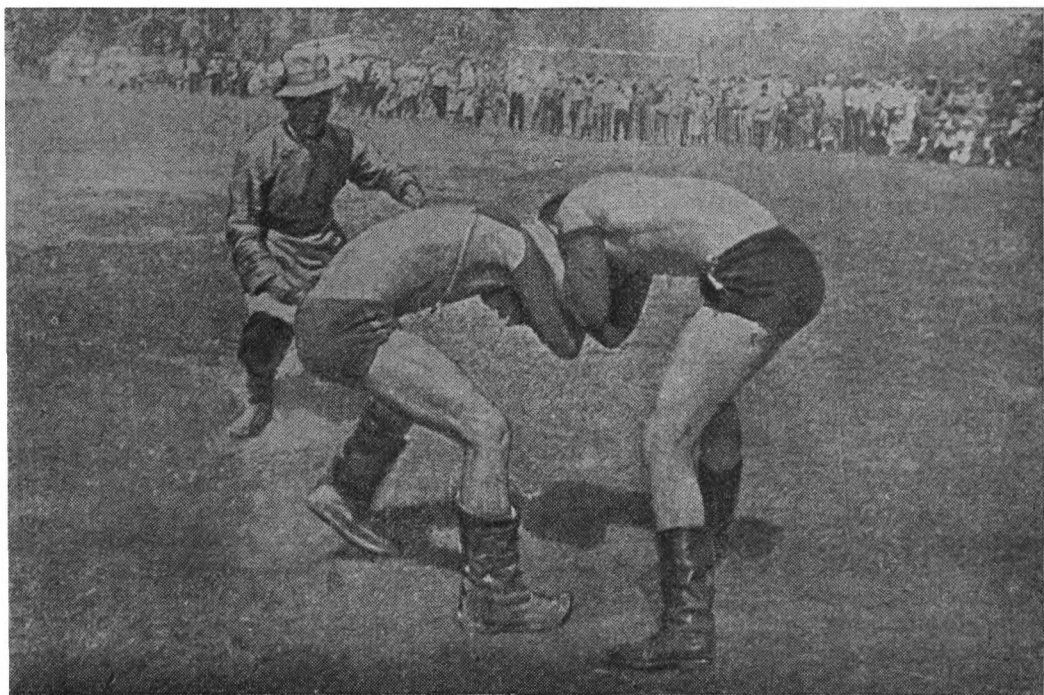
С высокой трибуны звучала страстная речь о свободной жизни, о вольном народе, о революции, о дружбе с великой страной социализма. Говорил Товариштай; говорил он взволнованно, и народ слушал его слова, затаив дыхание. Потом вышел поэт и прочитал большое стихотворение-письмо товарищу Сталину, написанное группой местных литераторов. Стихи эти вызвали бурю восторга. Люди вскакивали с мест, кричали, аплодировали.

Затем начался парад. На горячих конях пронеслись части кавалерии, пулеметные тачанки, орудия. Мимо трибуны проходили пионеры, борцы, физкультурники, колонны демонстрантов.

После демонстрации все отправились на спортивный стадион. Там-то и были

высоко подпрыгивали, размахивали руками. На них были костюмы борцов — тувинские сапоги с загнутыми кверху носами, узкие трусы и нечто вроде жилета. Рядом с ними бежали «секунданты» в халатах и европейских фетровых шляпах.

Показав себя народу, борцы удали-



Тувинская борьба. Сзади «секундант»

назначены главные развлечения: борьба, скачки, физкультурные соревнования. Тувинец проедет тысячу километров, чтобы взглянуть на все это!

Соревнования начались шестого в полдень и кончились седьмого поздно вечером. Зрители уходили отсюда только спать. Еду они приносили с собой и тут же, на трибунах или на земле, закусывали привезенным из сумона мясом и прикупленным в Кызыле свежим хлебом.

После вольных движений, фигурных упражнений, футбола и волейбола объявили о центральном событии, и через поле к трибуне, пританцовывая, направилась шестидесят четыре борца. Они

лишь. Тогда на поле вышли «секунданты» и приступили к организации первых схваток.

— Мой борец самый сильный, — выкрикивал один «секундант», ведя за руку своего подспечного. — Он никого не боится. Кто хочет померяться с ним силой?

Другой кричал:

— А мой такой крепкий, что на него не лезет ни один костюм. Смотрите, мой сегодня победит всех!

И вот началась борьба.

Тридцать две пары борцов, танцуя, вышли и стали в позицию, хорошо известную курильщикам по рисунку на папиросах «Борцы».

Тувинская борьба — вольная. Допускается все — подножка, захват ноги рукой, захват костюма и кожаного ремешка на жилете. Такая борьба требует осторожности и молниеносной реакции. Можно проиграть из-за малейшей неосторожности. Побеждает не самый выносливый, не самый сильный, не самый тяжелый. Побеждает ловкий и быстрый. Мы видели: борец, уже падавший в объятиях силача, вдруг вырывался и в последнюю секунду оказывался победителем. Тяжеловес падал, обманутый маленьким и легким противником. Такая борьба — серьезное дело, и потому к ней готовятся долго и тщательно, много тренируются, за два месяца до соревнований перестают есть жирное мясо.

Круг шел за кругом. Вышли шестнадцать пар — победители. Потом — восемь пар. Проходили известные борцы, чемпионы прошлых лет, любимцы публики. Все уже становился круг участников.

Наконец, на второй день соревнований, после продолжительного перерыва, вышли двое лучших. Один был — шофер, другой — арат. Они, танцуя, направились к месту борьбы. Их «секунданты» тоже танцовали.

Началась схватка. Она проходила при напряженном внимании всего стадиона. Противники осторожно ходили по кругу, присматривались, то схватывались, то отпускали друг друга.

— Действуй! — кричат «секунданты». — Побеждай!

И вот быстрым, как молния, движением борец-шофер схватывает противника, делает подножку и валит наземь.

Нечто неопишное творится на трибунах. Победителю не дают даже проплясать заключительный танец. Друзья срываются с места, хватают чемпиона на плечи и бегом уносят с поля. Так же уносят и борца, занявшего второе место.

Скачки

На берегу реки, у подножья горы, в восемнадцати километрах от Кызыла, — дистанция скачки, — собралось шестьдесят пареньков. Самому старшему

из них было шестнадцать лет. В скачках обычно принимают участие только подростки: легче лошадям.

Кони привязаны, отдыхают. Ребята плещутся в реке, смачивают волосы. Лица их серьезные, сейчас не до шуток: скакать на лучшем отцовском коне, участвовать в республиканском соревновании, оспаривать большой денежный приз — дело серьезное.

Озабоченно идут они к лошадям, босые, без шапок. Тщательно завязывают хвосты лошадей, скрученные жгутом.

Ухватившись за гриву, садятся на коней. В одной руке повод, в другой нагайка. Без седел, в штанишках и рубашонках — совсем, как наши ребята, отправляющиеся в ночное.

Длинная прямая линия старта. Сигнал.

Вздымая клубы пыли, мчатся десятки лошадей. То одна, то другая вырвется вперед, но ее тут же настигают, не дают уйти. Звонкий детский крик стоит в степи, эздоки воодушевляют своих коней, и кони мчатся, прижав уши и распластываясь над землей.

Мы едем параллельным курсом на автомобиле. Машина мчится по степи, по кочкам, рытвинам. То-и-дело нас встряхивает, мы ударяемся головами о потрлок, набиваем шишки, но не замечаем этого, так увлекательно зрелище, которое мы наблюдаем.

От массы отделилась небольшая группа.

Бок о бок скачут трое ребят, взмахивая плетками и понукая лошадей. Вперед уходит темная лошадь, но вот обгоняет ее серая, потом вперед вырывается белая.

Неподалеку поднимается вспугнутый орел. Здесь степь, ребята скачут по кратчайшему пути от старта к финишу. Орел медленно взмахивает крыльями, плавает низко над землей; он не спешит, словно хочет рассмотреть на необычайное зрелище...

У площади возле города, где был парад и демонстрация, уже приготовились шестьдесят встречающих всадников. Каждый держит номерок — от первого до шестидесятого. Всадники выезжают навстречу ребятам и у финиша на ска-

ку передают им номерки — иначе в толпе, в пыли затеряешь соревнующихся, возникнет путаница.

Облако пыли проносится мимо трибуны — в этом облаке скачут ребята. И только когда пыль оседает, можно разглядеть победителей. На первом месте шестнадцатилетний Ширин-оол, на втором четырнадцатилетний Аг-оол, на третьем — десятилетний Мактар.

Усталые, потные ребята распластываются на спинах лошадей и не могут спуститься на землю, — так они утомлены. Рубашонки вылезли из штанов, волосы прилипли ко лбу.

И все же гордость берет верх, Победители соскакивают с лошадей и ходят в толпе, ловя восхищенные взгляды и упиваясь сладостью победы.

Замечательные ребята, великолепен этот малюсенький Мактар, десятилетний всадник, проскакавший такую большую дистанцию и оставшийся в тройке победителей!

Путь на запад

Восьмого июля мы уезжаем. Путь наш лежит на запад. Машина несется с большой скоростью; шоферы-тувинцы любят ездить так, чтобы «ветер не догнал». Кругом зеленая, сочная, окруженная горами степь. Еще раз возникает мысль, насколько ложно представление о Туве, как о выжженной солнцем пустыне! От густой, местами очень высокой травы в воздухе стоят пряные лекарственные запахи, Мириады насекомых верещат, пиликают, трещат. Тучи комаров над берегами быстрых речушек. Кочевники ушли от комаров на лето за горы. То-и-дело попадают свободные от травы круги земли — следы юрт.

На западе расположены три самых богатых хошуна: Парын-хемчик, Зун-хемчик и Улуг-хем. В них живет большая половина всего населения республики. Ближайший к столице хошун — Улугхемский.

Когда проезжаешь хошунный центр, жители говорят: «Раньше здесь были две юрты и монастырь» или: «Раньше здесь было три юрты». Теперь это селения с прямыми и широкими улицами,

с рублеными домами, возле которых можно иной раз увидеть и юрту, сохраненную для каких-нибудь хозяйственных нужд.

В хошунных центрах живут только оседлые люди — партийные и государственные работники, учителя, врачи, продавцы, бухгалтеры, шоферы и другие рабочие и служащие, связанные с центром района. Но когда в клубе идет фильм или показывают спектакль, из сумонов приезжают скотоводы, и европейские костюмы хошунных жителей смешиваются с пестрыми халатами кочевников.

Накануне улуг-хемцы смотрели любительский спектакль, постановку популярнейшей тувинской пьесы «Три года секретарем ячейки», написанной товарищем Тока. Сегодня вечером — кино, советский фильм «На границе». Зрительный зал неожиданно велик, — на скамьях свободно усаживаются семьсот-восемьсот человек.

Отделение Тувинского банка... Как знаменательно существование этого учреждения в хошунном центре! Раньше здесь существовал только натуральный обмен, а сейчас введено нормальное денежное обращение, производится кредитование сельского коллектива — долгосрочное и краткосрочное, принимаются вклады на текущие счета.

Тувинский банк за один только прошлый год выдал около 26 миллионов акша¹ краткосрочных кредитов.

В группе людей у здания хошунного управления знакомое лицо. Оказывается, это герой дня — арат Саргол, борец, завоевавший в Кызыле второе место. Он едет домой, но здесь его задержали: каждый хочет побеседовать со знаменитым человеком.

Радость борца несколько омрачена поражением в последнем туре.

— Руки у этого шофера железные, как клещи, — говорит Саргол о победителе.

Только-что выстроенный дом хошунного управления обширен, светел, удо-

¹ Акша — денежная единица, равная примерно полутора рублям. Более мелкая денежная единица, принятая в Туве, — копейка.

бен. В нем разместились партийная и ревсомольская организации, женорганизатор и хошунное управление со всеми отделами. В комнатах прекрасная, местной работы, мебель из светлого полированного дерева, часы, занавески, телефоны. В городе установлено уже двенадцать телефонов.

Руководители района рассказывают о своих делах, о росте поголовья скота, о посевах, о заготовке сена на зиму.

Председатель товарищества по совместной обработке земли Тюкпержап побывал в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Это — смуглый, коротко стриженный, худощавый человек в темном халате. Он садится за стол, берет острый аратский нож и отрезает длинный ломоть вареной баранины. Затем он начинает говорить — медленно, степенно, вдумчиво.

Тюкпержап — член народно-революционной партии с 1930 года, был в ревсомоле. Когда женился, у него было всего шесть овец и четыре козы. Жена — беднячка — привела четырех овец и бычка. Сейчас у Тюкпержапа 132 головы лично ему принадлежащего скота.

Свое хозяйство он ведет пока по-старинке. Зато в товариществе дело ставится на культурную ногу.

Трудно, конечно, Тюкпержапу сразу ввести все, что он увидел и запомнил на выставке. Старики не верят, смеются, а молодые не всегда слушаются. Но уже в этом году сделано многое.

Кочуют все семнадцать хозяйств: вспашут землю и уходят со скотом на пастбища. Потом вернуться, посеют и снова уходят. Приходят оросить поле да еще осенью на уборку.

Но кочевая жизнь не мешает детям учиться. Летом они кочуют с родителями, а зимой живут в интернатах.

Дела в товариществе идут хорошо. В прошлом году выдали по 8 килограммов хлеба на трудодень. Это немало, если учесть, что засеяно всего 64 гектара, а машины — только конные. И надо помнить, что это еще не настоящий колхоз, как в СССР, а, так сказать, начало колхоза, первичная его форма.

Но Тюкпержап уже видит себя председателем настоящего колхоза, широко

внедряющим опыт выставки. Видит большое колхозное стадо, бескрайние поля пшеницы, стога сена, скотные дворы, тракторы, комбайны... Он — мечтатель, этот смуглый арат, но мечтатель трезвый, серьезный. Он работает изо всех сил, борется с пережитками старого, учит, спорит, агитирует.

Тюкпержап и сам учится — выписывает все газеты и журналы на тувинском языке, изучает «Краткий курс истории ВКП(б)», напечатанный в журнале «Революционный арат», решения XI съезда тувинской народно-революционной партии. Сколько бесед-провел он, сколько докладов о выставке сделал! А как борется он за чистоту, за культурное питание, за гигиену! В товариществе все моются, стирают белье. Научились печь хлеб...

Лагерь в Чадане

Мы ехали дальше на запад. Ночь.

Вечером здесь грохотала гроза и лил густой дождь. Горные дороги размокли.

Машина шла, виляя задом, колеса буксовали; часто приходилось вылезать и тащить автомобиль в гору.

Потом началась тайга. Ночью она выглядела злобещей. Свет фар высекал стрелчатые силуэты высоких елей, таинственно журчала горная река. То и дело на дороге выскакивали зайцы и бежали перед машиной, пока, наконец, не решались ринуться во тьму.

Было уже светло, когда мы добрались до Чадана, центра Чен-хемчикского хошуна. Наутро мы решили отправиться в пионерский лагерь Чадана.

Переехав через обмелевшую речку, мы оказались в тенистом лиственном лесу. На расчищенной поляне выстроились сто пятьдесят пионеров в легких летних костюмах, с красными галстуками, босые, загорелые, веселые. Прозвучала барабанная дробь, и отряды стали готовиться к утренней церемонии.

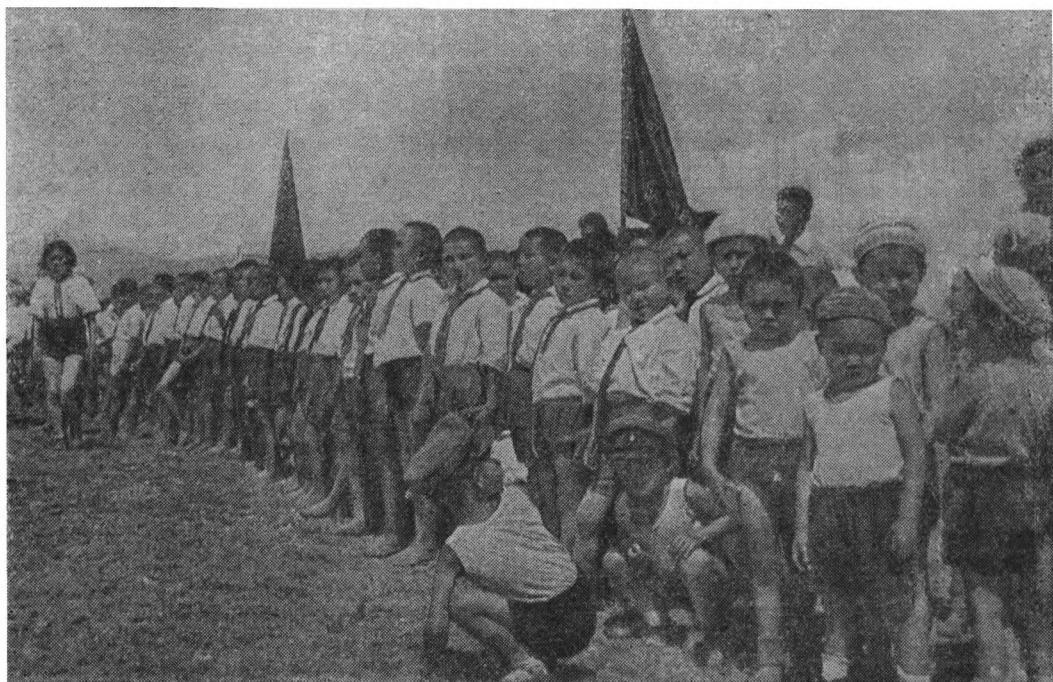
Но обычный распорядок утра был внезапно нарушен: к центру площадки подошла группа людей, среди которых были Тока и Полат. Воцарилась тишина. Холодные лучи раннего солнца пробежали по знамени, по пионерским ко-

стюмам, по загорелым ногам и рукам. От шеренги пионеров отделилась миниатюрная фигурка. Девочка подошла к гостям, отсалютовала и отрапортовала.

Начал говорить Полат.

— Я поздравляю вас. — сказал он пионерам, — с награждением Манзрычки,

ка уселись на деревянных коней — карусель «на две персоны» — и завертелись вокруг столба. Большая группа образовала круг, и в середине его ребята стали плясать под звуки балаалайки. Раньше тувинцы никогда не танцевали и не имели своих плясок. С кем танцевать,



Тувинские пионеры

руководительницы вашего лагеря, учительницы школы в Туране. Она замечательно поработала. Правительство наградило ее Орденом Республики.

Полат вынул из кармана коробочку, взял орден и прикрепил его к майке учительницы, вышедшей навстречу гостям.

Двадцатидвухлетняя учительница казалась совсем ребенком в пионерском костюме.

А пионеры, прокричав «ура», разбежались в стороны. Группа ребят повела гостей в палатки, чтобы показать свои койки с чистым бельем и теплыми одеялами, свои книги, игрушки, самоделки. Другие звали нас к почетной доске, третьи запели песни. Мальчик и девоч-

если юрты стояли далеко одна от другой? А теперь дети изобретают танцы, пляшут долго и охотно.

Принесли горячую рисовую кашу. Словно воробьи, слетелись ребята в столовую, и сразу стало тихо на поляне.

Там, где раньше было горе

Открывается деревянная дверь. Юрта. Серые кошмы на полу. У стен стоят городские кровати, невысокие самодельные комодики, столик с книгами, ружье. Портреты Сталина, Калинина, Ворошилова.

На железной печке кипит большой котел. Скоро поспеет чай, зеленый чай с молоком, соленый. Хозяйка угощает

нас гарой — поджаренным пшеном со сметаной. Потом она наливает в чашки хотьбак.

Гости пьют хотьбак. Приходит старик Чамбал. Чамбалу 73 года. Ему было девять лет, когда в этих местах вспыхнуло аратское восстание. Он рассказывает о первой вспышке крестьянского гнева, первой попытке тувинских аратов выступить против феодалов-нойонов.

Было так. Поборы, издевательство, пытки стали невыносимыми. К самому мелкому феодалу арат не мог просто подойти: за сто шагов он должен был пасть ниц и ползти на животе. За малейший проступок людей били, терзали, применяли пытку под названием «кара-ка-хыл-ураp»: пытаемому пускали в глаза мелко нарезанный конский волос, смешанный с порохом, после чего заставляли смотреть на поднесенную к глазам раскаленную железную лопату.

Народ восстал. Вожди, араты Севендей и Тажи-Чангы, повели за собой бедняков. Они напали на ближайших феодалов, прогнали их, захватили скот и раздали беднякам. В песне восставших говорилось: «Гору Хормтаг сделаем центром, а равнину заселим аратами».

Восстание продолжалось недолго. Пригнали наемных солдат, и аратам пришлось бежать. В лес, в горы ушло шестьдесят повстанцев, «шестьдесят беглецов», как прозвал их народ и как зовут их в преданиях по сей день. Плохо одетые, без скота, без юрт, они влачили жалкое существование. Редко удавалось им тайком встретиться с аратами из долины, и тогда они получали кое-какую пищу. Но феодалы вели неослабное наблюдение за горой, и такие встречи становились все труднее и опаснее. Беглецы питались ягодами, кореньями, болели, умирали. Но они не сдавались.

И вот, наконец, на гору прибыл посланник Амбын-нойона, правителя всей Тувы. Он предложил беглецам помилование и вызвал их на мирные переговоры. Вожди согласились и пошли в Чарчарык, на берег реки. Там их немедленно схватили. Что стало с Тажи-Чангы, — неизвестно. Севендея увезли в Монголию и там казнили. Потом, когда беглецы остались без вожаков, их по одному

выловили и почти всех после страшных пыток умертвили, а головы посадили на колья у дорог. Так окончилось первое аратское восстание, об участниках которого говорят с почтением.

Мы простились с хозяевами и вышли из юрты. Машина снова помчала нас на запад. Ехали молча, задумавшись.

И вдруг шофер остановился.

— Чарчарык, — сказал он, — тут их схватили.

На прелестной лужайке, у речки, стояли юрты. Густой дым валит из трубы. Стада овец паслись вокруг. Две козы взобрались на покосившийся ствол толстого дерева.

От юрт прибежали малыши, здоровые, черные от солнца. Следом за ними шли взрослые. Мужчина нес араку в большой бутылки, искусно сделанной из толстой кожи. Женщина принесла пиалы с хотьбаком.

Мир, довольство, покой царили на этом месте, где много лет назад пали жертвой предательства борцы за свободу народа.

Гост

И снова на запад. Путь лежит вдоль рек и речушек, которыми так богат этот край. Густая трава, кустарник, яркие зеленые деревья. Красивая, окруженная горами долина.

Когда мы подъезжали к хошунному центру Парын-хемчик, человек, стоявший на дороге и, видимо, нас ожидавший, поднял руку. О предстоящем приезде гостей кто-то сообщил из Кызыла по телефону, и на лужайке организовали прием. В большом котле — куски баранины, недоваренной и несоленой по местным правилам; кровяные колбасы; тувинский шашлык — куски печенки, обернутые в тонкие ломти бараньего сала и нанизанные на ветку; зеленый чай с молоком и солью; арака; и тут же — красные коробки с «московскими хлебцами»; конфеты «раковые шейки». Все это разложено и расставлено на большой белой клеенке, на траве.

Из-за деревьев показывается всадник. — Привет! — говорит он. — Мир и благополучие вашей трапезе...

Он берет предложенный ему кусок баранины, весом с килограмм, и острым длинным ножом отрезает тонкие ломти мяса и сала. Проглатив несколько кусков, он поднимает стакан с аракой и произносит тост. Он говорит долго и быстро, глядя в одну точку где-то на горизонте:

— Радость и дружба советскому человеку, приехавшему из великой страны!

кого-нибудь. И вот я живу у всех — то у одного, то у другого. Сейчас еду от дочери к младшему сыну. Я много езжу и много вижу. Вижу, что жизнь у нас хорошая, спокойная и свободная. Я уже много лет не видел ни одного нойона. Араты счастливы. Вот что сделала революция. А революцию нам помогли сделать Ленин и Сталин. Все это знают. И я, старик, это знаю и благодарю



Новое в юрте арата

Меня зовут Арап-Пай. Мне шестьдесят три года. Тридцать лет я батрачил у богача Иозуту. Потом, когда араты прогнали нойонов и стало хорошо, я начал пасти овец и коров, которых мне помогло купить государство. Стадс мое росло и увеличивалось. Когда я почувствовал, что старею, я собрал своих детей, — а у меня пять дочерей и три сына. Я сказал им: берите моих овец и коров, коз и верблюдов, ибо трудно мне пасти их. Они поделили скот между собою, и каждый звал меня к себе жить. Но я не хотел огорчить

Ленина и Сталина и за себя, и за детей своих...

Старик, пожав нам руки, уезжает на своем коне. Потом он возвращается и спрашивает:

— А где теперь Иозуту? Не спрятался ли он, не вернется ли?

— Не беспокойтесь, отец, — говорит ему приехавший с нами Тока, — я знаю, где он, и он уже никогда не вернется...

Старик уехал. Тока задумчиво посмотрел ему вслед.

— Я тоже ведь был батраком, — сказал он. — Ух, как это было тяжело!

Страшно. За плитку чая у арата брали четырех баранов или сорок беличьих шкур. За две иголки—барана. За быка давали кусок ситца, длиной с этого быка.

А теперь каждая аратская семья имеет в среднем семьдесят пять голов скота...

По новому пути

Трудно, конечно, не удивиться, когда слышишь, что у бедняка сто, двести, триста голов скота. «Какой же это бедняк?» — воскликнет советский читатель.

Верно, сейчас он уже не бедняк, а обеспеченный арат. Но он не кулак. Еще несколько лет назад он был бедняком, не имел вовсе скота или имел всего несколько голов. Государство помогло ему приобрести свец, коз, коров, лошадей, отпустило в кредит сенокосилку. И без всякой наемной силы, используя лишь богатейшие пастбища своей родины, он увеличил стадо.

Надо помнить, что арат-скотовод не имел раньше, да и сейчас почти не имеет, никаких других средств существования, никаких других источников дохода, кроме скотоводства. Основа питания — мясо и молочные продукты. Овощей нет вовсе. Основной материал для домашнего тканья — овечья и козья шерсть.

* Скот — основа существования арата. Большая часть приплода идет в пополнение съедаемого поголовья и возмещает скот, сдаваемый кооперации. Арат не нанимает батраков. Большие цифры поголовья скота — особенность страны, особенность экономического положения арата и его бытового уклада.

Ни в городе, ни в деревне нет капиталистов, промышленников, фабрикантов, помещиков. Тува идет вперед, минуя стадию капиталистического развития. В 1931 году имущество всех феодалов было конфисковано и передано трудящимся аратам. Феодалы были лишены всех политических и экономических прав. Это явилось началом решительной борьбы аратских масс за углубление дела тувинской антимилитаристической, антифеодальной революции.

Страна, уничтожив феодализм, стала гигантски расти и политически, и культурно, и хозяйственно. В Туве нет крупных собственников, нет частной промышленности, вся торговля в руках кооперации, банк — государственный. В стране развилась сеть школ, больниц, пионерских лагерей, магазинов, отделений банка.

В 1920 году на II конгрессе Коминтерна В. И. Ленин говорил: «...с помощью пролетариата наиболее передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития».

Как все гениальные политические прогнозы Ленина, и этот сбывается полно и точно. Лучший пример — Тува.

Ленин говорил о помощи пролетариата наиболее передовых стран. Такую помощь Тува получает от народов СССР. Они помогают тувинскому народу, Тувинской аратской республике. Они помогают своей культурой, они передают гениальное учение Ленина—Сталина, они помогают экономически, ведут с Тувой интенсивную торговлю. Правительство разрешило приглашать из СССР нужных специалистов, и по всей стране можно встретить советских инженеров, зоотехников, агрономов, врачей, экономистов, инструкторов физкультуры, бухгалтеров. Вместе с тувинским народом преданно и с воодушевлением работают они над дальнейшим культурным и хозяйственным ростом страны.

Право

Мы много говорили с тувинскими товарищами о дореволюционном быте аратов, о суде, о пытках. Меня это тем более интересовало, что в книге Ф. Я. Кона, который побывал в Туве в начале нашего века, я нашел много подробностей о суде и наказаниях того времени.

Некоторые наиболее жестокие пытки были заимствованы властями Тувы из Китая, — например, закапывание в

землю по шею, сжигание пакли на руках, насаживание колодок на шею и ноги. Другие сложились в Туве на основе местных верований и обычаев. Обвиняемого заставляли, например, высовывать язык против солнца или луны, что грозило ему плохой жизнью на том свете.

Испытание — туска сидиктедир — состояло в следующем: клали соль в посуду и требовали, чтобы обвиняемый мочился в эту посуду. Это также считалось тяжким грехом, и религиозный арат попадал в безвыходное положение: либо согрешить и этим доказать свою невиновность, либо признать свою вину и понести наказание здесь, на земле. Многие шли на последнее, считая, что лучше страдать на земле, но на небе быть человеком, а не животным. Женщину, уходившую от мужа, обязывали публично накормить его грудью. Это считалось грехом, и страх перед таким наказанием удерживал религиозных женщин от ухода из семьи.

Судебные функции в дореволюционной Туве выполняли чиновники: глава страны Амбын-пели (Амбын-нойон); в хошуне — Пези-нойон или Кун-нойон и другие хошунные чиновники; в сумоне — Джангы (начальник сумона), Сумон-хунду, Сумон-тарга, Арбан-тарга или Арбан-пошка. Старшие из этих чиновников носили на головных уборах знаки отличия в виде шишек разного цвета. Власть Амбын-пели, Пези-нойон, Кун-нойон, Джангы и Сумон-хунду переходила из рода в род, была наследственной. Остальные чиновники назначались начальством в зависимости от имущественного положения и размера взятки. Разделения судебных функций между ними не было. Каждый мог рассматривать любое дело, за исключением дел о кражах у китайских купцов, об убийствах, о восстаниях-бунтах аратов. Виновных в этих преступлениях Амбын-пели препровождал под конвоем в Китай. Там их казнили, а головы присылали в Туву и выставляли на видном месте для устрашения населения.

Большинство дел чиновники разбирали единолично. Лишь самые сложные дела рассматривались коллегиально на съезде чиновников всего хошуна. Легко

представить, что это был за суд, какую возможность произвола давали судьям их положение и отсутствие законов.

Прокуратуры в дореволюционной Туве не было.

После революции, в конце 1921 года, в Туве было организовано министерство юстиции, на которое возложили судебные функции. Первым министром юстиции назначили тузлакчи Тарму, бывшего заместителя Амбын-пели, грозу аратских масс. Пробравшись на эту должность, Тарма принес очень большой вред делу революции.

После смены правого, антинародного руководства партии и правительства тувинское судоустройство и судопроизводство резко изменились. Они были поставлены на защиту интересов широких аратских масс. Был организован Верховный суд, народные суды в хошунах. Первым председателем Верховного суда избрали арата Мунге. Народных судей, следователей, исполнителя назначали Верхсуд и министерство юстиции. Заседателей выбирали на общих хошунных собраниях.

Начал действовать вновь принятый уголовный закон, закон о браке, семье и опеке, о налогах, об использовании недр. Новый уголовный закон предусматривал расстрел, лишение свободы сроком до 10 лет, принудительные работы, штраф, общественное порицание и условное осуждение.

В 1934 году был принят новый, третий по счету, уголовный закон, действующий до последнего времени. В нем всего 60 статей, и они не могут охватить всего разнообразия судебной практики. Теперь поставлен вопрос о расширении и изменении уголовного закона и о создании гражданского кодекса. Такого кодекса до сих пор нет, хотя гражданских дел в Туве слушается гораздо больше, нежели уголовных.

Несмотря на эти недостатки, тувинский народ все же имеет хорошо организованную судебную систему. Интересы трудящихся охраняются справедливым народным судом, который целиком состоит из людей народа, в прошлом бедняков, батраков, малоимущих аратов.

Снова в Кызыл

Из Парын-хемчика мы возвращались на восток, в Кызыл. Дожди прошли, стояла мягкая, теплая погода. Мы любовались красивыми пейзажами, быстрыми речушками, рощами. Всюду на дорогах мы встречали людей с тачками, телегами, строительными материалами. Они ремонтировали дороги, строили новые, возводили мосты. По закону в Туве каждый арат должен отдать несколько дней в году дорожным работам. Дорогам уделяется в стране большое внимание. За последние восемь лет в дорожное строительство вложено три миллиона триста тридцать тысяч акша. Сейчас в стране есть около 900 километров эксплуатируемых дорог. Сеть дорог растет из года в год.

Мы обгоняли грузовые машины с товарами, автобусы с пассажирами и почтой. Почта регулярно доставляется сейчас во все концы Тувы. Почта перевозит тираж четырех газет и трех журналов — 35 тысяч экземпляров и ежегодно около ста тысяч писем и бандеролей. А ведь еще совсем недавно «почтальоном» был голец, которому на спину пришивали письмо...

Мчатся по степи автомобили. Из-под их колес прыгают суслики, дорогу поминутно перебегают зайцы, мелькнет дикая коза, лиса. На деревьях, не пугаясь машины, сидят и разглядывают людей белки с орехами в лапках. Тяжелые дрофы поднимаются с полей и низко летят, медленно взмахивая крыльями.

В одном месте мы свернули в сторону, в степь. Там, на открытом месте, стояла каменная фигура. Считают, что это один из памятников Чингис-хану. Фигура эта имеет в высоту метра полтора. Высечена она из твердого серого камня.

На пути в Кызыл с нами произошел любопытный случай. Неожиданно на самом краю дороги я увидел немецкую овчарку. Откуда здесь овчарка, да еще такая хорошая? Я собирался задать этот вопрос моим спутникам, но увидел, что лица их напряжены, серьезны и что сейчас им не до меня.

Собака побежала. Наша машина по-

мчалась за ней, оставив дорогу. Свернула с дороги и другая машина. Работник минвудела Артас прицеливался в «овчарку» из маузера.

Это был волк. Большой, светлосерый, с длинным пушистым хвостом, он убежал крупными прыжками. Как только волк сворачивал в сторону горы, наша машина отрезала ему этот путь и отгоняла его на открытое место.

Артас стрелял, но на ходу не мог попасть: машина мчалась со скоростью 60 километров. Попасть в скакавшего волка было не так легко. И Артас расстрелял все патроны.

Спутники мои были в большом волнении. Они перекликались, жестикулировали, вскакивали с мест. Упустить волка? Ни за что! Нет патронов — задавить колесами...

И водители стали «нажимать». Машины с двух параллельных курсов уже наступали на оставшего волка, но, когда между колесами и зверем оставалось два-три метра, — он резко разворачивался и бежал в обратную сторону. Мы делали вираж, теряли на этом сотню метров и продолжали погоню.

Волк выбился из сил. Длинный черный язык болтался из пасти, из лап, пораненных о камни, сочилась кровь. Но он не сдавался, снова и снова обманывал нас.

Погоня продолжалась около часа. И все же волк перехитрил людей. Он, хоть и понемногу, приближался к горе, и, сделав, наконец, решительный вольт, обманул водителей и достиг горного склона.

Поднявшись метров на двадцать, волк обернулся, с минуту постоял спокойно и тихо пошел наверх.

Полат не выдержал.

— Голыми руками возьму! — закричал он и побежал за волком.

За Полатом помчались и остальные тувинцы.

Велика должна быть их ненависть к волку, губителю стад, если они могут столько времени и с таким азартом за ним гоняться да пойти к тому же безоружными!

Конечно, охотники вернулись с гор без волка.

А в Кызыле об этом случае говорили много дней подряд.

Литература

В Кызыле я пошел в книжный магазин.

Мне сразу показали список новинок. Это были книги, полученные в последние дни: «Краткий курс истории ВКП(б)», «Макар Чудра», арифметика для 4 классов, «10-летие тувинской письменности», — все это на тувинском языке. Много книг, привезенных из СССР, — Ленин, Сталин, Горький, Пушкин, Шолохов, книги о Чкалове, книги по медицине, пособие начинающим фотографам.

Богат кызыльский книжный магазин. Выбор — широкий и разнообразный. Можно найти все, что пожелаешь. Поэтому и посещают его охотно и кызыльцы, и приезжие араты.

Русские книги покупают и тувинцы: в школах наряду с родным языком преподается, как иностранный, русский язык, и читающих по-русски становится все больше и больше.

Литература на тувинском языке уже насчитывает около двухсот названий. Тут книги самого разнообразного содержания, много переводных, много социально-экономических.

В последние годы книжная полка тувинца стала обогащаться произведениями своих, национальных, писателей. Это люди, воспитанные тувинской народно-революционной партией, освободительной революцией. Их произведения воплощают черты классического устного народного творчества. Тувинских литераторов можно разбить на две группы: старшую — группу зачинателей национальной литературы, в которую входят Тока, Сарыг-оол, Ховенмей, Кок-оол, и младшую, к которой относятся Гамбысурун, Эренчин, Самбалюндуп, Идамсурун, Падра, Саган-оол и многие другие.

Тока является не только идейным руководителем тувинской литературы, но одним из ее непосредственных основателей. Его пьеса «Три года секретарем ячейки» — самая популярная среди арат-

ских масс. В ней показана классовая борьба, происки врагов, звериная ненависть их к революционному обществу Тувы.

Другой видный драматург — Кок-оол. В его пьесах преимущественно изображен быт аратов до революции 1921 года. Лучшим его произведением считает-



Каменная фигура в тувинской степи

ся «Сильнее жизни». Героиня продана ненавистному мужу. Сильная и свободная, она уходит от богатства к любимому человеку, но, видя бесполезность борьбы, в которой она все равно будет побеждена, кончает жизнь самоубийством. Другая пьеса «Мань-кара» по теме и сюжету похожа на первую, но в ней героиня побеждает. Недостатком произведений Кок-оола в Туве считают некоторую отвлеченность от социальной базы событий. Герои Кок-оола борются против какой-то злой силы, а не против конкретного, реального феодального строя.

Поэт Сарыг-оол написал десятки стихотворений, в которых рисует тяжелое прошлое тувинского народа и воспекает нынешнюю свободную, радостную жизнь аратских масс. За последнее время он написал сказку «Дерево чудес» и рассказ «Село новое», в котором повествует о новом культурном быте аратов. Другим поэтом раннего периода является Ховенмей. Он написал несколько стихотворений, посвященных Октябрьской революции, национально-освободительной борьбе и победе тувинского народа.

Ряды тувинских писателей растут. То выступает с интересным произведением молодой прозаик, то поэт. В 1939 году состоялся конкурс на лучшее художественное произведение, на который поступило 55 вещей. В прошлом году образован отдел художественной литературы при Комитете печати. При Совете министров создан Комитет по делам искусств и литературы.

На восток

На следующий день после возвращения из западных районов мы предприняли новое путешествие — на восток.

Вскоре после выезда из Кызыла уже можно было наблюдать значительное отличие природы востока от запада Тувы. Восточные районы более гористы, богаче лесами, зверьем, травой. На пути нам повстречался большой табун лошадей. Его пас арат. Верхом на коне он объезжал табун и ловко орудовал ременным арканом, прикрепленным к палке.

Тут же недалеко мы увидели стадо верблюдов; их было около тридцати. Верблюды паслись без всякого присмотра и ходили дружной гурьбой. Увидя машину, они повернули в степь. Это были отличные животные, хорошо упитанные и рослые.

Вскоре мы приехали на курорт Чедыр, расположенный у озера того же названия. Группа небольших рубленых дачек, поднятых на сваи, расположилась у этого соленого, обладающего высокими целебными качествами озера. Здесь печат ваннами, сероводородными грязями и кумысом. Сюда попадают ревма-

тики, нервнoбольные и забoлевшие первоначальной формой туберкулеза. Курорт рассчитан на 300 человек. Но помимо путевочников, из которых половина аратов, сюда приезжают, так сказать, «вольные» пациенты. Скотоводы, прослышав про чудодейственный курорт, кочуют сюда с юртой, семьей, скотом. Установив юрту за территорией курорта, они принимают ванны, грязи.

Результаты лечения — поразительные. Я видел старика Лагву, рабочего золотых приисков Харал. Он заболел острой формой ревматизма, малокровием, не мог ходить.

На восемнадцатый день пребывания на курорте он встал и самостоятельно отправился в столовую, благословляя целебное озеро и врачей.

Медицинская сестра Толгар, оленеводка из самого глухого Тоджа-хошуна, водила нас по курорту. Она показала нам домики, в которых живут больные. Светлые, побеленные комнаты, чистота, кувшины с кумысом на столе каждого больного. Показали нам грязелечебницу, — около десятка цементных ванн, вделанных в пол, — светлую просторную столовую, где к завтраку больным подали яйца (редкость, ибо кур очень еще мало в стране), свежие огурцы (тоже редкость, ибо в Туве овощеводство только-только начинает развиваться), масло, колбасу, кумыс, европейский чай. Мы увидели медицинские кабинеты, красный уголок. Надо знать историю страны, чтобы понять, что означает все это санаторное устройство, о каких грандиозных сдвигах свидетельствует этот маленький курорт...

Чедыр — начало. Вероятно, будет организован курорт и на юго-востоке страны, в Аржемо, где бьет горячий источник. Там еще нет домов, но араты кочуют туда, купаются в этом источнике. Им оказывает помощь медицинский работник, командированный из Кызыла.

«Пламя революции»

В Туве немало русских людей. Они живут здесь издавна, перебрались сюда из России лет тридцать-сорок назад

либо перекочевали в годы гражданской войны.

За годы революции в среде русских людей Тувы произошли сложные процессы. Классовая борьба произвела здесь значительные изменения. Выросло новое поколение русских. Оно формировалось в смешанной обстановке тувинской революционной среды и патриархального старообрядческого уклада. Взяло верх новое, шедшее от революционного начала, особенно от влияния советской родины.

Большая часть русских людей объединена в сельскохозяйственных артелях. Мы посетили такую артель — «Пламя революции» — в Балгазике.

В комнате правления никого не оказалось — все были на работах. На окне лежали струны для мандолины, две велосипедные камеры и адаптер. На столе — раскрытый на десятой главе «Краткий курс истории ВКП(б)», плакаты, свернутые в трубочки, портреты вождей в рамках.

Местный председатель Комитета советских граждан Васильев родился в Туве, на Годже, 32 года назад. Вырос он в староверческой семье, учился тайком по воскресеньям — дед не разрешал. Недавно ездил в СССР, прожил там у родственников три года.

В группе поселков — 142 хозяйства, 680 человек. В артель вошли 72 хозяйства, в овчинно-шубной кустарной артели, находящейся неподалеку, в Урезине, работают 23. Единоличную обработку земли ведет 21 хозяйство. Остальные — служат в близлежащем санатории, учительствуют, работают в яслях.

— Мы пытались втянуть в артель всех единоличников, — рассказал Васильев, — некоторые не шли, выжидали. Но сейчас настроение у них меняется. Вероятно, скоро все вступят в артель.

Земли у артели вдоволь — не то тысяча, не то две тысячи га, — точно «не известно». В артель вступило несколько тувинских хозяйств. Они продолжают жить в юртах, летом кочуют, но зато зимой хорошо работают в артели. Две семьи уже переехали в дома.

Санаторий

Возле Балгазика мы выкупались в большом озере овальной формы. Оно называется Чагтай — рыбное озеро. Рыбы в нем, должно быть, очень много. Едва мы вошли в воду, наши ноги облепила густая масса планктонных красных животных — обильные пищевые ресурсы для рыб. Это было не очень приятно, и мы поспешили выбраться на берег. Солнце грело изо всех сил, гладкая поверхность озера сверкала, как стекло. Слева, на высокой горе, лежали снега. Чуть пониже зеленели широкие луга и густые леса.

— У этого озера когда-то останавливалась русская научная экспедиция, — рассказали спутники, — здесь был Кон. Многие помнят его и говорят о нем с теплотой.

— Он книгу написал о Туве, она есть в наших библиотеках. Хорошая, правдивая книга...

От озера мы ехали без всяких дорог. Машина шла по гладкой, покрытой мягкой травой степи, легко взбиралась на пригорки. Мы все время ехали возле прекрасного густого соснового леса. Машину трясло не больше, чем на хорошей дороге.

И, наконец, мы добрались до туберкулезного санатория, до первого тувинского туберкулезного санатория. Его здания спрятались в прекрасном сосновом бору, возле которого протекает быстрая речушка. Запах хвои был густ. Только что окончился обед в столовой, и больные — 30 человек, одетых в пижамы, — шли к тихому корпусу. Некоторые задержались на полпути, на лужайке. С книгами в руках они проводили послеобеденный отдых, лежа в гамаках или сидя на удобных скамейках.

Описывать санаторий нет нужды. Пойдите в любой хороший советский санаторий, и вы увидите то же, что я увидел в глухом сосновом лесу на востоке Тувы. И распорядок такой же, и диетическое питание то же, и кабинеты те же. Такие же светлые, просторные палаты и веранды, и удобная мебель. Не было лишь нужного для туберкулезного санатория рентгена и, сле-

довательно, нельзя было еще делать пневмоторакса. Но оборудование уже шло из Москвы, и его ожидали в конце лета.

В санатории лечились тридцать человек. Это были служащие из Кызыла, скотоводы, рабочие золотых приисков. Это была первая смена, первые больные санатория. Первые тувинцы, которые лечились от туберкулеза в санатории, — люди, еще вчера умиравшие в чадной юрте, не имевшие представления о том, что на свете есть такая замечательная штука — санаторий, где за человеком ухаживают, заботятся и вылечивают.

Я уехал из санатория с таким чувством, будто только-что пережил какое-то очень большое и волнующее событие.

Монастырь

С большим трудом тувинские власти сохранили последний монастырь от окончательного разрушения. Народ, невыносимо страдавший от ламского произвола и очень быстро понявший всю хитрую механику устрашавшей его религии, разломал монастыри, разбросал богов, растащил деревянные стены, бревна и балки на дрова. И только в Эртнебулаке, где охрана бывшего монастыря была поручена специальным людям, удалось сберечь этот печальный исторический памятник.

Мы сделали большой крюк, объезжая горы и реки, чтобы добраться до Эртнебулака. Мы ехали без дорог, пересекали по узеньким просекам густые леса, пробирались по естественным карнизам, висевшим над обрывами.

И, наконец, выехали на широкую равнину, где, окруженный группами деревьев, стоял монастырь.

Он являл собой печальное зрелище. Ограды, опоясывавшие территорию монастыря и сделанные из поставленных стоймя бревен, развалились; коровы бродили у покинутых зданий; трава выросла у дверей. Центральное здание, построенное, как пагода, оказалось совершенно пустым. Дверь, украшенная извивающимися драконами и всякими фантастическими рисунками, скрипела на ветру. На полу валялись обрывки

тибетских книг, полуистлевшие тома, кухонная утварь. Дом был без стекол, какая-то хозяйка протянула от стены к стене веревки.

Когда-то при монастыре были четыре молельни. Они пришли в полную ветхость. Внутри не было ничего, кроме нескольких плешивых беличьих шкурок да навоза, — коровы прятались здесь от солнца.

Возле молелен стоят деревянные юрты. В них когда-то жили ламы среднего чина. Юрты эти — обычные по размеру и форме, но в них настлан пол из тонких бревен.

Все убранство, обстановка и утварь были свалены в большом доме, где жил когда-то нойон Идам-сурун. Там мы нашли горы всевозможных богов, дацанские маски, музыкальные инструменты, бубны, множество молитвенных книг и костюмов. Боги были разной величины — от крошечного, умещавшегося на ладони, до большого, в рост человека. Среди больших богов был один — универсальный: то гневающийся, то милосердный. Если лама хотел показать, что бог гневается, он приподнимал его и клал под него фигуру маленькой обнаженной девочки. Вот, мол, как сердится бог, — он даже растлевает ребенка. Если же приношения были достаточно обильными, девочка удалялась, и бог выглядел миролюбивым и довольным, если может так выглядеть уродливая фигура с несколькими лицами, руками и отвратительной гримасой на каждом из своих лиц.

Идам-сурун был очень богат и очень влиятелен. Дом его считался священным, и туда допускались лишь избранные. Перед домом стояли две богатые юрты — одна для хозяина, другая для его жены. Сюда допускались и посетители попроще. Теперь этих юрт нет, но на земле еще остались деревянные поля, на которых они стояли.

В 1921 году здесь побывал Тока. Он в ту пору жил неподалеку отсюда, работая батраком. Тока помнит, что здесь жило 150—200 лам — постоянных и приезжавших из других мест. Главных лам было около десяти. Самых главных — три: Камбы, Соржу и Ловун.

При них находился «администратор» Кескый, очень жестокий человек, избивавший палкой модельщиков. Бывало, что на моление сразу собиралась тысяча человек.

Тувинцы с ненавистью и озлоблением вспоминают лам. Лама — это олицетворение всего худшего, самого отвратительного, что может придумать человеческое воображение. Ламы причиняли араатам столько зла, столько горя, что народ долго еще будет помнить ужасное время их господства.

Лама был неограниченным хозяином над араатом. Он грабил и обирал его. Он мог обречь араата на пытку, на голод, на рабство. Ламы развратничали, пользуясь своим положением.

Лама мог притти в любую юрту, взять за руку каждую понравившуюся ему женщину, девушку, даже девочку и увести ее к себе. При этом все, находившиеся в юрте, отворачивались, словно они ничего не видели, — иначе на другой день их ждало жестокое наказание. Пожилые тувинцы помнят, как, напившись араки, ламы выскакивали голыми на улицу, хватали первую попавшуюся женщину и насиловали ее тут же, на глазах у прохожих.

Вот почему гневом загораются глаза тувинца, когда он слышит слово «лама», вот почему во всей стране сожгли монастырские стены, вот почему остался в Туве один, да и тот бездействующий, храм, стоящий, как пугало, которым проезжие пугают детей.

На родине Токи

Мы продолжали путь на восток. С каждым часом природа менялась. Леса шли большими массивами, трава стала густой и высокой. Роскошный край, богатый зверьем, растительностью! И все же главная часть населения Тувы живет не здесь, а в западных районах. Это объясняется тем, что на востоке климат суровее, здесь очень резки перемены температуры.

Мы долго ехали вдоль Енисея. Слева от дороги — обрыв. Справа на крутом горном склоне — густой лес. Зайцы часто выбегали на дорогу, подолгу скакали перед автомобилем и затем сворачи-

вали в сторону. Вот из лесу выскочил зайчонок. Он, видно, страшно испугался и, смешно вскидывая задом, изо всех сил стал удирать, не соображая, что можно просто прыгнуть в сторону и спастись в темной чаще, в траве и кустарнике. Наконец, он остановился. Мы вылезли из машины и взяли его в руки. Темносерый, пушистый, с черными, блестящими, как лак, глазами, он был необычайно трогателен и мил. Мы снесли зайчонка под дерево, и он умчался в лес вне себя от страха и радости.

Солнце садилось, когда мы на пароме переправились через Енисей. Трое плотовщиков гнали в Кызыл лес. Они рубили его в верховьях реки. В Туве до сих пор лес может рубить совершенно бесплатно всякий, кто пожелает. И только теперь поставлен вопрос о лесоохране, об учете леса.

Вскоре мы достигли Кахема, центра хошуна, где жил когда-то Тока.

Выехав из лесу, мы увидели группу юрт. Это были не такие юрты, как на западе. Они имели коническую форму. На жердях, собранных узлом на вершине конуса, лежали большие листы коры, покрытые в некоторых местах овчинами, — мы попали в бедный район.

Из лесу ехали возы с берестой, все для тех же юрт. Дети ходили почти голышом, а одежда взрослых оставляла желать лучшего. Мы остановились у юрты. Тотчас же оттуда вышла старуха. Распахнувшаяся рубашка открыла темное старческое тело. Лицо сморщилось до невероятия. Старуха улыбалась, обнажив беззубые десны, и несла в руках горшок с хотьбаком. Горшок этот, с ручкой, был сделан совсем для другой цели, но старуха и не подозревала, что посуду можно употреблять и не для пищи. Горшок был эмалированный, и она гордилась тем, что у нее, бедной одинокой старухи, есть такая богатая вещь. Хотьбака пришлось отвратить.

Через полчаса мы сидели в Кахеме, на опушке леса, у деревянных, грубо сколоченных столов. Из мисок валил ароматный пар — снова хой, вареные кровяные колбасы, шашлык в листочках из бараньего сала. Однообразная пища тувинца: вареный баран, шаш-

лык, кровяная колбаса, хотьбак и тара — жаренное до твердости дробы просо со сметаной. Никакой зелени, фруктов, овощей.

Вокруг столов, на траве, сидело человек десять тувинцев.

Сохранился старый обычай, характерный для этик восточных, охотничьих районов: когда начинается трапеза, всякий живущий рядом должен отведать кусочек. Этот обычай возник в те времена, когда охота была основным способом пропитания. Когда охотник возвращался домой и над его юртой начинался дымок, соседи спешили, чтобы съесть свою долю добычи. На другой день приходил с охоты другой тувинец и платил таким же гостеприимством.

И сейчас люди все подходили и подходили, усаживались на траву и ждали своей порции.

В самый разгар беседы кто-то закричал:

— Змея!

Испугались двое: старик-охотник и я. Остальные громко расхохотались и тут же мне объяснили, в чем дело. Старик-охотник, один из лучших охотников страны, бесстрашный человек, смело ходивший на медведей, до ужаса боялся змей, и старика часто так пугали. Шутка очень нравилась окружающим, и они всякий раз долго и заразительно хохотали.

Старик оказался очень интересным человеком. Выпив чашку араки, он рассказал о своей жизни, о трофеях, о встречах с дикими зверями. Он сказал, — и это подтвердили окружающие, — что убил за свою жизнь много медведей, лис, волков, а диких коз — без счета! И рассказал еще старик, — причем рассказал с совершенно серьезным выражением своего черного лица, — что была у него встреча с белым медведем. Я пробовал усомниться в этом, но он живо, убедительно и горячо доказывал, что встретил именно белого медведя и даже стрелял в него. Пришлось прекратить спор. Кто его знает, может, в самом деле, какой-нибудь медведь-путешественник забрел сюда зимой по замерзшему Енисею?

На обратном пути разразилась гроза, сверкали молнии, гремел гром, дождь хлестал с невероятной силой. Мы ехали вдоль обрыва. Шофер набрал полную скорость, видно, дорогу эту он знал, так сказать, наизусть. В полночь мы были в Кызыле.

Домой!

Наступило двенадцатое июля, день отъезда из Тувы. Я попрощался с товарищами.

Подвечер мы с Аколом и еще одним шофером выехали из Кызыла. Шоферов было двое, — они должны были сменять друг друга, — мы хотели как можно скорее добраться до Абакана, а оттуда до аэродрома — тринадцатого улетаю в Красноярск самолет.

Переправа через Енисей, опять степь. Справа остается большая гора, на которой громадными белыми буквами выложена надпись — «Ленин». Это символ развития Тувы, эмблема дружбы двух народов.

Опять помчались мы по гладкой дороге, мимо станций, мимо поселков и одиноких юрт, мимо города Турана. Опять на север, к советской, такой родной, границе. И тут десять дней, проведенных в Туве, показались очень длинными.

Это — постоянное ощущение советского человека, возвращающегося на родину из-за границы, даже если едешь из такой чудесной, близкой советскому человеку, дружеской и гостеприимной страны, как Тува.

Темно. Мрачные силуэты деревьев резко очерчены на светлом вечернем небе. «Бюик» мягко и бесшумно катит в ночной тишине. Автомобильный приемник передает «Кармен» из Москвы. «Кармен» здесь, на горной дороге, в Туве, в этих, еще вчера диких местах... Здорово!

В свете фар возникает из тьмы фигура тувинского часового. Он поднимает шлагбаум.

Через несколько минут — второй шлагбаум.

Я дома...

Европа под бомбами

Б. ИЗАКОВ

★

«Давно признано, что войны, при всех ужасах и бедствиях, которые они влекут за собой, приносят более или менее крупную пользу, беспощадно вскрывая, разоблачая и разрушая многое гнилое, отжившее, омертвевшее в человеческих учреждениях».

Ленин

I

«...Словно тени, приближаются сомкнутым строем эскадрильи, окруженные облачками взрывов. И в следующее мгновение разражается адский, раздирающий уши шум. Рев сирен, грохот зенитных орудий, глухие взрывы снарядов в воздухе, стук пулеметов, — все утопает в свисте бомб. На улице обрушились фасады трех домов; их внутренности раскрылись, призрачно выглядят квартиры с их меблировкой. Рояль смешно повис между небом и землей... Через несколько мгновений почва дрожит от новых взрывов: 12-я эскадрилья катится новой волной над центром города, собирая последнюю страшную жатву».

«...Лондон горел в ночи. На набережных Нижней Темзы и дальше, расширяясь к северу и к югу, в соответствии с очертаниями города, сиял ослепительный блеск пожара, какого, быть может, раньше не видел свет. Гигантский столб дыма поднимался в тихом воздухе и тянулся плавно и медленно к югу, покрывая холмы Сэррея и поля Кента более обширной и плотной дымовой завесой, чем могла бы быть любая ис-

кусственная завеса, устроенная для маскировки этих районов. Город пылал. Усеянные десятками тысяч зажигательных бомб, безудержно горели его верфи и склады, загроможденные легко воспламенявшимися товарами».

Откуда взяты эти строки? Из корреспонденции американского журналиста, следившего с крыши здания за очередным массовым налетом германской авиации на английскую столицу? Или, быть может, они записаны со слов одного из участников такого налета — германского летчика, представившего интервью берлинской газете?

Нет, первая из этих выдержек была опубликована девять лет назад, вторая — пять лет назад. Первая взята нами из фантастического романа немецкого автора, скрывшегося под псевдонимом: майор Гельдерс. Вторая принадлежит перу английского писателя Фоулера-Райта, сочинившего серию романов, посвященных войне будущего.

Приближение современной войны чувствовалось задолго до ее начала. Оно сказывалось в искусстве, в литературе.

И вот, наконец, война разразилась. На трех континентах идут кровопролитные бои. Самолеты бросают смертоносные бомбы на густо населенные города Западной Европы. Кипят ожесточенные рукопашные схватки за обладание командными высотами в горах Балкан. Стальные танки несутся в атаку в знойной африканской пустыне, вздымая тучи песку. На тысячи километров

протянулся в Восточной Азии японо-китайский фронт. Холодные океанские волны смыкаются над тонущими пароходами. Углубляющийся распад мирового хозяйства сулит катастрофические последствия целым странам и частям света. Водоворот войны неумолимо продолжает расширяться. И вспоминаются строки Байрона:

...Разорены
Нешадною войной поля и села,
И кровью руки жен обгарены.

Мрачная фантазия майора Гельдерса и Фоулер-Райта стала действительностью.

II

Иностранную печать обошел такой снимок: две человеческие фигуры, мужская и женская, спускаются по ступеням лестницы в подземелье. Фотограф снимал снизу, из бомбоубежища. Вход в убежище освещен сиянием солнечного дня, но люди повернулись к нему спиной, — они идут навстречу мраку. Мужчина поддерживает женщину; движением безотчетного страха она поднесла руку к горлу.

Под этим снимком напрашивается подпись: Европа сегодняшнего дня...

Современная военная техника и, прежде всего, авиация совершенно изменили характер войны. Стерлась былая грань между фронтом и тылом. Война ворвалась в жизнь гражданского населения.

По сравнению с сегодняшним днем первая мировая война носила черты некоей патриархальности. «Воевать — дело мужчин». — говорили тогда. Опасности войны, ее главные тяготы падали на мужчин; женщины, дети, старики были от них избавлены. Уходя на фронт, солдат был спокоен за жизнь своих близких. Лежа под неприятельскими снарядами в мокром окопе, он думал о родном доме, высчитывал месяцы, оставшиеся до отпуска, мечтал об окончании войны и о своем возвращении к жене и детям.

Сейчас в огромной степени возросла неустойчивость, которую вносит война в человеческую жизнь. Смертельная

опасность нависла не только над солдатами на фронте, но и над гражданским населением в тылу.

Американское страховое общество «Метрополитен» опубликовало данные о людских потерях за первый год войны в Европе. Согласно этим данным, при бомбардировках населенных пунктов было убито свыше 100 тысяч человек из числа гражданского населения. За тот же срок потери воюющих армий исчисляются в 300 тысяч человек убитыми. Таким образом, соотношение потерь в составе армий и среди гражданского населения выражается цифрами: три к единице. Между тем, в прошлую мировую войну это соотношение определялось, как семьдесят пять к единице.

Подчас жизнь гражданского населения находится даже в большей опасности, чем жизнь военных на передовых позициях. В сентябре 1940 года, когда «война над Англией» достигла наивысшего напряжения, по данным английских властей, в стране было убито 6 954 и ранено 10 615 человек. В последующие осенние и зимние месяцы число жертв среди гражданского населения Англии сократилось, но все же продолжало исчисляться тысячами. В то же время количество жертв в рядах английской сухопутной армии, стоявшей на Британских островах под ружьем и бездействовавшей в ожидании германского вторжения, было ничтожным.

В условиях второй мировой войны в Западной Европе ломается весь уклад жизни.

Городское население воюющих государств старается уйти с земной поверхности, слится поглубже зарыться в землю. Там, под землей, теплится жизнь. Холодное и сырое бомбоубежище манит надеждой на спасение.

Широко распространенный термин «человек с улицы», применявшийся для обозначения «рядового», «среднего» городского жителя, постепенно заменяется выражением: «человек из убежища».

Приведем описание трех разнотипных бомбоубежищ в Лондоне.

Сотрудник английского журнала «Уорлд ньюс» так описывает превращенную в бомбоубежище станцию ме-

трополигена в одном из лондонских рабочих кварталов:

«Люди в метро принадлежат главным образом к рабочему населению с соседних улиц. Но некоторые прибыли и из других районов города в надежде найти в этом мало населенном квартале более удобное место для ночлега.

Мужчины одеты преимущественно в обычное рабочее платье. Это же можно сказать и о пожилых женщинах. Многие молодые женщины носят брюки или так называемые «костюмы воздушной тревоги». Ложась спать, мужчины снимают пиджаки. Женщины укладываются на ночь одетыми.

Большинство людей проводит здесь каждую ночь. Люди знают своих соседей. Я заметил семью, которая опоздала и не смогла получить свое обычное место. По мере того, как с лестницы спускались вновь прибывшие, эта семья здоровалась примерно с одним из каждого шестерых людей. Они обменивались словами, вроде следующих:

— Алло, Джо! Вы сегодня никуда не попадете. Они заняли здесь места с двух часов дня.

Кто-то останавливается и спрашивает:

— Извините, кажется, это вы одолжили мне вчера вечером папиросу?

И он настойчиво хочет ее вернуть.

Около 7 часов вечера вся платформа была занята. Кое-где уже уложили на ночь детей. Многие закусывали. Другие разговаривали или читали. Вокруг людей были нагромождены одеяла, подушки, чемоданы и узлы. Ни смеха, ни веселья. Зато много разговоров.

Почти никто не делал попыток проводить время поинтересней. Я видел лишь две группы, игравшие в карты. В третьей группе нехотя просматривали журналы. Очень немногие держали в руках книги. Остальные беседовали, а то и просто сидели, ничего не делая.

Около 9 часов вечера толпа пришла в движение и принялась устраиваться на ночь. Люди расстилали на земле одеяла и ложились на них, кладя под головы подушки и накрываясь другими одеялами. Некоторые спали сидя, прислонясь спиной к стене.

Американское телеграфное агентство



У входа в бомбоубежище

Энимок из английской иллюстрированной газеты «Пикчер пост».

Юнайтед пресс опубликовало следующую корреспонденцию, в которой рисуется общественное бомбоубежище в Восточном Лондоне, оборудованное в пустовавшем складе:

«В этом подземном складе, вымощенном камнем, каждую ночь ищет защиты от бомб до 6 тысяч человек. Правда, бомбы здесь не угрожают, потому что над головой громоздятся несколько солидно построенных этажей. Но на этом прелести такого бомбоубежища и кончаются.

В помещении, где раньше складывались товары, теперь стоят рядами трехэтажные койки, которых хватает на тысячу-другую людей. Многие невольные ночлежники стелют себе постели на каменном полу, некоторые устраивают «спальни» между большими рулонами газетной бумаги. Пахнет химикалиями. Спят также на шез-лонгах или кладут на сырой пол картон. Среди людей снуют бездомные кошки и собаки.

Во всем гигантском помещении нет ни одного умывальника, а ведь люди, пользующиеся убежищем, не имеют другого дома. По утрам они должны уходить отсюда, потому что здесь производится уборка и дезинфекция и возвращаться можно только в 4 часа дня. Я видел, как люди толпами покидали окрестные узкие переулки, везя свои постельные принадлежности на тачках, в детских колясках или неся их подмышкой. Каждый, очевидно, точно знал, где он разобьет сейчас свой бивуак. Все кашляли.

В одном конце убежища построены кирпичные перегородки для уборных. Но уборных с проточной водой пока нет. Без воды для мытья и уборных такое помещение опасно в санитарном отношении. Многим приходится мыться в Темзе, и многие, грубо выражаясь, обоживели.

Наконец, третья зарисовка, заимствуемая нами, как и первая, из журнала «Уорлд ньюс», описывает индивидуальное бомбоубежище, устроенное в подвале дома семьей лондонского служащего:

«В убежище имеется глубокий ящик, заменяющий постель для младенца. Для восемнадцатилетней дочери на полу разложены матрац и подушки. Вдоль стены — койки для двух пожилых женщин. Глава семьи располагается на ночь в складном кресле. Остальные члены семьи устраиваются на трех стульях».

Вывод из всех этих описаний подсказывает нам «Уорлд ньюс»: «Как бы мы ни устраивались, — пишет журнал, — весь характер домашней жизни меняется на наших глазах».

Данное замечание относится не только к Лондону, но и к очень многим другим западноевропейским городам. В этих городах людям приходится приспособлять к условиям воздушных тревог весь распорядок своего существования, все свои навыки и привычки.

Жизнь под землей нашла отражение в следующем характерном документе, приводимом нами с небольшими сокращениями. Это — бюллетень комитета, выделенного постоянными посетителями

бомбоубежища станции метро Суисс-Котгедж в северо-западной части Лондона:

АВАНПОСТ

Бюллетень № 1

Приветствуем наших ночных товарищей, наших временных пещерных жителей, наших сотоварищей по сну! Приветствуем всех храпящих, болтающих, всех лунатиков и прочих, пребывающих на станции Суисс-Котгедж от заката до восхода!

Это — первый бюллетень, выпускаемый во имя нашего сотрудничества с тем, чтобы мы могли общими усилиями обеспечить себе возможные удобства и комфорт в нашем ночном убежище.

1. Создан комитет. Он будет поддерживать связь с Лондонским управлением пассажирского транспорта. Он будет также делать все возможное для каждого лица, пользующегося убежищем. Если у вас имеются предложения или жалобы, если вы считаете, что следует что-нибудь изменить или завести, — пожалуйста, сообщите нам, и мы сделаем все, чтобы выполнить ваши пожелания.

2. Комитет выражает Лондонскому управлению пассажирского транспорта благодарность за то, что оно разрешило пользоваться этой станцией как бомбоубежищем. Благодарим также начальника и всех работников станции за предупредительность.

3. Каждую ночь производятся сборы на приобретение предметов первой помощи для посетителей станции. Подчеркиваем, что эти сборы строго добровольные.

4. Часть предметов первой помощи уже приобретена. Пожалуйста, справьтесь у носильщика о том, где они хранятся. Мы располагаем также санитарями и другими добровольцами, которые могут заняться легкими ранениями.

5. Что касается чая, — пожалуйста, учитите, что мы не можем обещать вам чай каждую ночь. Просим приносить его с собой.

6. Приходится сожалеть, что при отбое воздушной тревоги на станции все еще валяется слишком много мусора. Первейшая обязанность каждого из нас — оставлять станцию в чистоте и в приличном состоянии.

7. В ваших собственных интересах просим:

а) соблюдать белую черту, — не ложиться и не ставить вещи за эту черту;

б) не приносить раскладных коек: три раскладных койки занимают столько же места, сколько четыре одеяла, так что, если будут приносить койки, вместимость станции сократится на одну четверть, и вы можете оказаться четвертым лицом, которому откажут в доступе из-за нехватки помещения;

в) помогайте нам, чтобы мы могли помочь вам.

Не надейтесь найти здесь домашний комфорт или простор. Не снесите терпеливо мелкие неудобства, чтобы обеспечить место соседу.

Этот документ — доподлинный кусок той необычайной жизни, которая складывается под землей больших западноевропейских городов.

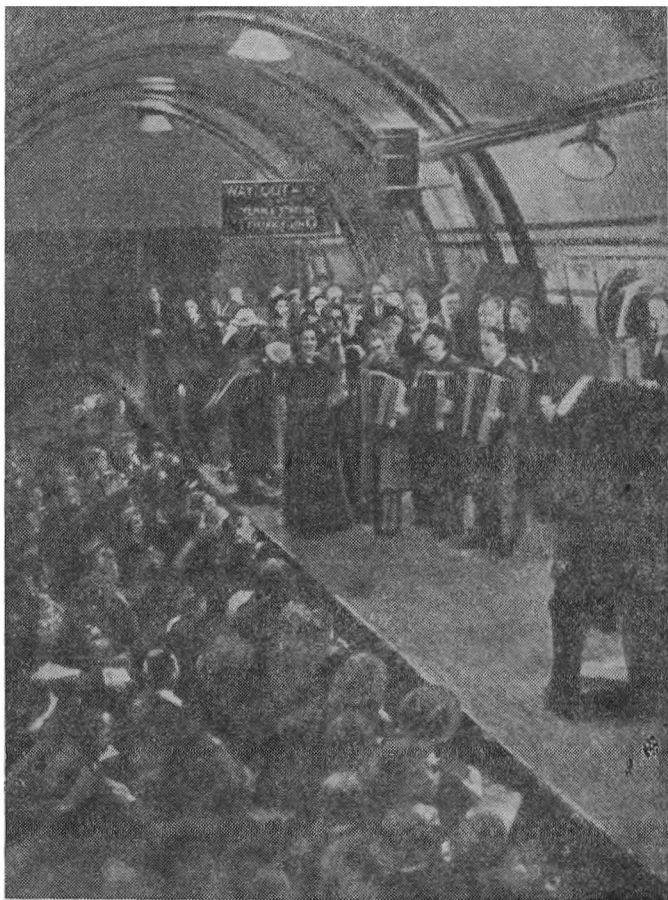
Под землю переносятся даже развлечения. В бомбоубежищах организуются хоровые кружки, прослушиваются патефонные пластинки. Кое-где в крупных общественных бомбоубежищах делаются попытки продемонстрировать кинофильмы. В лондонских бомбоубежищах неоднократно устраивались концерты, передававшиеся по радио.

Жители бомбардируемых городов сталкиваются со многими, ранее не известными им проблемами. Пожалуй, самой главной из них является проблема сна. В городских центрах Англии или Западной Германии сон стал сейчас роскошью. Люди стараются использовать для сна каждый свободный час. Газеты рекомендуют всевозможные патентованные средства, обеспечивающие крепкий сон.

В Англии было произведено небезыңтересное исследование результатов недосыпания населения. Этим занялась группа «Массового наблюдения» («Массобсервэйшен»), которая изучает проблемы, затрагивающие широкие слои населения. В одном из своих отчетов группа «Массового наблюдения» пишет о «миллионах потерянных человеко-часов сна» в Лондоне:

«Люди лишены необходимого сна. Женщины спят значительно хуже, чем

мужчины, женщины с детьми — хуже, чем бездетные. Наблюдения показывают, что невыспавшиеся люди значительно чаще испытывают состояние депрессии, чем выспавшиеся, как следует. Мы сопоставили мнения людей о текущих событиях с количеством часов сна



Концерт под землей, на станции метро, отведенной под бомбоубежище

Снимок из английского журнала «Уорлд ньюс»

за последнюю ночь. Наибольшую озабоченность проявляли люди, совсем не спавшие в эту ночь; от них мы слышали больше всего мрачных замечаний. Чем больше людям удалось поспать, тем бодрее они смотрели на вещи».

Воздушные бомбардировки коверкают жизнь населения. При всем том не подлежит сомнению, что с течением вре-

мени производимое ими впечатление несколько теряет первоначальную остроту.

«Манчестер гардиан» опубликовала письмо одной англичанки, рассказывавшей о том, что в довоенное, «нормальное» время она была такой трусихой, что боялась собак и даже лошадей. По словам автора письма, в начале войны она с ужасом думала о возможности воздушных бомбардировок. Во время первой бомбардировки она упала в обморок, во время второй — стремглав бросилась в бомбоубежище, а во время третьей — отправилась неспеша, с любопытством поглядывая по сторонам. Постепенно она свыклась с бомбардировками настолько, что теперь во время воздушной тревоги ленится спускаться в убежище и остается в своей квартире. Весьма вероятно, что в этом письме не обошлось без прикрас, но в основном оно похоже на правду.

Любопытную историю злоключений владелицы маленького ресторана на окраине Лондона рассказывает журнал «Лондон колинг», орган Британской радиокompании. Сперва пострадала от воздушной бомбардировки витрина ресторана; стекло заменили досками. Затем бомба замедленного действия попала в дом, где проживала хозяйка ресторана: пришлось посреди ночи перебраться на улицу. Вскоре ресторан лишился воды и газа; завтраки и обеды стали готовиться на керосинке. Некоторое время улица, где находился ресторан, была закрыта для движения, и «дела» еще более ухудшились. В довершение всего зажигательная бомба упала на крышу дома, где хозяйка ресторана поселилась после разрушения старой квартиры. И все же эта женщина настолько свыклась с создавшимся положением, что не хочет бросить свое «дело» и покинуть Лондон.

В Лондоне сейчас в большом ходу следующий анекдот. Однажды вечером, в момент, когда зенитная артиллерия Лондона и его окрестностей ведет ураганный заградительный огонь, какой-то любитель классической музыки запускает свой патефон. Сквозь гром орудий почти нельзя различить звуков Бетхо-

вена. Вдруг раздается стук в дверь. Появляется сосед и вежливо просит прекратить игру на патефоне, заявляя, что музыка мешает ему спать!

Обобщая впечатления, производимые на лондонцев воздушными бомбардировками, «Лондон колинг» пишет: «Для большинства из нас воздушные налеты уже не являются ни ужасающей трагедией, ни острым приключением; мрачная монотонность — такова их главная черта. Привычка превратила первый страх в угрюмое отвращение».

Опасность вошла в быт населения, стала неотъемлемой частью повседневного существования.

III

Чем дольше длится, чем ожесточенней становится война, тем больше разрушений и бедствий несет она Западной Европе.

В некоторых европейских городах уже сейчас больше развалин, чем уцелевших зданий.

К числу таких городов принадлежит, например, Дюнкерк. В июньские дни прошлого года на рейде Дюнкерка грузилась на суда эвакуировавшаяся английская экспедиционная армия; немецкая дальнобойная артиллерия методически обстреливала небольшой город, с воздуха его громили немецкие самолеты. Тогда в Дюнкерке не осталось ни одного дома, не пострадавшего в большей или меньшей степени от пронесшегося огненного шквала; свыше двух третей городских зданий было совершенно разрушено. Теперь разрушения Дюнкерка довершает английская авиация, подвергая его частым налетам. В развалинах Дюнкерка продолжает ютиться примерно третья часть его прежнего населения. Большую часть времени эти люди проводят в импровизированных убежищах — в подвалах, сохранившихся под разрушенными домами. Французская газета «Тан» передает: «Население Дюнкерка живет в подвалах и убежищах без огня, без света, в антисанитарных условиях. Физические и моральные страдания людей неописуемы».

В северо-восточной Франции, в Бельгии, в Голландии лежит в развалинах немало городов, поселков, деревень. По подсчетам французских властей, в ходе военных операций во Франции разрушено 100 тысяч домов, взорвано 518 железнодорожных мостов и туннелей, повреждено или уничтожено 2 300 мостов на шоссе на дорогах, не считая выведенных из строя фабрично-заводских предприятий. В маленькой Бельгии пострадало 170 тысяч зданий; из них 37 тысяч полуразрушено или разрушено. Далее, в Бельгии уничтожено 1 300 предприятий, снесено 645 мостов, серьезно повреждено 1 500 мостов. В Норвегии превращены в руины города Нарвик, Намсос, Бэдэ, Ондальснес; в Кристиансунде уничтожена вся центральная часть города.

С каждым месяцем множатся развалины в Лондоне и в Гамбурге, в Саутгемптоне и Вильгельмсгафене, в Кардифе и Эссене. Американские корреспонденты отмечали, что в центральной части города Ковентри, представляющей ныне беспорядочное нагромождение камня и щебня, трудно различить, где прежде стояли дома и где лежали улицы. Только в результате короткой атаки эскадры английского военно-морского флота на Геную в самых населенных кварталах этого города, по данным итальянской газеты «Лавор», сказано более 100 разрушенных зданий. Не осталось камня на камне в городах и селениях Южной Албании.

Так разрушаются ценности, созданные трудом многих поколений европейцев. Превращаются в бесформенные обломки произведения архитектуры и искусства, которыми некогда гордилась Европа.

Современная война обходится участ-

вующим в ней государствам значительно дороже всех предыдущих войн. Американский сенатор Бон подсчитал, что при Юлии Цезаре на одного убитого солдата приходилось 40 франков военных расходов, при Наполеоне — 15 тысяч франков, в первую мировую войну — 1 миллион франков, а сейчас на каждого убитого солдата падает 2,5 миллио-



После воздушного налета

Снимок из английской иллюстрированной газеты «Пикчер пост»

на франков военных расходов. Независимо от точности этого подсчета, не подлежит сомнению, что война предъявляет сейчас много больше требований к государственной казне, чем хотя бы четверть века назад.

Некоторые западноевропейские державы в значительной мере истощили свои ресурсы еще в период подготовки войны. Они ведут войну огромным напряжением средств и возможностей. Меньше всего правящие классы воюющих государств заботятся сейчас о восстановлении приходящих в ветхость

заводов, фабрик, зданий, транспортных средств. Без необходимого текущего ремонта разрушаются машины и станки, портятся здания, приходят в упадок железные дороги. Поля, лишённые химических удобрений и нормального ухода, теряют былое плодородие.

Европа оскудевает, беднеет.

Главные тяготы падают на плечи трудящихся масс. Правящие круги воюющих государств стремятся урезать до минимума потребление трудящихся, чтобы выкроить таким путем добавочные средства на войну. Довоенный стандарт существования западноевропейского населения отошел в область преданий.

Продовольственные карточки знакомы населению Западной Европы по прошлой войне. Но тогда воюющие страны ввели их значительно позже, чем в нынешнюю войну. К тому же даже к концу прошлой войны большинство стран не знало таких жестких рационов, какие установлены сейчас, на втором году новой войны. Хлеб становится редкостью. Такие продукты, как сахар или кофе, кое-где совсем недоступны потребителю.

В годы первой мировой войны нейтральные страны Европы не знали недостатка в продовольствии. Напротив, они захлебывались в изобилии продуктов и богатели благодаря спекулятивным аферам. Сейчас продовольственный кризис поразил весь континент Западной Европы: нормирование продуктов установлено и в нейтральных странах. Нормы продовольственных рационов, публикуемые в советской печати, красноречиво свидетельствуют о наличии в ряде западноевропейских стран режима «организованного голода».

Некоторые страны переступили эту грань. Так, например, голод, воцарившийся во Франции, никак нельзя назвать «организованным». Мизерные продовольственные нормы, декретированные правительством в Виши, на деле почти нигде не соблюдаются, ибо на местах продовольственные запасы подходят к концу. Перед пустующими продовольственными лавками выстраиваются длинные «хвосты» в ожидании слу-

чайного появления в продаже каких-нибудь продуктов.

Французские газеты печатают рецепты приготовления рагу из вороньего мяса и сообщают о росте цен на ворон, как о событии первостепенной важности. Газета под громким названием: «Прогресс» (что означает: прогресс) пишет: «Говорят, что в Париже исчезли кошки. Но только ли в Париже? На такой нескромный вопрос трудно ответить. Я знаю, однако, что многие старые дамы с некоторых пор тщетно разыскивают своих любимцев. Говорят, что в крупных городах кошки попадают в кастрюли ресторанов».

Бельгийская газета «Суар» сообщает, что собаки сотнями идут в пищу населению. По сведениям этой газеты, собачье мясо расценивается на рынке от 30 до 70 франков за кило, а живая кошка стоит 70 франков.

Продовольственные карточки дополняются карточками на предметы широкого потребления, постепенно исчезающие из обихода. На улицах европейских столиц снова, как в древности, раздаётся стук деревянных башмаков, — только теперь они стучат не по булыжникам, а по асфальту.

Хозяйственный маразм принимает все более широкие размеры, переходя в некоторых странах в глубокую разруху. Повсеместно сказывается острый недостаток горючего. Моторы самолетов и танков жадно поглощают наличный бензин. Гражданский автотранспорт в некоторых местах переводится на газогенераторы, но чаще всего автомобили просто запирают в гараж под замок. Известны случаи, когда в автобусы запрягали лошадей. На улицах европейских городов появились «велосипедные рикши», перевозящие пассажиров на велосипедах; «велосипедные рикши» заменяют исчезнувшие такси.

Из-за отсутствия топлива зимой во многих городах Западной Европы жилые помещения, как правило, не отапливались. Люди отогревались, где придется. По этой же причине в ряде пунктов Франции и Дании школы были закрыты с января до весны. Из-за отсутствия угля во всей Франции приоста-

новлено движение пассажирских поездов, да и товарные поезда ходят с перебоями. Во Франции всерьез обсуждается вопрос о возможности доставки грузов из одного департамента в другой при помощи гужевой тяги — обозами. Кое-кто начинает поговаривать о том, чтобы воскресить почтовые дилижансы.

Голод, холод, всевозможные лишения подрывают здоровье и жизненные силы населения.

Всем крупным войнам неизменно сопутствовали массовые эпидемические заболевания. После первой мировой войны по Европе прокатилась, словно смерч, страшная эпидемия гриппа («испанки»), унесшая, по подсчетам некоторых исследователей, до 20 миллионов человеческих жизней. Вторая европейская война порождает новые эпидемии.

На почве гриппа растет смертность среди населения Франции. Французские власти встревожены начавшейся эпидемией; по мнению генерального секретаря по вопросам здравоохранения в Виши, она представляет серьезную опасность для страны. «Тан» сообщает о появлении некоего эпидемического заболевания, не известного до сих пор французским врачам. «Болезнь возникает в результате нехватки жиров в пище» — поясняет газета. Эпидемия гриппа получила распространение в странах европейского Севера; в Гааге гриппом болеют 25 процентов жителей. В Венгрии зарегистрированы случаи заболевания почти не известной до сих пор в Европе болезнью «бери-бери». Эта болезнь, грозящая смертельным исходом, наблюдалась до сих пор, главным образом, лишь в тех районах Африки, Восточной Азии, Южной Америки, где особенно низок жизненный уровень населения.

Буржуазные писатели всегда твердили трудящимся, что война позволит покончить с одной из социальных язв капиталистического общества — с безработицей.

В самом деле, в воюющих странах призыв в армию миллионов солдат не мог не привести к известному сокраще-

нию безработицы. Немало безработных поглотила военная промышленность.

Довоенная Европа знала целые районы, именовавшиеся в официальных отчетах «районами депрессии». Газеты обычно называли их «мертвыми районами». Под этим названием подразумевались отнюдь не какие-нибудь захламленные деревушки или заштатные городки. Нет, некогда это были крупнейшие индустриальные центры. На заре капитализма там кипела бурная жизнь, в дни его заката их поразила смерть. Несколько лет назад консервативная английская газета «Морнинг пост» опубликовала интересное исследование о положении в «мертвых районах» Англии. Вот что она тогда писала: «Верфи по берегам реки Тиз порастают травой. Догорают огни в котлджах горняков Восточного Дергэма. Нужда царствует на пустынных берегах реки Тайн, в мрачных поселках шахтеров за Кэмбрийскими возвышенностями, в мелких северных портах. В Ланкашире хлопчатобумажные фабрики продаются за десятую часть своей стоимости. В Шропшире и Стаффордшире имеются шахты, которые никогда больше не будут давать угля. Города стоят на пороге нищеты, а иные перешагнули через этот порог. Мы видим тоскливые котлджи, истощенные угольные бассейны, замолкшие пристани».

Сейчас английская печать утверждает, что «мертвые районы» оживились. Заработали на полную мощность верфи на Тизе и Тайне, изготовляя эсминцы и подводные лодки. Ланкаширские хлопчатобумажные фабрики вырабатывают миллионы ярдов ткани цвета хаки. Заводы Шропшира и Стаффордшира выпускают пушки и снаряды. Война вдохнула жизнь в «мертвые районы». Но как отвратителен тот строй, при котором мир обрекает на медленное умирание экономически высокоразвитые области, и только война в состоянии вернуть им жизнь!

При всем том война не уничтожила безработицы. Даже в воюющей Англии числилось к началу 1941 года 586 тысяч безработных. С другой стороны, в странах, переживших военную катастро-

фу, безработица обострилась в огромной степени.

Во Франции количество безработных исчисляется семизначными цифрами. По данным французской газеты «Пти дофинуа», в одном лишь Париже насчитывалось 600 тысяч безработных: «Парижане занимаются чем могут и как могут» — пишет эта газета. В Бельгии и Голландии имеются сотни тысяч безработных. Для этих стран безработица становится все более грозным бедствием.

Тяжкий удар нанесла война культуре, литературе, искусству.

Много культурных ценностей разрушено во время воздушных бомбардировок. По сообщению лондонского корреспондента шведской газеты «Дагенс нюхетер», при воздушном налете на Лондон 19 декабря были уничтожены или повреждены книжные склады 37 крупнейших английских книгоиздательств на улице Патерностеррау: за одну ночь погибло 5 миллионов книг.

Государственные органы повсеместно сокращают ассигнования на культурные нужды и на народное образование. Помещения учебных заведений, библиотек, музеев отводятся под военные учреждения. Книгоиздательства сворачивают свою деятельность из-за отсутствия бумаги. Никто не хочет покупать картин; художники перешли к изготовлению военных плакатов.

Едва ли не сильнее всего пострадал в воюющих странах театр. Театральные предприятия сосредоточены в крупных городах, являющихся главными мишенями воздушных бомбардировок. К тому же налеты авиации обычно приходятся на вечерние часы, совпадающие по времени с театральными представлениями. Театральная жизнь дезорганизована воздушными тревогами. Многие театры закрылись. Сохранившиеся театры стараются приспособиться к новому распорядку жизни. К обеденному перерыву приурочивается постановка коротких пьес и обзоров. В некоторых театрах в зрительных залах во время подобных спектаклей действуют... рестораны.

В своем отчете за 1940 год «Таймс»

отмечала: «Что касается театра, год разделялся на две ясно выраженные половины. В первой половине, до начала германского наступления на западе и воздушных атак на Лондон, театральные объявления занимали в газете много места. Потом наступили испытания войны. В первую очередь пострадали театры. Были моменты, когда казалось, что театральные огни совсем померкнут. Все же балетные постановки в обеденное время сохранили двери театров открытыми. Вечерние премьеры уступили место утренним».

Условия военного времени влекут за собой упадок нравов, рост преступности. «Кражи из разрушенных квартир как будто бы даже и не рассматриваются как кражи» — жалуется голландская газета «Нийве роттердамше курант». «За последнее время довольно часто происходят кражи, совершаемые малолетними в порядке организованного грабежа; суды для малолетних загружены делами» — указывает эта голландская газета. Ей вторит французская «Жур—Эко де Пари»: «Никогда еще не было такой преступности среди молодежи!» «Жур—Эко де Пари» констатирует, что в Париже участились грабежи, совершаемые малолетними в магазинах и частных квартирах.

Таков сегодняшний день Западной Европы.

IV

Биржевики, банкиры, заводчики призывают трудящихся к новым и новым жертвам во имя войны, твердят им о необходимости дальнейшего сокращения потребления. Этим речам вторят попы с церковных амвонов и социал-демократические лидеры с ораторских трибун.

Но как только заходит речь о том, чтобы известные «жертвы» принесли и капиталисты, — в стане буржуазии поднимается неистовый вой. Так, руководящий консервативный журнал «Раунд тэйбл», рассчитанный на верхушку правящих классов Англии, пишет с нескрываемой злобой по поводу проекта установления правительственного конт-



Одна из центральных улиц Лондона после воздушного налета. В глубине — Лондонский мост через Темзу
Снимок из английского журнала «Юнайтед эмпайр»

роля над суммами, лежащими в виде депозитов в крупных банках: «Если бы такое предложение было задумано и проведено всерьез, оно было бы равносильно преднамеренной или бессозна-

тельной попытке начать вторую войну на внутреннем фронте... Социальная борьба, которую вызвала бы такая попытка, расколола бы нашу страну сверху донизу, лишила бы ее единства ду-

ха и усилий, необходимого, для успеха в борьбе против врага».

Буржуазия считает наживу на войне своим священным, неотъемлемым правом.

Отчеты крупнейших капиталистических фирм обоих полушарий за минувший год могли удивлять даже самых алчных финансистов. По вычислениям американской «Рабочей исследовательской ассоциации», капиталисты лондонского Сити получили в 1940 году больше 100 миллионов долларов прибылей.

В Англии сталелитейная фирма «Томас Ричард и компания» увеличила за год войны свои доходы в 17 раз. Машиностроительная фирма «Армстронг-Сидли», занятая изготовлением военного снаряжения, выплатила акционерам за год 20 процентов прибыли на вложенный капитал. «Объединенная стальная корпорация» и резиновая фирма «Денлоп» удвоили свои прибыли. В то время, как на морях и океанах тонут десятки и сотни английских коммерческих судов и вместе с ними находят свою гибель тысячи моряков, для английских судовладельцев наконец-то настали хорошие времена: в 1940 году они получили самые крупные барыши за целое двадцатилетие.

В Канаде доходы «Проволочной и кабельной компании» увеличились за год в 24 раза, а доходы «Интернациональной бумажной и пороховой компании» — даже в 250 раз.

Не отстают и капиталисты в нейтральных странах. Владелец швейцарского станкостроительного завода «Эрликон» получил в прошлом году больше 14 миллионов франков прибыли, в то время как весь его капитал исчисляется в 20 миллионов франков. За океаном, в Соединенных Штатах Америки, доходы «Вифлеемской стальной компании» умножились в 3,5 раза, доходы оружейной фирмы «Ремингтон» — в 9 раз, «Стального треста» — в 18 раз.

Недаром один из видных представителей международных финансовых кругов, американец Джордан заявил в публичной речи, что война есть «своего рода огромное капиталовложение»...

V

Глубокие потрясения, вызванные войной в Западной Европе, не могут не получить отражения в психике и настроениях широких масс населения.

Еще задолго до того, как заговорили пушки, стало нарастать всеобщее нервное напряжение. Широкое хождение получил термин «война нервов» («la guerre des nerfs»).

За год до начала войны, осенью 1938 года, в Америке произошел следующий случай. Одна из радиовещательных компаний передавала литературный монтаж по роману Герберта Уэльса «Борьба миров», повествующему о вторжении марсиан на нашу планету. Диктор говорил перед микрофоном о гигантских чудовищах, о сказочных орудиях смерти и прочих вещах, принадлежащих области фантастики. И все же эта передача вызвала в Соединенных Штатах Америки форменную панику, охватившую миллионы людей. Из многих городов страны, в том числе из Нью-Йорка, люди бросились спасаться бегством в леса, поля и горы. Некоторые провинциальные центры совершенно опустели: в них не осталось даже полицейских. Правительственная комиссия, назначенная впоследствии для расследования этого невероятного случая, установила, что история Соединенных Штатов Америки ранее никогда не знала подобной массовой паники.

Этот случай весьма характерен для того напряженного состояния, в котором пребывал капиталистический мир в период подготовки второй мировой войны. Легко себе представить, насколько усилилось это нервное напряжение сейчас, когда война уже началась!

Война приковала все помыслы людей за рубежом. В воюющих странах навязчивой темой нескончаемых разговоров стали воздушные бомбардировки. Недаром, по сообщению «Таймс», некий лондонский остряк заготовил жетон с надписью: «Я не интересуюсь вашей бомбой»; этот жетон он прицепил за борт пиджака и демонстрирует особенно назойливым собеседникам.

Всевозможные панические слухи воз-

никают, словно грибы после дождя. Власти всех воюющих государств тратят немало энергии на «борьбу со слухами». В Англии министерство информации затеяло широкую кампанию против «слухов», призывая англичан присоединиться к «Молчаливой колонне». Прошлым летом лондонские газеты запестрели соответствующими призывами министерства информации. По сведениям лондонского журнала «Уорлд'с пресс Ньюс», посвященного вопросам печати, министерство информации ассигновало на эту кампанию 100 тысяч фунтов стерлингов. Однако широкая публика, повидимому, не без основания восприняла начатую кампанию как попытку приглушить всякую критику по адресу правительства. Открытые проявления недовольства со стороны общественности побудили правительство отмежеваться от «Молчаливой колонны»; верная своему наименованию, она молчаливо прекратила свое существование.

Германские, а в особенности итальянские, газеты в свою очередь ведут постоянную кампанию против «распространителей слухов» и «шептунов».

Даже в первые дни войны правящим кругам не удалось вызвать того шовинистического угара, которым характеризовался 1914 год.

Не лишенный наблюдательности Ллойд-Джордж писал в самом начале нынешней войны в статье, красноречиво озаглавленной «Тоска по миру»: «По правде сказать, Европа относится к современной войне, как человек, который до того потрясен каким-нибудь событием, что не знает, на что надеяться, чего бояться и, вообще, что сейчас происходит. Я от времени до времени спрашиваю обыкновенного «человека с улицы» или — еще чаще — «человека с поля» о том, что они думают насчет войны. Меня поражает не столько неопределенность ответа, сколько их колебания и неспособность понять, что фактически происходит».

По мере того, как развиваются события, равнодушие к империалистической войне, на которое жаловался Ллойд-Джордж, переходит в раздражение и недовольство. В прошлую мировую войну

главным очагом недовольства был фронт. Тип солдата-фронтовика, преисполненного глубокого отвращения к тому строю, который толкнул его на бойню, вошел в мировую литературу. Теперь, когда военные операции распространились на глубокий тыл, недовольство в армии находит дополнительную пищу — солдаты беспокоятся за домашний очаг и за жизнь своих близких. Вместе с тем брожение охватывает все более широкие слои трудящихся в тылу.

Обследователи уже упоминавшейся нами группы «Массового наблюдения» так характеризуют в одном из своих отчетов настроения лондонского населения: «Люди видят затуманенный горизонт сквозь сломанные окна.

— Так вот что они называют цивилизацией! — таковы новые и все множущиеся комментарии, которые приходится слышать повсюду...

Одно из самых важных последствий воздушных налетов заключается в том, что будущее стало неясным. Во взглядах людей в основном сказывается тенденция к сокращению перспективы: они живут день ото дня. Наблюдается заметный спад в интеллектуальных занятиях.

Год назад большинство людей думало, что «после войны» будет в точности похоже на «до войны». Сейчас многие в этом сомневаются».

Наличие подобных настроений косвенно признает и руководящая английская буржуазная газета «Таймс». Она отмечает с горечью, что жизнь «среднего англичанина» состоит ныне «из клочков и лоскутков, из прерванного образования, испорченных дел, сломанных карьер и неясного будущего».

В сознании людей происходит переоценка многих ценностей. Привязанность к собственной квартире и тому подобным материальным благам, которую буржуазия усиленно прививала «средним слоям» и верхушке рабочего класса, терпит большие испытания в урагане воздушных бомбардировок. Корреспондент американской газеты «Пипл'с уорлд» указывает, что лондонцы склонны сейчас отзываться скептически о подобных благах.

— Что толку во всем этом? — спрашивают они, по свидетельству корреспондента.

Во Франции отмечается то же «сокращение перспективы», которое констатируется в отчете лондонской группы «Массового наблюдения».

Швейцарская газета «Журналь де Женев» провела анкету среди известных французских писателей по вопросу о том, какова будет роль Франции в интеллектуальной и литературной жизни послевоенного мира. Многие опрошенные литераторы предпочли вовсе не отвечать на эту анкету. Ответы некоторых других, опубликованные на страницах газеты, заслуживают того, чтобы их привести. Поль Клодель отвечает: «Не имею ни малейшего представления о том, чем будет мир будущего, и, следовательно, не могу представить себе и того, какова будет роль Франции в интеллектуальной и литературной жизни завтрашнего дня». Анри де Монтерлан откликнулся письмом, которое гласит: «В течение периода времени, длительность которого я не могу предвидеть, мысль, мораль и литература Франции будут мыслью, моралью и литературой приказа. А чем они будут дальше? Я этого не знаю, и никто этого не знает». Примерно в таком же духе составлены и ответы других писателей...

Бисмарк говорил, что «никогда не лгут так много, как во время войны и после охоты». Эта истина вновь получает подтверждение в ходе современных событий. Кажется, всего двадцать пять лет прошло с тех пор, как европейская буржуазия гнала массы на бойню при помощи лживой сказки о «последней войне». И вот уже снова пущена в ход бесстыдная, затасканная ложь: оказывается, на этот раз война — что ни на есть последняя! По крайней мере, такие уверения слышатся из обоих враждующих лагерей в речах государственных деятелей, по радио, в печати.

Из министерских канцелярий изливаются целые потоки лживых обещаний. Каждой рабочей семье обещают предоставить после войны четырехкомнатную квартиру и личный автомобиль. Одни болтают о демократии, другие — о «ре-

конструкции капитализма». Даже «Таймс» высказывается за «реконструкцию» капиталистического общества, — разумеется, по окончании войны. По словам «Таймс», английские правящие классы собираются «реконструировать» тогда «многие стороны национальной жизни — города, деревни, жилищное строительство, промышленность и управление страны». Ни больше, ни меньше! «Манчестер гардиан» сулит «реконструировать» в послевоенную эпоху народное образование, питание населения, сельское хозяйство и обещает разрешение «всех вопросов экономической реорганизации, включая эффективную ликвидацию безработицы».

Если верить этой болтовне, после войны незамедлительно наступит золотой век...

Газеты, принадлежащие магнатам капитала, с пресерьезным видом критикуют... капиталистическую систему. Вот что заявляет, к примеру, итальянская газета «Корьере Падано»: «Все сходятся на том, что ныне капиталистическая система переживает глубокий кризис, что она свертывается и выдыхается. Экономические неурядицы, накопившиеся за последние десятилетия, расшатали структуру мирового капиталистического хозяйства и ускорили удары обычных и военных кризисов, приведя теперь к полному разгрому всей системы... Первый приговор капитализму вынесен самим капитализмом: свирепствующая война изобличает неспособность капиталистической системы сохранять конструктивный мир».

Подобная «критика» капитализма является, без сомнения, весьма знаменательной.

Конечно, лидеры II Интернационала лезут из кожи, чтобы поддержать буржуазную ложь о предстоящей после войны «реконструкции капитализма» руками самих капиталистов. Часть этих лидеров (последователи Белэна и Спинасса во Франции, де Манна в Бельгии и т. д.) шумно приветствует «грядущий порядок в Европе». Другая часть, во главе с английскими лейбористами, отождествляет социализм с... Британской империей, объявляя величай-

шую колониальную державу мира чуть ли не «прообразом интернационала».

Но распад II Интернационала в наши дни глубже, чем в эпоху 1914—1918 годов; II Интернационал уже не пользуется в массах былым весом. Да и, вообще, ложь правящих классов воюющих государств действует сейчас слабее, чем четверть века назад. Уроки истории не пропали даром.

Буржуазия это видит. Отсюда — растущие тенденции неуверенности, смятения, разброда в ее лагере. Эти тенденции сказались в полной мере в Румынии в связи с январским мятежом железнодорожников. Все отчетливее они начинают проявляться и во Франции.

Послушайте, например, что писала не так давно руководящая французская буржуазная газета «Тан»: «Ужасная война совершенно опрокинула наши мысли и чувства. В часы размышления и сосредоточения мы ощущаем некоторую неловкость, видя себя вне обычного окружения и постоянной атмосферы нашего существования, вынужденные именно вследствие этого отказаться от привычных мыслей и чувств. Нас неожиданно лишили всего, что помогало нам в радостях и горестях приписывать определенный смысл добродетелям. Теперь в каждом из нас сидит незнакомец, которого мы мучительно пытаемся раскрыть и определить. Для всех, от наименее пострадавших до наиболее несчастных, великая проблема заключается в следующем: приспособиться, чтобы просуществовать... Нужно приспособляться как в моральном, так и в материальном отношении к новому порядку, еще непостижимому во всеобщем хаосе проходящего часа».

О чем, как не о величайшей растерянности, свидетельствуют эти ламентации?

В известных кругах западноевропейской буржуазной интеллигенции в наш век считаются модными разговоры о неминуемой гибели всей современной цивилизации. Иные мудрецы предсказывают, что современная цивилизация умрет так же, как вымерли культуры древнего Египта, Ассирии или Вавило-

на. Они уверяют, что когда-нибудь в безлюдных пустынях туристы далекого будущего станут созерцать остатки Эйфелевой башни и руины современных небоскребов, как наши современники созерцают полузанесенного африканскими песками сфинкса.

Этим людям невдомек, что агония буржуазного общества, предсмертные спазмы которого так дорого обходятся человечеству, отнюдь не означает гибели цивилизации.

На Востоке занялась заря новой цивилизации — коммунизма.

Массы трудящихся убеждаются в том, что от начала и до конца были правы коммунисты, предвидевшие современную войну и предупреждавшие человечество о грозившей ему опасности.

Еще не умолк грохот пушек первой мировой войны, когда Ленин писал: «Мы не хотим игнорировать той печальной возможности, что человечество переживет — на худой конец — еще вторую империалистическую войну, если революция не вырастет из данной войны несмотря на многочисленные взрывы массового брожения и массового недовольства и несмотря на наши усилия».

Товарищ Сталин предупреждал: «...война нужна империалистам, так как она есть единственное средство для передела мира, для передела рынков сбыта, источников сырья, сфер приложения капитала».

За пять лет до европейского взрыва, в 1934 году, товарищ Сталин указывал, что «дело идет к новой империалистической войне».

Ход событий показывает самым широким массам, что правы были Ленин и Сталин.

В огромной степени возрастает в наши дни притягательная сила страны социализма. Зарубежные трудящиеся видят, что Советский Союз, благодаря его сталинской внешней политике, остался в стороне от общеевропейской схватки. Они видят, что в Советском Союзе люди избавлены от испытаний большой войны, имеют обеспеченный завтрашний день и светлое будущее.

„Тихий Дон“ М. Шолохова

В. ЩЕРБИНА

★

I

Дочитываем последние страницы книги:

«Ранней весной, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высоким будылям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мертвая обуглившаяся земля. Не гнездуется на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория».

Так писатель подвел итог жизни своего героя. И закрываешь книгу с тяжелым сознанием: эта печальная человеческая судьба могла бы быть другой — яркой и плодотворной. Но первое чувство быстро сменяется другим — радостью жизнеутверждения нового, составляющего пафос романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Перед нами подлинная эпопея, потрясающая нас своей жизненной правдой, силой художественного воплощения. И народ советский по достоинству оценил труд своего писателя. Сталинская премия первой степени за выдающиеся работы в области художественной прозы присуждена М. А. Шолохову за роман «Тихий Дон».

Первая книга романа вышла в 1928 году, четвертая закончена в начале прошлого года. Несомненно, окончание «Тихого Дона» — крупнейшее событие нашей литературной жизни последнего времени. Создано одно из самых значительных и талантливых произведений советской литературы. Шолохов работал над своим романом более десяти лет. И в течение этого времени миллионы читателей пристально следили за судьбой его героев. Более того, читатели сроднились с ними, полюбили многих из них. Вместе с героями «Тихого Дона» читатель всходил на курганы донских степей, жил в казачьих дворах, в раздумье останавливался на перекрестках длинных степных дорог, загадывая, что они сулят всадникам и пешеходам. Кто не раздумывал над тем, как кончатся скитания Григория Мелехова, не переживал тяжелой доли Натальи и Аксиньи.

Высшим проявлением художественности изображения является его полная слитность с жизнью. В этом отношении Шолохов достиг того, о чем должен мечтать каждый писатель: герои романа «Тихий Дон» воспринимаются не как

литературные персонажи, а как живые, давно знакомые люди, и это заставляет внимательно следить за каждым событием в их судьбе, горевать и радоваться вместе с ними. Люди у Шолохова ярки и своеобразны: «Люди у него, — писал Серафимович в «Правде», — не нарисованные, не выписанные, это — не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщины, свои глаза с лучинками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех, каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй, — эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидели. Точно так же, как он умеет страшно выпукло дать человека, так он умеет сосредоточенно и скупко обрисовать целую людскую группу, человеческий слой».

Многочисленность и индивидуальные различия персонажей «Тихого Дона» не приводят к суетолоке лиц и событий. Шолохов воссоздает жизнь своих героев во всей сложности отношений и противоречий. И вследствие этого жизнь их представлена целостно, как единый мир, чрезвычайно красочный и законченный. Сила реализма здесь сказывается в том, что Шолохов изображает очень расчлененный и многообразный мир, сложные судьбы людей, но все же никогда не заслоняет частностями тот общественный исторический фон, который определяет существование отдельных героев, единство изображаемого мира. Из романа Шолохова ясно видна связь поступков и характеров действующих лиц с историческим развитием общества в целом. Это дает возможность более глубокого познания действительности, психологии, поступков героев романа и вместе с тем помогает лучшему пониманию самих исторических событий. Историк профессор А. Шестаков писал по этому поводу: «До «Тихого Дона» и «Поднятой целины» у меня не было чет-

кого представления о современном казачестве. Романы Шолохова показали мне жизнь донских казаков во всей ее многогранности, познакомили с бытом казаков, раскрыли их характер и психологию»¹.

Действие в «Тихом Доне» развивается в течение довольно длительного времени, богатого историческими событиями: от кануна первой мировой империалистической войны вплоть до конца гражданской и ликвидации белых банд на территории Дона (приблизительно до 1922 года). За это время произошли коренные изменения в жизни нашего народа. Самое главное — победила социалистическая революция. Годы империалистической и гражданской войны переделали казачий быт, переломили психологию и жизнь обитателей хутора Татарского. Но и до войны казачья жизнь была далекой от идиллии. В существовании обитателей небольшого хутора уже намечаются жизненные драмы, большие и малые неурядицы, предшествующие назревающей борьбе. Течет жизнь напряженная и полная тревоги. «В каждом дворе, обнесенном плетнями, под каждой крышей каждого куреня коловертья кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собою плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан выныньчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, заливала слезами негаснущую к нему ненависть».

Такой была действительность казачьей станицы с ее жизненными противоречиями. Однако они еще приглушены.

¹ «Литературное обозрение», 1937, № 19—20, стр. 32.

Подавляющее большинство обитателей хутора еще верит в единство «войска донского», в нерушимость и правоту казачьего сословного уклада.

Шолохов с величайшей конкретностью и яркостью показал, что и на Дону, несмотря на видимость сословного единства, существовали угнетенные и угнетатели, «две нации» в одной нации. Не сразу раскрывается непримиримость этих «двух наций». В начале романа противоречия, естественно, менее подчеркнуты, только намечены. И это было исторически верно. Последующие книги все более и более раскрывают иллюзорность идеи сословного казачьего единства.

Годы революции и гражданской войны предельно обнажили социальные противоречия. Рушится вековой уклад. В жестокой борьбе гибнет старое, и пробивают себе дорогу новая жизнь и новые взгляды на мир. Герои «Тихого Дона» — участники этой борьбы. Шолохов воплотил историю в живых человеческих судьбах.

В одной из своих статей Горький писал, что старая русская литература черпала свой материал главным образом в средней полосе России, «не тронула донское, уральское, кубанское казачество, совершенно не касалась «инородцев», нацменьшинств»¹. Шолохов расширил в этом смысле сферу русской литературы. Перед нами предстал новый мир, населенный сильными и яркими людьми.

II

Итак — роман о казачестве.

«Тихий Дон» получил высокую оценку и всеобщее признание. В чем же сила романа Шолохова? В чем состоит то новое, что он внес в русскую литературу? Вопрос существенный и своевременный. Задача критики дать на него ответ. И этот ответ был получен. Все авторы статей и книг о Шолохове в этом смысле были единодушны: новое они увидели в том, что «Тихий Дон» — первое в истории русской литературы значительное произведение о казачестве.

Это верно в очень ограниченном смысле: действительно, герои романа главным образом казаки, но видеть все достоинство романа только в высокой художественной разработке казачьей темы — это значит представлять его содержание односторонне. Самое существенное оттесняется на второй план.

Здесь следует вспомнить случай с пьесой Горького «На дне», успех которой в свое время объясняли тем, что автор открыл зрителю новый, до тех пор не известный мир босяков. По мысли критиков, Горький сумел опозитивировать босяцкий мир, и этим объяснялась сила горьковских образов. Сейчас этого не скажет о Горьком ученик средней школы. Художественная разработка узкой темы сама по себе не может волновать читателя, если при этом писатель не дает большого жизненного обобщения, не затрагивает более широких вопросов жизни. А раз Шолохов характеризуется главным образом как талантливый бытописатель донского казачества, если обойдена связь казачьей темы у Шолохова с более широкими проблемами нашего исторического существования, то вполне закономерно вырастает отсюда мнение об областной ограниченности Шолохова.

Содержание произведения нельзя определять только по внешнему признаку. Ходкая мысль, что «На дне» — пьеса о босяках, очень мало разъяснила содержание произведения Горького. Круг интересов в подлинно художественном произведении всегда шире внешних тематических рамок.

«Тихий Дон» — роман больших идейных и художественных обобщений. Тем не менее до сих пор сохранилось мнение о Шолохове только как о писателе местной областной темы. Например, тов. Кирпотин в статье «Тихий Дон» М. Шолохова» пишет: «Органическое» в романе раскрывается как крестьянское и как сословное начало. Но и не только как сословное, а еще и как областное»¹. Верно, что сословная исключительность легко переходила у донских казаков в

¹ «О литературе». Сборник, стр. 245.

¹ «Красная новь», 1941, № 1, 187.

областную обособленность. Но это никак не значит, что в изображении словесного и областнического — органического, т.е. самое существенное, в романе Шолохова.

Шолохов изобразил события революции, перестройку людей, их чувства, борьбу в определенном месте нашей страны. Можно сколько угодно спорить о широте или ограниченности донской тематики. Жизненные процессы здесь имеют специфическую местную окраску. Утверждение это не дает никакого основания преуменьшать широкое обобщающее значение произведений Шолохова. Напротив, жизненная правдивость и историческая конкретность придают особую убедительность образам романа. Мы видим живых людей. Их судьбы поучительны. Конечно, легче всего подсчитать количество персонажей в романе казаков, то его содержание сводится к бытописанию казачества. Принципы подобного анализа едва ли пригодны даже в отношении произведений беспомощных писателей, не умеющих находить связь частных явлений жизни с целым, не вникающих в связь фактов определенного времени с процессами длительной исторической эпохи. Картина революции и гражданской войны на Дону, созданная Шолоховым, обогащает нас не только местным материалом. В понятие местного материала нельзя включить общие, важнейшие процессы социальной революции, гражданской войны, перестройки человеческого мировоззрения, отношение человека к природе, большие человеческие страсти, так правдиво изображенные Шолоховым. Особая форма, в которую выливалась классовая борьба на Дону, никак не отменяет ее основного содержания. И на Дону, как и в остальных частях России, старое сокрушалось революцией, и люди боролись, страдали и радовались. Как везде, здесь были и заблуждения, и успешные поиски истины. Шолохов рассказывает не о далеком прошлом и далеких нам людях, а о наших русских крестьянах в годы гражданской войны. При чем же здесь областничество?

Судьба обитателей неизвестного донского хутора Татарского говорит нам о важнейших вопросах жизни.

У казаков, людей, отягощенных чертами средневекового быта, путь в революции более сложен и извилист, нежели у среднего русского крестьянина. Но это обстоятельство дает возможность в более резкой форме показывать крушение старого, трудность борьбы с ним и грандиозность сдвигов, происшедших в сознании и жизни трудящихся за годы революции и гражданской войны. Перед нами рельефно вырисовываются целые исторические пласты. С большим мужеством рассказывает Шолохов о борьбе и о ее жертвах.

Гибнет в бою казак - новобранец. «Лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком кадыка на тонкой, невозможной шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилках, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками, и долго будет голосить по мертвому, рвать из седой головы космы волос...

И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын «погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов...» — запричитает, заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Донщине...»

Роман Шолохова дает ясное ощущение хода истории, величайших событий, перестраивающих мир. В героях «Тихого Дона» представлены самые различные типы человеческого сознания от передового воззрения большевика Штокмана до собственнического примитивизма Пантелея Прокофьевича Мелехова. Шолохов в своем романе почти не выходит за пределы Донской области. Но, поскольку он показывает здесь важнейшие моменты революционной борьбы и труд-

ности перестройки старого общества, изображение охватывает многие главнейшие процессы революции на селе, сложность революционной перестройки человека. А пути крестьянства в революции есть существеннейшая проблема социалистической революции: в лице крестьянства пролетарская революция получает мощного союзника, по выражению Маркса, «хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую песнь»¹.

Шолохов, рисуя казачество, воспроизвел ряд моментов, существенных для понимания путей крестьянства в социалистической революции и гражданской войне. Уже это одно полностью опровергает неверное мнение о местном характере шолоховской темы. Однако этого мало. Тема и проблемы романа Шолохова гораздо шире: они имеют общенародное значение. Герои «Тихого Дона» заслуживают более правильного и всестороннего понимания. Михаил Кошевой в секрете говорит Алексею Башилову: «— Чудная жизнь, Алексей!.. Ходят люди ошупкой, как слепые, сходятся и расходятся, иной раз топчут один одного... Поживешь вот так, возле смерти, и диковинно становится, на что вся эта мура? По-моему, страшней людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь... Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизнь — не знаю, а ты обо мне не знаешь... Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь... Люди про себя мало знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, что да чего. Они думают — у казака одна плетка, думают — дикой казак, и замест души у него бутылошная склянка, а ить мы такие же люди: и баб так же любим и девок милуем, своему горю плачем, чужой радости не радуемся...»

Некоторые наши критики часто напоминают солдата, думавшего, что у казаков «замест души бутылошная склян-

ка». С торжеством они открыли наличие и у казаков человеческих чувств, способность любить, страдать, сомневаться. Они уподобляются иногда писателям конца XVIII века, пришедшим тогда к существенной истине, — «и простолудины чувствовать умеют». Обогадив, таким образом, историю русской критики, многие литературные «поклонники» Шолохова за своеобразием казачьей психологии, истории и быта не заметили в романе «Тихий Дон» более широких проблем и обобщений, идей, далеко выходящих за пределы Донской области. Шолохов по-настоящему обогатил наше понимание истории и жизни вообще, с большой силой показав, что «сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила»¹. Преодоление вековой инерции жизни масс, предрассудков и отсталых жизненных представлений — величайшая историческая задача, стоящая перед социалистической революцией.

Шолохов на примере своих героев в художественных образах раскрыл силу векового уклада. Казачьи предрассудки помешали Григорию Мелехову развить свои стихийные демократические симпатии.

В его сознании были предпосылки к новому взгляду на мир, но они были подавлены старым, привычкой, воспитанной окружающим укладом. Сила привычки явилась причиной других бесчисленных жертв: она погубила Григория Мелехова и многих других персонажей «Тихого Дона». Сколько колебаний, страдания, горя породила застойность сознания, его отсталость по сравнению с движением передовых исторических сил! Изображение страшной силы привычки — одна из главных тем романа «Тихий Дон». И кто сможет сказать, что это частная тема или тема местного (донского) значения? Не может быть никакого сомнения — духовное перерождение людей в горниле больших исторических движений есть основная тема искусства нашей эпохи. Задача социалистического пере-

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 412.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXV, стр. 191.

воспитания трудящихся, создание нового отношения людей к труду, к обществу имеет первостепенное значение: без коренного изменения в сознании масс нельзя было бы добиться построения социализма. Поэтому перестройка сознания масс составляет одну из главных тем советской художественной литературы.

Подлинная тема Шолохова—это тема становления нового человеческого сознания. Раскрыты исторические трудности его формирования и величайшие победы, одержанные под руководством партии большевиков. Картина, нарисованная Шолоховым, дает нам возможность лучше представить грандиозность достигнутых успехов в деле социалистического воспитания масс. То, что Шолохова не привлекало бытописание донской жизни как самоцель, что его увлекали другие, более существенные актуальные задачи, — подтверждает «Поднятая целина». После выхода третьей книги «Тихого Дона» в 1933 году писатель прерывает работу над романом: он решил показать советский Дон. «Поднятая целина» продолжает творческую задачу романа «Тихий Дон». Если в нем Шолохов нарисовал перелом в жизни и сознании казачества в годы революции и гражданской войны, то в «Поднятой целине» он показал, как происходил в донских станицах и хуторах «глубочайший революционный переворот... равнозначный по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года»¹. Правдиво рассказывает он о великих делах нашей эпохи. Шолохов в «Тихом Доне» дал глубокое изображение сложности пути народных масс к передовому историческому сознанию. Писатель рисует крушение старого и рождение нового понимания действительности в годы империалистической войны, социалистической революции и гражданской войны. Значительность образа Григория Мелехова в первую очередь состоит в том, что он живое воплощение борьбы новых сил со старой традицией, борьбы, закончившейся для Мелехова ка-

тастрофой. Метания Григория не только плод его личной слабости: если бы было так, то перед нами был бы не трагический, а мелодраматический герой. Нет, Григорий сильный, энергичный и мужественный человек. Судьба его показывает значительность сил, препятствовавших его приближению к правде. Менее всего такой силой была белогвардейщина. Григория тянет на дно тяжелый груз старых привычек и представлений.

III

Жизнерадостным и беззаботным парнем предстает перед нами Григорий в начале романа. Он полон стихийной силы, взгляд его смел и уверен. Тепло и любовно повествует Шолохов о молодых годах Григория. Подробно показаны быт и обстоятельства, формирующие его характер. Автор уделяет большое внимание юности героя для того, чтобы показать зарождение противоречивых черт его характера. Сама творческая история романа чрезвычайно любопытна в этом смысле. Первоначально Шолохов задумал роман из гражданской войны и написал отрывок о корниловщине. Но затем ему пришлось отложить написанное и начать с предвоенных лет.

Именно полное описание казачьего быта дает всестороннее понимание своеобразия характера Григория. Станичная жизнь хлебороба давала ему много и хорошего, и плохого. Две души в мелком хозяйчике: пролетарская и «хозяйская»—говорил Ленин о социальной природе крестьянина. «Две души» проявляются в сознании и поведении Григория, и это объясняет многое в противоречивости его мыслей и действий. Прежде всего он труженик, любящий свое поле. Во всех скитаниях Григория не покидала тоска по крестьянскому труду. И уважает он только людей труда. Положительные духовные качества Григория Мелехова воспитаны трудовой средой. Именно она породила в нем неутомимые поиски социальной правды, неудовлетворенность окружающим. И в дальнейшем сознание своей неразрывной

¹ «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 291.

связи с хлебобобовым человеком кладет непроходимую пропасть между ним и белым офицерством. С гневом Григорий гворит Копылову:

«— Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество— так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня поперет, что аж всей спиной его чую!— Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повисил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарцы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий. — Да потому, что я для них белая ворона. У них — руки, а у меня — от старых музлей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все цепляюсь... Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я, или такой как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр старой службы, а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали офицерские полки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, засланный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал? А знаешь, кто его нагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание?»

Демократизм Григория шел от казачьей народной массы. Другая «душа» его, собственническая, привела к участию в контрреволюционном восстании. Ложная, сословная, идея двигает его силы, энергию, военный талант в гибельном направлении, приводит его в стан врагов революции. Бесплодность борьбы и разочарование постепенно стирают и высокие задатки в характере Григория. Пропадает его жизнерадостность, яркость, уверенность в себе. Чем больше он связывает себя с вражеским ста-

ном, тем явственнее он тускнеет, как бы стирается от испытаний времени.

Характерно, что невыгодную перемену в Григории прежде всего чувствует любящая его, самая близкая к нему женщина — Аксинья. Вспоминая о нем, мечуемся на фронтах гражданской войны, она хранит и лелеет образ не теперешнего, а молодого Григория: «И диковинно: последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла себе его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытывавший мужчина с усталым прищуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, — а тот, прежний Гриша Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ. И от этого Аксинья испытала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность».

Старый казачий уклад изуродовал жизнь Григория Мелехова. Подкупающий нас своей искренностью и непосредственностью, Григорий Мелехов не сумел прорвать плену отживших представлений и стал их жертвой. В его сознании идет мучительная борьба здорового, чуткого и искреннего человека с затхлыми нормами старого, собственнического быта. Если бы в Григории победили чувства подлинной человечности, то конец его не был бы трагическим. Но Шолохов не становится на этот внешне заманчивый и более легкий путь. Как настоящий художник, он рисует естественное развитие индивидуального характера. Жизнь Григория настолько изобилует ошибками, давление старого настолько ощутительно, что иного завершения образа Григория ожидать нельзя.

Борьба в его сознании противоположных начал, старого и нового, видна на всем протяжении романа. Любовь к Аксинье не мешает ему бро-

сильно по ее адресу мерзкое оскорбление. Он подчиняется желанию старших женить его на Наталье, что является источником многих драматических коллизий. Противоречивость сознания Григория еще больше сказывается в последствии. Военная служба расширяет его кругозор, ставит его перед новыми вопросами. Так кончается первая книга. Кажется, что Григорий нашел верный путь и не собьется с него. Но силы старого мира нельзя сбросить со счета. Георгиевский кавалер, Григорий снова появляется в станице. Слава и почести вскружили ему голову и «свое, казачье, национальное, восанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни взяло верх над большой человеческой правдой». Загрубело и очерствело на войне сердце Григория: «Джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости».

Двойственность сознания Григория еще более резко проявляется в годы гражданской войны. И в это время сталкиваются в нем новые человеческие чувства со старыми предрассудками. Временно он испытывает влияние большевика Подтелкова. Опять возникает надежда, что Григорий нашел себя, но он уходит от большевиков.

«О чем было думать? Зачем металась душа, — как зафлаженный на облаве волк, — в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посюродиться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь, как в стенке, — а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не

взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству, — и все.

Об этом, опаляемый слепой ненавистью, думал Григорий, пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...» Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей».

С тех пор Григорий тесно связывает себя с белыми. Однако сам он не может стать законченным белогвардейцем. Он видит уже не одну Русь, а две Руси — помещичье-буржуазную и трудовую. Зарубив в бою матросов, Григорий бьется в нервном припадке:

«— Кого же рубил!.. — И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..

Сотенный подбежал к Григорию, со взвонным навалился на него, оборвал на нем ремень шашки и полевую сумку, зажал рот, придавил ноги. Но он долго еще выгинался под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни — богатой горестями и бедной радостями — все, что было ему уготовано.

Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под губительным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинков своих приветствуя лучшее смертью осеннее солнце...»

Непоследовательность Григория отмечена Кудиновым, многозначительно замечившим: «...ить я-то знаю, что ты недоделанный большевик». И этот «недоделанный большевик» в конце третьей книги романа — командир повстанческой белоказачьей дивизии. Но это не тот Мелехов, который вскочил на боевого

коня по призыву защищать родной Дон. Человек, разочарованный в своих старых увлечениях, он уже почти механически идет по старой дороге. Наступила полоса решительного крушения иллюзий. В результате столкновения с действительностью обнаруживается их несостоятельность и обманчивость. Скорее инстинктом, нежели сознанием, Григорий понимает, что народ поддерживает не белых, а большевиков.

Тема крушения иллюзий в результате столкновения с жизнью не нова в мировой литературе. Бальзак классически нарисовал крушение идеалов под влиянием грубой практики капитализма. Разрушение иллюзий в старом обществе являлось неизбежностью, так как рамки этого общества не давали возможностей для осуществления мечтаний.

В русской литературе можно указать на героев Лермонтова, А. Толстого. Разочарования их рождены не случайным сцеплением обстоятельств, а отражают столкновение сравнительно передового сознания с отсталой действительностью.

В отличие от этих произведений Шолохов рисует конфликт, исторически совершенно новый.

Разочарование в жизни у Григория Мелехова рождается в результате столкновения отсталого представления о жизни с передовым историческим движением эпохи. Трагедия его порождена цепкостью и силой воздействия старых привычек. Когда-то Шолохова упрекали в идеализации казачьего быта. Между тем характер изображения конфликта старого с новым чрезвычайно решительно раскрывает историческую обреченность этого консервативного уклада, а вместе с ним и всего строя представлений, выросших на его почве. Несмотря на симпатию Шолохова к своему герою, он ясно представляет, что разочарование у Григория объективно связано с его тяготением к исторически отжившим формам жизни.

Разочаровавшись в контрреволюционном движении, Григорий, однако, не примыкает к красным. С горечью он говорит: «...Такому, как молодой Листницкий или как наш Кошевой, я всегда

завидовал... Им с самого начала все было ясно, а мне и до се все неясное. У них у обоих свои прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный, качаюсь... От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби...»

Ранее Григорий мечтал о «третьем» пути: его идеал, разбитый жизнью, предполагал существование крестьянства, хлеборобского Дона без генералов и помещиков, но и в стороне от революции. История стремительно шла вперед, попытка противодействовать поступательному движению общества потерпела крах. Шолохов, показав дистанцию, отделяющую Григория от передовых людей, проявил прекрасное понимание стремительного движения истории. Жизнь полна конфликтов и противоречий. Григорию она мстит за пристрастие к отживающему. Противоречие между действительностью и представлениями о ней получило богатое воплощение в истории мировой литературы. Даже более: это противоречие явилось основной темой критического реализма XIX века. Обычно герой здесь пассивен, хотя его сознание опережает воззрения своей эпохи. Если даже писатель или герой реакционен, то он верно подмечает в буржуазной революционности ее слабые стороны. Трагедия Григория возникает на новой общественной основе. Особенность образа Григория в том, что он активная, волевая, действительная натура, пошедшая за отживающим, обреченным на гибель воззрением.

В четвертой книге «Тихого Дона» подведен итог жизненным исканиям Григория Мелехова. 1919 год. ЦК партии принял гениальный сталинский план разгрома белогвардейцев и интервентов. Обосновывая свой план наступления на Деникина через Донбасс, товарищ Сталин писал: «...мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдет». Предвидение товарища

Сталина полностью подтвердилось. Казаки поссорились с Деникиным.

В душе Григория пылает ненависть к офицерам. «Мы вам служим постольку, поскольку, — думает он во время речи генерала Секретева. — Сосватала нас с вами горькая нужда». Положение осложняется тем, что он уже понимает бесплодность борьбы против советской власти.

Знаменателен его разговор с начальником штаба Копыловым. Григорий Мелехов говорит о пропасти, отделяющей его, простого казака, от офицеров-белогвардейцев. Он говорит о новых командирах Красной армии — крестьянах и слесарях, побеждающих генералов: «В войне главное... дело, за какое идешь». Копылов замечает раздвоенность Григория и недоумевает: «А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что. С одной стороны, ты — борец за старое, с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика».

Шолохов в простой лирической картине дает описание исторической драмы казачества в годы гражданской войны. Во время отступления к Новороссийску больной Григорий, лежа в повозке, слушает старую казачью песню. Рыдания сотрясали тело Григория:

«Атаман у них—Ермак, сын Тимофеевич,
Есаул у них — Асташка, сын Лаврентьевич...

Как только зазвучала песня, — разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихла понукания, и тысячный обоз двинулся в глубоком, чутком молчании; лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Она бесхитростными простыми словами рассказывала о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати; ходивших по Дону и Волге на легких воровских устругах; грабивших орленые царские корабли; «щупавших» купцов, бояр и воевод; покорявших далекую Сибирь... И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных каза-

ков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа...»

Духовная драма Григория усугубляется тем, что он по-настоящему любит свой край. Это одна из самых постоянных и подкупающих черт в облике Григория. Чувство это не оставляет Григория, когда он в рядах Первой Конной армии храбро сражается с белополяками. Связь деникинцев с английской интервенцией до глубины души возмущает его: «Я бы им,—говорит он, — на нашу землю и ногой ступить не дозволил». В то время, когда разгромленные части белогвардейцев грузились в черноморских портах, Григорий остался в городе, занимаемом красными. Он вступил в Первую Конную армию и во главе эскадрона доблестно дрался на польском фронте. «Переменился он, как в Красную армию заступил, веселый из себя стал» — рассказывает о нем Прохор Зыков Аксиные.

Можно было бы закончить повествование приходом Григория в Красную армию. Роман завершился бы «счастливой развязкой». Но Шолохов остался верен жизненной правде. Не так легко даются людям, кровно связанным со старым, новые взгляды и новое место в жизни. Так случилось и с Григорием. Со строгостью реалиста Шолохов дописывает последние трагические страницы жизни Григория. В Красной армии его не оставляют: бывший командир белоказачьей повстанческой дивизии, он не внушает доверия. После демобилизации он стремится домой, усталый, опустошенный. В хуторе Татарском он встречает пустой двор — отец и мать умерли. Родная станица и люди для него стали чужими.

С огромной силой показывает Шолохов, как энергичный и одаренный человек, направленный враждебными силами на неправый путь, теряет связь с народом, опустошается, становится ненужным. Уходят в безвозвратное прошлое его внутренняя сила, подкупающий интерес к жизни и непосредственность. Григорий говорит Михаилу Кошевому: «Все мне надоело, и революция, и контр-

революция. Нехай бы вся эта... нехай вся она идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Поверь мне, Михаил, говорю это от чистого сердца».

Григорию кажется, что его служба в Красной армии дает право на доверие. Но председатель ревкома Михаил Кошевой ему не доверяет. Он знает непостоянство Григория. Вокруг бродят белые банды, и в такой обстановке Григорий — бывший руководитель контрреволюционного отряда — кажется Кошевому опасным. Боясь ареста, Мелехов пытается скрыться и попадает в банду Фомина. Он не верит в успех нового восстания. Ему понятна обреченность Фомина. Автоматически он следует за отрядом, ни во что не веря, ни на что не надеясь. Последняя попытка опять вернуться к мирной жизни кончается неудачей. Вдвоем с Аксиньей Григорий хочет уехать куда-нибудь, лишь бы избавиться от войны, преследований. Аксинья — единственный близкий Григорию человек — гибнет в случайном столкновении с группой красноармейцев из продотряда.

Страницы романа, рассказывающие о смерти Аксиньи, написаны с потрясающей художественной силой. Смерть Аксиньи Григорий воспринимает как самое страшное, что только могло случиться в его жизни.

«Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полукрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстанутся они ненадолго...»

Ладонями старательно прижимая на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страш-

ному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжелого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

Перед нами не только большое человеческое горе. Мир для Григория потерял свои краски, и диск солнца почернел потому, что для него Аксинья являлась единственным близким человеком. С ее потерей рвались последние связи с жизнью, которая становилась пустой и ненужной. Писатель здесь рисует крушение попыток Григория найти какой-то иной, третий, путь, пролегающий в стороне от борьбы исторических сил. Со смертью Аксиньи рушился у Григория созданный им идеал частной жизни вдали от всяких социальных потрясений.

Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце-концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей...

«Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплый пиджак домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыленной земли, горький аромат порезанной лемехами травы...»

С одной стороны, Григорий стремится найти покой только в трудовой жизни. Но с другой — этот идеал, ограниченный хуторским воззрением, предполагает уход от живой истории. Конец романа, смерть Аксиньи, говорит о невозможности существования изолированно от общества.

Конец романа «Тихий Дон» — это конец так хорошо знакомого нам Григория. Он уже не живет, но желание жить в нем не погасло. Григорий «все еще судорожно цепляется за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других». Бесцельно идет он к своему родному дому:

«Ниже хутора он перешел Дон по

сину, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

Попржнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Не стало жизнерадостного Гришки Мелехова. Он опустошен до предела. Дальше рисовать судьбу Григория нет надобности. Это конец человека. Конец трагический и бесславный. И, продумывая жизнь Григория, мы понимаем, что погубило яркую и сильную человеческую индивидуальность. Иллюзии отжившего сословного уклада направили молодого казака на гибельный путь. Тяжесть старых представлений, идущих от мелкобуржуазного, замкнутого существования, настойчиво и упорно стирала в Григории живые человеческие черты. Итог мучительной внутренней борьбы его печален: Григорий уходит из жизни. Как большая глыба, стремительно падая с горы в пропасть, увлекает за собой встречающееся на пути, так и трагическая судьба Григория сопутствует гибели многих окружающих его людей. Уходит из

жизни и Аксинья. Уходят из жизни Пантелей Прокофьевич, Наталья, Ильинична, Дарья. Разваливается семья Мелеховых. Конец героев «Тихого Дона» воспринимается нами как подлинная и глубочайшая трагедия. Трагизм их в том, что они пошли против общенародного движения. Мелеховы пали жертвой ложных представлений о жизни, навязанных им старым укладом. Шолохов ярко показал нам Мелеховых как людей труда, не нашедших верного пути.

Отношение наше к героям «Тихого Дона» не сводится к осуждению. Они обладали оригинальными, самобытными характерами. Некоторые казачьи черты высоко ценит и современный советский человек. Настойчивость, храбрость, решительность, твердость характера... Они вызывают симпатии к Григорию Мелехову и Аксинье. Трагедия их заставляет нас глубже осмысливать великие исторические движения, внимательнее всматриваться в жизнь и людей.

IV

В романе «Тихий Дон» много горя и смертей. Но роман не оставляет впечатления безнадежной элегии. Грусть по погибшим побеждается всей философией романа, философией торжества жизни. Для выяснения общего тона романа интересны и важны лирические отступления, сопровождающие эпическое изложение. Нарисовав страшную картину казни Подтелкова, автор заканчивает главу следующей лирической концовкой: «Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюк, пышным цветом выжелтилась с боку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахом чобором, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе мохнатилась черная вязь славянского письма:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата.

Старик уехал, а в степи осталась чаша горящих глаз прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного, тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом».

Писатель остался верен суровой правде жизни. Нельзя закончить рассказ о судьбе Мелеховых «благополучным» концом, так как тяжесть старого мира обрушилась на них. Тем не менее никто не посмеет упрекнуть Шолохова в недостатке оптимизма. Мелеховы заблудились на извилистой дороге жизни. Но трудовое казачество, народ нашли социалистическую дорогу. В этом — оптимизм романа.

Большинство героев романа Шолохова оказываются побежденными. Но люди здесь побеждены не в силу личной слабости, а в сложной и тяжелой борьбе. Объемно и весомо нарисовав отрицательные общественные силы, Шолохов тем самым более рельефно подчеркнул величие победы, мощь революционного народа, уничтожившего эти темные силы. Некоторые отдельные люди погибают под тяжестью неблагоприятных враждебных жизненных обстоятельств. Но народ переносит все испытания и находит путь к освобождению. В утверждении этого положения — главное в «Тихом Доне». Идея художественного произведения часто у нас понимается, как отвлеченная мысль, положенная в его основу. Примеры подобного понимания в нашей критике не единичны и приводят к многим заблуждениям. На самом деле, идея в искусстве — итог, результат художественного познания действительности. Это то, чему учит читателя произведение искусства логикой художественных образов. Роман Шолохова «Тихий Дон» учит нас

по-настоящему уважать народ, верить в его творческие силы. Народ, преодолевший тягчайшие испытания, непобедим. Новое приходит с жертвами и трудом, преодолевая серьезнейшие препятствия. Торжество победы, оптимизм, мужество в преодолении трудностей — вот пафос романа «Тихий Дон».

Шолохов с большой смелостью нарисовал сложность и трудность исторической переделки сознания масс. Только анахронизмом восприятия можно объяснить суждения о романе вроде следующего: «Шолохов бесконечно любит органическую цельность жизни казаков. Однако для его героев эта полнокровная мощь органической жизни, страстная безрефлективная полнота переживаний, и в малом и в большом, есть не извне возникающий идеал, а их собственное прошлое, утрачиваемое, разрушаемое событиями. Обстоятельство это создает оттенок идеализации стариказачьей жизни...»¹ Такой вывод может быть следствием только внешнего рассмотрения произведения, а не понимания его внутренней логики, философии, идеи. На самом деле, роман Шолохова содержит повествование не только о гибели отжившего, но и о рождении революционного, нового воззрения. «Тихий Дон» в значительной степени роман о том, как созревала в народе революция, как прекрасен здоровый народный дух, как народ пытается расправить свои плечи. Из него мы много узнаем о попытках наиболее чутких и сильных людей из народа восстать против гнетущего уклада. Наиболее полно народные революционные стремления выразили в романе большевики: Штокман, Кошевой, Подтелков, Бунчук, Анна. У других героев романа противодействие гнету проявляется в иных, менее последовательных формах, не всегда оно устойчиво, но оно живет, оно есть и не может не быть. Больше всего внимания Шолохов уделяет изучению благородства души труженика, его порыва к свободе.

Искания правды у Григория в высшей степени драматичны. Разговор с Петром свидетельствует о том, что Гри-

¹ В. Кирпогин. «Тихий Дон» М. Шолохова. «Красная новь», 1941, № 1, стр. 175.

горий старался итти в ногу с народом, понять подлинное содержание исторических событий: «Я, Петро, уморился душой. Я зараз как недобитый какой... Будто под мельничными жерновами побывал, примяли они меня и выплюнули. — Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борода (ее только-что, с чувством внутреннего страха заметил Петро) темнела, стекая наискось лба, незнакомая, пугающая какой-то переменной, отчужденностью.

— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара от шеи.

— А вот видишь как, — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе, — людей сравили, и не попадайся? Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежели человека мне укусит, — он бешеный делается».

Нарастает трагический конфликт, определивший судьбу Григория. Сущность его состоит в том, что Григорий начинает понимать направленность своей борьбы против народа. Понимание этого мучит и не дает покоя. Командира повстанческой дивизии Григория Мелехова терзает неотвязная мысль: «...против кого веду? Против народа... кто же прав?» Вот основное противоречие: сын народа, опутанный старыми представлениями, восстал против своего, родного. И Григорий, — несомненно, подлинно трагический герой. У него есть кое-что общее с Опанасом Э. Багрицким. Правда, Опанас — человек более примитивного действия и сознания, нежели Григорий. Но исторический удел их во многом сходен: они оба не находят своего пути, оба труженики, жизнь которых искалечена силой обстоятельств.

Судьба руководителей белогвардейщины, их деятельность не несет в себе исторически плодотворного начала: она враждебна народу. Многообещающие декларации, манифесты, громкие слова прикрывали их историческое ничтожество, ложь. Они предавали родину. И деятельность их отвратительна и исторически вредна. Руководители контрреволюции не могут быть героями высокой трагедии. Но крушение старого не проходит без больших чело-

веческих драм и трагедий. В своем падении старый мир часто увлекает и настоящих людей, не умевших найти верный путь. Обманом, демагогией некоторые люди труда привлекались на службу исторически неправому делу, восставали против своих собственных интересов, против своего народа, отцов, братьев. Участь обманутых или опутанных предрассудками честных людей из народа трагична.

Впервые в нашей литературе в романе Шолохова показано зримо и ощутимо трагическое в истории. Писатель мужественно говорит о драмах, которые неизбежно сопровождают ход истории. И сам Григорий чувствует неумолимые исторические противоречия на судьбе близких ему. Чрезвычайно показательны его размышления над телом убитого брата Петра:

«Григорий сидел на лавке против брата, крутил цыгарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной таинственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра в последнюю путину соберут его жена и мать...

«Лучше бы погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, чем тут, на материнских глазах!» — мысленно с укором говорил брату Григорий...»

Картина эта порождает в читателе глубокие раздумья. Она вызывает ненависть к буржуазии, к белогвардейским главарям, обманом увлекшим за собой многих темных людей из народа. За что погибли люди, которые могли бы жить, радоваться и много хорошего сделать для своей страны, для народа. Настоящие подсудимые на суде истории — не они, а те, кто держал их в темноте, скрывал от них правду. Ужасен не самый факт жестокости или кровопролития. Без этого нет войны. Уничтожение врагов есть необходимость. Говоря о трагической стороне великих

исторических движений, Маркс писал: «Трагической была история старого порядка, пока он был предвечной силой мира, свобода же, напротив, — личной прихотью, другими словами: покуда он сам верил и должен был верить в свою справедливость. Покуда старый порядок, как существующий миропорядок, боролся с миром, еще только рождающимся, на его стороне было всемирно-историческое заблуждение, но не личное. Гибель его и была поэтому трагической»¹.

Гибель Григория и других честных тружеников, втянутых в неправое дело в силу их темноты и вековых предрассудков, трагична. Поступки их порождены заблуждением людей, выступивших против правды, несущей им освобождение. Здесь не только личная судьба немногих людей, а «историческое заблуждение» значительных масс казачества, выступавших в годы гражданской войны против советской власти. И сейчас, когда казачество прошло большой путь и Дон стал социалистическим, значение и правдивость романа Шолохова проясняется все больше и больше.

Характеру героя «Тихого Дона» в нашей критике посвящено много работ. Совершенно естественно внимание к жизненной эволюции Григория. Все критики отмечают двойственность образа Григория в романе. Вот образ жизнерадостного, неустранимого человека, стремящегося вперед, искреннего искателя правды, борющегося с ошибками и приближающегося зигзагами к верной дороге; с этим образом встречаемся в первых семи частях книги. И вот другой образ — опустошенного, лишенного эмоций, потерявшего веру в свои силы «несчастливого человека», судорожно цепляющегося за свою изломанную жизнь.

Критики романа «Тихий Дон» единодушно утверждают трагичность образа Григория до последней части романа, где появляется лишь мертвенная тень прежде полного сил человека. Что же касается дальнейшего, то оценки здесь резко разошлись. Тов. Гоффеншефер

утверждает, что поступки Григория в последней части романа противоречивы до крайности. Но они отражают уже не те глубокие социальные противоречия, которые характеризовали его искания в прошлом, а лишь случайности, определяющие его безвольно складывающуюся судьбу. Конец романа критик признает вполне правомочным и оправданным, но считает, что здесь речь идет только об индивидуальной судьбе героя. Из анализа последней части романа критик делает следующий вывод: «Когда читаешь эту часть романа, становится ясно одно весьма важное обстоятельство: в ней кончается повесть о Григории — искателе социальной правды, и начинается повесть о Григории — искателе личного покоя. Выражаясь фигурально: Григорий как выразитель стремлений и исканий, отражающих стремления и искания социально весомой группы людей, кончил в романе свое существование именно в последних строках седьмой части романа, когда он с решимостью и радостью встретил первый разъезд Красной армии. Дальше уже идет речь не о социальном герое, а о человеке, о котором Аксинья очень просто и метко сказала: «Он так... несчастный человек», о человеке, несущем в себе тяжесть трагической вины.

Если раньше исторические события и борьба были органически слиты с исканиями и судьбой героя, то сейчас внутренняя связь между судьбой Григория и историческими событиями заменилась чисто внешней связью»¹.

Закончив типическую историю героя в 7-й части романа, Шолохов, по мнению некоторых критиков, в последней части романа завершает только его частную историю. Судьба Григория по этому суждению в последней части теряет свое обобщающее значение, становится историей только одного человека. Наиболее резко и с другим акцентом высказался по поводу конца Григория Ермилов в статье «О «Тихом Доне» и о трагедии»:

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 402.

¹ В. Гоффеншефер. М. Шолохов. Гослитиздат. 1940, стр. 99.

«Читатели и критики правильно воспринимают Григория Мелехова в восьмой части, как другого, особого человека, по сравнению с Григорием, известным нам по предшествующим частям романа. Этот новый, особый, другой Мелехов уже не имеет права на трагедию...

Мы знаем, что трагедия предполагает особую вину героя, в которой он и виноват, и не виноват. Он не может поступать иначе, чем он поступает. Трагический герой не имеет свободы выбора. А Мелехов в восьмой части мог пройти регистрацию, мог и не пройти, мог оказаться в банде Фомина, а мог и не сказаться и т. п. Поэтому читатель и не может эстетически «мириться с трупами и кровью» (Белинский) так, как «мирится» он с этим в трагедии. Шолохов как бы подчеркивает, что роман перестает развиваться, как трагедия. Впервые он применяет для характеристики поведения героя такие слова, как «смешно и постыдно». Смешное не может быть трагическим! В «лучшем случае» оно может являться трагикомическим»¹.

Из сказанного выше вполне естественно вывести заключение о правомерности превращения романа «Тихий Дон» в последней части из трагедии в трагикомедию. Основание для этого находят в превращении Григория из благородного, сильного и, несмотря на свои ошибки, привлекающего наши симпатии человека в отщепенца, бандита. Причину перемены облика Григория в таком случае приходится объяснять исключительностью его судьбы, безволием и растерянностью. Согласиться с такой точкой зрения не представляется возможным. Неправильна характеристика Григория последнего периода только как бандита, только как исключительного человека, не имеющего типических черт. Если бы это было так в действительности, то разногласий по поводу оценки эволюции Григория не случилось бы. Не нашлось бы повода для спора. Пришлось бы согласиться со всем вышесказанным: с утверждением

об исключительности характера Григория в последней части книги и с мыслью о превращении его из трагического героя в трагикомического, и конца романа — из трагедии в трагикомедию. Во всех этих суждениях совершенно неправильна точка зрения на характер Григория после его возвращения из армии. Нельзя видеть в Мелехове заурядного бандита. Ведь, если разобраться, Григорий в финале романа уже перестал существовать духовно. Все, чем он жил, — и плохое, и хорошее, и яркое, и тусклое, и новое, и старое, — все в нем стерто жерновом испытаний.

Григорий сам понимает, что оторвался от народа, который уже стал на сторону советской власти. Это показано в ярком сне Григория.

«... Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Ужое, откуда-то издалека, неслось протяжное: «Эскадр-ро-о-он...», — когда он вспомнил, что у седла отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя, — седло поползло под ним... Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удаляющийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него...» Постепенно через ряд тяжелых раздумий и испытаний Григорий осознает свое одиночество. Становится ли от этого меньшим интерес к книге, менее глубоким ее значение? Нет. Потому что трагедия Мелехова в высшей степени поучительна. Она свидетельствует о глубоком понимании Шолоховым-художником диалектики отношения личности к обществу в эпоху больших народных движений. Печальный удел Григория синтезирует беспощадность живой истории к людям, пытающимся во имя реакционной или устаревшей идеи преградить дорогу подлинному революционному творчеству. Григорий Мелехов воспринимается нами не просто как неудачливый донской казак, а как типический образ трудящегося человека, вследствие разного рода предрассудков не нашедшего дороги к революции. Участь Григория типична для людей, оторвавшихся от народа и

¹ «Литературная газета», 1940, № 43.

не сумевших исправить свои заблуждения. Бандитизм — это еще не конец Григория. Это только один из пройденных этапов в его скитаниях. Ведь Григорий-то уходит от бандитов. Уходит, не обращая внимания на опасность. Неизвестно, что ждет его впереди? Вероятнее всего, суд со всеми последствиями. Он не стал ждать, как остальные случайные спутники по банде, первомайской амнистии, а неудержимо, в силу непреодолимого стремления, идет к своему родному хутору, к своему сынишке: «Походить бы ишо по родным местам, покрасоваться на дегишек, а тогда бы можно и помирать» — часто думал он. Григорий внутренне имеет очень мало общего с бандитами. Вспомним его разговор в самом конце книги с Чумаковым, где тот упрекает Григория в пристрастии к труду. Через неделю Григорий уходит от дезертиров.

«— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели».

Чрезвычайно характерна и многозначительна деталь: «... и тщательно вытер руки о полы шинели».

Все черты поведения героя «Тихого Дона» не согласуются с обликом обычного бандита. Такому бы надо бежать подальше от родных мест, где его неминуемо ждет наказание. Однако Григорий преодолевает страх. Стремление к людям, к своему хутору, детям, к труду у него сильнее страха смерти. Жизнь не дорога Григорию, потому что, купленная ценой ухода от народа, она мучительна и не оправдана. Лучше смерть, чем одинокое враждебное всем существование. Если героя античной трагедии преследовали эрринии, создания мифологические, то участь Григория не менее ужасна, так как ему не под силу звериное существование отщепенца. И только при таком сознании глубины своего падения Григорий мог решиться пойти навстречу опасности. О герое художественного произведения судят по его поведению, а не только по внешней характеристике, которой увлеклись некоторые критики «Тихого Дона». Поведение Григория Мелехова не совпадает с представлением о нем, как моральном вырожденке. Остановиться на этом — значит отказаться от мысли о романе «Тихий Дон», как произведении, воплощающем большой исторический конфликт. Тогда не останется никакой трагедии, а только мелодраматическая история человеческих заблуждений с плохим концом. Конец романа тесно связан с общей эволюцией образа Григория Мелехова и является завершением, трагической развязкой.

V.

Вопрос о типичности образа Григория Мелехова породил в нашей критике спор. Является ли Мелехов выразителем крупных социальных явлений, определенным обобщением, или перед нами только судьба одного человека. Восьмая, последняя книга романа, еще более обострила вопрос. Величайшее внимание читателей к судьбе героев романа «Тихого Дона» означало всеобщее признание. Куда Шолохов поведет Григория, чем кончится роман? Вопросы эти волновали многочисленных читателей «Ти-

хого Дона». Сколько споров и дискуссий разгоралось по этому поводу. Сколько было высказано предположений, прогнозов. Одни, — а их, нужно сказать, было большинство, — предполагали, что Григорий придет в ряды защитников революции. Казалось, что весь ход событий способствует такому концу. Не только горячее наше желание, но и поведение Григория давало повод к такому мнению: «Это я у вас — пробка, а вот, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца» — полушутя, полусерьезно обещает Григорий белым. Служба в войсках Буденного еще более усиливает возможность окончательного переворота в сознании Григория.

Другие не обольщали себя такой как будто внешне эффектной развязкой: они понимали, что груз старого слишком тяжел, чтобы так легко с ним разделаться. Нельзя было забывать и о некоторых индивидуальных чертах Григория, мешающих быстрому восприятию им нового мировоззрения. Но в то же время они видели искренность и военную доблесть Мелехова. По их мнению, наиболее естественным и желательным было бы, чтобы Григорий погиб в героической схватке с белополяками. Тем более, что он уже не связан с денкинциной. Он прямо говорит об отсутствии приверженности к белым:

«... думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу. Хреновина! Я им приверженный, как же! Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться с корниловским офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-англицки, под ноздрями две полоски, как сопля, — так я его с таким усердием навернул, ажник сердце взвырало! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке... и белая офицерская кокарда улетела... Вот и вся моя приверженность». Мы имеем все основания верить искренности Григория. Можно было ожидать, что Григорий окончит жизнь патриотическим подвигом.

Высказывалось еще много других предположений и пожеланий. Но судь-

ба Григория оказалась иной. Почему все так произошло?

«...Все это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глухой, ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет, как по-писанному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле».

Григорий недоверчив к политическим учениям. Он не верит ни белогвардейцам, ни большевикам. Меньше всего истина представляется ему законченной, сформулированной программой. Старательно всматривается Григорий, стремясь самостоятельно определить свой путь. От здорового народного сознания идет все хорошее в его характере. Оно неудержимо прорывается у него сквозь оболочку грубости. Реакция на конкретные явления жизни у него субъективно благородна и честна. Осознав свою любовь к Аксинье, Григорий смело восстает против устоявшихся мыслей и привычек, не скрывает своей любви и уходит вместе с любимой батрачить к Листницким. Не понимая социального содержания империалистической войны, на один момент столкнувшись с ее жестокой правдой, Григорий чувством восстает против нее. Тяжелыми сомнениями наполняется его душа. Неизгладимо запечатлелся в памяти Григория зарубленный в первом бою австрийский солдат.

Своему здоровому чутью труженика Григорий обязан и другими своими благородными поступками. В бою, преследуемый австрийцами, он внезапно спасает своего врага Степана Астахова.

Рискуя жизнью, Григорий стреляет в Чубатого за убийство им пленного австрийца. Узнав о сдаче красноармейского полка в Устьинском, он мчится туда, бросив свою белую дивизию, чтобы выручить, спасти от смерти Мишку Кошевого и Ивана Алексеича, убийцу его брата Петра. Доблестно сражается Григорий в красной коннице с белопо-

ляками. И вдруг такой конец? Ошибается или прав писатель?

Критики уже сказали свое мнение. Возникла даже небольшая полемика, отразившая ощущение некоторой растерянности. Смысл ее сводится к столкновению двух противоположных точек зрения. Одни усмотрели в Григории Мелехове — от начала и до конца романа — комплекс типических ощущений, характеризующих эволюцию середняцкого крестьянства в годы революции и гражданской войны. Такой взгляд является традиционным. Он давно установился и в своем происхождении, несомненно, связан с мнениями и надеждами людей, которые были уверены в переходе Григория на сторону большевиков. Ожидания их не сбылись, но инерция старого воззрения заставляла их все и вся в Григории Мелехове объявлять типично середняцким. По их мнению, личная судьба Григория должна повторить исторический путь среднего казачества в целом. Без этого, по их мнению, идейно-художественное значение образа и романа снижено.

Сторонники противоположной точки зрения, напротив, все своеобразие фигуры Григория Мелехова усматривают в чертах, отличающих его от основной казачьей массы. Весь путь Григория, таким образом, объясняется особенностями его индивидуальности. Приверженцев этой не менее односторонней доктрины до выхода в свет последней части романа «Тихий Дон» было очень мало. Сейчас их количество резко возросло. Причина столь существенной перемены заключается в своеобразии финала романа. Одна крайность рождает другую крайность. Известны попытки сочетать две противоположные точки зрения. История Мелехова до последней части объявляется общественной, типической для среднего казачества; в последней же части, утверждают творцы гибридной формулы, Григорий Мелехов перестает быть типическим выразителем среднего казачества и начинается повествование об отдельном человеке, о частной, индивидуальной судьбе. Шолохову посылаются

упрек, что Григорий не стал тем, чем он мог бы быть.

Наиболее последовательно такой взгляд представлен в статье М. Чарного «Бурные годы «Тихого Дона»: «В решающих вопросах, — пишет т. Чарный, — войны и революции Григорий в первых трех книгах является в огромной степени выразителем среднего трудового казачества. Вот почему читатель имел основание ожидать, что и закончит Григорий тоже в соответствии с судьбами основной массы этого казачества...

Это ожидание не оправдалось. Григорию «надоела» и революция, и контрреволюция. Почему «надоела» контрреволюция, — это изображено обстоятельно и с огромной силой убедительности. Почему «надоела» революция, — далеко не так ясно. С необыкновенным реалистическим богатством показано, от чего отталкивался Григорий в белом стане, но почти нет ничего в четвертой книге о том, с чем он встретился в лагере революции. О пребывании Мелехова в Красной армии, об его участии в войне против белополяков сказано невероятно мало. Десятки првосходно выписанных эпизодов о фоминской банде, о роли в ней Григория — и только несколько строк, через третье лицо, оповещающих о «веселости», об эпизоде в армии Буденного... Можно пожалеть о том, что Шолохов не воспользовался образом Григория Мелехова, к которому он сумел привлечь внимание и симпатии миллионов читателей, для того, чтобы сделать его образом, типичным для большинства трудового казачества. Вот в каком смысле я говорил о том, что идейно-художественное значение образа Григория Мелехова снижается».

Заключается ход рассуждений тов. Чарного следующим замечанием, адресованным Шолохову: «Очень хорошо учиться у классиков их искусству выразительного слова, умению проследить за самым тонким проявлением человеческого переживания, но у них следует учиться также брать в центр своего внимания важнейшие общественные явления основных героев»¹.

¹ «Октябрь», 1940, № 9, стр. 169.

Логика суждений здесь довольно определенная и последовательная. Григорий оказался в банде Фомина, когда среднее крестьянство целиком стало на сторону советской власти. Он перестал быть типичным для крестьянской массы. Следовательно, его образ «художественно снижен» и становится исключением, частностью. Из факта расхождения путей Мелехова и основной массы казачества делается вывод, изложенный в форме историко-литературного отступления. «О романе де Латуша «Лео» Балзак писал: «Девушка вроде Евы — ужасное исключение, а исключения всегда должны играть в романе только второстепенную роль». Григорий Мелехов играет роль первостепенную. Вследствие этого в центре романа «Тихий Дон» становится «второстепенный герой», внимание писателя обращается не на «важнейшие общественные явления». Прав ли здесь т. Чарный? Нет, не прав. Теоретическое основание для заключений подобного рода состоит в отождествлении понятия «среднего казачества» с конкретной человеческой личностью, героем художественного произведения. Несомненно, т. Чарный стал жертвой критической инерции. В силу схематического взгляда на роман Шолохова до сих пор считается всеисчерпывающей и всеобъясняющей формула: «Григорий Мелехов — представитель среднего казачества». Злоупотребление этой формулой приводит к ряду недоразумений. Забывается, что художественный образ, созданный Шолоховым, эволюция и судьба Григория не отражают с механической точностью истории всего среднего казачества. Герой романа Шолохова совсем не обязан выполнять те функции, которые ему предписывали критики, не понимающие разницы между хроникой жизни среднего казачества и романом. Но вместе с тем образ Григория более широк в художественном обобщении явлений.

Разрешение большой общественной темы у Шолохова, действительно, не совпадает с характером разрешения индивидуальной судьбы героя. Как разрешается социальная проблема в романе?

Кончается гражданская война. Трудящиеся, крестьянство, массы казачества решительно стали на сторону революции. Роман Шолохова рисует начало победного марша советского народа к социализму. А в это время Григорий Мелехов, все время считавшийся «представителем среднего казачества», одиноко блуждает в банде. Дороги народа и Мелехова разошлись. Общенародному подъему и единству противостоит упадок и опустошенность сознания Григория. В последний момент он сознает невозможность так жить и идет к людям, измучившись своим одиночеством. Ясно, что все относящееся здесь к Григорию очень мало согласуется с его социальным признаком, установленным критической традицией. А раз так, то следует заключение о снижении идейно-художественного значения образа Григория: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Столкнулись ходячее мнение, установившаяся критическая традиция с жизнью, с искусством. Действительность, философия истории в «Тихом Доне» оказались более сложными, нежели установившаяся схема. Социальный признак Григория пришлось отметить по отношению к самой напряженной, завершающей части романа, где были развязаны все нити и узлы. Нужно признать или поражение критической традиции, или же крупную творческую ошибку писателя.

Относительно правильного понимания классовых признаков человеческой психологии Горький писал в статье «О пьесах»:

«Творчество» большинства драматургов наших сводится к механическому, часто непродуманному и произвольному сочетанию фактов в рамках «заранее обдуманного намерения», при этом «классовая начинка» фактов взята поверхностно, да так же поверхностно обдуманно и «намерение», плохо обдуманное намерение увечит факты, не обнажает их смысла, а к этому добавляется грубая шаблонность характеристик людей по «классовому признаку». Неоспоримо, что «классовый признак» является главным и решающим организатором «психики», что он всегда с различной

степенью яркости окрашивает человеческое слово и дело. В каторжных, насильнических условиях государства капиталистов человек обязан быть покорнейшим муравьем своего муравейника, на эту роль его обрекает последовательное давление семьи, школы, церкви и хозяев, чувство самосохранения усиливает его покорность закону и быту; все это — так. Но конкуренция в недрах муравейника до того сильна, социальный хаос в буржуазном обществе так очевидно растет, что то же самое чувство самосохранения, которое делает человека покорным слугой капиталиста, вступает в драматический разлад с его «классовым признаком»¹.

Горький писал о причине разлада человека со своим «классовым признаком» в старом обществе. Но могло ли это быть в нашей стране? Да, могло, но по обстоятельствам противоположным: вследствие того, что человек отстал от движения народа, оказался слишком скованным привычками отживающего мира. Духовные свойства такого человека, конечно, будут расходиться с внутренним обликом подлинно передовых людей из рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Григорий Мелехов отстал от народа. Налицо противоречие героя и среды. Судьба героя, конечно, индивидуальная история, частная, своего рода случайность. Однако на этом основании преждевременно делать вывод о снижении идейно-художественного значения образа Григория и потере им общественного значения. Нет еще оснований отрицать наличие трагедии, заменять ее трагикомедией.

Нет ни одного значительного художественного образа без своего, особенного, без своей индивидуальности. И подлинный художник умеет вложить в отдельного человека, возможно, со случайной индивидуальной судьбой, широкое, общественное содержание, сделать его носителем больших социальных тенденций. Арифметическое сложение социальных признаков без индивидуально-показательного не может создать художественный образ. Художественный образ

соединяет в себе частное, индивидуальное с общим. Что же общественно значимое проявилось в частной судьбе Григория Мелехова?

Народные массы в революции нашли путь к освобождению. Но история не делается без борьбы, а в борьбе жертвы неизбежны. В гибели Григория представлена такая трагическая судьба. Здесь Шолохов мужественно показал драматическую сторону истории. Это — тема большого общественного значения. Социалистическому гуманисту люди не представляются некоей безликой массой. Шолохов-художник раскрыл перед нами то, что еще не под силу было другим нашим писателям. В жизни отдельных людей было много горя, неудач, заблуждений, катастроф, порожденных неумением идти в ногу с эпохой. Судьба Григория Мелехова не лишена общественного значения и не сводится к трагикомедии. Мы узнаем, что история не парад, а грандиозная борьба, трудная и сложная.

Наша советская историческая наука давно покончила с схематизмом и невниманием к деятельности живых людей, делавших историю. Тем более это должно относиться к литературе. Роман Шолохова «Тихий Дон» рисует недавнюю борьбу. Судьба Григория в конце романа типизирует удел многих погибших в водовороте этих событий, потому что они не нашли своего места в революции. Образ Григория Мелехова выходит за рамки казачьей и крестьянской тематики и вырастает в типический образ трудового человека, отставшего от истории; в Мелехове воплощена трагедия богатой по своим возможностям личности, не нашедшей верного пути в революционную эпоху и вследствие этого ставшей чуждой своему народу.

Григорий Мелехов — человек частный и субъективно стремившийся к добру. Не лучше ли было сделать его в конце книги олицетворением победы потенциального положительного начала, а не заставлять жестоко расплачиваться за все ошибки прошлого? Шолохов не ошибся. Благородные цели, хорошие субъективные побуждения не могут искупить практического вреда,

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, Гослитиздат, 1937, стр. 538.

нанесенного героем. Колебания, отсутствие принципиальности, антиобщественные действия для осуществления побуждений, субъективно, возможно, хороших, неизбежно приводят к гибели. Трагический конец Григория Мелехова вполне оправдан и соответствует логике жизни.

Советский народ живет в суровую историческую эпоху, и проповедь всякого рода прекраснотушия не нужна. Нужно понимание трудностей борьбы, мужество, готовность их преодолеть, патриотизм, вера в народ и его силы, преданность нашим политическим идеалам. Роман Шолохова помогает воспитанию в нашем народе именно этих качеств.

Шолохов в центр своего романа поставил семью Мелеховых. Поглощенный изобращением казачьей станицы, он сосредоточил свое внимание на ее обитателях. Но содержание романа отнюдь не исчерпывается трагической историей данной семьи. У Григория демократизм оказался побежденным сословностью. Большевики, народ воплощают в себе творческое оптимистическое начало революции. Благородные стремления они осуществляют путем самоотверженной борьбы, достигают победы методами высокой революционной принципиальности. Из большевиков, персонажей «Тихого Дона», наиболее живая и полнокровная фигура — это Михаил Кошевой. Он проходит через все четыре тома «Тихого Дона». На первых страницах романа мы видим его еще восьмилетним мальчонкой в непомерно большом отцовском картузе. Приседая на одной ноге, Мишка пронзительно верещит: «Дождюк, дождюк, припусти...» Мы видим дальше, как рос и оформлялся он и как стал он большевиком. Перед нами проходит весь его путь и в империалистическую, и гражданскую войну — вплоть до последних страниц романа. На Мишку Кошевого было много нападок со стороны критики. Его обвиняли в сухости, непонимании путей крестьянства в революции, политическом схематизме. Критик Громов даже обвиняет Кошевого в печальной гибели Григория Мелехова: если

бы Кошевой менее сурово отнесся к нему после возвращения с фронта, то, возможно, и не пришлось бы тому идти в банду Фомина. Совершенно очевидно незнание критиком реальной обстановки того времени на Дону. Как же быть мягким Кошевому, если перед ним бывший командир белой повстанческой дивизии? Неизвестно еще, куда он повернет.

После возвращения демобилизованного Григория в хутор Татарский Кошевой говорит ему:

«Знаю я об твоих геройствах, слышал. Много ты наших бойцов загубил, через это не могу легко на тебя глядеть... этого из памяти не выкинешь».

Мелехов и Кошевой — бывшие товарищи по детским играм и школе — стали врагами. Таков объективный ход действительности. Полуграмотный казак Кошевой — настоящий воин революции — становится председателем ревкома в хуторе Татарском. Правда, в нем много местного, донского, иногда воспринимаемого критиками односторонне. Не все правильно понимают беспощадность Кошевого, видя в ней жестокость. На самом же деле, это была вполне законная реакция на белый террор.

Несомненно, образ Кошевого правдив — перед нами живой коммунист-станичник той эпохи, хотя справедливость требует отметить, что он разработан не с той широтой и силой, какие характерны для других героев «Тихого Дона».

Мужество и самоотверженность характеризуют и других деятелей революционного казачества. Потрясает картина казни Подтелкова. Командир партизанского отряда Подтелков был повешен белогвардейцами. Прочитав об этом у Шолохова, сразу понимаешь несостоятельность упреков писателю в объективизме и т. д.

Подтелков расстрелял пленных офицеров, чем вызвал возмущение Григория Мелехова, но и сам он умирает гордо и смело:

«...он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слезы, да, кривя рот, пытаюсь облегчить страда-

ния, весь мучительно и страшно тянулся вверх.

Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладки, она тихо качалась, и, повинувшись ее ритмическому ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез».

Дорогой ценой достигнута победа революционного народа. Роман Шолохова внушает уважение к борцам революции, облекает в живые образы их дела и славу. Вполне заслуженно именно они представлены основными деятелями эпохи социалистической революции.

VI

Реалистический роман Шолохова отличается удивительным разнообразием творческих интонаций. Широкое эпическое повествование, тонкое знание души человеческой сочетаются с высоким драматизмом и лиричностью. Дарование Шолохова многогранно и своеобразно. Выразительная речь и обаяние характеров, проникновенность пейзажа и замечательный юмор характеризуют «Тихий Дон».

Много говорят о творческом влиянии на Шолохова Л. Толстого. Черты этого влияния сказываются в величавой эпичности, в углубленности психологических характеристик, простоте реалистического словесного рисунка. Сам же Шолохов по поводу влияний как-то сказал: «Существуют такие писатели, — это не в порядке самокритики, — на которых Толстой и Пушкин не влияют... Ей-богу, на меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош, вот, например, Чехов. Казалось бы, что общего между мною и Чеховым? Однако, и Чехов влияет! И вся беда моя и многих других в том, что влияют еще на

нас мало». Сказанное здесь нельзя понимать по отношению к творчеству Шолохова так, будто в нем представлено механическое сочетание самых различных писательских воздействий. Шолоховский реализм тесно связан с классическим русским реализмом и продолжает его традиции. Одновременно он имеет свое неповторимое, шолоховское. Проявляется это и в эпических, и лирических, и драматических моментах романа «Тихий Дон».

В отличие от лирической и драматической форм эпическая включает в себя, кроме изображения внутренней жизни людей, изображение внешнего мира, предметов и условий быта. Нормальная обстановка, в которой живут герои Шолохова, — крестьянский, сельскохозяйственный труд. Работают Григорий, Аксинья, вся семья Мелеховых, Астасов.

«По степи до голубой каемки горизонта копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погонючей, свистели в курганчиках сурки.

— Ишо два загона — и закурим, — сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро. Григорий только головой кивнул. Обветренные пересохшие губы трудно было разжимать. Он короче перехватывал вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, — порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек пот, попадая в глаза, щипал, как мыло».

Поэтизация труда — одно из положительных свойств романа Шолохова.

Есть среди казаков и другие: явные враги революции. Враждебный лагерь, стан белогвардейской контрреволюции, изображен Шолоховым правдиво и рельефно.

Они прямые потомки усмирителей — верных слуг царизма. Таковы отец и сын Коршуновы. Немудрено, что Митька Коршунов сделал «карьеру» в белой армии, дослужился до офицерского чина. «Дракон, а не человек» — говорят о нем издавшие виды его коллеги. Каратель Коршунов не знает пощады, нена-

видит красных холодно и бездумно, превосходит в жестокости других офицеров: «Там, где уставший от крови и от чужих страданий неврастеник офицер не выдерживал, Митька только шурил свои желтые, мелкой искрой крапленые глаза, и дело доводил до конца». В одном ряду с Коршуновым можно поставить казаков Чумакова и Чубатого.

Существование помещиков Листницких, торговцев Моховых, Атепиных и их близких тускло и бессодержательно. Моховы и Листницкие чужды основной казачьей массе.

Казачко-офицерский Дон у Шолохова темен и неприветлив: в обрисовке этих людей отсутствует и лирическая полнота, и поэтичность, столь характерные по отношению к другим персонажам. В романе нет идеализации казачко-крестьянского уклада. Мало кто из писателей наших так глубоко и правдиво показал уродливые, темные стороны крестьянского существования. Но главными героями являются представители трудового казачества. Их судьбой обеспокоен Шолохов, о них он пишет в первую очередь. И самое главное — только с подлинными тружениками у Шолохова связан весь лиризм, вся поэтичность его произведения. Подлинную жизнь Шолохов видит в трудовой среде — основной массе своих героев. Распорядок их существования тесно связан с крестьянским трудом. Не случайна частая деталь — упоминание «растрескавшихся от работы рук» Степана Астахова, Натальи, Петра Мелехова. Их жизнь проходит в тяжелой работе. Труд для них норма существования. Даже любовь и труд неотделимы. Вспомним условия первого сближения Григория Мелехова и Аксиньи на рыбной ловле. Никогда еще переживания простых людей не были раскрыты столь глубоко, с таким богатством психологических и лирических красок. Роман Шолохова в этом отношении открыл совершенно новые горизонты, тем более, что в нашей литературе, где в центре внимания должны находиться рабочие и крестьяне — творцы новой жизни, — до сих пор сохранился некоторый примитивизм: сознание и чувства простых людей часто

снижаются, выводятся менее содержательными и глубокими, нежели они есть на самом деле. Шолохов последовательно и по-новому применил принципы художественного реализма в изображении крестьянства. Нельзя забыть Пантелея Прокофьевича — отца Григория. Старый казак, он держится с напускной суровостью. Весь опутанный традициями, Пантелей Прокофьевич не делает себя окончательно их рабом. В трудную минуту он придет на помощь, проявит доброту и чуткость. Сколько участия и заботы проявил он по отношению к Наталье, покинутой Григорием. Обаятелен в стариковской заботе дед Гришака.

Замечательные страницы Шолохов посвятил горю материнскому. Страницы эти войдут в золотой фонд русской классической литературы. С особой силой раскрывается образ матери в четвертой книге романа. Ильинична — женщина простой и вместе с тем целостной и страдальческой жизни. Все свое время она отдает детям, непрестанному тяжелому, самоотверженному труду.

Однако наиболее полно и всесторонне проявились черты уважения и любви Шолохова к простому человеку в изображении судьбы Григория и Аксиньи.

Образ Аксиньи, искренней, сильной и полной высоких страстей женщины-крестьянки, поэтичен в высшей степени. Он по праву может быть поставлен рядом с лучшими женскими образами русской классической литературы: с Анной Карениной, с Катериной из «Грозы» Островского. Порывистая и страстная Аксинья живет только своим чувством. К Григорию обращает она все свои лучшие надежды и думы. Беспросветна была ее жизнь в старой казачьей станице. Гнет жестокого, бездушного быта она почувствовала с самых ранних лет. Много горя и, наконец, большая и непреодолимая любовь к Григорию. Ее страсть сочетается с величайшей нежностью и лиризмом.

Нельзя понять всесторонне образ Аксиньи, рассматривая ее отношение к Григорию только как влечение к любимому мужчине. Григорий для нее не

просто любимый человек. Любовь к нему для Аксиньи — единственный выход из заколдованного круга старого быта, уродующего жизнь молодой казачки. Но все попытки Аксиньи вырваться из этого круга бесплодны, так как ограничены только узкой областью личной жизни. Трудно найти человека, в сердце которого не нашли бы отклика переживания Аксиньи, ее горячая и здоровая любовь. Полная коротких радостей и длительного горя, ее жизнь рельефно предстает перед нами. Незабываема картина, когда одинокая Аксинья размышляет в лесу о своей судьбе: «На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко в пересохшем озере щелоктали по камышу дикие утки, хрипавато кликал подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеметы, редко бухали оружейные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безымянных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемостенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирала покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и выдыхала грустный его запах,

вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолodu плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку».

Бальзак в «Крестьянах» писал: «...Рассказчик никогда не должен забывать, что его обязанностью является воздать каждому по заслугам, бедный и богатый равны перед писателем; в его глазах крестьянин велик своими бедствиями, как и богач смешон своей мелочностью; наконец, в распоряжении богача — страсти, у крестьянина же одни лишь нужды; следовательно, крестьянин вдвойне беден».

Шолоховские крестьяне, кроме умения трудиться, обладают еще и страстями, причем страстями большими и сильными.

Личные взаимоотношения у казаков не во всем привлекательны. Вспомним описание свадьбы Григория Мелехова: «...красные лица, мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие...». Это другая сторона казачьего быта. Темнота и грубость его сыграли величайшую роль в судьбе героев «Тихого Дона». Шолохов не мог обойти отрицательное в жизни казачества. Правда, нарисованная здесь, — правда реалистическая, а не натуралистическая.

Содержание романа не дает оснований для выводов, сделанных т. Кирпотиным в статье «Тихий Дон» М. Шолохова». Здесь Шолохов в определенном смысле противопоставляется Л. Толстому и М. Горькому. Речь идет о физиологизме и натурализме: «Шолохов, — утверждает в статье, — пишет под сильным влиянием Толстого. Однако человек Шолохова грубей, примитивней, физиологичней человека Толстого. Причина различия заключается, конечно, и в различии среды, изображенной у Толстого. Однако не всегда только в этом. Грубого, скотского, жестокого в дворянской среде было даже слишком

много. Об этом превосходно знал и сам Толстой, написавший «После бала». Персонажи Шолохова неизмеримо менее культурны, чем образованные верхи дворянства, описанные Толстым. Но в то же время Шолохов применяет иные художественные приемы для изображения человека по сравнению с Толстым. Толстой, изображая человека в самом яростном самозабвении азарта, все же не переходит никогда черту, за которой начинается уже просто физиологическое описание.

Толстой как художник, несмотря на идеалистический характер своих этических взглядов, стихийно материалистичен. Он не обходит физиологического субстрата человеческих эмоций. Он не лицемерит, не уподобляется ханжам, когда пишет о любви. Любовь его героев — телесная, пылкая и страстная любовь. Когда это требуется условиями повествования, он характеризует интимнейшее поведение героев, но делает он это много сдержаннее Шолохова¹.

Натурализм и физиологизм представляются как сторона художественного мировосприятия Шолохова. Так ли это?

Реалистический роман не может считаться законченным, если ему недостает всестороннего освещения явлений действительности, формирующей человеческий характер. При каких условиях можно было бы согласиться с изложенными выше критическими замечаниями? Если бы не была соблюдена мера и вследствие этого в романе показ грубых сторон быта стал самоцелью, был бы не нужен для характеристики индивидуальных судеб героев «Тихого Дона», тогда эти грубые детали стали бы излишними, случайными, то-есть атрибутами натуралистическими. У Шолохова же изображение среды и быта неразрывно с судьбой отдельных действующих лиц. Гомер подробно описывает доспехи Ахилла, сделанные для него богами. Но это необходимо, поскольку вооружение это было предпосылкой, существенным условием победы Ахилла над Гектором. Грубость и замкнутость

быта казачества, порожденную сословностью, обязательно нужно было воспроизвести в романе, поскольку именно в условиях донского быта формировались характеры героев «Тихого Дона», определившие их индивидуальную судьбу. Попутно встает другой вопрос: являются ли элементы физиологизма и натурализма преобладающими, ведущими в самой изображаемой среде? Совершенно очевидна подчиненность указанных черт другим положительным свойствам народного характера. После чтения романа «Тихий Дон» запоминаются не натуралистические детали, а величие и глубина народного сознания, сила и чистота чувств, непосредственность и искренность их проявлений. Существо народного характера содержится у Шолохова именно в положительной характеристике. Иначе бы Шолохов не мог писать о народе с таким глубоким чувством уважения и лиричности. Плохое в казацком быту не главное, потому что оно привнесено столетиями темноты и усилиями господствовавших классов.

Темные стороны жизни сильны: они часто уродуют жизнь действующих лиц «Тихого Дона», но побеждает в конце концов в народе подлинно человеческое. Здесь, в утверждении торжества человечности, Шолохов — подлинный последователь Горького. Приходят на память слова Горького из повести «Детство»: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день...

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и дают нас, до смерти расплюсывающая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно

¹ «Красная новь», 1941, № 1, стр. 193—194.

прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

Величие Горького и других классиков-реалистов состоит в том, что, ни на йоту не отступая от жизненной правды, рисуя самые неприглядные стороны жизни, они все-таки преодолевали непоэтичность окружающего их быта, показывали в народе черты и тенденции, дающие возможность человечеству двигаться вперед и в дальнейшем разорвать оковы, стесняющие поступательное развитие человечества.

Стремление писателя поднять человека над окружающей его действительностью проявляется у Шолохова не только в характеристиках героев и событий, но и в лиричности романа «Тихий Дон». Лирическая форма Шолохова пронизана поэзией народной казачьей песни, ее внутренней патетикой. Вследствие этого лирические отступления в романе чрезвычайно схожи с гогаевскими. Вот отрывок, воскрешающий героический пафос строк «Тараса Бульбы»: «Многих не досчитывались казаков, — растерялись они на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простололые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней, — не дождатся милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручиться слез, — не замыть тоску! Сколько ни голосить в дни годовщин и поминок, — не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травой зарастают могилы, — давно-стью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших, — время залижет и кровавую боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождетя, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...»

Явственно слышно здесь песенное

звучание сказаний народа о себе, о своих страданиях и своей силе. Общее восхищение вызывают лирические концовки глав романа, пейзажные зарисовки. Они тоже подчинены творчески использованным законам народного поэтического творчества. До глубины души трогает привязанность героев «Тихого Дона» к своей степи: «Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и посыновьи целую твою пресную землю, донская, казачья, нержавеющей кровью политая степь!»

«Тихий Дон» — патристический роман в самом высоком смысле этого понятия. И картины родной природы здесь не только фон для действия, — они несут более важную смысловую функцию. Понятие родины предстает в произведении Шолохова конкретно, осязаемо, зримо. Люди — братья по труду, по обществу, родимая земля, поля, леса, горы. Лиричны и вступления, и концовки глав романа: они как бы подводят эмоционально-философский итог прочитанному или вводят в содержание, как увертюра в музыкальном произведении предвосхищает общие черты последующего. Они тоже берут начало в народном песенном творчестве. Не случайно выбраны эпитафией к роману старинные казачьи песни. Многозначительна концовка к шестнадцатой главе последней части романа, когда Григорий решает покинуть банду и возвратиться к труду. Вид широких степных просторов вызывает у него мучительную тоску по родному хутору. Как далекое воспоминание, перед ним рисуется двор Мелеховых: «крытая соломой хата с желтыми ставнями и высокий колодезный журавль».

«Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колдезный журавль... Возле гумна, на одном из кольев старого плетня висел лошадиный череп, выбеленный дождеми, черневший провалами порожних глазниц. По этому же колу, свиваясь спиралью, ползла, тянулась к свету зеленая тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся кончик ее, ища опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины».

Ночью Григорий бежал от банды.

«Верст пять он гнал лошадей не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался — не идет ли сзади

погоня? В степи было тихо. Только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай.

В черном небе — золотая россыпь мерцающих звезд. В степи — тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни... Григорий приподнялся на стремянах, вздохнул облегченно, полной грудью...»

Полной грудью вздохнул Григорий, только оставив врагов. На материале истории Шолохов художественно раскрыл идею, имеющую непреходящее значение: чувство нового, единство с народом, любовь к родине, творческое отношение к действительности — вот жизненные нормы, условия, обеспечивающие человеку подлинное счастье.

Творчество Николая Асеева

Н. ПЛИСКО

★

I

В 1913 году в Москве был издан альманах «Лирика». Участвовали в нем Пастернак, Бобров, Юл. Анисимов. Некоторые стихи в альманахе были подписаны неизвестным тогда именем: Николай Асеев.

Это были символистские стихи в обычном для того времени духе; это были юношеские опыты («Песня бочарных подмастерьев», «Переулоч поэтов», «Три сына»), отмеченные стихотворной техникой, заимствованной из арсенала символистских приемов. Здесь были едва-едва выраженные мотивы недовольства окружающим и туманные романтические устремления.

От какого пышного пира
Сребровеющими путями,
Увела нас нынче луна,
И какого странного мира
Очарованными гостями
Наречет сегодня она?
(«Переулоч поэтов».)

Среди подобных вещей мы встречаем стихотворение «Три сына», в котором нет ничего похожего на обычную символику декадентов. Песенная, народная стихия положена в основу его ритмико-мелодической системы. Взят несколько архаический сюжет из народных песен о братьях-разбойниках.

Над сонною деревней
потемки без конца;
пришли к старухе древней
три сына удалца,

три сокола, три сына,
в плечах — сажень любой,
сошлись возле тына
за снежною избой.

Стихотворение «Три сына» свидетельствовало о том, что рамки символизма для начинающего поэта тесны, и можно было ожидать, что рано или поздно он их разорвет.

Уже в 1912 году символизм переживал острейший кризис. На литературную арену вышли футуристы. «Только мы — лицо нашего времени» — заявили они, предлагая стянуть бумажные латы с воина Брюсова, называя декадентскую поэзию «парфюмерным блудом» и объявляя войну культуре прошлого.

Асеев считает себя пока еще выучеником символистов и увлекается переводами Маларме, Верлена и Вяле Гриффена. Он отталкивается от них, как ребенок от стены, начиная ходить. Группа, объединившаяся вокруг издательства «Лирика», возглавлялась Сергеем Бобровым. Это было молодое поколение символистов, в теоретических взглядах которых можно было уже видеть эволюцию в сторону футуризма.

«Ночную флейту» — первую книгу стихов — Асеев опубликовал в 1914 году. Характеризуя в послесловии направление своего творчества, поэт писал: «Вот захлопнется книга и душа моя уйдет дремать на книжную полку... — Вы бродили среди электрических крокусов по звенящим магистралям сказочных улиц и, в синей верьbere неба отра-

женные, сверкнули вам строгие черты: лик Госпожи Большой метафоры»¹.

Не реальный мир, а замкнутое душевное переживание, не отражение мира, а его символика, метафорический знак переживаний — основа поэтического творчества. Так представлялся молодому Асееву смысл новой поэтики. Футуристы, видевшие в поэзии словесную игру, из которой возникают неожиданные словосочетания и создается музыка звуков, встретили в штывки теоретические изыскания «лириков». И книга Н. Асеева с их стороны подверглась резким нападкам. Георгий Гаер в «Первом журнале русских футуристов» (№ 1—2) писал о «Ночной флейте», что этот сборник не имеет отношения к поэзии, так как в нем есть прямые заимствования из Блока и Вячеслава Иванова...

С Маяковским Асеев познакомился, видимо, в 1914 году. В ноябре этого года Маяковский организовал литературную страницу в газете «Новь». Наряду со стихами Маяковского «Мама и убитый немцами вечер» здесь были опубликованы и стихи Асеева. Затем эти вещи были перепечатаны в футуристическом сборнике «Весеннее контрагентство муз».

О первом знакомстве с Маяковским Асеев писал: «Познакомился с ним на улице в солнечный день. Кто познакомил, не помню. Служил я тогда техническим секретарем журнала «Русский архив». Дружил с Бобровым, Пастернаком. Маяковский сразу привлек меня к себе ширью добрых глаз, необычайным складом речи, всей добротностью и ладом своей высоченной фигуры... После двух-трех встреч (на большом протяжении времени, около года) Маяковский сказал мне: «Что вы, Асеев, там с Бобровым возитесь? Ведь он же символист! Пишите так же, как и я, и это будет поэзия будущего». Я, тогда молодой желторотый лирик, даже немножко обиделся, полагая, что Маяковский просто вербует приверженцев своего стиля»². Только много позже, пройдя

«Центрифугу», Асеев стал работать в направлении, указанном Маяковским.

В поэтической практике «Центрифуги», особенно у Асеева и у Пастернака, формалистические теории футуризма нашли чрезвычайно слабое выражение.

Асеев попрежнему сохранил напевность поэтической строфы. Вопреки футуристическим указкам его строфа приближалась к классической.

В 1915 году в «Бродячей собаке» на вечере футуристов побывал Максим Горький. Там в беседе он произнес известные слова — «в них что-то есть». Горького привлекло стремление футуристов вынести искусство на улицу, в народ; ему нравились их молодость и талантливость, но он обращал их внимание на уродливость тех средств, какими они добиваются демократизации искусства.

Мотивы протеста в дореволюционных стихах Асеева выражены не так ярко, как у Маяковского. За плечами Асеева не было опыта осмысленной политической деятельности, который к тому времени был уже у Маяковского. Автор сборников «Ночная флейта», «Зор», «Ой Конин дан окейн» еще не вырвался из символистской поэзии. Но в его стихах уже наблюдалось разрушение напевного строя поэзии, появились уже намеки на те непривычные мысли, сравнения, образы, которые возникали из простых, обиходных слов у Маяковского.

Империалистическая война 1914—1918 годов со всей резкостью обнажила классовые противоречия в старой России. Отношение к войне ярко выражало политические позиции классовых групп. Кубофутуристы — Маяковский, Хлебников — пишут антивоенные стихи. С гуманистических позиций они яростно осуждают кровавую мясорубку. Асеев заявляет протест против кровавой бойни.

«В 1914 году, вскоре после объявления войны, — пишет он, — под влиянием или, вернее, наперекор влиянию всеобщего шовинистического настроения я попытался ответить на него следующим стихотворением:

¹ «Ночная флейта». Стихи Николая Асеева. 1914, стр. 30.

² Н. Асеев. Володя маленький, Володя большой. «Красная новь», № 6, 1930.

Простоволосые ивы
 Бросили руки в ручьи;
 Чайки кричали — «чьи вы?»
 Мы отвечали — «ничьи».
 Бьются Перун и Один,
 В прасини захрипев..
 Мы ж не имеем родин
 Чайкам сложить припев.

• • • • •

Стихи были лиричны и окрашены отчасти любовной темой; поэтому их установка была недостаточно ясна, но написаны они были искренно; упор их был против красного патриотизма и солдатчины¹.

Это стихотворение не было одиноким. В книге «Ой Конин дан окейн» (1916) собраны произведения, которые по существу объединены антивоенной темой. Есть в этом сборнике и стихотворение «Повей война».

Одна из его строф наполовину забита точками! Это по стиху прошелся карандаш цензора. Вот эта строфа в неисканном виде:

Но то в пределы моряка,
 Знамена обрывая в пену,
 Вкатилась вольности река,
 Смывая гибель и измену.

Поэт напоминает о революции 1905 года, наступление которой было ускорено неудачной для России войной с Японией.

Гуманистический протест против империалистической войны все чаще и чаще прорывается в стихах Асеева. Вот, например, в стихотворении «Пусть новую высят выдумку» промелькнула строфа:

Но чем заглушу, и смогу ли,
 Печаль одноногих людей
 И вьюг, отлетающих в гуле,
 Прибитых к забытой беде.

Приглушенные мотивы тоски и растерянности вызваны недовольством окружающим. В «Войне и мире» Маяковского блестяще разработана тема «золотолопого рубля». У Асеева денежные отношения мира, основанного на купле и продаже, вызывают строки, проникнутые лирической печалью:

Жизнь осыпается пачками
 Рублей на осеннем свете.
 В небе — как флаг над скачками —
 Облако высинил ветер.

В стихах Асеева появляются теперь непривычные для него строфы. Призывное обращение к читателю, совсем по Маяковскому:

В небо бросайтесь, в небо,
 Грохот сумраком взроем,
 С нами, кто смертным не был,
 Кто родился героем.

или:

Сердец отчаянная Троя
 Не размела времен пожар еще,
 Не изгибайтесь в диком строе,
 Вперед, вперед, товарищи!

В этих неясных романтических мотивах заключались в зародыше и сила, и слабость Асеева. Сила в том, что эти мотивы подготовили того Асеева, который стал одним из поэтов революции. В то же время неясность политических устремлений автора давала себя знать неоднократно в дореволюционном творчестве поэта.

Приближение Асеева к футуризму внесло в его поэзию и элементы формалистического отношения к слову, которые были ярко выражены, например, у Хлебникова. К стихотворению «Выбито на ветре!» дан такой прозаический эпиграф: «Совпадение наглядной (начертательной) доказательности корня со звучарью: звук «б», повторенный в корне «лыб», дает зрительное впечатление вздымающихся над строками волн». А вот поэтическая реализация этого задания:

Слово? — нет оплыву я
 Вечноглубие эти жалобы,
 Зашиби лыбу большую
 Белолобая глыба палубы.
 Колыбелью улыбок выбит
 Сон о пеннистом лепете...
 Крик ваш хочется выпить. Ах!
 С волн полетевшие лебеди¹.

В 1916 году, незадолго до Февральской революции, вышла пятая по счету книга Асеева — «Оксана». В нее были включены все наиболее выдающиеся сти-

¹ Николай Асеев. Работа над стихом. Издательство «Прибой», 1929, стр. 55—56.

¹ «Леторей», сборник стихов Асеева совместно с Петниковым, 1915, стр. 10.

хи предшествовавших сборников и незначительное число новых. Три линии поэтического выражения очерчиваются в дореволюционном творчестве Асеева: 1) лирика — в ее прямом и точном значении слова, 2) песня — с уклоном к архаике или словотворчеству, но всегда блестяще инструментованная в звуковом отношении, и, наконец, 3) словотворческая работа, как таковая.

Лирика Асеева находит чрезвычайно широкое развитие. Здесь и любовная лирика, проникнутая гражданскими мотивами, и любовная лирика в ее чистом виде, здесь и публицистическая лирика (например, стихи о войне).

Обращение к фольклору характерно для работы Асеева над песней. Стремление во что бы то ни стало инструментовать песню богатейшими фонетическими средствами приводило Асеева в это время подчас к откровенной формалистической игре словом:

Тулумбасы бей, бей,
Запороги гей, гей!
Запороги-вороги —
...Головы не дороги!
Соловее вей, вей,
Запороги гей, гей,
Запороги-вороги —
Головы не дороги!

К стихам этого типа относятся и «Гудошная», «Щепоть», «Перуне, Перуне», «Песня Ондрия».

Обращение к народной песне ведет к проникновению бунтарских мотивов в поэзию Асеева, и тогда возникают образы Пугачева, Стеньки Разина — вожаков крестьянского движения.

Здесь столько таймных ночевок,
Какою-то думой печалась,
Обрывками лиц Пугачева
Во тьме над плечами качаюсь.
И кто-то звеневший, как деньги,
Назвал себя именем Стеньки.
(«Вьюга».)

Общение с народом, одетым в солдатские шинели (когда Асеева призвали в армию), послужило толчком к радикальным изменениям в политических настроениях и в мировоззрении поэта:

Я ехал в вагоне,
Забитый и забранный,
В народную повесть,

В большую беду.
Я видел, как ушачеными жабрами
Держава дышала,
Как рыба на льду.
Вагон третьеклассный,
В нем чуйки, тулупы,
Тенями подрагивающими
Под бросок.
Огарок оплывший
И вьедливый, глупый,
Нахально надсаживающийся голосок.
(«Маяковский начинается».)

Это был голос шовинистического агитатора. И один из солдат бросил ему в ответ резкие протестующие слова: именно такое отношение народа к агентам империализма определило сознание рядового 34-го запасного полка Николая Асеева.

II

Великая Октябрьская социалистическая революция застала Асеева на Дальнем Востоке. «Октябрь только-что наступил. Я радовался ему, как змея, наверное, радуется смене кожи. Но, что мне делать, я не знал. И пошел во Владивостокский совет спросить, что мне делать». У Маяковского, как и у Асеева, как и у многих футуристов, не было вопроса: «принимать или не принимать революцию». Они революцию встретили радостно!

«Старая культура оттремела за плечами, как ушедшая туча. Возврата к ней для меня, недостаточно приросшего к ней, недостаточно пустившего в нее корни, — быть не могло; на моих чувствах и мыслях не были еще набиты мозоли привычек. И радость от изменения поношенных черт мирового лица несла меня в сторону нового»¹.

И Асеев пошел работать сначала на биржу труда, а затем в большевистскую газету во Владивостоке.

«Революция, как стержень тематики, ожидание изменения всех людских взаимоотношений, всех душивших нас ханжески мещанских норм этики, морали и эстетики осточертевшего нам буржуазного общества, заставила беспредметное новаторство вложить в рамки общего

¹ Н. Асеев. Проза поэта. Издательство «Федерация», 1930, стр. 176.

напряжения борьбы за новые формы существования. И первый мой лирический фельетон был написан с неожиданным ощущением выросшей темы. Он был направлен против интервентов на Дальнем Востоке:

...Ты седовласый капитан,
Куда завел своих матросов!
Не замечал ли ты вопросов
В глазах холодных, как туман?

Стихотворение было сдано в набор и появилось в газете. Вместе с ним появилось у меня ощущение нужности и полезности работы, которую я делаю. Эти стихи начали цениться мною, как направленные против определенного врага за определенный свой мир ощущений и надежд...»¹

Газета заставила Асеева «уточнить и упорядочить» его миросозерцание. И это привело его «к стихотворному жанру», который поэт считает «наиболее современным, наиболее интересным для новой поэзии». Этим новым жанром Асеев называет стихотворный фельетон. Вдали от Москвы Асеев делал то же, что и Маяковский. Работа Маяковского в Росте, Асеева — в дальневосточной газете — это работа одного плана, это поиски нового поэтического содержания и новой поэтической формы, отвечающей задачам революционного народа. Это были поиски новой поэзии, открыто выражающей свои взгляды, поэзии, способной откликаться мгновенно на политическую злобу дня.

Конечно, многие газетные стихи Асеева дальневосточного периода потеряли и свою политическую остроту, и поэтическую значимость. Некоторые из них представляют интерес только для исследователя. Непреходящее же значение их состоит в том, что они были для поэта политической школой. В этой «школе» выросла поэтическая книга «Бомба» — первая революционная книга стихов.

В стихах «Бомбы», в значительной мере декларативных, нашли своеобразное преломление принципы советской

поэзии первых лет революции: та же вселенская метафоричность, тот же абстрактный пафос освободительной борьбы...

И мир, окунувшись в мятеж,
Свежеет щекой умытенькой.
Потухшие звезды — и те
Послов прислали на митинги.
Услышите сплетенный в шар шум —
Шагов без числа и сметы...
То идут походным маршем
Земле на помощь планеты!
Еще молчит тишина,
Но — в вись мечты и желания —
И вот уж — провозглашена
Вселенская океания.

(«Небо революции».)

Слово приобрело теперь у Асеева весомый и зримый смысл. Это не слово «Госпожи Большой метафоры», это не слово, в котором важен звук, а не смысл, — теперь это слово, прежде всего точно передающее реальное обозначение предмета, отражающее реальность всемирно-исторических революционных событий. Вот почему такие стихи «Бомбы», как: «Сегодня», «Первомайский гимн», «Кумач», «Пришельцам», «Москва на взморье», «Россия издали», — это раньше всего стихи, абсолютно прозрачные в смысловом отношении.

Продвижение стихов в массы у Асеева, как и у Маяковского, шло не только через газету, но и путем живого общения с рабочей аудиторией.

Вот как описывает Асеев свое первое выступление с чтением стихов перед рабочими-грузчиками Владивостока. На митинг грузчиков поэта привел легендарный Лазо. «Грузчики слушали стихи, как надо. Ни кашля, ни шопота за пятнадцать минут читки. Сплошные пятидесятые глаза, как трамплин, поддерживали правильность интонации. И по окончании дружный говор и хлопки были необычайным одобрением собравшихся послушать «поэзию». Здесь я впервые и навсегда был прикован конкретно к человеческому коллективу. Здесь впервые и навсегда я почувствовал серьезность и необходимость поддержки настоящей человеческой аудитории, пришедшей не развлекаться и отдышаться, а плавиться и накаляться в

¹ Николай Асеев. Работа над стихом. Издательство «Прибой», 1929, стр. 58—59.

общем подъеме подлинного пафоса, действительного массового героизма»¹.

Асеев интересуется поэтической работой московских футуристов. Вдали от Москвы он с волнением воспринимает обрывки сведений о работе Маяковского. И Маяковский в свою очередь интересуется работой Асеева. Борисов, приехавший в 1921 году из Москвы в Читу, поделился на страницах журнала «Творчество» впечатлениями о встрече с Маяковским в «Роста». «Он что-то рисовал, окруженный несколькими товарищами. Мой приход оторвал его от работы. Наш разговор продолжался около получаса. Из них больше половины расспрашивал меня Маяковский о сибирском житье-бытье. Его интересовала работа Д. Бурлюка в колчаковские времена, работа Асеева и др.»²

В 1922 году Асеев приехал в Москву, а в марте 1923 года вышел первый номер журнала «Леф». В декларации, подписанной Маяковским, Асеевым и другими, была установлена программа работников левого фронта искусств. «В работе над укреплением завоеваний Октябрьской революции, укрепляя левое искусство, «Леф» будет агитировать искусство идеями коммуны, открывая искусству дорогу в завтра. «Леф» будет агитировать нашим искусством массы, приобретая в них организованную силу. «Леф» будет подтверждать наши теории действенным искусством, поднимая его до высшей трудовой квалификации»³. Асеев стал активнейшим соратником Маяковского. Начался новый этап его поэтической и литературной работы, двигавшей вперед социалистическое искусство.

III

В первом номере журнала «Леф» была опубликована поэма Маяковского «Про это». «Личная» тема любви выросла в ней до гигантских обобщений.

¹ Николай Асеев. Проза поэта. «Федерация», 1930. Стр. 193.

² С. Борисов. Рассказ курсанта. Журн. «Творчество», № 7, 1921, стр. 135.

³ «За что борется «Леф». «Леф». № 1, 1923, стр. 7.

Она переросла в тему широкого общественного значения. Маяковский в «Про это» писал не о любви вообще, а о любви нового человека, рожденного революцией.

Асеев-лирик задумывается над этими же проблемами. В 1924 году появляется его поэма «Лирическое отступление», в которой освещены те же вопросы. Изза одной строфы о времени, крашенном «рыжим цветом», эта поэма рассматривалась, как выражение растерянности и страха перед нэпом. В действительности дело обстояло не так. Разумеется, излишняя резкость формулировки Асеева была очевидна. Но центр «Лирического отступления» был, конечно, не в этой строфе, а в мобилизации души советского человека на борьбу со старым бытом, в призыве к поискам новых морально-этических устоев, в чувстве любви. Владимир Маяковский так характеризовал «Лирическое отступление»: в поэме «ведется разговор о быте, и не столько в общем масштабе, но в специально семейном. У нас неоднократно указывалось, что в то время, как по линии экономической и политической мы стоим на твердой почве, в области быта мы еще середка на половинку, чаще всего погрязали в самом старом мещанском быту»¹.

Противоречия между социалистическим сознанием и старым бытом создавали ту огромной силы драматическую напряженность, которая ощущается и в «Про это», и в «Лирическом отступлении».

Маяковский мечтал о том, чтоб не было любви-служанки, чтобы любовь была основана на чувстве дружбы, товарищества, единстве жизненной цели. И Асеев во всю меру своего лирического голоса протестует против любви-служанки:

Молчи! ты не сломишь обычай,
пока не сойдешься с одним —
не ляжешь покорной добычей
хрустеть, выгибаясь под ним!

¹ Владимир Маяковский. Собрание сочинений, т. XII, стр. 356.

Душа нового человека, по мысли Асеева, должна быть сформирована таким образом, чтобы она могла устоять против всех обволакивающих ее условностей старого быта. Поэт поднимается до подлинного пафоса социалистической поэзии, облачающей душевные движения, готовые пойти на уступки, на компромисс со старым:

Так, значит —
 вся молодость басней
 была.
 и помочь
 не придут
 и день революции стаснет
 в неясном рассветном бреду?
 Но кто-нибудь сразу,
 вчистую,
 расплатится ж
 блеском ножа,
 за эту вот
 косу густую,
 за губ остывающий жар?

И затем полные ненависти и гнева строки по адресу мещанина:

Вот он идет,
 уверенно шагая,
 с подглазьями, опухшими во сне,
 и думает, что песнь моя нагая
 его должна стесняться и краснеть...!
 Скопцы, скопцы!
 Куда вам песни слушать!
 Вы думаете,
 это так легко,
 Когда до плеч пузыристые уши
 разбухли золотухою веков!
 Вот он идет...
 Кружи его без счета!
 Гони его по лабиринту рифм!
 Глуши его,
 громи огнем чечеток,
 трави его,
 чтоб стал он глух и крив!

Строки эти прозвучали в своё время необычайно мужественно. Они нашли свое продолжение в прекрасных строках Багрицкого, боровавшегося всей силой поэтической страсти с «матерым желудочным бытом земли», вставшим препятствием на пути формирования социалистического сознания и чувств нового человека:

Трави его трактором. Песней бей.
 Лопатой взнуздай, киркой проколи.
 Он вздыбился над головой твоёй —
 Прими на рогатину и поваали.

(Э. Багрицкий «Т. Б. Ц.»)

Разговоры о том, что в «Лирическом отступлении» Асеев не понял нэпа, основаны на явном недоразумении. Потому что не о нэпе шел разговор в «Лирическом отступлении», а о борьбе песней, стихом, социалистической лирикой в широком смысле этого слова, с душой зараженной старым, за чистоту и ясность чувств человека нового мира¹.

Вслед за «Лирическим отступлением» была написана поэма «Свердловская буря». У моря, «замасленного жиром» «трестовских спин и спецовских жен», вызывающих отвращение у поэта, автор встречает свердловца, читающего книгу Ленина. В глазах свердловца видны были отсветы пожаров гражданской войны, в нем поэт увидел «проросший сквозь нэп стреевой молодняк»:

Мы с ним на пляже,
 мы с ним на ветру,
 И дали тресвожны
 и сини
 И я запеваю,
 а он политрук.
 лежим в болотной трясице,
 Но мы не сдадимся
 на милость врага
 пощадь его не спросим.

Появление «Лирического отступления» — лучшего произведения Асеева тех лет — не случайно. Это обращение к лирике для поэта, который писал много агитационных стихов, и в личном, и в общественном плане было необходимо. Нужно было создавать социалистическую лирику, в которой самое глубинное движение души переплеталось бы с общественным движением, нужно было воспитывать чувства так, чтобы они были дисциплинированы и развивались в сторону социализма. «Лирическое отступление» слишком глубоко захватыва-

¹ В 1922 году вышла маленькая брошюрка в стихах без имени автора. Называлась она «Аржаной декрет». Брошюра принадлежала перу Ник. Асеева. В ней разъяснялось значение единого натурального налога. С точки зрения политической, в ней не содержалось ошибок, а ведь автор трактовал вопрос о продналоге, т.-е. и о том декрете, который в 1921 году послужил началом новой экономической политики.

ло строй чувств, и не всегда поэту удавалось поставить их в связь с большими задачами современности. В «Свердловской буре» лирика нашла соответствующее ей политическое содержание, личные чувства были в то же время и общественными и выражены были с предельной ясностью. Но и здесь Асеев не забывает напомнить читателю о своих поэтических задачах:

Я лирик
по складу свей души,
по самой
строчечной сути.

Были и неудачи у Асеева: например, в таких вещах, как поэма «Электриада», «Софрон на фронте», затем «Скаа о Буденном». Лирик — «по самой строчечной сути» — Асеев не мог еще лирически осмыслить каждую из этих сложных тем. Не у кого было учиться художественной форме, которую создавали Маяковский и Асеев, и они должны были творить ее сами.

IV

К стихотворному фельетону иные писатели относились и относятся еще по сей день пренебрежительно. Этот жанр поэтической работы они считают низким и оставляют его на долю второстепенных и третьестепенных поэтов. Они относятся к людям, занимающимся этим делом, так как солист королевской оперы относится к эстраднику, выступающему в портовых кабаках. Крупнейшие революционные поэты, наоборот, к работе в газете относились, как к делу огромной важности. Над созданием массового стихотворного фельетона с революционным содержанием работали: во Франции — Беранже, в Германии — Гейне и Георг Веерт, у нас прежде — Некрасов, а в советское время — Маяковский. Успешно культивирует этот жанр и Николай Асеев.

Однако наряду с блестящими фельетонами, вошедшими в золотой фонд советской поэзии, мы находим у Асеева большое количество фельетонов-однодневок, которые, будучи затем собраны в книгу, утратили свое значение.

Причины этому следует искать в том, что Асеев, будучи лириком, не всякую политическую тему мог воплотить, как лирическую.

Асеев рассказывает в книге «Работа над стихом», что многие из фельетонов ему приходилось писать по заданию газеты. Такова практика стихотворного фельетона. В этом ничего плохого нет. Но плохое начинается тогда, когда заданная тема оказывается не органической для творчества поэта, когда она не является общей частью его работы.

Поясняя характер своей работы над стихотворением «Три Анны», Асеев бросает следующее замечание: нужно сделать вещь такой, «чтобы она агитировала своей литературной обработкой, чтобы она выделялась из сотен одинаково бледных возгласов». Здесь, как мы видим, упор сделан не на лирическом осмыслении темы, а на ее литературной обработке. Слов нет, это важно, но решающая роль принадлежит идейной проблематике вещи.

В противном случае мы можем ожидать, что, несмотря на блестящую, может быть, даже виртуозную технику, стихотворение останется холодным, как мрамор, оно не потревожит души читателя, оно не взволнует его. И такие стихотворные фельетоны у Асеева есть.

В том случае, когда тема у Асеева не осмысливается, лирически-стихотворный фельетон выглядит, как мастерски переложенная в стихи газетная статья. В большой важной работе, которую проводил Асеев в газете, были, естественно, и мало удачные стихи. Возьмем, например, стихотворение «Пятый».

Посвящено оно годовщине первой русской революции. Здесь нет ни острого публицистического поворота темы, ни ее лирического осмысления. Это публицистика «в лоб».

В нагайки зажатый,
в пули обшарканный
слався, пятый
тревожный год.
Дыши, баррикад,
воззваниями жаркими,
взятых впервые
в бою свобод.

произведение — результат увлечения литературной фактографией и что уже одно это обстоятельство должно было обречь поэму на неудачу. Действительно, поэма написана в тот период, когда возникали лэфовские теории фактографической литературы. Внешне эти теории нашли свое выражение в поэме в том, что Асеев рассматривал поэтическое задание, как ряд стихотворных примечаний к дневниковым записям Семена Проскакова, — рабочего Ленинского рудника в Сибири, — извлеченным из архива Истофа.

На самом же деле, эти стихотворные примечания разрослись в большие главы поэмы. Дневниковые же записи или отрывки из протоколов допроса Колчака или Анненкова заняли место прозаических эпиграфов.

Поэма достигает большой художественной выразительности прежде всего глубоким лирическим осмыслением темы. Именно это придает ей и романтическую приподнятость, и героический пафос, и сатирическую устремленность, например, в главах о врагах Проскакова, о врагах советского народа.

Образ Семена Проскакова достигает большой художественной выразительности:

Я, рабочий,
шахтер,
большевик,
сумрачному
и охладелому
сердцу Республики
молвил: живи,
бейся
и делай великое дело!
Кто остановит
меня на пути?
Мертвый,
я раны свои простираю
к дальнему свету,
к новому краю,
все пережив
и все победив!

Адмиралу Колчаку противопоставлен Проскаков, тысячи Проскаковых, восставших на борьбу за свои человеческие права.

Огромная историческая правда, стоящая за плечами героя, невиданный энтузиазм освободительной борьбы и мужество народа вырастают еще больше на фоне описания белогвардейщины.

Острое ощущение прямой связи эпохи гражданской войны со временем, когда писалась поэма, хорошо передано Асеевым в заключительном лирическом отступлении поэмы:

Все пережив
и все победив,
с прошлым
будущее сличая,
встань, Проскаков,
и обведи
землю
выцветшими
очами.
.....
Как не узнать,
как не понять?
Разве тебе
эта даль не знакома,
разве не ты
вскочил на коня,
на боевого
коня военкома?
Разве не ты
в боевых рядах
поднимаешь
лицо свое
и под марш мой
идешь сюда,
и на строчках
моих поешь...

Не только в поэме «Семен Проскаков», но и во многих стихотворениях Асеева ощущается глубокая связь прошлого с настоящим, сегодняшнего с будущим. В этом плане примечательно «Необычайное» Асеева. Поэт видит необычайное в нашей жизни, которая изменяется с каждым днем. Он хочет, как и Маяковский, шагать вперед так, чтоб брюки трещали в шагу. Все это для того, чтобы земля стала «без щелей и рывтин», чтобы она была дочиста вымыта и обрыта сетью дорог, каналов, шлюзов, чтобы она была одним огромным хозяйством, где никому не было бы больно, одиноко и сиротливо, чтобы то, что мы называем необычайным, стало обычным. Во имя торжества этих идеалов в глухой сибирской тайге погиб Семен Проскаков. Во имя этого слагает Асеев свои песни и стихи.

V

В течение последних лет Николай Асеев работал над поэмой о Маяковском. Это произведение словно завершает эпоху его поэтических трудов.

О чем бы ни вел разговор Асеев в связи с Маяковским, он возвращает мысль и чувство читателя к нашему времени. Вот пример.

Тысяча девятисот четырнадцатый год — эпоха первой империалистической войны. Асеев рисует правдивую картину настроений русских солдат, нежелающих воевать за родину, которую у них отняли, за землю, которая им не принадлежит. Лирическим отступлением поэт противопоставляет настоящее прошлому.

Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?»
И грозно сверкнут
пограничные вышки,
в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно.
которой понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить,
и умереть — не обидно
ничуть!

Так озаряет Асеев патриотическим чувством поэму, посвященную Маяковскому. Закономерность подобных отступлений ясна. Ибо никто еще из поэтов не выражал так тему любви к социалистической родине, как Владимир Маяковский. Самые нежные слова, с какими обращаются к любимой, и самые мужественные слова, какими напутствуют воинов, великий поэт нашей эпохи отдал своей родине — Советской стране.

Мы найдем у Асеева и строки глубокого лирического проникновения, в которых поэт обращается к коммунизму.

С таким политическим заданием и подходил Асеев к лирическому воплощению облика Маяковского. Ведь вся поэтическая работа лучшего талантливейшего поэта нашей советской эпохи была направлена на утверждение социалистического общества, а могучий пафос гражданского поэта воспевал то, что сегодня прорастает, завтра созреет и будет приносить людям свои прекрасные плоды.

Правда.
есть
у нас
Асеев
Колька,
этот может.
Хватка у него
моя, —

писал Маяковский в «Юбилейном». Эта оценка справедлива. Близость Асеева к Маяковскому и в личном плане и в поэтическом сыграла огромную роль в творческом развитии Асеева.

Воссоздать живой образ Маяковского необычайно трудно, потому что он весь движение, стремление вперед, потому что он ярко индивидуален, как сама жизнь. Образ его уже сложился, как подобие его лирического героя, проступающего сквозь каждую строку его бессмертных творений. Воссоздать живой облик Маяковского в художественном произведении трудно так же и потому, что гул его широких шагов еще доносится к нам, его современникам, мы еще отчетливо слышим тембр его могучего, раскатистого голоса, мы знаем неповторимый, запоминающийся на всю жизнь, нежный взгляд его темнокарих глаз.

И — глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись,
не шляпой ли машет
он издали?

Маяковский может быть органической темой для каждого советского поэта. Для Асеева же — поэта с «хваткой» Маяковского — эта тема не только долг, но и творческая необходимость.

«Маяковский начинается» — взлет поэтического творчества Асеева.

Во весь свой гигантский рост возникает в поэме Асеева перед нами образ Маяковского, шагающего смелой чело­вечьей походкой, развернув тяжелые плечи.

Но это не значит, что каждая глава поэмы (а их с эпилогом восемнадцать) страстно напряжена и эмоционально выразительна. Поэтическое звучание различных глав неравномерно, а сила воздействия их на читателя различна. Но такая прерывистость эмоционального

впечатления вряд ли может послужить основанием для упрека автору.

Большими поэтическими полотнами Маяковский заложил основы монументального стиля социалистического реализма в нашей поэзии и вместе с тем указал дальнейший путь ее развития. Для поэм Маяковского характерен с и н к р е т и з м таких элементов поэтического стиля, живущих в старой поэзии раздельно, как эпос, лирика, сатира. Сплав этих элементов у Маяковского был образован не внешне, формально, механически. Он покоился на новых поэтических принципах, выработанных поэтом: введение разговорного языка в поэзию и эстетическая канонизация разговорной интонации в стихе дали новую поэтическую форму, не существовавшую до Маяковского.

В поэме «Маяковский начинается» Николай Асеев использовал эту поэтическую форму. Мы обнаруживаем здесь те же элементы, которые налицо в больших вещах Маяковского. Эпосу, лирике, сатире отдан был в поэме Асеева специфический для каждого из этих родов материал. Эпосу — исторический фон, на котором развертывалась деятельность Маяковского, лирике — все, что относится к живому образу поэта, сатире — враги Маяковского.

Наибольшей выразительной силы достигает Асеев в мотивах, воплощающих лирическими средствами образ Маяковского. От первой главы, в которой рассказано о знакомстве поэтов, и вплоть до последней главы, нарастает стремительный, как обвал, живой, не укладываемый в обычные поэтические рамки, Маяковский.

Николай Асеев правильно скрепляет весь поэтический строй поэмы о Маяковском лирическими мотивами. Если бы убрать эти скрепы из поэмы, она мгновенно рассыпалась бы на куски.

Вот первая встреча Асеева с Маяковским, придающая тональность всем лирическим мотивам, связанным с именем великого поэта:

Тогда-то
я встретился с ним.
Он шел по бульвару,
худой и плечистый,

возникший откуда-то сразу,
извне.
высокий, как знамя,
взметенное
в чистой
июньской
несношенной голубизне.

Асеев воссоздает и реальный портрет молодого Маяковского, так же лирически окрашивая его, и это дает о нем живое представление. Знакомый облик Маяковского здесь повернут такими характерными особенностями и чертами, которых не замечали другие, а если и замечали, — то отчетливо воплотить не могли. В этом, между прочим, и состоит сила художественного образа, отражающего действительность средствами, не доступными другим формам познания жизни.

Первое впечатление от встречи с Маяковским передано поэтом так:

Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.

Какой-то
гордящийся новой породой,
отмеченный
раньше не бывшей красой,
весь широкоглазый
и широкоротый,
как горы,
умытые насвеж росой...

Лирическое раскрытие портрета Маяковского дает нам сразу два плана. С одной стороны, — это реалистический портрет («похожий на рослого мастерового, зашедшего в праздник в богатый квартал»), с другой — лирическое ощущение, раскрывающее исторические масштабы поэтической значимости Маяковского («которому мир до плеча не хватал»); с одной стороны — «широкоглазый, широкоротый» — реальный портрет, с другой стороны — лирический («какой-то гордящийся новой породой, отмеченный раньше не бывшей красой»). Этим способом Асеев пользуется чаще всего в концовках глав и создает представление о гигантских исторических масштабах поэтической деятельности Маяковского.

В главе «Центр и окраины» Асеев представляет Маяковского, шагающего по Петербургу, «надменному и чопорному городу», городу «прямых проспектов» и «косых душенков». Маяковский идет по городу, в котором все отношения построены на купле и продаже, где за деньги можно купить «соду, поташ, галеты, гениев и гондоны, нежность и рыбий клей». Продажная газетная и синежурнальная буржуазная сволочь улюлюкает, освистывает, колет его, —

А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско, ведомое
силой рубля,
на них, перекатывавшихся баластом
по трюмам державного корабля.

Его ругали литературные прасолы, а он шагал сквозь них вперед, шагал «через хребты веков» в будущее. Так возникает образ дореволюционного Маяковского. В этом же плане подан Асеевым образ Маяковского в главе «Невский перед Октябрем»; в главе «Осиное гнездо» — Маяковский в борьбе с врагами народа, в главе «Маяковский рядом» (этюда с песней «Мы на лодочке катались») и в других главах.

Наибольшего лирического пафоса достигает, однако, Асеев там, где он выражает грусть и скорбь о безвременно погибшем поэте:

Все так же поют
соловьи в Крыму,
которых
не услышать ему.
Все те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему...

Глубокая искренность чувства, страстная тоска по утерянном друге, скорбь поэта, отдающего себе отчет о размерах бедствия, поднимают лирические отступления о талантливейшем поэте нашего времени на огромную высоту. В лирическом раскрытии темы о Маяковском Асеев достигает большой силы поэтической выразительности резким столкновением темы смерти поэта с темой бессмертия жизни («все так же поют соловьи в Крыму, которых не услышать ему»); именно этим столкновением Асееву удается раскрыть неистребимую жа-

жду жизни у Маяковского, который стремился как можно больше узнавать людей. От реального образа Маяковского-человека Асеев переходит к характеристике Маяковского-поэта.

Читатель видит образ поэта новых масс, поэтического трибуна социализма, возвышающегося над «поясом всех широт».

Не со всем в поэме можно согласиться. Это относится, главным образом, к историческому фону и к некоторым спорным полемическим страницам. Прежде всего, о футуризме. Лет, наверное, десять тому назад в одной из статей о Маяковском Асеев писал о дореволюционном футуризме следующее:

«В русском футуризме был скрыт и пожар Красной Пресни, и отголоски севастопольского восстания, и революционное движение на Кавказе». Разумеется, связывать футуризм целиком, как течение, с революцией, с баррикадами Красной Пресни нельзя.

Николай Асеев, говоря о ведущей группе футуристов — Бурлюке, Крученых, Хлебникове, Пастернаке, Маяковском — утверждает, что «сюда сходились все пути поэтов века нашего; меж них блистательных пяти свой луг рифмач выкашивал». Здесь вновь смещена историческая перспектива, ибо поэзией века были и стихи Александра Блока, и творчество Валерия Брюсова, и пути поэзии века сходились и к этим большим художникам эпохи.

Беседа с молодыми писателями в журнале «Литературная учеба» о своей поэме «Маяковский начинается», Асеев рассказал не только о работе над поэмой, но ввел читателя и в свою творческую лабораторию вообще.

Вот, например, что говорил он о стихотворном размере поэмы: «Мне кажется — выбор размера всегда зависит от степени того эмоционального напряжения, с которым приступаешь к работе, с которым ты бросаешься в реку, чтобы плыть. От удачного приема, от первоначального движения и будет зависеть оформление того главного, которое в дальнейшем будет доминировать, это и есть, собственно, выбор метра, выбор ритма». Мы очень хорошо пом-

ним, как Маяковский, делясь опытом работы над стихотворением «Сергею Есенину», определял ритмическое движение, как некий гул, органически связанный с темой.

«Какой размер я взял? Начал я с горького восклицания: «Зачем начинать историю снова?» Но мне показалось, что получится очень однообразно, если вести повествование все время в одном размере, хотя размер этот очень удобный. Поэтому я ввел тему личной судьбы Маяковского и здесь сознательно перешел на размер, соответствующий тону тогдашнего Петербурга. Он связан с первым размером, но все-таки отличается от него и дает фактурный тон теме Петербурга»¹. И Маяковский, и Асеев рассматривают поэтическую фразу как определенное смысловое единство. Такой подход требует инто-

национного построения стиха. В интересах смысла можно менять размер, нарушать его, делать пропуски слогов, менять место ударения в стихотворной строке. Этого требовало революционное содержание стиха, обращенного к массе, и это вызывало необходимость разрушения старых поэтических форм и создания новых.

Обозревая огромную поэтическую работу Асеева, поражаешься ее масштабу, ее многообразию, которые вызываются единственной целью: всеми возможными и доступными поэту средствами бороться за построение социалистического общества, помогать воспитанию советского человека.

И потому, что знамя социалистической революции Николай Асеев мужественно пронес в своих стихах, он признан и любим советским народом, а наше правительство высоко оценило его работу, наградив Орденом Ленина и присудив ему Сталинскую премию по поэзии.

¹ Н. Асеев. Работа над поэмой «Маяковский начинается». Журн. «Литературная учеба», № 9, 1939.

Вдали от жизни

О. РЕЗНИК

★

I

Жизнь советского общества полна чудесных перемен, стремительного движения, напряженной борьбы. Если писатель их не видит или воспринимает только из газет и книг, его произведение оставляет читателя равнодушным. Никакая степень литературной умелости и сноровки не в силах заменить живого чувства действительности. Но когда встречаешь книгу, равно далекую и от жизни, и от необходимого уровня литературного мастерства, равнодушие сменяется тревогой и недоумением.

Именно такое чувство вызывает альманах «Волжская новь» № 10. Авторы его — молодые писатели Волжского края, и хотя на книге обозначена современнейшая дата — 1940 год, — однако на всем содержании альманаха лежит печать давности.

Дело не только в том, что вещи, трактующие темы нашей современности, занимают в альманахе недостаточное место (хотя странно, например, что все литературоведческие интересы составителей альманаха отданы одному лишь декабристу В. Ф. Раевскому). Гораздо хуже то, что именно эти вещи в идейно-художественном отношении вызывают наибольшие возражения.

Центральное место в альманахе занимают две повести: «Березанские встречи» Николая Борисова и «Игнат Дубин» Виктора Банькина. Первой из них открывается альманах, она наиболее актуальна по материалу и, повидимому, должна была в известной мере определить лицо сборника.

«Березанские встречи» начинаются драматическим эпизодом. У героя повести, молодого инженера, коммуниста, Алексея Катунина умирает двухлетний сынишка. Семья Катуниных дружная и спаянная. Алексей и его жена тяжело переживают утрату. Казалось бы, постигшее их горе должно еще больше внутренне объединить их. Но автору зачем-то с места в карьер захотелось озадачить читателя. Катунин, ощущая «всю тяжесть несчастья», начинает реже бывать дома. Через несколько

дней после смерти сына он случайно заходит вечером к приятелю и возвращается «во втором часу ночи». От Алексея пахнет вином. На вопрос жены: «Где ты был?», Катунин почему-то отвечает: «На работе». Буквально минутой позже он хочет дополнить свой ответ, объяснить, что задержался на работе до половины одиннадцатого, а потом зашел к товарищу. Но оказывается, что первая обмолвка непоправима. Разыгрывается пошлая сцена. Жена Катунина (тоже инженер) ведет себя в ней, как истеричная мещанка из дореволюционной мелодрамы. Она, что называется, не дает Алексею рот раскрыть. На справедливую реплику мужа: «У тебя нет оснований подозревать меня в чем-то», она отвечает этакой тирадой: «Молчи, я все знаю... Как не стыдно! А я-то, дура, верила, что ты работаешь до глубокой ночи. Ты ничуть не дорожил ни мной, ни Игорем. Теперь все ясно. Это ты виноват, что мальчик...»

Откуда такие нравы в хорошей советской семье? Может быть, это случайная вспышка горя? Но печальные недоразумения обычно выясняются. А между тем этим разговором заканчивается семейная жизнь Катуниных. На следующий день он находит дома записку от жены: «Я поняла, что не нужна тебе, и все решила».

Читатель недоумевает. Что заставило автора раздуть и осложнить этот столь надуманный и нелепо состряпанный «конфликт»? Кто поверит в реальное существование подобных людей? Неужели так поверхностно и просто решается вопрос о семье? К сожалению, примитивность авторского представления о наших людях не знает предела... И когда видишь, как автор изображает отношение Катунина к уходу любимой женщины, друга, перестаешь удивляться всем дальнейшим неувязкам повести.

Алексей, прочитав записку, говорит: «Глупо и нелепо. Ну, что ж!» Очевидно, эта фраза целиком определяет отношение Катунина к уходу жены... Когда через некоторое время к Алексею приезжает его друг, секретарь райкома партии Подлеснов, Катунин, вновь при-

помнив все происшедшее, заключает свой рассказ: «А впрочем, все к чорту. Выпьем». Друзья выпили.

Можно было бы удивиться рыбьему хладнокровию этого манекена с инженерским дипломом и забыть о нем, если бы речь шла о второстепенном персонаже, введенном в повесть с обличительной целью. Но Катунин, по замыслу автора, фигура вполне положительная.

Герои «Березанских встреч» лишены и портретных характеристик.

Но если для внешнего различия персонажи повести обозначены фамилиями, профессиями и «данными о возрасте», то для представления об их внутренней сущности, об индивидуальных характерах дано гораздо меньше, чем нужно.

Герои «Березанских встреч» выглядят людьми крайне ограниченными, с узким кругозором и низким интеллектуальным уровнем.

Не бóльшим богатством внутреннего мира наделена и фигура основного героя повести — Катунина. То, что показано в ней, вызывает недоверие, а порой омерзение. Катунин — единственный персонаж повести, наиболее полно очерченный со стороны личных переживаний, но тут-то и обнаруживается вся превратность авторских представлений о советских людях. Крайнее легкомыслие в решении вопросов семейной жизни выражает едва ли не основное свойство натуры Катунина.

Он производит впечатление человека недалекого, малокультурного, чуть ли не космоязычного...

Только-что потеряв жену, которую он якобы любил, Катунин, приехав в Березань, видит купающуюся незнакомую женщину, и этого достаточно, чтобы она целиком заняла его воображение. Но еще более странно выглядит сцена знакомства Катунина с ней. Случайно встретив Ольгу еще раз, он «подошел к ней, подал руку и назвал ее. Она спешила. Разговор был короток. Но он успел пригласить ее к себе...» (!)

Предприняв столь стремительную атаку и заручившись согласием Ольги притти, Катунин устраивает «пирушку». Поведение Катунина на этой пирушке под стать уездному кавалеру из бульварных романов. Сперва «ему хотелось встретиться с ней глазами», затем, «думая о ней, он поднялся, налил рюмку и громко провозгласил: «Выпьем, товарищи, за женщин... За красивых и умных! За отважных и дерзких! За наших женщин!»

Автору и в голову не приходит оттенить банальную пошлость катунинского поведения и тона. Наоборот, он простодушно добавляет, что Катунин «хотел этими словами обратить внимание Ольги, но она неожиданно поднялась и вышла на улицу...» Однако не таков Катунин, чтобы его мог обескуражить уход Ольги... Как говорится двумя строками ниже, «Катунин был молод, горяч, несдержан и постоянно хотел ощущать грозную прелесть своей молодости». Кроме того, «там, где не требовалось, он бывал болтлив, там, где мол-

чание казалось тягостным, он терял дар речи».

Очевидно, поэтому его разговор с Ольгой носит характер тривиальной болтовни, где одна фраза более стерта, чем другая: «Сегодня великолепная ночь, не правда ли?» или: «Напрасно вы всех стрижете под одну гребенку».

Катунин ведет дневник. По этому дневнику легко понять, как далек этот инженер-коммунист от всяких общественных интересов, понятны и его истинные взгляды на личные взаимоотношения людей.

В одной из записей Катунин вспоминает юношескую встречу с девушкой Таней. Познакомившись с ней, он пошел ее провожать. «Поцеловал ее жарко. Она ответила тем же. Мы разошлись и больше никогда не встретились». Этот случай Катунин хранит в памяти как образец истинной любви.

«Вспоминая ее (Таню. — О. Р.), я вижу волосатых моих предков, у которых любовь была искренней, горячей, свободней от условностей. Они не любили по обязанности, не имели вынужденных браков...»

Далее идет наивная сентенция о том, что буржуазный строй опошлил любовь, и отписка, что, дескать, в наш век все обстоит иначе.

Большинство несуразностей повести происходит от неумения видеть и изображать правду жизни.

Вот почему так тускло и сухо выглядит описание труда на стройке: «С утра до глубокой ночи в Березани стоял гвалт, слышались скрип тележных осей, конское ржание, шутки, смех, песни» (24). Карикатурна картина грозы: «Точно по слову, все деревья в паническом страхе метнулись от шквала, *заалдели на своем языке и, прикованные корнями к земле, остались на месте*» (52). Подобной помесью беспомощности и нарочитой мажорности отмечен весь стиль этой далекой от жизни повести.

II

Повесть Виктора Банькина «Игнат Дубин» выглядит гораздо добротнее, чем «Березанские встречи». В ней есть цельность замысла, слаженный сюжет, несколько неплохо очерченных характеров, отдельные удачные, выразительные эпизоды и детали. И все же в целом она разочаровывает. Чем дальше читываешься в повесть, минуя существенные, но частные недостатки, тем яснее становится характер заимствования и его источник. А под конец уже не стоит труда обнаружить, что основной герой повести пересказан по книге Н. Вирты «Одиночество».

Повесть «Игнат Дубин», как и «Одиночество», посвящена классовой борьбе в деревне в эпоху гражданской войны (хотя завязка повести и относится к периоду более давнему, но цель ее — показать жизненный путь основных героев, определить их роль и место в будущей классовой схватке).

Несмотря на то, что действие происходит в несколько иной обстановке, автор попросту

скопировал Сторожева. Игнат Дубин — его двойник. Дело тут не в совпадении каких-то общих типичных кулацких черт. В характере Игната Дубина точно так же, как в Сторожеве, черты эксплуататорской жадности, стяжательства, не знающего предела, сочетались с личной активностью и целеустремленностью в борьбе.

Весь характер вражеской деятельности Сторожева почти целиком повторяет Игнат Дубин.

Даже в отношениях семьи к Игнату наступают, в сущности, те же перемены, что и в «Одиночестве» по отношению к Сторожеву.

Мы понимаем, что у каждого писателя могут быть любимые образцы. Но следовать им рабски никому не рекомендуется, ибо такое подражание, даже если это не прямой плагиат, приводит к утрате всякого интереса к копии.

Автору нельзя отказать в знании материала. Ему удается показать бытовое своеобразие деревенской жизни, нравы и обычаи ее.

Виктор Баныкин, повидимому, автор наиболее способный среди участников альманаха, но и он, к сожалению, разделяет общие недостатки своих товарищей. В повести нередко попадают неудачные, неточные описания.

Вот автор описывает жену Игната, Домну: «Она готовила обед, стирала белье, била детей, и все это делала со скучающим выражением лица». Подобная характеристика к тому же абсолютно не вяжется с образом Домны — прекрасной матери, человека большой душевной прямоты.

Или про Игната: «Ему хотелось верить, что переживаемое беспокойное время — только тяжелый сон». Разве эта бесцветная, вялая, стандартная фраза может передать ощущения Игната, связанные с приходом революции? Напрасно также злоупотребляет автор и местными словечками. вроде: «кочедык», «хизнуть», «набавывать» и т. д.

Существеннейшим недостатком этой повести (как и предыдущей) является нарочитое любовное натуралистическими деталями и ошибочное представление о нравах героев. Слишком много в повести перекрестных любовных связей. Описаны они не в меру длинно, а порою со смакованием, придающим им явно пошлый оттенок (стр. 132—133). Кстати говоря, большинство натуралистических сцен введено в повесть искусственно и могло быть изъято из нее с пользой для вещи. Но это не сделано и наводит нас на печальные размышления о точке зрения редакции альманаха. Она, очевидно считает грубый натурализм украшением художественной литературы.

III

Не без труда осилив две повести, занимающие три четверти книги, надеешься хоть в рассказах или новеллах увидеть, наконец, настоящие живые слова. Но и это ожидание обмануто. Вот сюжет рассказа Тихонова «Горев». Школьники, руководимые учительницей,

идут в экскурсию на огород и натываются на утопленника. Весь рассказ посвящен участию ребят в похоронах утопленника. Что и говорить. Сюжет странный. Но суть даже не в этом. Казалось бы, решив показать столкновение советских ребят с большим человеческим горем, горем матери, — автор имел возможность изобразить товарищескую чуткость наших детей и педагогов, своеобразие детской психологии. Но в рассказе дети выглядят тупыми и бессердечными, а взрослые ведут себя, как ханжи, которым навязана роль учителей жизни.

Откуда у ребят такая бесчувственность к человеческому горю, такая умственная отсталость? Ответ прост. Эти дети — плод грубой выдумки автора, от лица которого ведется повествование. И напрасно стремится автор придать герою рассказа позу сострадания. За версту разит фальшью от его мелодраматических выкриков: «Я готов был подойти к женщине, потерявшей сына, плакать вместе с ней. Готов был сорвать наложенные состраданием на сердце пластыри и закричать с ней в один голос: проклятая судьба или кто ты там! Зачем ты давишь тупо и бессмысленно самые нежные и самые дорогие цветы земли?! Страшное горе! Тяжелое горе!»

Нет, никого не тронет этот монолог. Весь рассказ проникнут пороством и оставляет гнетущее впечатление.

«Новеллы» Ивана Горюнова названы так по явному недоразумению. Это отрывочные зарисовки, порой анекдотического характера.

«Георгиевский кавалер». пожалуй, лучшая из новелл Ивана Горюнова. В других нет даже крупинцы смысла, и непонятно, зачем они написаны, а тем более напечатаны. Может быть, редакцию прельстили красоты стиля вроде: «Сабир не захотел себе ущерб делать», «цветы дают какой-то волнующий запах» («Венки»), или: «яблоко покляли в карманы», «командир... посмотрел на нас с извинительной улыбкой», «он с удовольствием повесил плевки на широкую бороду Грача», «Он, видимо, признал меня за кого-то из родных» («Ребенок»), или, наконец: «За непомерный рост и один героический поступок красноармейцы прозвали Охременко Голиафом»; «Осенью у Охременко обнаружили музыкальные способности...»; «Пустые бутылки, деревянные ложки и гребень под его руководством обрели нежные звуки. Сам он дирижировал и в то же время играл на дудке с шестью отверстиями»; «он поддержал девушку своим басовитым голосом»; «у Охременко уши покрылись румянцем» («Как женили Голиафа»).

Право же, не стоило умиляться столь неумелому обращению с русским литературным языком.

Напечатанные вслед за новеллами Горюнова лирико-эпические «сонаты» П. Няли «Дмитрий Донской» никакого отношения к художественной литературе не имеют. Это сырые наброски сценарного плана. Их историческое содержание взято из популярных пособий,

памятных нам с детства, а построение плана целиком заимствовано из опубликованного в свое время в журнале «Знамя» литературного сценария П. Павленко и С. Эйзенштейна «Александр Невский». В этом нетрудно убедиться, сравнив произведение Нилли хотя бы с указанным источником.

По литературной беспомощности это, пожалуй, рекордная вещь в сборнике: «Хмурятся деревья. Птица летит с ветвей одного, птица летит с ветвей другого. словно стрелы из тугого лука».

«В углях совещаются голоса». «Старики... толкуют о том, как в Орде князья хану задлижут», «Всадник снимает голову горожанину, который разговаривал с женщиной». Этих примеров достаточно, чтобы уразуметь уровень изобразительных достоинств произведения.

Вещь явно претендует на то, чтобы на материале одного из славных, героических эпизодов родной истории показать патриотизм русского народа. А получилась приспособленческая калтура, вульгарно эксплуатирующая интерес к важной и ответственной теме.

Среди прозаического материала альманаха выгодно выделяются «Дружба», рассказы о детстве В. Алферова-Волжанина, рассказы о Толстом Евгения Шаповалова и «Воспоминания о Неверове» П. Ярового и Н. Степного.

Правда, и эти вещи лишены литературного блеска. Но в «Дружке» просто и искренно передано детское восприятие природы. Рассказы о Толстом далеко не равноценны, но в наиболее удачных («Ад и рай», «Друзья») есть несколько правдивых штрихов, изображающих отношение народа к великому писателю.

Воспоминания П. Ярового и Н. Степного могут заинтересовать и массового читателя, любящего творчество Неверова, и специалиста. Биография Неверова мало известна. Между тем это была весьма колоритная и самобытная фигура. Воспоминания, написанные с любовью к талантливому писателю-самородку людьми, знавшими Неверова, позволяют многое по-новому понять и в его творчестве.

IV

Стихи, напечатанные в альманахе, также не составляют его украшения. Тут не встретишь ни подлинного поэтического чувства, ни свежей интонации, ни яркого образа.

Авторы стихов, напечатанных в альманахе, в смысле поэтической техники находятся еще в периоде самого раннего ученичества. В их манере трудно обнаружить даже какую-либо традицию, связанную с достижениями советской поэзии.

Ограниченность, обыденность словаря лишает авторов возможности передать зрительный образ, изобразить человеческое чувство.

Крошечная поэма Е. Астафьева «В секрете» — яркий пример подобной работы.

Правда, иногда авторы присочиняют к ним не связанные с текстом концовки (очевидно, в целях актуализации), но от этого они содержательнее не становятся.

Так, к очень бесцветному описательному стихотворению «Кавказский заповедник» Л. Кацнельсон приписал заключительную строфу:

И вспомнят нас, растивших этот лес;
Мы шли к нему с победными боями,
И поднимались рощи до небес
Бесценными янтарными стволами.

Мы уже не говорим о том, что первые две строки не связаны со вторыми. Но ведь в стихотворении ясно написано, что «лес старинный», и сказано про «древние самшитовые рощи», при чем же здесь «мы — растившие»?

Пример наивно-умильных и беспредметных стихов являют вещи А. Никольского («Утро», «Художник», «Сыну»).

Недаром так сердце
Взволнованно бьется,
Когда захотим мы
Теплее сказать.

И ближе, роднее
У нас не найдется,
Чем это хорошее,
мудрое — мать.

Безнадёжно беспомощны стихи А. Свягины «Волейболистка», В. Смиренского «Гамсун и Грин», Н. Снегина «Мать».

Стихи Н. Жоголева наиболее зрелые, но они, интонацией напоминающие стихи С. Щипачева, в то же время по мысли и настроениям слишком пессимистичны.

Выпуск каждого литературного альманаха писателей, работающих в областях, краях и республиках нашей необъятной страны, должен быть большим событием культурной жизни.

Редакция «Волжской нови» подошла не так, как должно, к этой большой и важной задаче. В результате вместо яркого и правдивого изображения нашей жизни возник пухлый том ничем внутренне не связанных, подражательных произведений.

Почему же все эти вещи опубликованы? Неужели загадка всей этой истории просто в том, что редколлегия альманаха состоит из авторов, представленных в нем? Трудно, однако, поверить, что альманах отражает уровень литературной жизни Волжского края, что к нему привлечены лучшие силы, отобрано наиболее ценное. Если же это так, — вывод может быть один. Писатели здесь еще не созрели для создания альманахов, и, следовательно, пока их выпускать не следует.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА О МУЖЕСТВЕ *

Прошел год с того дня, когда Красная армия, действовавшая в груднейших природных условиях Финляндии, совершила прорыв переклассных современных укреплений на Карельском перешейке и заняла Выборг. Значение этой победы советского оружия исключительно велико. Война в Финляндии была всесторонней проверкой вооруженных сил советского государства, и тот факт, что Красная армия сокрушила укрепления, которые, по утверждениям видных военных специалистов Европы, считались неприступными, — лучше всего говорит о высоких качествах личного состава Красной армии, о могуществе ее боевой техники.

В зиму 1939/40 года Красная армия прошла суровое испытание. Финляндский военный театр издавна считался одним из самых трудных на земном шаре. Скалы, холмы, котловины, болота, озера, леса простираются к северу до самого Баренцова моря. Глубокий снег выпадает так стремительно, что болота даже в наступающие затем самые жестокие холода не успевают достаточно промерзнуть. Эти природные трудности были усложнены продуманно примененными, десятилетиями создаваемыми, современными военно-инженерными сооружениями.

Широкая укрепленная полоса глубиной от 40 до 55 километров была перед Красной армией на Карельском перешейке. Сотни железобетонных, земляных и других долговременных оборонительных сооружений линии Маннергейма обстреливали многослойным огнем каждую ложину, каждый подступ. Железобетон плюс стальная броня укреплений, замаскированных к тому же очень искусно, были непроницаемы даже для снарядов крупнокалиберной артиллерии. Минные поля, противотанковые заграждения, ряды колючей проволоки, через которую на некоторых участках пропускался ток высокого напряжения, многокилометровые лесные завалы преграждали путь пехоте и танкам.

В Финляндии Красная армия столкнулась не просто с финскими войсками. Здесь она имела дело с соединенными силами империалистов ряда стран, помогавших белофиннам как всеми современными средствами вооружения, так и живой силой.

Вышедший недавно двухтомник «Бои в Финляндии» рассказывает о том, как Красная армия разгромила линию Маннергейма. Свыше 900 страниц этих двух отлично изданных книг написаны руками непосредственных участников героического штурма укреплений — бойцами, командирами и политработниками пехотных, танковых, артиллерийских, авиационных частей, действовавших на перешейке. И, как всякая книга, в которой люди, не увлекаясь литературной формой, просто и непосредственно рассказывают о том, что сами видели, сами пережили и испытали, — сборник «Бои в Финляндии» глубоко волнует читателя реализмом описаний, богатством собранного материала.

Напряженная боевая работа войск показана в сборнике со всеми трудностями и испытаниями. Против Красной армии действовал искусный и стойкий противник. Нужно было много мужества, решительности, готовности к самопожертвованию, чтобы сломить сопротивление врага.

В организации победы над белофиннами выполняющая роль принадлежит товарищу Тимошенко, поставленному партией и правительством в начале января 1940 года во главе войск, действовавших на Карельском перешейке. Товарищу Тимошенко был организатором и руководителем подготовки войск к решительному штурму укреплений. Здесь, на Карельском перешейке, родилась и была осуществлена идея обучения войск в обстановке, максимально приближенной к боевой практике.

Здесь, в непосредственной близости к линии фронта, часто в сфере огня противника, готовясь к решительному удару, проходили суровую школу бойцы и командиры всех родов войск. Были созданы учебные доты с полосами заграждений, минными полями. Войска тренировались в преодолении препятствий, вырабатывали способы блокирования и уничтожения долговременных огневых точек. В «походных академиях» — так называли фронтовики свои учебные поля — занимались пехотинцы, саперы, танкисты, артиллеристы. Учеба была напряженной, серьезная, ибо каждый понимал, что за упущение на учебном поле придется рассчитываться самым дорогим — жизнью сотен и тысяч людей.

Чрезвычайно поучительны строки, в которых участники боев рассказывают о подготовке к штурму. «... В тылу выстроили доты. типа

* «Бои в Финляндии». Воспоминания участников. Воениздат. М. 1941. Ч. 1. Стр. 392. Ч. 2. 6 р. 25 к. Ч. 3. Стр. 540. Ч. 4. 7 р. 25 к.

финских, — рассказывает старший лейтенант тов. Мильграм, — располагали в них команду, снабженную холостыми патронами. Блокировочная группа подошла к доту и затыкала амбразуры земленосными мешками. Это очень тяжелая операция. Если учесть, что каждая пулеметная амбраура имеет размеры 30 сантиметров на 10 сантиметров, и что рядом с ней — амбраура наблюдателя, вооруженного автоматом. В блокировочные группы отбирались лучшие бойцы. Тренироваться им приходилось изрядно».

О том, как учили стрелков двигаться за танками, рассказывает полковой комиссар Соловьев. «Чтобы рассеять у бойцов предвзятое мнение, их сажали в снежные доты, устраивали «амбразуры» и заставляли глядеть на поле боя глазами противника: «Смотри, вот за танками ползут пехотинцы. Соображай сам, кого легче поразить пулями из дота, — тех, которые отстали от танков, или тех, которые ползут рядом с ними».

Множество подобных примеров приведено в двухтомнике, и это делает сборник особенно ценным. Обычно говорят о книге — вышла из печати. Об этом же замечательном двухтомнике правильнее сказать — книга поступила на вооружение. Сборник не только показывает, что война — трудное дело и что для успеха в бою надо учиться заблаговременно, учиться в самых трудных условиях; сборник передает опыт такой учебы, опыт боевых действий.

Люди, создавшие двухтомник, преследовали цель не только собрать воспоминания и отразить эпизоды боев. Они стремились показать во всей правдивостью славную и трудную работу воина. Они бережно отнеслись к тому огромному опыту, который приобрела Красная армия на перешейке, собрали и просто, доступно для широкого читателя изложили этот опыт, зная, что на нем будут учиться тысячи и тысячи молодых бойцов Красной армии и ее будущие пополнения.

Сборник воспитывает боевую находчивость, инициативу, сообщает множество сведений, которые очень пригодятся в походах и боях.

На хитрость и изобретательность врага наши бойцы отвечали своей хитростью и находчивостью. Противник располагал снайперо-автоматчиков на деревьях. Снежные куполы, закрывавшие кроны деревьев, делали невидимыми с земли неприятельских стрелков. Стало правилом перед движением наших боевых порядков лесом «прочесывать» вершины деревьев из пулеметов. Когда огневой вал нашей артиллерии обрушивался на передний край обороны противника, белофинны продвигались вперед, «прижимаясь» к нашим линиям, зная, что приближение огня артиллерии невозможно, так как в зоне поражения окажутся и наши бойцы. Затем, когда артиллерия переносила огонь в глубину обороны, солдаты занимали оставленные окопы, обстреливая атакующую пехоту. Тогда наши артиллеристы стали делать ложные переносы огня, и снова из глубины обрушивали его на передний край неприятельской обороны. Противник был лишен возмож-

ности понять систему наших огневых налетов и нес большие потери.

Полковник тов. Подфилинский, автор статьи «Боевой опыт артиллеристов», показывает, как методическое изучение особенностей позиций и тактики противника заставило наших артиллеристов отказаться от шаблона в организации огневого сопровождения пехоты и применить новые методы, давшие исключительный эффект. Так, в массовом масштабе, крупнокалиберная артиллерия была применена для уничтожения узлов сопротивления прямой наводкой с дистанции 400 — 500 метров. Организация огневого налета сообразно системам орудий, совмещение командных пунктов пехоты и артиллерии (об этом подробно пишет Герой Советского Союза полковник тов. Турбин) и ряд других тактических решений наших артиллерийских командиров дали исключительно большой эффект.

В статьях и очерках командиров подразделений 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии и 70-й ордена Ленина стрелковой дивизии читатель найдет много ценных указаний об особенностях действий пехоты в лесном бою в зимних условиях. Здесь и опыт продвижения стрелков под снегом, и использование мертвых пространств, образуемых противотанковыми заграждениями противника, и искусство движения за танками и за огневым валом артиллерии, и действия на лыжах, и лучшие приемы штыкового боя, и техника устройства теплых жилищ в лесу, и искусство маскировки.

Большое место уделено деятельности героев-танкистов. Об этом пишут полковой комиссар Соловьев, воентехник второго ранга Максимов, младший политрук Тройнин и другие. Товарищи рассказывают о большом и умном плане подготовки танкистов к штурму укреплений, осуществленном под руководством командира танковой бригады, ныне Героя Советского Союза, генерал-майора Лелюшенко. Они рассказывают о героических подвигах танковых экипажей, подвергавшихся тяжким испытаниям и самоотверженно выполнявших свой воинский долг.

Сборник рассказывает о славной работе разведчиков, и здесь читатель найдет немало штрихов, характеризующих стиль боевой разведки, ее приемы, высказывания героев боев с белофиннами о качествах, которые должен выработать в себе каждый разведчик.

Приводится множество эпизодов, характеризующих находчивость, инициативу бойцов и командиров. Белофиннам удалось поджечь танк. Командир танка тов. Симен приказал водителю вести горящую машину на большую ель, ветви которой пригibasили под тяжестью снега. Снежный обвал потушил пламя.

В сборнике отражены славные дела людей всех воинских специальностей. Книга эта дает возможность осознать и понять, сколь сложен организм армии и как от работы каждой части этого огромного механизма порой решающим образом зависит успех общего дела.

В краткой рецензии невозможно обнять все содержание этого двухтомника. Одно несомненно: Красная армия, широкие массы советских читателей получили замечательную книгу, очень нужную для дела воспитания бойцов Красной армии, для дела подготовки ее мно-

гомиллионных резервов. Надо отдать должное писателям — ленинградцам и москвичам, — принимавшим участие в создании сборника: они хорошо выполнили свою работу, помогли довести до читателя наиболее полно и осязаемо опыт войны.

В. Ходаков

★

ПОВЕСТЬ ОБ ИНЖЕНЕРЕ *

Три основных героя новой повести Юрия Крымова — инженеры: Григорий Емчинов, его жена Аня Мельникова и Сергей Стамов. Они — одноклассники, и каждый из них занимает в произведении значительное место. Однако повесть названа не «Инженеры», а «Инженер». Кого же подразумевает автор?

Достаточно присмотреться к повести, чтобы увидеть, — героем является Аня Мельникова. Характер ее постепенно обогащается опытом, в ней растет глубина понимания явлений действительности, появляется культура чувств. В ней возникает требовательность любви — пристальная и настойчивая, благородная и придирчивая.

Стремление гордиться любимым делом, любимым человеком и создает благожелательную, но настойчивую и придирчивую требовательность Ани. Это качество присуще не только образу героини, но и точке зрения автора на людей и события повести.

Крымов сначала показывает нам мир через восприятие Ани. Показывает действительность, расщепленную чувствами героини и отобранную ее побуждениями. Автор вводит нас через Аню и ее восприятие в круг событий. Затем он отстраняет героиню и ведет изложение от собственного лица. Это происходит в тот момент, когда перед Аней неуловимо встает проблема — кто же такой Емчинов? А это, по существу, основная и наиболее важная проблема повести.

Вначале все реакции Ани Мельниковой прямолинейны и элементарны. Аня терзается перед мнимой сложностью любовного объяснения Емчинова, она не находит аргументации против туманной фразеологии Енисейцева. Она видит, что Емчинов сбежал от работы на периферии и «устроился» в наркомат. Но она раньше всего ищет благородных, наиболее выигрышных для Григория объяснений его поступков, и вызов в Москву превращается в доказательство способностей Григория.

Для Ани в работе характерны неуспокоенность, неудовлетворенность, сознание несовершенства сделанного и стремление к совершенству. «Все, что она строила, сначала радовало ее и давало удовлетворение, а потом возбуждало чувство, похожее на раскаяние». Она мучительно искала этому объяснение и, наконец, нашла: «Ее проекты были не вполне удачны потому, что, пока они осуществлялись,

кто-нибудь другой или она сама находила новое остроумное решение. Нельзя было сразу найти это решение, как нельзя сделать новый шаг, не сделав предыдущего».

По существу, это было рождением творческого отношения к своей профессии, творческого отношения к технике. И именно в этот момент у Ани с Емчиновым произошло первое столкновение, серьезность которого осталась для нее неосознанной. Для Емчинова ощущение несовершенства сделанного и постоянное стремление к совершенству есть только «теория бракоделов». Другими словами, непрерывность творческих исканий Ани воспринята Емчиновым лишь как возможность канцелярского оправдания плохого качества сделанной работы.

Пока Емчинов и Аня жили в Москве и работали порознь, их отношения не подвергались действительным испытаниям. Она больше чувствовала, чем понимала. Ее корбило грубо утилитарное восприятие Емчиновым искусства. Она ощущала фальшь в мнимо товарищеских, а по существу подбострастных отношениях Емчинова к своему начальнику. Эти проявления были ей чужды, но обобщить и объяснить себе значение этих черт она не решалась.

С того момента, как действие повести переносится в Рамбеково, Аня Мельникова соприкасается с мужем каждодневно и ежедневно. В качестве управляющего трестом он оказывается ее непосредственным руководителем, человеком, полностью ответственным за систему работы. И здесь они по-настоящему узнают друг друга после шести лет супружеской жизни.

Личная драма Ани Мельниковой отступает здесь на второй план, этический конфликт перерастает в конфликт политический, и столкновение Емчинова с женой превращается в его столкновение с советской средой, с советской системой в самом глубоком и обобщенном понимании этого слова.

Конфликта между ними внешне не происходит. Ане Мельниковой лично много удобнее работать при Емчинове, чем работать без него. Положение жены управляющего трестом, помимо ее воли, создает ей привилегированное положение, что очень тонко, но вполне отчетливо подчеркнуто автором. Таким образом, ничто не затрагивает ее личных интересов, и ее непосредственно меньше всего ущемляет система, которая господствует на буро-

* Ю. Крымов. «Инженер». Повесть. Журнал «Красная новь». № 1. 1941.

вых. Но Аня Мельникова неспокойна сама и разделяет состояние творческого беспокойства, охватившее остальных героев повести: Шеина, Петина, Стамова.

Между Аней и Емчиновым возникает ряд глухих и невыраженных размолок, кончающихся нежными словами и ласками, все больше и больше подчеркивающими образовавшуюся пустоту.

Равнодушие. Успокоенность. Стремление уйти от ответственности. Желание перестраховаться. Хитрость маленького человека, рассматривающего действительность по схеме административного управления вверенного ему учреждения. Подмена знания жизни знанием входов и выходов. Вот что открывает Аня Мельникова в Емчинове. И это постепенное раскрытие, постепенное выяснение установившегося, но спрятанного характера и составляет движение повести.

В Рамбекове Емчинов застаёт аппарат треста разваленным еще его предшественниками. Здесь работают знаменитые стахановцы, поддерживающие честь своих бригад. А рядом процветает отсталый способ работы. Отсутствует реальное стремление добиться высокого уровня производства. Организация дела такова, что опыт передовых рабочих не поддерживается.

По мере того, как для Ани, а, следовательно, и для читателя, выясняется облик Емчинова, пропадает необходимость рассмотрения событий и людей с позиции Ани. И тут автор начинает изображать Аню действующей в событиях повести, а не события повести, воспринятые Аней.

Автор избрал своим героем Аню Мельникову. Он стремился показать, как советский инженер набирает творческую, моральную и профессиональную высоту. Но получилось так, что подлинным литературным открытием Крымова явился образ Емчинова.

Емчинов сосредоточил и выразил в себе новую пассивную форму сопротивления стахановскому движению. В нем заложены черты чиновного равнодушия. Это тип человека, удовлетворенного своим положением и сегодняшним днем настолько, что он желает, чтобы «завтра» было лишь похоже на «вчера».

Потеря перспектив развития, потеря кровной заинтересованности в движении вперед делает такого человека объективно вредным, мешающим развитию страны и устремлениям народа. И сила Крымова в том, что он не ждал, пока явление будет официально названо, а смело поставил свежую проблему.

Емчинов — человек, субъективно честный. Он работает с утра до ночи, не покладая рук. Вся его жизнь проходит в работе. Он знающий инженер. Казалось бы, жена ни в чем не может упрекнуть его — он внимательный и заботливый муж, всячески заинтересованный в сохранении семьи. Таким образом, автор наделил Емчинова качествами, обычно свойственными лишь положительным героям.

Но у Емчинова нет политической перспективы, нет творческого отношения к жизни.

«Новый мир», № 4.

Чувство ответственности за свое дело у него подменено отчетливым сознанием, что «удержаться» надо суметь, что благополучие состоит в системе полубластных отношений и чиновной ловкости. Емчинов в одинаковой степени не стремится к победам и боится поражений. Ему чужды взлеты и смертельно страшны падения. Но, упав, он считает свое поражение лишь следствием столкновения с более сильными людьми, а не результатом собственного банкротства.

В повести показано не случайное поражение Емчинова, а органический и неизбежный в наше время крах людей определенного типа. Сколько бы ловкости ни проявлял Емчинов для того, чтобы уклониться от конфликта, — конфликт все равно наступает столь же неизбежно, сколь неминуемо и поражение Емчинова в этом столкновении.

Четырех людей, кроме Ани, противопоставляет автор Емчинову в повести. Эти четыре человека разных возрастов, характеров и общественных положений представляют и выражают чаяния, устремления и волю рабочих, техников, инженеров и служащих. Эти четверо: Стамов, Шеин, Петин и нарком.

По тому, как в начале повести внимание читателей фиксируется на Стамове, по тому, как вырастает в представлении Ани его фигура, — создается впечатление, что это основной положительный герой. Но затем Стамов отступает на второй план, и его биография предстает лишенной начала и конца.

Стамов — глубокая, но не яркая индивидуальность. Судьба Стамова, по существу, не изменится на всем протяжении повести. Он ведет себя просто и естественно, его размышления логичны, и в них нет ничего из ряда вон выходящего. Но вместе с тем Стамов — необходимейшая фигура в повести, потому что именно в нем должна найти свое естественное выражение биография рядового советского инженера, его обычная судьба.

Стамов скромн и лишен побуждений карьеры, но он полон общественного интереса к тому делу, которое делает. Он хороший инженер именно потому, что понимает политическую роль техники. Он хороший руководитель потому, что понимает взаимосвязи рабочего и законы социальной психологии. Отсюда его связь с Шеиным, его поддержка Петина, его уверенность в своем деле и его противобольствие Емчинову, хотя Стамов и принял Емчинова, как желанного руководителя.

Крымов не дал развития образу Стамова. Он нарисовал лишь портрет, но в этом лаконическом портрете намечена и типичность Стамова, и тенденция его развития. Этот образ, естественно, хочется видеть более подробно разработанным. О нем хочется больше знать, с ним хочется короче познакомиться, за его судьбой интересно было бы проследить. Но при всей законности этих претензий, они выходят за пределы конструкции повести.

Биография Шеина Крымов уделал в повести также мало места. Пожалуй, еще меньше,

чем жизни Стамова. Вчерашний сезонник, стахановец, скромный и простой с виду человек, знаменитый бригадир и, наконец, управляющий трестом «Рамбеконефть», сменивший Емчинова, — Шеин на всем своем пути сохраняет пристальность взгляда и рассудительность подлинного хозяина жизни. Крымов последовательно подчеркивает, что в работе Шеина нет никаких чудес.

Петин — это маленький техник, скромный труженик, энтузиаст и подлинный изобретатель. Успех не вскружил ему голову, неудача не разбила жизни. В удаче и в неудаче основное для Петина — труд, основанный на заинтересованности в общем деле.

И, наконец, нарком, появляющийся лишь в одной главе не для того, чтобы разругать все противоречия (потому что противоречия только еще подходили к столкновению), а для того, чтобы эти противоречия выявить. Нарком показан руководителем того же толка и стиля, как Шеин и Стамов, и здесь передано единство методов и стиля партийного, советского руководства и лучших организаторов стахановцев, единство стиля работы лучших рабочих и их руководителей всех масштабов.

Тут мы переходим к чрезвычайно важному, чтобы не сказать — основному, свойству новой вещи Крымова, отличающему ее от «Танкера «Дербент». Если говорить о внешнем ходе событий, изображенных в повести «Инженер», нужно признать — действие здесь не везде приводит к достаточно отчетливым столкновениям. Более того, события повести последовательно обрываются именно в тот момент, когда столкновение героев кажется неизбежным.

В самом деле: стоило Ане уличить Григория в лицемерии, как она немедленно отступает, прекращает спор и приходит к мысли, что это неважно и может быть, ошибается Стамов, а не ее муж. Стоило Стамову выступить против Емчинова, как Емчинову немедленно с ним соглашается, чтобы не создавать конфликта. Стоило Петину потерпеть поражение, как он исчезает из повести, и борьба за него идет без его прямого участия. Стоило приехать наркому, как он появляется на страницах повести лишь с Шейным, Стамовым, Аней, и мы не видим попыток обращения к нему, воздействия на него Емчинова, не видим борьбы за будущее решение наркома. Все возможности обстрелять внешние сюжетные конфликты решительно отброшены автором.

Это привело некоторых критиков к утверждению, что повесть Крымова, вообще, лишена конфликта, лишена драматического напряжения. Конечно, это вкоре неверно. Столкновения в повести происходят в духовной сфере, — они выражаются в интеллектуальной жизни героев. Происходит борьба глухая, скрытая.

Мы подробно говорили о том, как Аня открывала для себя Емчинова. Это было сопряжено с драмой, с умиранием ее чувств. Это была борьба с живыми фактами, с собой, со своими убеждениями, со своим характером. И эта борьба окончилась победой убеждений, идей, живых фактов над ложно направленными чувствами.

Аналогичен путь, который прошел в отношении к Емчинову Стамов. Атмосферу отчуждения чувствуют и Шеин, и Петин, и сезонники, и рабочие. Это порождает большое количество подлинных конфликтов.

Крымов в «Инженере» отказался от многих эффектных приемов разработки сюжета, какими он пользовался в «Танкере «Дербент». В «Инженере» Крымов сдержаннее и профессиональнее. Автор в этой повести не боится показаться скучным, не стремится задержать внимание читателей на занимательных перипетиях. Он уверен, что столкновения мыслей и чувств героев достаточно интересны для читателей.

Но, кроме того, здесь ярче выявились и другие свойства Крымова. Речь идет о некоей старомодности его литературной манеры. Это сказывается также в частности. Он подчас излишне добросовестен и подробен в переходах от одного события к другому, хотя нужны лишь сами события, и читатель сам догадался бы о прочем. Он недостаточно смел в выборе эпитета и очень традиционен в лексике.

Повесть кончается без сформулированного вывода. Читателям самим предоставляется додумать судьбы Ани, Стамова, Шеина, Петина, Емчинова. Это и естественно для произведения о сегодняшнем дне, о происходящих сейчас, незавершенных жизненных процессах, впервые и заново фиксируемых литературой. Заслугой автора является творческое выражение этих явлений и правильное определение их тенденций.

А. Крон, Н. Оттен

★

В БЕРЕЗОВОМ ПЕРЕЛЕСКЕ *

Воспоминания детства! Кажется, нет ничего соблазнительнее для поэта, чем эти старые, как сама поэзия, никогда не стареющие, как мир, милые, добрые, светлые, чистые, легкие (и какие же еще?) воспомина-

* Н. Рыленков. «Березовый перелесок». Отхи. Смоленское областное государственное издательство. 1940. Стр. 126. Тираж 6 000. Ц. 8 р.

ния. Их соблазн так велик, что еще никто не устоял перед ним. Школьник, впервые рифмующий несколько строк, уже вспоминает свое младенчество; юноша, перед которым раскрыты настаежь все дороги мира, оглядывается назад и вспоминает детские годы; стареющий поэт, у которого за плечами целая жизнь, полная интереснейших событий, с редкой охо-

той надевает коротенькие штанишки своего «золотого детства» и готов бродить в них до скончания века.

Детство, детство, детство! Оно часто оказывается в поэзии убежищем от сложностей, противоречий и конфликтов взрослой жизни.

И тут есть над чем иронизировать. В самом деле, — за этим пристрастием к воспоминаниям детства часто прячется смешная, углая философия: в маленьких масштабах своих лирических размышлений поэт еще повторяет старинные сентиментальные сентенции. Они так убедительно поэтичны, так традиционны и так мнимо-содержательны!

Читатель, разумеется, понимает, что речь идет не о той поэзии, в которой детство выступает, как сюжетный и жизненный материал. Речь идет о поэзии, в которой воспоминания детства служат «вторым планом» в развитии лирической темы, философически освещающим первый и главный план. Посмотрим, как это делается.

Вот поэт пишет о своем мастерстве, о своем творчестве. Он начинает издаലെка:

...однажды

Мне мир окрестный показался тесным,
И я, увидев журавлей над полем,
Отправился с друзьями в дальний путь.

В просторной тишине аудиторий
Весь мир хотел обнять я жадным взором,
Поставить на столе его, как глобус,
И поворачивать перед собой.

По вечерам в библиотеках чинных
Сидел над пожелтевшими томами,
В театр шумливый провожал Шекспира
И с Пушкиным в Михайловском бродил.

Перед нами привлекательный и настоящий образ поэта. Однако будем следить дальше за развитием главной темы — темы юношества, познающего мир:

Но и тогда, склонясь бессонной ночью
Над белой, словно первый снег, страницей,
Я вспоминал деревню, поле, детство,
Я стать хотел правдивым и простым,

Как тот художник греческий, который,
Наедине с самим собой оставшись,
Гроздь винограда написал, и птицы
Клевать ее слетелись поутру.

Вот он, философический план стихотворения, создающийся с помощью привлечения воспоминаний деревенского детства, детства на лоне природы, чистой и неподкупной: «Я стать хотел правдивым и простым!» «Пушкин, Шекспир, весь познанный мир как бы лишал меня правдивости и простоты и, главное, цельности души, какой обладал эллин Апеллес», — так прямо, а иногда и иносказательно говорит нам поэт.

Старая идея, — каким таким сложным путем пробиралась она к нашему молодому современнику — одаренному поэту, смольчанину Николаю Рыленкову?!

Эта идея очистительного возврата к детству, к природе лежит в основе всего цикла «Мастерство», открывающего недавно вышедшую книгу его стихов «Березовый перелесок».

Поэт рассказывает о старике-гравере. Он попросил гравера «пшеничный кол вырезать из меди». Проходит время — и вот старик:

Через неделю, молчалив и важен,
Мне колос из коробочки достал.
Он был прохладен и немного влажен,
На нем еще горел росы кристалл.

Достал, вздохнул, бровями шевеля:
— Пусть он всю жизнь
Зовет тебя в поля.

В этом вздохе старика-гравера вся его мудрость. И это же — мудрость самого поэта, и это — все та же идея «возврата», в котором он видит очень чистое и плодотворное стремление человека.

Как же быть с этой идеей в наши дни? Она подкупает своей ясностью и кажущейся бесспорностью. Рыленков в разных формах настаивает на ней. Он утверждает ее прямо и безапелляционно в двух разобранных стихотворениях. И он варьирует ее в других стихах. Вот он говорит о своем посещении старого лесника, который играл ему на самодельной скрипке:

— Старик,—спросил я, расставаясь с ним,—
Где взяла ты песни? — По лугам лесным
Собрал, — старик ответил без улыбки..

Поэт запомнил эти слова:

Мне в муках слова песня не легка,
Но помню я сторожку лесника
И звонкий голос самодельной скрипки.

Идея, раньше выраженная прямо, почти афористически, здесь скрывается в подтексте. Это снова все та же идея растворения в природе, идея опрощения души. Здесь важна не музыка старика, не сама скрипка, а то, что это лесная музыка и самодельная скрипка.

В духе все той же философии Рыленков предпочитает сложному и богатейшему в своей сложности труду современности простое старинное ремесло. Он пишет о бочаре, который —

...в зимние большие вечера

Скрепляет клепку обручем дубовым.

Он пишет о калужских швецах, которые —

...по первопутку

В деревню заходили каждый год.

По вполне реальным и прекрасным полям в рыленковских стихах никогда не проедет даже условный трактор, он не станет для Рыленкова даже деталью сегодняшнего пейзажа, он остается для поэта чем-то нарушающим гармонию природы.

И вот в книге Рыленкова происходит одна любопытная вещь, с которой редко приходится сталкиваться в сегодняшней поэзии.

Во всех лирических циклах книги, — а их много, потому что Рыленков располагает свои стихи по временам года, — живет лирический герой, все существование которого сводится к праздности. Он — этот герой — не бездельник, не лентяй: напротив того, он — поэт, — постоянно занят размышлениями, он пристально всматривается в весенние поляны, вслушивается в громыхания летней грозы, внимательно следит за осенним журавлиным отлетом, бродит осторожным охотничьим шагом по зимним лесам. Он всегда думает, он рад труду. И все-таки, это — праздный человек, сделавший своей профессией не столько поэтическое изображение жизни, сколько поэтизацию своей собственной поэтичности.

Это звучит странно и это трудно доказать короткими цитатами, и тем не менее это верно. Поэтому книга Рыленкова (я исключаю его исторические стихи, о которых несколько слов ниже) полна разговоров о ремесле поэта, полна стихов, посвященных изображению внутренних состояний именно поэта, а не простого смертного человека. И поэтому же в лирических стихах Рыленкова есть «поющая природа» и нет «природы-труженика».

Об этом очень точном и своеобразном ощущении, какое рождает у читателя книга «Березовый перелесок», можно было бы очень много говорить. Вот, например, старый бедняга соловей — он так давно превратился из живого обитателя рощ и перелесков в символическую заводную игрушку праздной поэзии, что любопытному ребенку на наивный вопрос «что такое соловей?» уже как-то неловко даже ответить, что это всего-навсего птица! Как золотой механический соловей в сказке Андерсена, всамделишные соловьи лирической поэзии однообразно свистят и всегда во-время умолкают. Такие птички живут и в стихах Рыленкова:

Тише. Прислушайся. Не показалось ли,
Что возвращается юность твоя?..
Это запели в березовой заросли
Песни любовные два соловья.

Все это имеет прямое отношение к разговору о своеобразной праздности лирического героя Рыленкова. В самом деле, каким же путем в наши дни можно найти обновленное отношение к природе, если не через труд, изменяющий природу, властно вмешивающийся в ее изначальное бытие.

Нужно, однако, отдать справедливость поэтической искренности и честности Рыленкова: он никогда не насилует своего воображения, он никогда не вводит в свои стихи чуждые его мироощущению внешние примеси из новых понятий и «актуальных деталей». Он целен, последователен и искренен в своих заблуждениях, в своей ложной философии. И, кроме того, он несомненно, талантлив. Уже

потому книга Рыленкова достойна не высмеивания, а серьезного разговора и серьезной критики.

Мы видели, как от безобидных философических воспоминаний детства через идею очистительного возврата к природе протягивается линия законченного мировосприятия, далекого от нашей современности.

С Рыленковым можно полемизировать по всем деталям того ощущения жизни, какое невольно отражено в его стихах. Но сам Рыленков далек от полемичности, он спокоен, тих, порою только лирически взволнован; он ничего не декларирует, ничего не проповедует. Даже когда он оперирует многозначительными словами и выражениями, за ними скрывается «тихое содержание». Вот он начинает так многообещающе:

Меня влечет вперед круговоротом времен, —
что же оказывается:

Зимю ждешь весны, весною просишь лета,
И говоришь всегда, часов заслышав звон,
Что песня лучшая твоя еще не спета.

«Круговорот времен» оборачивается сменой времен года, а «влечение вперед» — ожиданием этой смены.

Это очень показательное для лирики Рыленкова. И только ее чистота и простосердечность в какой-то мере искупают ее ограниченность.

Но лишь в какой-то мере... Перед Рыленковым впереди еще целая поэтическая жизнь, он еще в начале своего творческого пути. Нужно, чтобы «круговорот времен» вошел в его поэзию в своем подлинно большом смысле, а не в обличье детской хрестоматийности.

Но для этого Рыленкову нужно сначала преодолеть соблазны своей собственной «философии». Читатель в праве надеяться, что это кончится победой поэта над его сегодняшней ограниченностью. Основание этой надежды — в исторических стихах и поэмах Рыленкова.

Они занимают почти половину «Березового перелеска». И хотя они менее индивидуальные, чем лирика Рыленкова, но по-своему тоже интересны.

Главная тема исторических вещей Рыленкова — былая борьба Смоленска за свою самостоятельность и отношение Смоленска XVI и XVII веков к «собираательнице русской земли» — Москве.

Интересы молодого поэта-смолячанина шире и серьезней его «философии». Только самонаблюдение, только созерцание природы и поэтизация самого творчества не могут его удовлетворить. Большая же тема наших дней, тема сегодня творимой истории, трудна сегодня и ему Рыленкову. Вот поэтому-то в поисках широкой темы он уходит в давно прошедшие времена, в русское средневековье. И там отмеченное противоречие не исчезает, но оно выступает не так остро. А жизненный материал старины, с которым приходится при этом иметь дело поэту, оказывается даже

близким ему: природа, еще довлеющая над человеком, и человек, в своей общественной жизни еще так непосредственно связанный с природой, труд, еще не осложненный и не обогащенный техникой, простое «поэтическое» ремесло и т. п., — все это, естественно, привлекает творческий интерес Рыленкова.

И, конечно, не спроста в двух его больших поэмах «Великая зямлятя» и «Скоморох Овсей Колобок» главные герои напоминают уже знакомых нам старика-гравера и старика-лесника из лирических стихотворений «Березового перелеска».

Однако главное, конечно, не в этом очень внешнем, хотя и не случайном, сходстве эпических и лирических героев Рыленкова. Главное заключается в их различии.

Рыленков берет сюжетно острые и драматически напряженные моменты истории своего родного города. И герои его исторических стихотворений и поэм ведут жизнь, полную борь-

бы и романтики, они одушевлены великой и всепоглощающей идеей защиты родной земли.

В исторических вещах поэта появляется новый герой, какого нет в его лирике. Активность, борьба, самоотверженный труд придают иную цельность эпическому герою Рыленкова, более высокую, чем та цельность, какой обладает его лирический герой. Здесь цельность рождается из целеустремленности жизни, а не из ее созерцательного пассивного характера.

Вот поэтому-то исторические поэмы и стихи Рыленкова дают реальное основание надеяться, что он сможет в конце-концов преодолеть ограниченность своего мироощущения и притти от исторической темы к современной теме — сложной и трудной, — но зато самой живой и самой интересной для поэтического воплощения!

А переход к новой теме, может быть, отразится и на поэтике Рыленкова. Сейчас она слишком однообразна и традиционна.

Д. Данин

★

ШТУРВАЛ И ПЕРО*

Есть среди северных рассказов Джека Лондона «Рассказ про Киша» — про мальчика-индейца, который нашел остроумный способ убивать медведей и завоевал себе этим власть и почести. Началось с того, что однажды, после трехдневной отлучки, Киш возвратился в поселок «с гордо поднятой головой», неся свежую медвежатину на плечах. «И надменной была его поступь, а слова звучали дерзко».

Этот мальчик невольно вспоминается, когда читаешь о знакомстве Маврикия Слепнева в бухте Лаврентия со школьником-чукчей. Был случай, когда собаки мчали мальчика в гости к отцу, его застигла пурга, и, остановившись переждать ее, он неожиданно встретился с белым медведем. Мальчуган перевернул нарты, — чтобы собаки не утащили, взял ружье «и стал делиться. Застрелив медведя, он снял с него шкуру и принес домой. Рассказывая об этом, мальчик ничуть не хвастался. Было ясно, что он не раз бывал на охоте и застрелил медведя без всякого страха».

Само собою разумеется, Слепнев меньше всего собирался «полемизировать» с Джеком Лондоном. Тем не менее противопоставление получилось прямое и разительное.

Оба юных героя храбры, мужественны, находчивы. Но у них совершенно различное отношение к собственному героизму. Слишком несхожие факторы — общественные и психологические — формировали характер и мироощущение этих мальчиков.

По существу говоря, в тоне рассказа чукотского школьника о своей победе сказалась одна из отличительных черт советского человека: спокойное сознание того, что храбрость и умение побеждать в любой области — это

нечто естественное, единственно возможное. Именно эта уверенность исключает какую-либо «позу», «кокетство», вот эту самую «надменную поступь» победителя.

Разве не этим же сознанием и ощущением продиктована каждая строка папанинского дневника «Жизнь на льдине», «Записок штурмана» Марины Расковой, воспоминаний Чукова, Байдукова и Белякова и других знаменитых книг этого же ряда?

И, наконец, столь же просто, «ничуть не хвастаясь», как и встреченный им мальчик-чукча, рассказывает о своем участии в событиях выдающихся Маврикий Слепнев. А ведь то, что он делал, было для него в полном смысле слова осуществлением сказки, слышанной в детстве от матери, — сказки о «крае света», куда добратись можно только на ковре-самолете!

В чем завязка «Трагедии в проливе Лонга»? На «краю света», недалеко от мыса Северного, попали в ледяной плен два небольших корабля. Один из них (шхуна «Нанук»), принадлежащий американскому мехопромышленнику, возвращался с грузом пушнины из Сибири в США. Помимо экипажа на шхуне находился ее владелец — Свенсон с дочерью Мэри, корреспонденткой американских газет. Второй корабль, торгово-пассажирский пароход «Ставрополь», вез из Колымы во Владивосток несколько десятков советских работников с семьями. Свенсон и его шкипер Фонк, не раз бывавшие в Сибири, давно уже были знакомы с капитаном «Ставрополя» — Павлом Георгиевичем Миловзоровым. Старые моряки совместно обсудили положение кораблей и убедились, что оно не сулит ничего хорошего. Радисты передали радиогаммы: «Нанук» — в Фербенкс, «Ставрополь» — в Москву, с просьбой выслать самолеты для перевозки невольных зимовщиков.

* Маврикий Слепнев. «Трагедия в проливе Лонга». Журнал «Знамя», № 9. 1940.

Здесь, собственно, основное звено в цепи событий, происшедших в конце 1929 — начале 1930 года поблизости от суровой чукотской земли в проливе Лонга.

Прославленный американский полярный пилот Бен Эйельсон и его бортмеханик Эарл Борланд приняли предложение Свенсона — вылететь в район стоянки «Нанука». Советское правительство тем временем распорядилось организовать в Иркутске летный отряд из сибирских пилотов Слепнева и Галышева для отправки в район зимовки «Ставрополя». Еще добравшись на ледорезе «Литке» до бухты Провидения, советские летчики узнали об исчезновении американского самолета во время его второго рейса к борту «Нанука». Их очень заинтересовало, кто этот смелый пилот, летавший в такую пургу в диких, незнакомых местах. Участь американского товарища по профессии беспокоила их.

Советское правительство поручило Слепневу взять на себя руководство поисками американцев, в то время как Галышев на втором самолете эвакуировал часть пассажиров «Ставрополя».

Почти двадцать суток прожил Слепнев со своим другом бортмехаником Фарихом и другими полярниками в хижине, построенной ими из выплывших льдин, при «комнатной» температуре до 40° ниже нуля. Почти двадцать суток, под руководством Слепнева, три десятка добровольцев из команды «Ставрополя» прорубали траншеи в смерзшемся двухметровом снегу. Лагерь расположился недалеко от устья реки Амгуемы, у места аварии американского самолета. Крыло «Гамильтона-10002» было задолго до того обнаружено в воздухе другом Эйельсона — Кроссеном, но в дальнейших розысках крупные американские и канадские пилоты, прилетевшие на мыс Северный, оказались бессильными.

Слепнев рассказывает об этом скупой и сдержанно, именно здесь он просто излагает факты, предоставляя оценку их читателю. Но мы знаем: это была работа мужественная, самоотверженная, требующая огромного волевого напряжения и непреклонной энергии всего коллектива.

История гибели и розысков шеф-пилота Аляски Бена Эйельсона — соратника полярника Вилкинса и друга знаменитого Берда — в этом содержание «Трагедии в проливе Лонга». Вместе с тем воспоминания Слепнева представляют несомненный интерес и другой своей стороной. Многие страницы этой книги принадлежат к распространённому, излюбленному массовым читателем жанру «путешествий», путевых зарисовок.

Время действия «Трагедии в проливе Лонга» ограничено довольно тесными рамками. Зато место действия — несравненно шире, чем об этом можно было бы судить по заглавию. Повествование движется по огромному пространству.

Вот Слепнев и Фарих спешат на ледорезе «Литке» из Владивостока в бухту Провидения с остановкой в японском порту Хакода-

те. «Оказалось, что Япония находится очень близко от Владивостока. Уже ночью слева по борту корабля показались огни пролива. Капитан объяснил, что это — освещенная шоссе-сейная дорога, идущая вдоль берега японского острова Хоккайдо...»

Вот в мутном ночном сумраке Камчатки Слепнев покачивается на подпрыгивающих нартах, запряженных лучшей упряжкой ездовых собак.

Вот в американском экспрессе мчатся Слепнев с Фарихом из Сиэтла в Сан-Франциско, и каждый вагон этого поезда, вместо номера, имеет название, как корабль («Президент Тафт» и т. д.).

Вот на огромном океанском пароходе «Чичибу-Мару», идущем в свой первый рейс, друзья пересекают Тихий океан из Америки в Японию, и шпик, наивно прикинувшийся богатым будочником, вежливо, но неусыпно следит за «подозрительными» советскими пассажирами...

Вот, перед едущим в автомобиле Слепневым раскинулась панорама ананасных плантаций в окрестностях города Гонолулу — столицы Гавайских островов.

Для Слепнева эта «экзотика» и романтика имеют всю прелесть пережитого, испытанного, остро запомнившегося!

Но на пароходе, в экспрессе, на нартах, в автомобиле Слепнев — только пассажир. Гораздо увереннее чувствует он себя за штурвалом самолета. Может быть, и Слепнев-рассказчик тоже чувствует себя уверенней в описании полетов, и уж во всяком случае не скрывает он своего законного пристрастия к «авиационной теме». Мы видим его летящим над Средней Азией и над трассой Иркутск — Якутск, над Алданом, над Чукоткой и над «страной Джека Лондона» — Юконом. Именно в таких описаниях Слепнев находит особенно точные и выразительные слова, — спокойные, но глубоко волнующие.

«Трагедия в проливе Лонга» читается с подлинным увлечением. И дело не только в том, что увлекательны сами по себе события и факты, о которых идет речь, что трагичен и красочен материал книги; что живут в восприятии читателя четко очерченные Слепневым люди — типичная американская девушка Мэри, веселый, элегантный, деятельный «человек с бородкой» Фарих, старый шкипер Фонк, «выпускающий трубку из рта, только когда ему предлагают рюмку водки».

Автор, помимо этого, вовсе не скрывает тщательной заботы о литературной занимательности самого изложения. Эта установка видна даже в названии глав, напоминающем оглавление приключенческой повести («Герб из чистого золота», «Мэри спешит за медведем», «Нога из-под снега» и т. д.). Стремление к занимательности сказывается и в композиции вещи. Рассказывая о реальных событиях, Слепнев сознательно нарушает последовательность их, достигая этим большей выразительности. Кроме того, Слепнев нередко прерывает повествование отступлениями, чем-то вроде «вставных новелл»: «Мэри... просила

рассказать об охоте на белого медведя. Рассказывали все, в том числе и я» (следует рассказ); или, «чтобы успокоить капитана Рюда, я рассказал ему историю одного моего «пассажирского» полета над просторами Средней Азии» (и мы знакомимся с этой историей). Сюда же относится рассказ о забавном вразе Кеньке Петушке — своеобразном Тартарене с Чукотки — и др.

Слепнев не связывает себя строгой документальностью очевидца, не ограничивает свой рассказ лишь собственными воспоминаниями и личными наблюдениями. Эйельсона он видел только мертвым. Но он показывает нам знаменитого американца и в жизни. Перед нами не биографическая справка. Слепнев пытается воссоздать образ Эйельсона по рассказам Ма-

ри и друзей покойного. Правда, это делается мимоходом, но те немногие страницы, на которых Эйельсон говорит и действует, равнозначны со всеми остальными.

Слепнев не отказывается и от художественного дѣмысла. В главе «Пѣсѣц» он рисует картину гибели Эйельсона и Борланда, их поведение и переживания перед катастрофой, состояниѣ их машины. Но мы все время помним, что творческое воображение корректировано здѣсь профессиональным чутьѣм летчика, что талантливый журналист совмещается в Слепневе с опытным пилотом.

Воспоминания Героя Советского Союза Слепнева — не только яркий эпизод из истории советской авиации, но и одна из самых увлекательных повестей за последнее время.

Бор. Рясенцев

★

ОБШИРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ *

Во время происшедшего недавно в Союзе писателей обсуждения современной прозы один из ораторов говорил о том, что литература нашей периферии очень рахитична, что если слово «провинция» потеряло ныне свой прежний смысл, то применительно к художественной литературе этот смысл частично сохраняется. Замечание во многом справедливое. И поэтому с удовлетворением читаешь книгу А. Степанова: она свидетельствует о том, что в провинции появляются кадры интересных литераторов.

Книга эта посвящена интересной и нужной теме: русско-японской войне. В советской художественной литературе были произведения, рисующие столкновения русского и японского флотов: эпопея Новикова-Прибоя, роман С. Купера «День Марии». Военные действия на суше и в частности центральный эпизод кампании — оборона Порт-Артура не получили еще художественного отображения. Книга Степанова является первым крупным произведением этого рода.

«Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма» — писал Ленин. Освободившиеся после падения этой крепости крупные японские силы решили исход сражения под Мукденом и, тем самым, исход войны. С самого начала военных действий русское командование совершало одну преступную ошибку за другой. Уже за первые сутки войны из состава русского флота выбыло девять боевых кораблей (семь в Порт-Артуре, два в Чемульпо). Действия сухопутного и морского командования не были координированы между собою; неоднократно русские корабли, возвращавшиеся на Порт-Артурский рейд, обстреливались береговой артиллерией. И все-таки, героическая стойкость русских солдат и матросов и деятельность немногих честных и та-

лантливых командиров — в первую очередь адмирала Макарова и генерала Кондратенко — сделали то, что Порт-Артур в течение одиннадцати месяцев сопротивлялся несравненно превосходившим японским силам. Взятие этой крепости, защищавшейся пятидесятитысячным гарнизоном, стоило японцам 112 тысяч человек.

Да и самая капитуляция, с военной точки зрения, оказалась преждевременной. Сдача Порт-Артура генералом Стесселем была прямым предательством (это признал даже царский суд, разбивший дело Стесселя по возвращении его в Россию).

Обо всем этом рассказывает книга Степанова. В ней описан только первый этап кампании, завершившийся полным окружением крепости японскими войсками. Это, повидимому, лишь первая часть осуществляемой автором работы, начало реализации обширного замысла.

А. Степанов — очевидец описываемых им событий. По профессии инженер-механик, он — если не ошибаюсь — впервые выступает на литературном поприще. И это в книге чувствуется. Хорошее знание материала, основанное на личных встречах и наблюдениях, а также на изучении источников и документов, сочетается у него с достаточно пока ощутимой литературной неопытностью, некоторой писательской робостью. Вместе с тем его книга написана простым языком, без всяких стилистических ухищрений. Исполнизу солдатский лексикон, автор проявил хороший вкус, не поддавшись увлечению жанровыми словечками и поговорками.

Степанов знает свои силы. Он не стремится создать тонкий психологический рисунок; он даже избегает описаний природы. Автор сознательно ограничивает себя изображением событий, связанных с военными действиями, характеристикой быта и нравов солдатской и офицерской среды. Но эту поставленную перед собой задачу он решает уверенно и четко.

* А. Степанов. «Порт-Артур». Роман. Краевое книгоиздательство. Краснодар. 1940. Стр. 500. Тираж 8 000. Ц. 20 р.

В книге нет скучных мест, в ней нет длиннот и ненужных отступлений, чем так грешат многие подобные произведения. Автор развертывает большое, красочное полотно, наполняет свое произведение обилием персонажей, с подробностями описывает смотры, балы и сражения. Делается это все с соблюдением чувства меры, вставные эпизоды искусно вкраплены в повествование и не выпадают из общего плана. Только иногда — особенно в первых главах книги — материал несколько рыловат, перед читателем проходит непрерывной вереницей очень много имен и лиц, еще лишенных какой бы то ни было индивидуальности.

А. Степанов сумел благополучно преодолеть препятствия, погубившие не одно произведение: в его книге есть стержень, чувствуется, что автор имеет определенную концепцию, в свете которой он рассматривает все события; и в то же время его книга далека от примитивной агитационности, плакатного, навязчивого упрощения, когда автор на каждой странице напоминает — не забудьте, мол, что такой-то хорош, а такой-то плох.

Портреты центральных персонажей получились у Степанова достаточно убедительными.

Таков, например, поручик Борейко — прямая и несдержанная натура, бреттер и пьяница, но честный патриот, порядочный человек и талантливый артиллерист.

Таков и пользовавшийся симпатией солдат, адмирал Макаров. Степан Осипович Макаров отнюдь не собирался ходить на помочах у петербургского начальства, как то делал его предшественник адмирал Старк. Автор книги приводит инструкцию морского генерального штаба, в которой запрещалось вступать в бой с главными силами японского флота до возвращения в строй подорванных в первый день войны кораблей, но в то же время предписывалось тревожить противника миноносцами и легкими крейсерами. Степанов удачно сопровождает эту инструкцию следующим диалогом между Макаровым и его адъютантом.

«— Это за десять тысяч верст, из Питера, дают мне инструкции! Смешно, если бы не было так грустно! Что же мне от японцев в гавани прятаться, а не вести войну? Хороши налеты миноносцами, когда у нас их едва двадцать, а у японцев больше сотни.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство, — перебил его Дукельский, — при адмирале Старке фактически флотом командовал сам наместник. Он, в свою очередь, получал директивы из Петербурга.

— Я не Старк и командовать флотом собираюсь сам».

Степанов рассказывает о борьбе, которую пришлось выдержать Макарову с местным генералитетом. Несколько скомкано только описание трагической гибели талантливого адмирала. (В частности, было бы интересно, если бы автор коснулся версии о том, что «Петропавловск» наскочил на русскую мину.)

Но вот фигура Кондратенко может вызвать справедливые упреки читателя. Правда, в первые месяцы кампании Кондратенко не успел

еще вполне проявить себя, но все же в изображении его автор пользуется более скучными средствами. Потому ли, что А. Степанов располагал менее обширным материалом для обрисовки этого человека, потому ли, что не так ясно представлял его себе, но он не сумел показать читателю Кондратенко с той же подкупающей свежестью и простотой, как «бородатого адмирала». Кондратенко появляется как то урывками, произносит несколько ободряющих фраз и опять исчезает. Цельного впечатления о нем, как о военачальнике, не получается, и, может быть, чувствуя это, автор беспрестанно приводит недоброжелательные отзывы о Кондратенко Стесселя и компании, словно пытается восполнить этим недостаточность «позитивной» характеристики своего героя.

Удачно показаны в книге чета Стесселей, генерал Фок, штабс-капитан Чиж и подобные им — изменники и трусы, ненавидевшие и презиравшие солдат и в свою очередь, ненавидимые и презираемые ими.

Большая заслуга автора в том, что он просто, без «нажима», показал скромный героизм солдат. Вот — Глаголев, бегущий от расстрела, которым грозят ему за пустячную провинность начальники типа Фока; но когда дезертир Глаголев попадает в плен, он, несмотря на бесчеловечную экзекуцию, отказывается дать какие бы то ни было сведения и умирает в японской тюрьме. Вот описание боя на подступах к Порт-Артуру, когда оставленный без подкреплений небольшой отряд в течение нескольких дней отбивал непрерывные атаки нескольких японских дивизий. Два раненых солдата отыскивают Кондратенко, чтобы сообщить ему о подготовке врагом новой атаки.

«— Кто у вас остался из офицеров? — спросил Роман Исидорович, выслушав доклад.

— Почитай, с полудня никого нет, всех побили.

— Кто же вами командует?

— Миром держимся, ваше превосходительство. Кто раненый, того с горы отпускаем. А которые целы, те сидят — подмоги ожидают, беда только, — патроны на исходе, — доклады вали солдаты.

Кондратенко с нежностью смотрел на добродушные, загорелые лица солдат, доверчиво глядевших на него, видимо, не сознавая всего героизма совершаемого ими там, на горе, подвига».

Не удалась автору любовная линия — роман Звонарева и Вари. Она намечена слабо, пунктиром, очень невыразительно, словно автор хотел отписаться, уплатить своеобразную дань литературной традиции. Уже лучше было вовсе не касаться этой темы.

Попадаются неточности в описании боевых столкновений. Например, А. Степанов, рисуя бой с японцами у Дальнего, отводит преувеличенно большую роль в этом сражении пулеметному огню. Между тем в начале войны в Порт-Артуре имелось лишь несколько пулеметов.

Но это — частности. Гораздо важнее другой недостаток: А. Степанов, написавший книгу в 500 страниц, детально описавший все перипетии морских и сухопутных сражений, совершенно обходит молчанием вопрос о причинах русско-японской войны. Самая война с Японией, продиктованная царизму крупной буржуазией и наиболее реакционной частью помещиков, была захватнической с обеих сторон.

Обо всем этом надо было, хоть кратко, но со всей четкостью сказать, чтобы читатель имел правильную историческую перспективу.

В заключение — еще одно замечание.

Книга Степанова названа издательством романом. Тут перед нами пример довольно распространенной нечеткости жанрового разграничения. Если воспользоваться одним из употребительных определений жанра, то ро-

мая — это произведение, в котором в художественной форме показана эволюция характеров в органической связи с характером социальной среды. С этой точки зрения, произведение Степанова не может быть названо романом: в нем нет развития характеров, нет сопряженной с ним сюжетной линии, нет, в сущности, героя. Это — умелое повествование о важных, интересных событиях, построенное по принципу последовательного хронологического описания, изображение фактов, добросовестно изученных писателем. Правильнее назвать это произведение исторической хроникой.

Издана книга аккуратно, но иллюстрации, — очевидно, в силу технических причин — получились очень расплывчатыми и неудачными. Непомерно высока продажная цена книги.

К. Осипов

★

КНИГА О ПОЭЗИИ БРЮСОВА *

Роль Валерия Брюсова в русской литературе XX века очень велика. Поэзия Брюсова знала взлеты и падения, это была поэзия исканий. Почти с самого начала своей деятельности поэт объявил войну стихотворным шаблонам и канонам. И с такой же решительностью, с какой Брюсов провозглашал рождение символизма в русской поэзии, он объявил о смерти символизма, когда последний стал прокрустовым ложем для поэта.

Выясняя в своей книге «Поэзия Валерия Брюсова» общественные, социальные условия, породившие на русской почве символизм, Д. Максимов определяет роль Брюсова как новатора, как вождя новой литературной школы. Вместе с тем, анализ поэтического творчества, теоретических высказываний, писем и дневников поэта приводит автора книги к правильному выводу: «Связь Брюсова с символизмом была сложной и крайне противоречивой». Брюсов сравнительно рано понял, что в символизме ему становится все более тесно, душно. Поэтому и будучи символистом, он часто изменяет своей школе, своей «вере». Что общего, скажем, между символизмом как литературно-идейной школой и таким народным стихотворением, как «Каменщик»? (Интересно, что в Каргополе Олонецкой губ., в местной тюрьме, арестанты пели «Каменщика» «на мотив, сложенный ими самими».)

Представляют интерес до сих пор неизвестные, впервые напечатанные Д. Максимовым высказывания символиста Брюсова, сурово критикующего педантов своей литературной школы.

Максимов убедительно показывает, что чисто символистских стихотворений у Брюсова немного, что «их удельный вес в его твор-

честве невелик», что Брюсову был чужд мистицизм символистов. Однако Брюсов, вождь школы, должен был соблюдать все же ее престиж. Поэтому он не напечатал в своем сборнике «Chefs d'oeuvre» ряда стихотворений, «здоровая и очень жизнерадостная сущность которых целиком расходилась со всем составом сборника». Исследователь делает верный и интересный вывод: «...принимая поэзию молодого Брюсова не в тех тесных рамках, которыми ограничивала ее его декадентская «партийность», а в ее «свободных», «стихийных» проявлениях, — образ этой поэзии и образ стоящего за ней автора предстанет значительно изменившимся». Образ этот становится более жизнеутверждающим и многосторонним.

Д. Максимов верно замечает, что намного важнее собственного «декадентского опыта» была для Брюсова «гуманистическая традиция, воспитанная... культурой Пушкина, Льва Толстого, древних и западных классиков и поддержанная, хотя бы и очень отдаленно, атмосферой общественного подъема 90-х гг.». Произведения Брюсова, посвященные античности, мифологии, как показывает на ряде примеров Максимов, вовсе не были при этом бегством в прошлое, и они имели «остро современное содержание».

Подвергая анализу стихи Брюсова на разные темы, Д. Максимов показывает, как сложна, остра и противоречива была борьба Брюсова с буржуазной действительностью, с ее «страшным миром», который стал объектом творчества поэта и неоднократно подчинял его себе. Впоследствии Брюсов вырвался на широкий простор творчества, уже несомненно совместимого с этим «страшным миром». Максимов видит «центральное и основное противоречие брюсовской поэзии» в отношениях поэта со «страшным миром». (Заметим, кстати, что эти

* Д. Максимов. «Поэзия Валерия Брюсова». Гослитиздат. 1940. Стр. 300. Тираж 5 000. Ц. 8 р. 50 к.

взятые в кавычки слова повторяются чуть ли не на каждой странице, иногда по несколько раз; «страшный мир» становится назойливым; к чему это?)

Брюсов, даже ранний, был поэтом широкого творческого кругозора и новатором формы, — автор наглядно показывает это, говоря о незаконченном цикле стихов, своеобразной эпопее «Сны человечества», в которой Брюсов «пытался имитировать лирику всех времен и народов». Недаром Горький говорил впоследствии о Брюсове, как о «самом культурном писателе на Руси». Верно и то, что, как пишет Максимов, Брюсов далеко не всегда находил полноценное творческое воплощение для своих грандиозных замыслов.

Весьма интересно замечание Блока о формальном новаторстве и виртуозности Брюсова: на 96 стихотворений первого издания «Urbi et Orbi» приходится более 40 разных размеров, при этом, — замечает Блок, — некоторые из них (vers libres) усвоены русским стихосложением впервые».

Максимов отмечает большую роль Брюсова — переводчика французских, античных поэтов, Данте, Гете. Брюсов первый дал русскому читателю Верлена и Верхарна. Эта работа, действительно, очень значительна, но вряд ли можно согласиться с таким категорическим утверждением автора: «Если бы творческая работа Брюсова исчерпывалась переводами Верхарна, то и этого было бы достаточно, чтобы признать Брюсова одной из ведущих сил в русском поэтическом творчестве XX века». Все-таки одной из ведущих сил в русской поэзии сделали Брюсова его оригинальные произведения, а не переводы, пусть и первоклассные.

Автор книги напоминает читателю и о том, что Брюсов был в первом ряду пушкинцев: он написал около ста статей о Пушкине, большая их часть имеет глубоко исследовательский характер. Хотя Пушкиным занимались и другие символисты, однако именно Брюсов «подошел к подлинному Пушкину ближе, чем они. Следовательно, и здесь он оказался впереди символистов». Стоило бы вспомнить и о том, что уже в советское время (1919) Брюсов осуществил научное издание лирики Пушкина (т. I, часть первая незавершенного собрания сочинений).

Деятельность Брюсова была настолько энергичной и разносторонней, что, казалось бы, должна была принести ему большое удовлетворение. Но Валерий Яковлевич записывает: «Боже мой! боже мой! Если бы мне жить сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня».

Освобождаясь от декадентства, Брюсов все более приближался к пушкинской традиции. Д. Максимов подтверждает это и анализом творчества Брюсова, и высказываниями поэта. Особенно интересна такая запись (1904): «Выбери себе героя — догони его, обгони его» — говорил Суворов. — Мой герой — Пушкин. Когда я вижу, какое количество созданий великих и разных набросков, поразитель-

ных по глубине мысли, оставалось у него в бумагах ненапечатанными, — мне становится не жалко моих, неведомых никому, работ. Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго, д'Аламбера, теорию вероятностей, Гизо, историю средних веков, — мне не обидно, что я потратил годы и годы на приобретение знаний, которыми не воспользовался».

Нужно отметить: ряд своих утверждений Максимов сопровождает такими обговорками, что от основного утверждения иногда ничего и не остается. Стремление исследователя избежать схематизма, показать поэта во всех его противоречиях можно только приветствовать. Но у Д. Максимова это влечет за собой иногда противоречивость самого анализа. Боясь, очевидно, как бы его не заподозрили в том, что он ставит знак равенства между Пушкинным и Брюсовым, Максимов приводит соображения, в сумме своей оспаривающие его собственное утверждение о пушкинских традициях: 1) поэзия Пушкина не могла изменить поэзию Брюсова по существу, влияние Пушкина «как бы распространилось на ее поверхность», 2) «преодолеть целиком сложные, алогичные, внутренние противоречивые формы языковой традиции символистов Брюсов так и не мог», 3) поэзия Брюсова лишена нюансов, его стихи несколько однотонны.

Что же остается от пушкинской традиции, от пушкинского влияния?

Брюсов говорил о том, что Писарев, Добролюбов и Дарвин были знакомы ему с детства, что о материализме он «узнал раньше, чем научился умножению». Максимов отмечает значение этого высказывания Брюсова и тут же как бы опрокидывает собственное утверждение: «культура «Добролюбова» и «материализма» дошла до Брюсова лишенной огня и страсти, обезличенной и кастрированной либералами-народниками и в таком виде не была в состоянии серьезно повлиять на Брюсова и сформировать его духовную личность» (разрядка автора книги). Элементы материализма, воспринятые Брюсовым с детства, отчасти сформировавшие его личность, помогли поэту в последние годы его жизни понять и принять марксизм, — Максимов же преуменьшает значение того, о чем Валерий Яковлевич правдиво и убедительно говорил в день своего пятидесятилетия, когда его чествовали. Опять противоречие у автора; ведь сам он верно говорит в одном месте: «Вряд ли можно вполне осмыслить и истолковать дальнейшие этапы его (Брюсова) развития, приведшего его к Октябрю, не приняв во внимание той жизненности и бодрости переживания природы и мира, на которую Брюсов был способен еще в 90-х гг...»

Отметим как бесспорную удачу исследователя часть третью его книги «Революция 1905 года и ее наследство в поэзии Брюсова». О Брюсове периода русско-японской войны, о его кратковременном увлечении шовинизмом и разочарований в нем, рассказано до-

вольно обстоятельно и глубоко. Используемые Д. Максимовым неупотребленные материалы говорят о том, что Брюсов вскоре разглядел истинный смысл «российского милитаризма и официальной российской государственности». Поэт сочувствовал революции. Об этом говорят такие его стихи 1905 года, как «Довольным», «Грядущие гунны», «К счастливым» (1906) и другие. Верно, что эти стихи, наряду со стихами Блока, занимают по своему художественному качеству первое место в русской гражданской лирике периода революции 1905 года. Эти стихи Брюсова являются также «свидетельством несомненного, хотя и частичного, преодоления Брюсовым буржуазной идеологии». Д. Максимов сопоставляет при этом отрицательное высказывание Струве о «политической и социальной революционизации... народных масс» с высказыванием Брюсова, выступающего против либеральной болтовни, против кадетов, за революционное действие.

Интересно, что, в отличие от Блока, Брюсов видел первую и главную силу революции не в крестьянстве, а в пролетариате. Преувеличенным представляется нам, однако, такой вывод: «представление о масштабе социалистического движения он (Брюсов) имел совершенно правильное».

Анализ Д. Максимова обстоятелен и зачастую убедителен. Автор выясняет социальный смысл того или иного стихотворения, либо цикла стихов, устанавливает литературные влияния, исследует язык Брюсова. Это не узко стилиевый анализ, а ценная исследовательская работа, которая рассматривает поэта на фоне эпохи и ее литературы и которая не забывает индивидуальных особенностей стиля Брюсова.

Автор привлек очень много материала,รวบรวม поэта чуть ли не по всем «косточкам», дал его во многих опосредствованиях, но нередко эта дробность анализа приводит к тому, что пропадает облик живого поэта, разрушается художественная ткань произведения.

Автор хочет доказать, что, хотя Брюсов часто обращается к природе, эти его стихи довольно вялы и тусклы, менее значительны, чем урбанистические произведения. И приводит несколько строк из стихотворения «У земли», стихотворения совершенно, отличающегося глубокой эмоциональной силой. Получается же по Максиму, что и «У земли» — «довольно вялая и тусклая» вещь.

Принято почему-то считать Валерию Брюсову поэтом холодным, рассудочным, хотя у него очень много стихотворений вдохновенных и страстных. Миф о холодности поэта разделяет и Максимов (стр. 108, 167). Природа в прекрасной поэме «Царю Северного Полуся», свидетельствующей о пылком уме и таланте большого художника, оказывается в трактовке Максимова декоративной.

Сам Максимов называет Брюсова поэтом страсти и поэтом мысли (разрядка Максимова) и тут же говорит о его рассу-

дочности, как о художественном принципе. В подтверждение приводятся слова Блока: «Умея ковать стихи, Брюсов умеет ковать и идеи, не давая им расплываться. Это — черта большого поэта. Самые нежные мысли у него не падают в бездну пресловутого «настроения»... Брюсов всегда закончен, чеканен».

Да, у Брюсова есть немало рассудочных стихов, встречаются и холодные, но говорить о рассудочности поэта, как о его принципе — значит снова противоречить самому себе. Хорош был бы поэт страсти, у которого страсть... рассудочна! Блок не то говорил в приведенной цитате. Он говорил о законченности и чеканности Брюсова, а не о его «рассудочной страсти».

Д. Максимов отмечает некоторые демократические тенденции в творчестве дореволюционного Брюсова. Отмечает он и известное тяготение поэта к исканиям футуристов. И в то же время категорически утверждает: «в годы, предшествующие Великой Октябрьской революции, Брюсов оставался в стороне не только от революционно-демократической литературы, но и от футуристских исканий».

Говоря о закономерности прихода Брюсова к революции, к коммунистической партии, говоря о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция благотворно повлияла на поэта, почувствовавшего в ней родное и близкое, Д. Максимов одновременно преуменьшает значение послеоктябрьского творчества Брюсова. «...Брюсов не мог органически слиться с интересами революционной повседневности и не сумел подойти к революции в ее конкретном творческом плане» — заявляет Максимов (разрядка его же), хотя только-что он приводил и высоко оценивал послеоктябрьские стихи Брюсова, стихи, подтверждающие обратное: Брюсов воспринимал революцию в самом конкретном и самом творческом плане. «Третья осень», «Оклик», «К России», стихи о Ленине, «У Кремля», «Только русский», «Товарищам интеллигентам» и другие несколько не уступают в художественной силе лучшим дореволюционным произведениям Брюсова периода «Urbi et Orbi». Надо говорить о срывах, которые бывали у поэта как до революции, так и после Октября, но утверждать, что в конкретном творческом плане он не сумел органически слиться с интересами революционной повседневности, — значит, говорить неправду. В жизни; считает Д. Максимов, Брюсов был безусловно деятельным и полезным советским работником, а вот в поэзии, видите ли, «подкачал»! Между тем и в жизни, и в творчестве Брюсов именно органически был с Октябрем, с рабочим классом, с народом. Этому не противоречат ни срывы Брюсова, ни его признания о трудности перестройки.

Для Д. Максимова послеоктябрьский Брюсов — «стареющий и утомленный поэт», изнемогающий под грузом прошлого, хотя у стареющего Брюсова было много поистине молодого задора, вдохновенных исканий и удач.

Если бы Брюсов был только стареющим поэтом, он не написал бы пламенных и мудрых стихов о Ленине. не написал бы стремительно-страстной инвективы «Говарнцам интеллигентам».

Недооценка послеоктябрьского творчества Брюсова — самый существенный порок работы Д. Максимова.

Книга рассчитана на подготовленного читателя, знающего поэзию, знающего Брюсова. Жаль, что многие страницы написаны скучно. Пусть исследование — не роман, но мы в праве требовать и от такой работы простоты, ясности и даже увлекательности. Д. Максимов любит трудные обороты речи и иностранные слова. когда в них нет никакой необходимости. Вот, например, фраза: «Сочетание в любовной лирике Брюсова этих двух эротических аспектов, представленных в различных градациях и вариантах, само по себе указывает на ее тематическое богатство и разнообразие» (стр. 115). Или: «Не расши-

рение темы объективно-связанными с нею ассоциациями-образами, покоящиеся на едином, непосредственном восприятии объекта, а развертывание ее путем контрастного сопоставления, основанного на логическом, дифференцированном мышлении» (стр. 154). Неужели нельзя сказать проще и понятнее?

Флибуштер аистезированные вкусы, медитация, эмфатическая форма, лексическая объективация и т. п. — неужели нельзя обойтись без этих слов?

Отмеченный недостаток книги тем более непростителен, что автор при желании умеет писать просто, без внешней «учености», несколько не снижая при этом качества своей исследовательской работы. И образ замечательного русского поэта Валерия Брюсова именно тогда привлекает к себе пристальное внимание читателя. Хочется особо отметить страницы, посвященные теме труда в творчестве Брюсова (конец третьей части), они содержат глубокий анализ и написаны ярко и просто.

Борис Гроссман

★

ПОРТРЕТ АКТРИСЫ *

Кто видел Ермолову, — забыть ее не может. Это было равносильно глубокому потрясенню души, после которого человек становится чище и сильнее. Ермолова открывала перед зрителями широкие горизонты жизни. Роли Лауренсии, Жанны Д'Арк Мария Николаевна делала с такой страстью, что в сумерках российского самодержавия голос актрисы звучал, как набатный колокол, призывая к борьбе, к восстанию.

Но таких ролей с прямыми политическими ассоциациями было немного. А известно, что за полвека своего сценического творчества Ермолова создала на сцене множество женских образов: Эмилию Галотти — Лессинга; Джульетту, Офелию, Дездемону, леди Макбет, Джессику, Гонорилью — Шекспира; Луизу, Марию Шотландскую — Шиллера; Катерину, Ларису, Елену Кручинину, Олену, Марину Мнишек, Весну-Красну — Островского, Маргариту и Клеркен — Гете; Юдифь — Гудкова; Настасью Филипповну — Достоевского; Фру Альвиэг — Ибсена, королеву Анну — Скриба и десятки других ролей, а среди них и незначительные, в которые авторы не вложили сколько-нибудь серьезных идей.

Ермолова ушла, не оставив после себя ни учеников, ни теории мастерства. Малый театр имел школу Щепкина; даже неустойчив, необузданный Мочалов оставил после школы; наконец, труппу этого театра воспитывал Ленский, и мы знаем, как воспитывал, — но что мы знаем о лаборатории творчества Ермоловой? Почти ничего. Она ушла, оставив по-

сле себя только неумирающую славу и ворох пылких признаний покоренных современников...

Книга Т. А. Щепкиной-Куперник подводит нас очень близко к внутреннему миру Ермоловой, — в этом смысле есть страницы просто драгоценные. В течение ряда лет Щепкина-Куперник была тесно связана с семьей актрисы и имела возможность точно проверить все, о чем она пишет. Надо прежде всего сказать, что книга оставляет впечатление очень внимательного труда, и Щепкина-Куперник нигде не переходит той грани, которая в иных случаях отделяет писателя от свидетеля, домысел от факта. Написанная отличным языком, эта интересная книга обладает тем достоинством, что содержание ее не исчерпывается фактографией. В центре повествования все время стоит живой и развивающийся психологический образ Ермоловой человека и актрисы, особенно актрисы.

Книга начинается с рассказа о семье М. Н. Ермоловой и о детстве, проведенном в подвальном этаже церковного домика. Описание, вначале скупое, становится полнее и содержательнее, когда автор переходит к годам юности актрисы и привлекает не только записи воспоминаний родственников, но и страницы ранее неопубликованных дневников и писем Ермоловой.

Простая и скромная, сосредоточенная девушка, дочь суфлера Малого театра, меньше всего думает о себе самой. С детства ее жизнь наполняют образы героев пьес и разговоры об актерах. Не ради удовлетворения тщеславия и не ради «легкой» и шумной актерской жизни любит театр в этой семье. Мария Николаевна с детства причащается видеть в искусстве серьезный труд с единственной его целью: раскрывать необходимую людям кра-

* Т. А. Щепкина-Куперник. «О М. Н. Ермоловой» (Из воспоминаний.) Редакция и вступительная статья В. Филиппова. Издание Всероссийского театрального общества. М.—Л. 1940. Стр. 224. Тираж 3 250. Ц. 10 р.

соту и силу поэтических творений. Ермолова становится актрисой, Москва восторженно встречает появление нового яркого дарования на сцене, и тут же вскоре мы находим в дневнике М. Н. запись:

«Я бы желала, чтоб бедный человек уходил из театра с мыслью, что есть хорошая другая жизнь, или, сочувствуя страданиям актрисы, он бы забывал свои страдания, о своем горе, я бы желала, чтоб он смеялся от души и забывал, что он в театре. Вот почему я люблю искусство. Желая от всей души принести пользу, но приношу ли?.. не знаю».

Что же личное у Марии Николаевны требовало этого «сочувствия» к себе? Что не могло молчать в душе этой актрисы, когда она, еще неопытной девушкой и не отдавая себе во многом отчета, уже будила сердца и умы зрителей? Почему гений Ермоловой приобрел сразу такую силу и затем нес ее искусство полвека на такой общественной высоте?

В книге Щепкиной-Куперник мы находим многое, что поможет ответить на интересующие нас вопросы. Прежде всего Ермолова абсолютно бескомпромиссно и бескорыстно относилась в жизни и на сцене ко всему, что касалось области чувств и этических понятий. Это моральная цельность? Да, но мы находим здесь не банальную прописную мораль, а постоянное стремление к самому лучшему, самому глубокому и сильному, на что способна человеческая личность. Необычайно скромная и даже пассивная там, где дело шло о ее личных делах, например, о получении тех или иных ролей, Ермолова становится в искусстве неукротимым бордом за человека, за его совесть и свободу, за прямоту, честность и искренность, за цельность переживаний.

Откуда М. Н. Ермолова черпала это стремление? Тут мы подходим ко второму ответу на все вопросы. Вл. Немирович-Данченко говорил про нее: «Какому учету может поддаться ваше незримое влияние на театр? — Чем ближе вера артистки к духу правды, к духу истины, тем глубже и сильнее ее корни». У нас нет сомнений, что корни творчества Ермоловой лежали в ее отношении к народу, в ее любви к нему. Поэтому ее творчество и наполнено такой героической и нежной, такой чистой и горячей человечностью, поэтому оно такое могучее в своей мужественности и женственности...

В противоположность многим, писавшим о Ермоловой, Щепкина-Куперник не идеализирует любимую актрису, а передает правдивый образ реального человека, женщины с простым и цельным характером, которая страдала, любила и много трудилась. Ермолова в этой книге — живая, это не человек-легенда, а прилежная упорная труженица, у которой прежде всего надо учиться отношению к труду художника.

Особенную ценность эта книга приобретает потому, что Щепкина-Куперник подробно раскрывает внутренний мир героев классических произведений именно таким, каким его воссоздавала Ермолова, и освещает индивидуаль-

ные черты ее актерского исполнения. Становится осязаемым и наглядным, как реалистическое начало у Ермоловой сочеталось с ее романтическим пафосом. Тут трудно пересказывать, пришлось бы цитировать целыми страницами, чтобы передать богатство, интенсивность, страстность исполнения, которое захватывало слушателя и зрителя, когда Ермолова читала стихи или играла на сцене. Скажем только, что очень хорошо описано Щепкиной-Куперник чтение Ермоловой стихотворений Пушкина и Лермонтова, исполнение ею ролей Жанны д'Арк, Сафо (в одноименной пьесе Грильпарцера), Гермiony в «Зимней сказке» Шекспира. Это страницы настоящего углубленного искусствоведения.

Очень ценны также воспоминания автора об игре Ермоловой в пьесах Островского «Воевода», «На пороге к делу», «Последняя жертва», «Невольницы». Между прочим, Щепкина-Куперник устраняет одно неоднократно повторявшееся в нашей театральной критике недоразумение, что Ермолова якобы не любила драматургии Островского. Она сыграла в его пьесах 18 ролей и многими из них была увлечена.

В главе «Как работала Ермолова» автор хочет сделать выводы из всего сказанного им раньше и разгадать «тайну» соединения в творчестве величайшей артистки двух разных начал: стихийного «мочаловского» вдохновения и «щепкинской» разумной дисциплины и работы над собой. Эта тема, очевидно, неисчерпаема, потому что творчество гения равносильно жизни природы, и, как природа, оно сложно, глубоко, оно таит в себе все новые и новые открытия. И нет нужды обвинять Щепкину-Куперник в том, что ее разбор техники игры актрисы не слишком профессионален. Напротив, в этом пожалуй, ценность рецензируемой книги. «Диллетантизм» автора в некоторых специально актерских вопросах не помешал увидеть то, чего, быть может, не увидел бы узкий профессионал, но что видит человек широкой культуры, чутко воспринимающий многообразные явления искусства.

И мы, в частности, целиком соглашаемся с целым рядом выводов Щепкиной-Куперник, которые ведут, в сущности, к мысли о том, что актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем прежде всего человека.

Успех дела Ермолова всегда ставила выше личного успеха. Она любила искусство больше самой себя. Она была чужда тени самолюбования. По отношению к себе была очень строгим критиком. Рассматривала себя только как член коллектива... Все это верно так же, как верно, что все это прямо относится к теме «как работала Ермолова». И нам думается, что без этого она не стала бы на сцене, как говорил про нее К. С. Станиславский, целой эпохой для русского театра, а для нашего поколения — символом женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности.

В других главах книги нужно отметить несколько новых сообщений автора, дополняю-

щих прежние биографии Ермоловой (в частности обстоятельную книгу М. Лучанского, выпущенную в 1938 году в серии «Жизнь замечательных людей»). Речь идет о личном окружении актрисы и ее литературных вкусах.

Чувство художественной и психологической меры и литературное мастерство изменяют автору только в конце книги. В последней главе слишком подробно и многословно описано угасание Ермоловой в старости и ее смерть.

Нельзя не отметить странное утверждение

В. Филиппова. В предисловии к книге он пишет: «Не прибегая к каким бы то ни было внешним приемам игры, не ища даже и внутренней характерности, Ермолова заставляла зрителя верить каждому ее сценическому созданию, всегда дававшему иллюзию перевоплощения». Так, вместо анализа мастерства (для чего, собственно, и пишутся такие книги), неожиданно раздается проповедь какого-то гипнотизма, свободы от формы, пренебрежения к профессиональному мастерству...

Х. Херсонский



КОРОТКО О КНИГАХ

«КИТАЙ». — «Героическому китайскому народу» — таким посвящением открывается сборник «Китай», подготовленный Институтом востоковедения, выпущенный сейчас в свет издательством Академии наук СССР. Сборник этот — подлинная энциклопедия Китая. В статье крупнейших наших китаеведов, в том числе академика В. М. Алексеева, широко освещены история, экономика, культура Китая и героическая борьба его народных масс за национальную независимость.

Специальные статьи посвящены китайскому искусству, литературе, философии, религии, языку и письменности, состоянию народного образования, здравоохранения и т. д.

История и сегодняшний день китайской литературы последовательно освещены в историко-библиографическом очерке академика В. Алексеева, в обзоре новой и новейшей литературы Китая Н. Петрова и в статье Эми Сяо «Литература и искусство Китая в борьбе за национальную независимость». Эми Сяо рассказывает о том, как работают на линии огня группы деятелей литературы и искусства по обслуживанию фронта.

«ИСТОРИЯ АНТИЧНОГО ТЕАТРА». — Проф. Б. В. Варнеке — специалист по античной литературе и исследователь театра. Написанная им «История античного театра» является итогом его сорокалетней педагогической деятельности.

Б. В. Варнеке характеризует греческий античный театр в его реалистической основе, в связи с явлениями общественной жизни. Именно эта основа, — говорит Б. Варнеке, — и позволила античному театру постепенно подняться «первобытную обрядовую драму до совершенства яркого, правдивого и мастерски отделанного воплощения самых глубоких чувств и переживаний человека, достигшего всей доступной в условиях рабовладельческого общества полноты развития».

Заключительная глава «Вклад античности в общую историю театра» подводит итог развитию театра в античной Греции и Риме. Она прослеживает «вторую жизнь» эллинской и римской драматургии, оказавшей своими образами и сюжетами непосредственное влияние на великих драматургов XVII и XVIII веков.

«История античного театра» Б. В. Варнеке вышла в издательстве «Искусство» и утверждена Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учебника для театральных вузов. Это целевое назначение книги отражено и в ее композиции.

Остается пожалеть, что кое-где стиль книги слишком громоздкий. Встречаются нередко такие, например, усложненные фразы: «Муки отца, после долгой борьбы подчиняющегося этому приказу в сознании своего долга перед родиной, доходят до высшего предела, когда дочь с царицей, вызванные им в военный стан под предлогом выдачи дочери замуж за лучшего из женихов Эллады Ахилла, приехали на свадьбу и он должен скрывать от них горькую правду».

В дальнейших изданиях эти мелкие недочеты должны быть устранены.

«ШЕВЧЕНКО». — Мариэтта Шагинян написала увлекательную книгу о Шевченко. В ней много счастливых находок, расширяющих обычные рамки биографии великого украинского поэта. Например, благодаря привлечению неизвестного до сих пор дневника Бутакова, руководителя Аральской экспедиции, в которой участвовал ссыльный Шевченко, этот период его жизни дополняется новыми существенными чертами. Мариэтта Шагинян впервые документально устанавливает чрезвычайно важный факт личного свидания Шевченко с Чернышевским, состоявшегося между 2 и 22 сентября 1859 года.

Мариэтта Шагинян ополчается против всего, что хоть малейшим образом может исказить для нас жизненный и творческий облик поэта. Она с большой любовью рисует его образ, исключительное многообразие его гения. Характеризуя Шевченко, как поэта, драматурга, художника, скульптора и архитектора, М. Шагинян едва ли не впервые ставит вопрос о значении его русской прозы, сопоставляемой ею с гоголевской.

Иллюстрации к книге о Шевченко подобраны также тщательно и с большим отбором. Частично она иллюстрирована рисунками Шевченко из фондов Харьковской картинной галереи, нигде раньше не воспроизводившимися. Книга хорошо издана Гослитиздатом.

«АМЕРИКАНСКИЙ КИНОСЦЕНАРИЙ». — «Проблема драматургии является ведущей в советской кинематографии. Сценарный вопрос по существу оказывается решающим для дальнейшего развития советского кино». Так характеризует нынешний момент в кинематографии И. Трауберг в вводной статье к книге Тамар Лейна об американской кинодраматургии, выпущенной в свет Госкиноиздатом. При этом, конечно, И. Трауберг оговаривается, что принципы американской драматургии должны осваиваться советской кинематографией весьма критически. Лучше всего это подтверждают напечатанные во второй части книги образцы авторского и режиссерского сценария. Оба эти сценария — и «Курс на Бродвей», и «Трансатлантическая увеселительная прогулка» — при всей их драматургической остроте и профессиональном совершенстве идейно достаточно легковесны. Правда, сам Тамар Лейн считает необходимым специально оговорить, почему он прибегает к такому весьма сомнительному образцу, как «Курс на Бродвей», когда в американской драматургии есть произведения, гораздо более достойные не только по своему идейному содержанию, но и по своему формальному мастерству.

«Для того, — пишет он, — чтобы читатель мог судить о стиле и манере профессиональных американских сценаристов, здесь умышленно избран приобретенный студией рядовой авторский сценарий, а не рукопись, отмеченная какими-нибудь необычными свойствами или своеобразной техникой передачи сюжета».

Но за всем тем многие высказывания Тамар Лейна о сценарной композиции, построении сюжета, темпах и ритме, диалоге, об использовании изобразительных возможностей киноаппарата представляют несомненный интерес для писателей, сценаристов и других творческих работников кино.

«ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ТЕАТРА». — Серия учебных пособий для театральных вузов, выпускаемых издательством «Искусство», пополнилась новым трудом А. Дживелегова и Г. Бояджиева по истории западноевропейского театра средних веков.

Авторы прослеживают эволюцию западноевропейского театра с момента падения Римской империи до Великой французской буржуазной революции. Книга состоит из следующих основных разделов: раннее средневековье, эпоха Возрождения и эпоха Просвещения. В главах, посвященных эпохе Возрождения и эпохе Просвещения, рассматриваются театры: английский, французский, итальянский, испанский и немецкий.

Оба автора учебника превосходно владеют материалом истории литературы и театра и с большой свободой, непринужденностью и талантом излагают его. Особенно хороши в этом отношении монографические главы о крупнейших деятелях европейского театра. Книга обильно иллюстрирована.

«РУССКИЕ САТИРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ XVIII ВЕКА». — Впервые с такой полнотой и в собранном, комплексном виде воспроизводятся русские сатирические журналы конца XVIII века. Собранные вместе, они дают наглядное представление о тогдашнем состоянии России, об идейно-политической и культурной зрелости, достигнутой к тому моменту русским обществом.

Составитель сборника Л. Лехтблау, естественно, уделяет больше всего места зачинателям русской демократической журналистики — журналам «Трутень» и «Живописец», издававшимся Н. И. Новиковым, и журналам И. А. Крылова: «Почта духов», «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий». В своих сатирических журналах, — говорит Л. Лехтблау, — Новиков выступает одним из выразителей идеологии «третьего сословия» как противник сословного принципа деления людей. В эстетической области Новиков провозглашал принцип правдивого изображения жизни, беспристрастия в изобличении пороков, «невзвиря на лица».

Еще более радикально была сатира Крылова. Возражая тогдашним охранителям, требовавшим безобидности сатиры, Крылов писал: «Сатира есть камень, которым бросают в кучу безумных; а вы знаете, что, бросая камень в многолюдную толпу дураков, нельзя остережся, чтобы в кого не пасть».

Кроме названных журналов, в сборнике воспроизводятся еще статьи из журналов: «Всякая всячина», «И то, и се», «Ни то, ни се», «Смесь» и «Друг честных людей, или стародум». Из всех этих журналов своеобразный интерес представляет журнал «Всякая всячина». Это была поистине «сатира ее величества», — ее негласным редактором была императрица Екатерина.

Сборник издан Учпедгизом, под редакцией проф. Н. К. Гудзия.

«КУЛЬТУРА ИСПАНИИ». — Выпущенный в свет издательством Академии Наук СССР сборник «Культура Испании» вдохновлен и проникнут теми горячими симпатиями, которые во всем прогрессивном человечестве вызвала недавняя героическая борьба испанского народа за свое освобождение. Книга охватывает крупнейшие проблемы истории, культуры и искусства Испании, касаясь одновременно русско-испанских политических, культурных и литературных связей.

Открывается сборник статьей И. П. Трайнина «Маркс и Энгельс о революциях в Испании». Большое место уделено литературе. Проблемы фольклора и классики освещены в статьях В. Жирмунского, И. Крачковского и К. Державина, о путях развития современной испанской литературы пишет Ф. Кельин.

Ценными наблюдениями изобилует статья М. П. Алексеева «Этюды из истории испано-русских литературных отношений». Свой обзор автор доводит до 30-х годов прошлого столетия. Любопытные данные сообщает Т. Крыло-

ва в статье, посвященной дипломатическим отношениям России и Испании в первой четверти XVIII века.

М. В. Алпатов в статье «Сервантес и Веласкес» проводит интересную параллель между творчеством обоих великих художников.

«ПЕРЕКОП», СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ. — Сборник «Перекоп», составленный Союзкизом на материалах «Истории гражданской войны», восстанавливает по воспоминаниям участников и официальным документам картину разгрома Врангеля. Освещены все основные этапы этой героической эпопеи: бои за Каховский плацдарм, победа Первой Конной в Северной Таврии, переход через Сиваш, штурм перекопских и чонгарских укреплений, овладение Турецким валом и разгром белогвардейцев у Юшуни. Параллельно дается описание действий партизанской армии и большевистского подполья в тылу у Врангеля. Специальные разделы посвящены роли В. И. Ленина и И. В. Сталина в разгроме Врангеля и руководству Южным фронтом М. В. Фрунзе.

С воспоминаниями выступают командиры, комиссары, бойцы Красной армии, бывшие партизаны и подпольщики Крыма и рыбак И. Оленчук, выполнивший почетную роль проводника Красной армии через Сиваш.

«NOWE WIDNOKREGI». — Вышел в свет первый номер ежемесячного польского литературно-общественного журнала «Новые горизонты».

Передовая знакомит читателя с задачами журнала и приглашает к сотрудничеству всех, кто может и хочет работать для сохранения развития польской литературы и польского искусства.

В журнале напечатаны сцены из исторической пьесы Ванды Василевской «Рассказ о Бартоше Гловацком». Бартош Гловацкий — крестьянин, участник восстания 1794 года, руководимого Костюшкой. Рассказ А. Рудницкого «Юзефов» посвящен памяти героев Интернационального легиона Домбровского, боровшихся за свободу Испании. Очень интересен отрывок из романа Г. Гурской «Царство Гределей», из жизни восточно-бескидских (карпатских) горцев. В отделе прозы напечатаны

также рассказы Б. Збышевской «Последний день» и Е. Сельм «Angina pectoris».

Современная польская поэзия представлена стихотворениями Ю. Путрамента, М. Ясгруна, Ю. Пшибоса, А. Важека, П. Кожуха, С. Гинчанки.

В журнале помещены две статьи профессора Вой-Желенского: одна о современном польском театре во Львове, другая — «Старые и новые пути науки о Мицкевиче».

Истории революционного движения польского народа посвящена работа Р. Верфеля «Русская демократия и восстание 1863 года».

В отделе библиографии помещены «Обзор советской литературы» и две рецензии об учебниках для польской школы.

«ДИПЛОМАТИЯ». — «Цель этой монографии — описать в простых, но точных выражениях, чем является дипломатия и чем она не является. В первых двух главах будет дан краткий очерк происхождения и эволюции дипломатической теории и практики. Цель исторического обзора — показать, что дипломатия не является изобретением или забавой какой-нибудь определенной политической системы, но служит важным элементом разумных отношений между людьми и народами».

Об этом уведомляет читателя автор недавно вышедшей в Госполитиздате книги «Дипломатия». Она написана историографом английской дипломатии Г. Никольсоном, помощником министра по делам информации в кабинете Черчилля.

Г. Никольсон касается в своей книге вопросов дипломатической техники и организации дипломатической службы. Затрагивая вопрос о дипломатическом языке, Г. Никольсон замечает, что необходимость такта в официальных сношениях между правительствами «заставила дипломатов ввести в обращение бумажные деньги условных фраз вместо звонкой монеты обычного человеческого разговора».

Что касается языка самой книги, то она написана просто и занимательно. Нельзя не согласиться с ее редактором А. А. Трояновским, который пишет в интересном предисловии, что «книга Никольсона, богатая конкретным материалом, написанная человеком, знающим дипломатию всесторонне, заслуживает того, чтобы с ней ознакомились наши читатели».

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь)

Редакция: Москва 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А37000. 16 печ. листов. Гираж 82000. Зак. 887. Подписано к печати 10/IV 1941 г.

Набрано и сматрировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано на Фабрике детской книги Изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ, Москва, Сущевский вал, 49.